

НАШ СОВРЕМЕНИК

Журнал писателей России



№7 2023

ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ ЮРИЮ ВИЛЬЯМОВИЧУ КОЗЛОВУ



Замечательный прозаик, один из лучших писателей современности, Юрий Козлов отмечает ныне свой юбилей.

На страницах нашего журнала 30 лет тому назад был опубликован его роман “Геополитический романс”, который тогда буквально прогремел в читательском и литературном мире в эпоху государственного разлома и распада.

Романы и повести Юрия Вильямовича “Одиночество вещей” (о котором Вадим Кожинов сказал, что “так о деревне ещё никто не писал”), “Ночная охота”, “Железный ангел”, “Колодец пророков”, “Реформатор”, “sBOбoДА”, “Новый вор”, каждый из них — новое явление в современной литературе, почти отвыкшей от живого писательского слова.

“Литературу можно сравнить со школой, — говорит Юрий Козлов. — Детей не рекомендуется оставлять одних в классе без учителя. Так и народ нельзя оставлять без серьёзной литературы. Роль “завуча” обычно выполняет государство, заинтересованное в том, чтобы книги сеяли “разумное, доброе, вечное”. Массовый читатель должен ненавязчиво понуждаться к осмысленному чтению. Если нет — он будет читать разную щекочущую нервы и первичные инстинкты дрянь”.

Вскоре на наших страницах появится новое произведение Юрия Вильямовича, которого редакция от души поздравляет с юбилеем!



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Л. Г. БАРАНОВА-
ГОНЧЕНКО,

А. В. ВОРОНЦОВ,

Т. В. ДОРОНИНА,

С. Г. КАРА-МУРЗА,

В. Н. КРУПИН,

Ю. М. ЛОЩИЦ,

Д. Н. НИКОЛАЕВ,

Ю. М. ПАВЛОВ,

И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,

З. ПРИЛЕПИН,

Е. С. САВЧЕНКО,

В. В. СОРОКИН,

ТИХОН (ШЕВКУНОВ)
митрополит Псковский
и Порховский,

А. Ю. УБОГИЙ,

Р. М. ХАРИС,

М. А. ЧВАНОВ,

С. А. ШАРГУНОВ,

В. А. ШТЫРОВ

Приветствие
Главы Республики Коми 3

Поэзия

Надежда МИРОШНИЧЕНКО
Рядом Чехов и Россия 4

Андрей ПОПОВ
По небесному времени 16

Елена АФАНАСЬЕВА
Из цикла “Колодец” 25

Александр СУВОРОВ
Обычный человек 28

Любовь АНУФРИЕВА
Дорога зорняя 31

Алёна ЕЛЬЦОВА
Луча коснувшись лунного 38

Татьяна КАНОВА
Густое черничное небо 45

Поэтическая мозаика 52

Поэтическая мозаика 62

Анатолий АВРУТИН
На рубеже мерцания и света 87

Проза

Елена ГАБОВА
Зайцева Нина из Зайцева поля.
Рассказ 9

Пётр СТОЛПОВСКИЙ
Око на ладони. Рассказы 20

Станислав НОВИКОВ
Стальная душа. Рассказ 34

Андрей КАНЕВ
Помню, я был на охоте...
Рассказ 41

Алексей ПОПОВ
Такие трогательные люди.
Рассказы 48

Григорий СПИЧАК
Фото в музее. Рассказ 58

Виктор ДАВЫДОВ
“Он был батальонный разведчик...”
Рассказ 69

Алексей МИШАРИН
Первые уроки. Рассказ 74

Пётр АЛЁШКИН
Тамбовские волки. Роман 93

Редакция

Приёмная —
(495) 621-48-71

С. С. Куняев —
*генеральный директор,
отдел публицистики* —
(495) 625-01-81

К. К. Сейдаметова —
*первый заместитель
главного редактора,
отдел поэзии* —
(495) 625-02-81
ns-poetry@yandex.ru

А. Ю. Сегень —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47
ns-proza@yandex.ru

отдел критики —
(495) 625-30-47
ns-kritika@yandex.ru

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Эвелина АЗАЕВА
Усталость металла. Рассказ..... 147

Анатолий САЛУЦКИЙ
От войны до войны. Роман 159

Валерий ПЕТКОВ
Почему я не пою. Рассказ..... 220

Наталья ЛАТЫШЕВА
Училкины слёзки. Рассказы 223

Михаил КУЛИЖНИКОВ
Гвозди. Рассказы..... 229

Олег РОМЕНКО
Филателисты. Рассказ 234

Евгений ХАРИТОНОВ
Детский смех. Рассказ 246

Встречи с читателями

Игорь КОРНИЕНКО
Амурские истории 78

Александра ВАЙС
Голос бубна 80

Александр СЕГЕНЬ
Встречи на берегах Суры 82

Татьяна ШИШКИНА
На заданных скоростях... 84

Очерк и публицистика

Сергей КАРА-МУРЗА
Боязнь... 251

Критика

Вячеслав ЛЮТЫЙ
“Эта жажда разговора
со своим...” 262

Елена КРЮКОВА
Песня в пути 274

Книжный развал

Андрей РАСТОРГУЕВ
Вызов лимитрофов 279

Яна КОЛЕСИНСКАЯ
Стихи без права переписки 283

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках. Рукописи принимаются как в распечатанном виде по Почте России, так и по электронной почте отделов. Каждая рукопись внимательно рассматривается. Связь с авторами происходит ТОЛЬКО при положительном решении. Вступать в переписку по поводу рукописей редакция не имеет возможности. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Журнал не публикует поэмы, сценарии, либретто. Журнал оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Адрес редакции: Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2

Сайт в интернете: www.nash-sovremennik.ru, эл. почта: n-ovrem@yandex.ru

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675. При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП "ПараТайп".

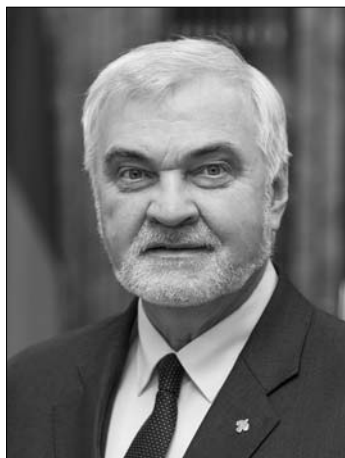
Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова
Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 28.06.2023. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 3084-2023. Тираж 3300 экз.

Отпечатано в АО "Красная Звезда", 117342, Москва, Севастопольский проспект, 56/40 с1.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarprint.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru



Приветствие Главы Республики Коми

Уважаемые читатели!

В этом номере представлены произведения писателей Республики Коми. Коми край – благодатная земля для творческих людей. Красота его природы, самобытная культура и, конечно, люди вдохновляют на создание глубоких произведений искусства.

В нашем регионе одна из сильнейших писательских организаций России, объединяющая известных и начинающих авторов, пишущих на русском и коми языках. Это содружество и сотворчество талантливых людей, где опытные писатели помогают молодёжи раскрыть свою индивидуальность, поддерживают в творческом пути.

Поэты и прозаики Коми ориентированы на широкий круг читателей. В своём творчестве авторы уделяют много внимания вопросам нравственно-философского характера, вечным человеческим ценностям. Поэтому их произведения любят читатели и в нашей республике, и за её пределами. И здесь очень важен вклад писателей региона, которые мастерски переводят произведения коми авторов на русский язык, сохраняя при этом самобытность, присущую коми авторам, и особенный неповторимый колорит.

Развитию литературы нашего региона способствуют творческие конкурсы и семинары, которые проходят под эгидой Правительства Республики Коми. В регионе на регулярной основе издаются литературные журналы “Арт” и “Войвыв кодзув” (Северная звезда), литературный альманах “Белый бор” и молодёжный альманах “Переключка”.

Сегодня с современной литературой Республики Коми, с её авторами смогут познакомиться читатели ведущего литературного журнала страны “Наш современник”. Уверен, что прочтение этого номера поможет вам больше узнать о нашей прекрасной северной земле и её людях!

**Глава Республики Коми
В. В. Уйба**

НАДЕЖДА МИРОШНИЧЕНКО



РЯДОМ ЧЕХОВ И РОССИЯ

* * *

Так много в жизни дружб, а между тем
Они порой значительней, чем дружбы.
И всё ж не понимаешь, а зачем
Они нужны, когда порой недужны.
И мне хватало нашей дружбы, друг,
Пока ты с нами был на этом свете.
И что со мной теперь случилось вдруг,
Когда нашла твоё письмо в конверте.
И ты писал: “А свидеться, так я
За горизонтом, справа от светила.
Ты заходи. Не бойся: там друзья...
Хоть ты и на земле не заходила”.

У РОДИТЕЛЬСКОГО ДОМА А. П. ЧЕХОВА

Я в этом городе была однажды.
Но я своей не утолила жажды —
Узнать поглубже, что же здесь мерило?!
Моей любви я к вам не утолила.

МИРОШНИЧЕНКО Надежда Александровна родилась в Москве. Окончила педагогический институт. Автор книг стихотворений “Назовите меня по имени”, “Хочется счастья”, “Отрывок”, “Зачем не сберегли?” и других. Член Союза писателей России. Живет в Сыктывкаре.

Но поняла, что надо к колыбели
Идти, уж если правды захотели,
Той скромной, неуступчивой, сермяжной.
Вот и поймёшь, что мизерно, что важно.
И как во мне душа заговорила,
Когда я снова Чехова открыла.
И бросила вопрос, как на весы я.
И встали рядом Чехов и Россия.

ЛАНДЫШИ

Геннадью Красникову

Эти капли крохотные света.
Эти голодранцы темноты,
Эти перепето-недопето —
Неправдоподобные цветы.
Как меня по жизни ни носила
Неуравновешенная жизнь,
Одного я только и просила:
Ландыш, не потухни, продержись!
Маленький и чистый, и прохладный,
В северных не выросший лесах,
В сердце ты впечатан беспощадно:
Личико хрустальное в слезах.
Оступаюсь, да хватает силы,
Чтобы встать в защиту чистоты.
И не зря я сумрак полюбила,
Ландыш, глупый, если выжил ты.
И когда умру, я знаю это,
Глаз не отводя от глаз небес,
Землю затопив потоком света,
Ландышами выплачется лес.

МОТИВ ДЛЯ МОЛИТВЫ

Вячеславу Лютому

Когда пойдёшь по Родине пешком,
Не обойдёшь её, и не старайся.
Всё хорошо на ней и любо, словно рай Всё,
И пахнет земляникой с молоком.
Но так в душе. В твоей любви к земле,
Которая повязана с тобою
И песней. И дорогой, и судьбою.
И каплями на солнечном весле.
А наяву так много нещедрот
И нестроений. И недоработок...
И только тот, её бессмертный отрок,
Всё тот же он, хоть кажется не тот.
Он смотрит в небо и летит в зенит
В своей мечте. И не сгорит на солнце.
Течёт смола янтарная по соснам.
И над руками облако звенит.
Как мне свести всё это вместе с ней,
Моей землёй — с судьбой моей России?!
Как все её колдобины осилить,
Переплетая с криком журавлей?!

Откуда эта Вера и Мольба,
Что всё случится так, как Бог положит,
Что сам народ себе же и поможет
И, отработав, пот смахнёт со лба?!..

* * *

Она мне плачется в плечо
И повторяет горячо:
“А говорил, а говорил...
А сам забыл. А сам забыл...”
А хороша, как маков цвет
Или как ландышей букет,
И слёзки капает и льёт,
И всё равно зачем-то ждёт.
Она как яблонька в степи.
И снова мне: “Куда идти?
И что сказать? Да не пойду.
Я не ходила в поводу...”
Я над девчонкой не смеюсь.
Я иногда сама боюсь
Сказать в сердцах, лишаясь сил,
“А говорил, а говорил...”

БЛАГОДАРЯ

*Моему Другу и Учителю
Станиславу Куняеву*

Ты был, Учитель мой, не прав,
А я права.
Но Бог мне не оставил прав
На те слова.
Чтобы “Простите” не кричать
Среди могил,
Я не хочу тебе пенять;
Живи, как жил.

Всё заросло, как шрам любой.
И жизнь идёт.
Я говорю себе самой,
Что всё не в счёт.
А в счёт — твой образ впереди,
Звездой горя.
И стала я с тобой в пути
Такой, как я.

* * *

Валентине Ефимовской

Над Золотом и всем богатством Мира
Витают человеческая мысль.
Слова! Слова! И Пуля вы! И Лира!
Вы всех побед — бессмысленность и смысл.
И в шифре слов — ответы на загадки.
И в правде слов — прозрения веков.

И в схватке слов — все будущие схватки.
И жизни суть сокрыта в сути слов.

По вертикали поднимаясь выше
Сквозь катаклизмы веры и души,
Я к смыслу жизни, спотыкаясь, вышла,
Преодолев сомненья рубежи.
И мощь земли, и тайну Златоуста,
И сердца жар, и холод ремесла
Я превратила на горниле чувства
В взыскующие Истины слова.

Я НЕ МОГУ ПРЕДСТАВИТЬ...

Сергею Перевезенцеву

Я не могу представить, что нас нет.
Я прихожу на встречу и гляжу,
Как много глаз мне светятся в ответ,
Когда я только слово РУССКИЕ скажу.
Или когда встречаю на ходу,
Как ненависть в меня вперяет взгляд...
В полицию тогда я не иду,
А понимаю, что живу не зря.
И если есть на свете Отчий край,
Который из краёв, где нужен всяк,
То это Русь. И как ни разбирай,
Она не разбирается никак.
И мне за что на свете повезло,
Что честь имею жить в Таком Краю?!
Да помоги, Господь, нам свергнуть зло
И расцвести у бездны на краю.

СУДЬБА

Павлу Широглазову

А я прошла по центру и окраине
И лучше — не могла предположить.
И если мы с тобой не обесславили
Россию нашу, значит — надо жить.
Судьба моя, ты сусло животворное.
Не зря же в русском замкнутом кругу
Тебе досталось слово непокорное,
Понятное и другу, и врагу.
Судьба моя, высоты и падения,
И хрупкая бессмертная свирель,
Благодарю за то, что слово Гения
Со сказкой мне вложила в колыбель.
Благодарю за доблестное воинство!
За лирику, где плачут соловьи.
И за одну дорогу, там, где войн — сто.
За русское смятение в крови.
Как на бессмертной ноте в сердце просится
Высокий пламень русского житья,
Который победит чересполосицу,
Где Русский мир, где Родина моя.

ПЛАТА

*Памяти моей мамы
О. К. Мирошниченко-Кулагиной*

Ты мне не верь: меня на свете нету.
Есть только пища сердцу и уму.
И тайна, что в рождении Поэта,
Пока что недоступна никому.
Я этого тогда ещё не знала,
Когда черту посмела перейти.
Когда те строчки первые писала,
Подобренные где-то по пути.

Теперь я вижу через мглу столетий
И через все моря-материки,
Что видят только маленькие дети
Да, может быть, волхвы и старики.
И возвышая плоскость до объёма,
И бесконечность свергнув до нуля,
Я возвращаюсь к маминому дому,
Который помнит маленькой меня.

И всяким разговорам о Поэте
Сегодня смысла я не придаю.
Ты мне не верь: я прожила на свете
Сто тысяч жизней, пропустив свою.

*Редакция журнала сердечно поздравляет
нашего давнего автора и друга с юбилейной датой!
Желаем долголетия, здоровья и новых стихотворных строк!*

ЕЛЕНА ГАБОВА



ЗАЙЦЕВА НИНА ИЗ ЗАЙЦЕВА ПОЛЯ

РАССКАЗ

Я, Зайцева Нина Герасимовна, сорок пять лет, русская, служащая, рационализатор. Рост сто шестьдесят сантиметров, вес пятьдесят семь килограммов, глаза бурые, волосы иссиня-чёрные. Была Зосимовой и Титовой. Закончила техникум. Мать-одиночка. Племянница Стульчиковой Фаины Григорьевны.

Я родилась и тридцать лет прожила в маленьком посёлке при почтовом ящике ОГ/333 на севере нашей родины. Зима тут длится девять месяцев, забеременеешь в снег и родишь в снег. “Лето у вас было? Было, только в тот день я работала”. Вот такие тут погоды, дорогие друзья. Посёлок наш назывался Зайцево Поле. Потому я, Зайцева Нина, и родилась здесь. Тут рождаются все люди, которые впоследствии становятся Зайцевыми. Замечу, что

ГАБОВА (Столповская) Елена Васильевна родилась в 1952 году в Сыктывкаре. Лауреат международных литературных премий им. В. Крапивина, А. Толстого, Всероссийской премии им. П. Бажова (2010), Российской премии им. А. Грина (2016), премии Правительства Республики Коми в области литературы имени И. А. Куратова. Дипломант Всероссийского литературного конкурса “Добрая лира” (2010). Финалист национальной детской премии “Заветная мечта” (2008). Автор более 40 книг для детей и юношества, вышедших в Москве (“Эксмо”, “Аквилегия-М”, “Время”), Киеве, Сыктывкаре. Две книги опубликованы в Японии в издательстве “Гаккен”. Рассказы и повести переводились на немецкий, английский, японский, норвежский языки. Публиковалась в журналах “Кукумбер”, “Костер”, “Пионер”, “Юность”, “Слово”, “Наш современник”, “Таллинн”, журналах Японии. Народный писатель Республики Коми. Живёт в Сыктывкаре.

в здешних лесах действительно много зайцев, жирных, пушистых, с быстрыми, чёрными, без ресниц глазами. А поле около посёлка одно, там сажали картошку, а зайцев с косыми тёмными глазами я не видела, и почему это поле называется Зайцевым, я не в курсе, дорогие товарищи. Наверно, назвали его очень давно, ещё до Великой Октябрьской социалистической революции, пламенной, незабываемой, с тёмными, косыми, без ресниц глазами.

В этом картофельно-зайцевом поле, на зелёных травяных межах, разделяющих грядки поселковых жителей, мы играли в детстве с мальчишками в разные задушевные игры. Одна из них заключалась в том, что мальчики просили нас, девочек, снять трусики и показать им наше потайное местечко. Девочки не соглашались, и мальчишки бегали за нами, ловили. Как-то поймали меня, повалили на траву и сняли трусики, выцветшие, с дыркой на попе. Они только посмотрели, не сделав ничего плохого. Сразу ушли. Я плакала, и девчонки смотрели на меня издалека и боялись приблизиться, как будто я стала заразной. И девчонки, и мальчишки сторонились меня примерно месяц. И только один мальчик, задиристый, курносый, с веснушками на носу, Ванька Пипуныров, встретившись в посёлке, краснея, опускал голову и вежливо здоровался: “Здорово, Нинка!”

Ванька Пипуныров утонул в восьмом классе. Но я знаю, что это неправда, просто болтовня, дорогие товарищи и господа.

Однажды по телевизору был репортаж из Китая. И там показали одного необычного китайца из провинции Сычуань. Так вот этот китаец примерно сорокалетний, невысокий, толстоватый, был с веснушками на носу. Китайцев с веснушками не бывает, наверное, поэтому нос этого китайца показали крупным планом. И я сразу узнала Ваньку Пипунырова! Значит, все он не утонул! Он сбежал или уехал в Китай, и стал там полноправным китайцем! А китайцы и не знают, что детство их соплеменник провёл в Зайцевом Поле и что он проделывал со мной запретную штуку среди картофельных кустиков.

Мой отец, Зосимов Герасим Григорьевич, был секретарём партийной организации подразделения девятого лагерного отделения. Герасим Григорьевич росту был небольшого, плотный, синеглазый, русоволосый, румяный мужчина с зычным голосом. На лбу сидела коричневая бородавка. Помню, эту бородавку я всегда принимала за пуговицу, думала: зачем пуговица на лбу? Спросить у папы стеснялась. А потом решила в пять лет: мозги застёгивает. Папа был ветработник, управляющий совхозом. Очень умный серьёзный человек, почти без юмора. Он не то, чтобы не смеялся, не улыбнулся ни разу в жизни, во всяком случае, я его улыбки не помню. Любил табуретку. Простую, кухонную, советскую табуретку, выкрашенную в зелёный цвет. Сидел только на ней, широко расставив ноги и шевеля их пальцами. Переносил табуретку в комнату перед тем, как включить телевизор. Включал “Горизонт”, усаживался на табуретку, руками упирался в её середину, ноги в стороны, шпагатом. Корпус наклонён вперёд. Целый вечер так телевизор смотрел, иногда тоскливо раскачивался.

Однажды мама, Антонина Николаевна, мыла окна и поставила на табуретку таз с водой. Отец как раз пришёл с работы, увидел это, зыркнул на маму глазом, светлым, злым, прищуренным, и выплеснул воду из таза на пол. А таз надел маме на голову. Я испугалась, заплакала и с тех пор обходила папину любимицу стороной. Ни разу на неё не присела. Табуретка мстила. Однажды по дороге в комнату я оглянулась. И увидела, что табуретка корчит мне противные рожи и её левая ножка намеревается дать мне под зад...

Насмехалась табуретка не только надо мной. Мама ставила её под стол, чтобы в тесной кухоньке образовалось больше пространства, но табуретка нагло выползала оттуда на коленках, противно ухмыляясь своим мыслям. Интересно заметить, что когда мой папа, ветработник, секретарь парторганизации, умер, скончалась и табуретка. Гроб вынесли на улицу и поставили на две табуретки, папину — под голову и другую, обычную — под ноги, так вот, папина — хрясь! — развалилась у всех на глазах. Гроб упал, и папа вздрогнул в гробу, красном, узком, с кружавчиками по краям, и выпростал из-под покрывала руки, бледные, с синими ногтями. Я подумала, ему стало

больно от падения, и он ожил. А ведь я уже взрослая была, приехала на похороны из Сызрани. Скорее принесли от соседей другую табуретку, а ту, сломанную, положили в гроб папе, и он сразу успокоился, умер снова. Так что папе есть на чём сидеть на том свете. Там он её починит.

Моя мама в молодости имела цыганскую внешность, была смуглая, кареглазая, темноволосая, с маленьким носом. Я на неё похожа, только глаза у меня не чёрные, а бурые. Мама была добрая бесхитростная русская женщина, работала в посёлке Зайцево Поле заведующей клубом. Тогда все ходили в клуб на танцы. Народу было много, и танцевали допоздна. Мы жили тогда бедновато, мама одевалась скромно. Платок на плечи, тапочки на ноги, но всё равно красивая русская женщина. На танцах познакомилась с моим отцом, Зосимовым Герасимом Григорьевичем, который танцевал плохо и никогда не улыбался, а теперь лежал в гробу с обнимку с табуретными ножками.

Там же, в Зайцевом Поле, жила не замужем папина сестра Стульчикова Фаина Григорьевна, моя родная тётя. Она походила на своего брата Герасима: здоровая, рослая, пышная, русоволосая, синеглазая, румяная, простая и мужественная женщина. Помню её с блестящей железной лейкой в руке. Она поливала сиреневые георгины после трудового рабочего дня. Лейка воду — фьють, фьють, — струи переливались на солнечном свете, всегда разноцветные, лейка любила дикую морковь и норовила полить и её — фьють, фьють, — но Фаина Григорьевна не разрешала поливать сорняк, и за это лейка обливала её загорелые крепкие ноги.

Стульчикова Фаина Григорьевна правилась многим мужчинам в Зайцевом Поле. Её любили и наши правители, на свидания с которыми она вылетала в разные места на специальных правительственных самолётах. Она родила тридцать пять человек детей, в том числе от наших правителей, от Мао Цзэдуна до Валерия Глухарева. Она рожала каждый год, иногда двойняшек. И сдавала их в детские дома посёлка Зайцево Поле, городов Папаевска, Ижевска, Сызрани.

Валерий Глухарев был её любимым мужчиной. Он, отбывая срока наказания в колониях, часто менял свои метрики: фамилию, имя, отчество, год рождения. Многие дети Фаины Стульчиковой учились на прокуроров и способствовали этому. Все их дети носили разные фамилии и отчества. Валерий Глухарев своей внешностью очень походил на русского художника Левитана, который жил, если вы помните, в прошлом, девятнадцатом веке, а ещё он походил на Рихарда Зорге и Валерия Чкалова. Взгляните на их портреты: ведь это одно лицо! Если вы согласитесь со мной, то подсчитаете, лет сейчас Глухареву около семидесяти. Несомненно, он знает секреты омоложения, ведь выглядит всего-навсего на сорок! Однажды я пришла к своей тёте Стульчиковой Фаине Григорьевне попить чаю, а у неё дядя Валера Глухарев стоит перед зеркалом и мажется кремом. Подождите, пока крем “Янтарь” впитается в щёки и лоб, и остаток крема вытер полотенцем ровно через пятнадцать минут, как рекомендовалось в инструкции.

Крем дядя Глухарев хранил в ванной комнате на полочке, стеклянной, тонкой, лучезарно вымытой. Однажды Стульчикова Фаина Григорьевна, моя родная тётя, прибиралась, тщательно мыла полочку жидкостью для стекла и, перепутав, положила вместо крема “Янтарь” зубную пасту “Лесная”. Валерий Глухарев намазал зубной пастой лицо, холёное, круглое, красивое, как у актёра, и даже не сняв пасту салфеткой, стал бегать за моей тёткой с топором. Весь посёлок Зайцево Поле слышал её душераздирающие крики! А многие видели полыхающее на солнце острое лезвие топора и сверкающее зелёной пастой лицо Глухарева. Помню, в детстве я смотрела французский фильм ужасов, так вот, дядя Валерий Глухарев был очень похож на главного героя Фантомаса. К счастью, он не догнал мою тётю, ей помогли ноги, загорелые, крепкие, со светлыми волосками.

Кстати, не в кремах дело! Многие пользуются ими, в том числе и крем “Янтарь”, но всем далеко до молодости Валерия Глухарева!

Глухарев мог быть сущим ангелочком. Мою подругу Катю, простую, статную, с косой ниже пояса, он соблазнил так: посадил на поляну, договорился

с комарами, чтобы не ели красавицу, набрал ей букет лесной герани вперемешку с лютиками, прочёл стихи из сборника Сергея Есенина “Гой ты, Русь моя родная”, и вот Катя лежит у него на груди. Но остерегайтесь, женщины мира, ибо характер у Валерия Глухарева жестокий. Он просто-напросто садист, скажу я вам, бандит и мошенник, по которому верёвка плачет. Когда двадцать третьего февраля не помню уже какого года двадцатого столетия я осталась с ним наедине у него на квартире, он, придя с работы выпивши, без всякой причины и даже не ссорясь со мной, стал меня зверски избивать. Я думала, что живая от него не уйду. И он это проделывал со многими своими любовницами. Да, надо сознаться, он сделал меня своей возлюбленной и даже Фаине Григорьевне признался:

— Полюбил я твою племянницу.

— Полюбил, так разлюбишь, — ответила Стульчикова, несколько не осерчав.

Так и стало. Три года он любил меня, баловал конфетами “Мишка на Севере”, овсяным печеньем, которое доставлял из Москвы, яблоками и вином различного происхождения, водил в кино на последний ряд, а потом стал мучить побоями. Я сбежала от него, вспомнив предсказания моей родной тётки!

От Стульчиковой Валерий Иванович имеет дочь, работницу центрального телевидения в Москве Татьяну Веденеёву, которая, вполне возможно, и не знает ничего о своих родителях. Надо раскрыть ей глаза! Несколько раз я пыталась написать ей на место работы, но Валерий Глухарев уничтожал мои письма! Дети Фаины Стульчиковой многие живут в Сызрани, а многие в Москве, как Татьяна Веденеёва, а ещё в Нью-Йорке, Папавске, Зайцево Поле. Работают директорами, кадровиками, партработниками, полковниками, следователями, инженерами, врачами, психиатрами, гинекологами, работниками уголовного розыска, управляющими сбербанками, космонавтами, дикторами центрального телевидения (Татьяна Веденеёва). Не только Татьяна Веденеёва, но и многие другие не знают своего происхождения, так как воспитывались в детских домах, без родительской ласки и подарков. Но всё-таки Стульчикова Фаина Григорьевна, как могла, проявляла о них заботу.

В сельсовете посёлка Зайцево Поле она при мне брала справки для своих детей о том, что её брат Зосимов Герасим Григорьевич был секретарём парторганизации. Увидев меня, она сказала: “А вот и моя племянница, она подтвердит эти сведения, Зосимов Герасим Григорьевич — её отец”. Я не поняла хитрости родной тётки, так как тогда была ещё слишком мала. Стульчикова Ф. Г. впоследствии сняла много копий с этой справки и раздала всем своим детдомовским детям. При их помощи они попадали в институты по льготам, вне конкурса. Среди них были дети Фаины Григорьевны не только от Глухарева, но и от наших правителей — И. В. Сталина, Н. С. Хрущёва, Л. И. Брежнева, Ю. Андропова, Мао Цзэдуна... Оказывается, я с ними была в родстве, сама того не подозревая. Бедные дети выросли в детдомах. Фаина Григорьевна и от отца моего имела двенадцать детей. Валентина Терешкова — дочь Фаины Стульчиковой.

Сорок лет я не знала о существовании моих двоюродных братьев и сестёр. Они росли рядом со мной, ездили в одном автобусе, ходили в одну школу в посёлках Зайцево Поле и Синий Погост, а я ничего не подозревала. Хотя мне давали понять об их существовании. Помню, подбежала ко мне какая-то женщина на школьной перемене и говорит: “Приехала твоя тётка из Папавска, Стульчикова Фаина Григорьевна, шестерых детей сейчас сдала в детдом, пойдём, посмотрим”. А я испугалась и убежала. А на другой день мы пошли в детдом всем классом на экскурсию, но я не запомнила своих двоюродных сестёр и братьев, они были, как все другие дети, сопли у них такие же и чулочки в гармошку. Сразу всех напрочь забыла, а это были будущие прокуроры, начальники уголовного розыска, артисты, врачи, депутаты Государственной Думы. Всех их родила Стульчикова Ф. Г., простая советская доярка, о которой писали в местной газете “Ленинское знамя”.

...В шестьдесят шестом году я с отличием окончила техникум. Я была тогда бесхитростная, робкая, застенчивая, честная. Любила наряжаться, делать модные причёски, ходила на танцы.

Работала в совхозе в Зайцевом Поле с осуждённым бригадиром-агротехником. Тогда был хороший урожай капусты. Ночи белые, капуста, знай себе, сутками наливаясь, влагою напивается, воды в северной землице не меряно. В моих рабочих числился Валерий Глухарев, ээки мне однажды сказали: к Глухареву приехала женщина лет на двадцать старше его, Стульчикова Фаина Григорьевна. Так любят друг друга! Я тогда не поняла ничего и ляпнула зэку: “А у меня есть тётя, Стульчикова Фаина Григорьевна”. Не догадалась, что это она и есть. Там же в моей бригаде отбывал срок наказания будущий президент Америки американец Рейган. Мне ээки показывали на него, говорили: “Запомни, вот это будущий президент-американец, познакомься ближе, будет американский блат, в Америку будешь ездить, в Белый дом, на лужайку”. Я тогда не придала этому значения, заставляла Рейгана работать, как всех, не нравилось ему капусту пропальвать. “Вот тебе это поле — видишь, на километр тянется, — это твоё, пропальвай добросовестно. А то без обеда останешься”. Полол, куда деться.

Мне было тогда двадцать лет. Рабочий Валерий Глухарев хотел обратить внимание на себя. Однажды я была очень занята, составляла отчёт. Он сел рядом, положив передо мной финский нож убийцы и садиста. Я писала, не обращая на него внимания, только спросила про нож:

— Зачем он тебе?

— А так, — буркнул в ответ.

Эта финка была нужна Глухареву для различного вида шантажа.

Где-то в пятьдесят седьмом году помню случай: я маленькая рыжая девочка, застенчивая и робкая, с бурьми, зелёными глазами, носившая тогда кирзовые сапоги с блестящими начищенными носками; стояла осень. Рядом змеилась железная дорога. С другой стороны параллельно железке лежала автомобильная дорога. Дальше высылся лес. До райцентра Синий Погост было три километра. Посёлок Зайцево Поле — за спиной. Катились по дороге красивые блестящие колёса с узором посередине — это были змеи, совершавшие своё путешествие таким вот образом. Я хотела подойти поближе, чтобы их рассмотреть, но стоявший рядом со мной зэк в простой чёрной одежде предостерег: отойди, не трогай, укусят. Возможно, это иностранная разведка поставляла змей Валерию Глухареву для шантажа наших руководящих работников и офицеров Советской армии.

Когда Валерий Глухарев сел рядом со мной со своей финкой, узкой, длинной, коварной, я готовилась в первый раз выйти замуж за отрядного офицера Титова Игната Ивановича, голубоглазого блондина с кавалерийскими ногами, местного футболиста. Его после моей свадьбы спойли. Я разошлась с ним, когда мне было двадцать пять.

После моей свадьбы с Титовым Глухарев стал водиться с его сестрой Валей, молоденькой, хорошей, черноглазой, милой девушкой. Они пошли в клуб на танцы. Валю пригласил приезжий художник Александр. Глухарев подождал, пока закончится танец, и набросился на Валю, как лютой зверь. Он зарезал Титову Валю, нанеся ей шесть ножевых ранений знакомым мне финским ножом. Чтобы её спасти, вызывали шесть профессоров из Москвы, за её жизнь боролись шесть дней, ничего, спасли. Профессорам дали за это Ленинскую премию. Сейчас Валя Титова живёт в Сызрани, заместитель директора банно-прачечного треста, крупный банно-прачечный деятель. Начальником медчасти лагеря работал сын Стульчиковой Фаины, Болдырев, двойник немца Хонеккера, он и вызывал всех кремлёвских профессоров. Его жена, Ангелина Палкина, в молодости была киноартисткой в Австралии. В восемьдесят восьмом году по телевизору шёл многосерийный фильм “Все реки текут”, там она, Ангелина Палкина, играет главную роль. Я её опознала. Зря она скрывает этот факт своей биографии, ведь играет очень хорошо, не надо стесняться.

...У меня всего двое детей. Когда я родила дочь Ксюшу весом в три с половиной килограмма, Валерий Глухарев поднял зону на ножи, диктуя свои условия. Ему продлили срок ещё на три года. Я родила дочку Ксюшу, а позже узнала, что, оказывается, родила двойняшек. Двойняшку от меня скрыли, сразу куда-то унесли, оставили только Ксюшу. В сельсовете секретарь Варвара Тимофеевна дала мне подписать чистый лист бумаги, когда я

оформляла пособие матери-одиночки. Двойняшку же оформил на себя Валерий Глухарев. Он мне сам в этом признался.

— Извини, Нина Герасимовна, — он меня уже по имени-отчеству звал, — одну твою дочку я присвоил. Я её воспитаю в своём вкусе, а похожа она будет на тебя, цыганку-красавицу со светлыми глазами.

Он тогда уже из лагеря вышел и жил на бесконвойке. Мучил меня, не говорил, где спрятал двойняшку, я каждый день его пытала-плакала, свою Ксюшу забросила в круглосуточный садик, искала её сестрёнку, весь район объездила, а нашла её здесь, в Сызрани. Об этом позже ещё скажу, дорогие товарищи.

Отцом моих двойняшек был Зайцев Павел Иванович. За этого Зайцева я выходила замуж в семьдесят шестом году двадцатого столетия. Но я помню его очень плохо, потому что Павел Иванович каждую неделю ездил в командировки, а когда возвращался, брал удочки, сети из-под нашей супружеской полной, как река, кровати и шёл ловить рыбу. Поймав рыбу, он сажал её за стол, отчего все стулья были у нас в рыбьей слизи и чешуе. Вся рыба поголовно просила пить, и Павел Иванович поил её водкой и компотом из чёрной смородины. Помню, одна рыбина захлебнулась компотом и умерла, а другие просто пьянели и тихо засыпали. Однажды Павел Иванович уехал в очередную командировку — в пустыню Невада — и более ко мне не возвращался. Уже потом я заметила, что удочки и сети тоже исчезли. Он взял их с собой. Этому обстоятельству я особенно удивлялась, потому что знала со школьных лет, что в пустыне нет рек и вообще нет воды, и очень переживала, ведь Зайцев Павел Иванович, грузный торжественный мужчина с нежным голосом Николая Сличенко, не сможет поймать там ни одной рыбки. А рыбачить он любил так же самозабвенно, как ездить в командировки. Бедный, так и пропал в американской пустыне.

Почему украденную двойняшку записал в свой паспорт Глухарев Валерий, который 23 августа 1989 года по улице Советской шёл в форме сержанта милиции к остановке автобуса, я не знаю. Может, он просто хотел иметь от меня на память какую-нибудь вещицу, а вещицы никакой не было. Вот и присвоил мою, чужую для него девочку.

На улице Минской нашего города опорный пункт милиции. Однажды я позвонила туда, надеясь, что там будет дежурить Валерий Глухарев. Я хотела снова попытаться у него про мою дочку-двойняшку. И вдруг мне ответил её голос! Голос моей двойняшки! Голос был точно, как мой, тонкий, слабый, исключительно женский. Я разволновалась и стала часто туда звонить, требуя, чтобы со мной поговорила дочь. Трудность заключалась в том, что я не знала её имени. Валерий Глухарев сознательно не сообщил мне об этом, садистски усугубляя мои страдания. В опорном пункте милиции по улице Минской трубку бросали. Я ходила туда, объясняла дежурному офицеру, что здесь работает инспектором моя дочка-кровиночка-двойняшка. Дежурные меня так ни разу к дочери не пропустили, прогоняли, как муху, назойливую, осеннюю, с прозрачными крыльями.

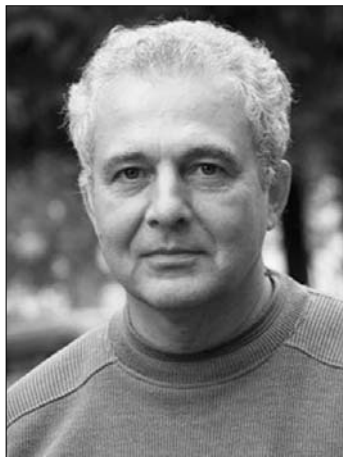
Я эту свою двойняшку видела летом на пляже. У неё глаза бурые, точно, как у меня. У Ксюши же, её сестры, — серые, как у Зайцева. С Ксюшей всё хорошо, она живёт в Зайцевом Поле в панельном доме, сером, тёплом, с батареями в стенах; у неё двухкомнатная квартира, мужа и детей нет. Я пошла за двойняшкой следом, когда она закончила загорать, уговаривая остановиться, посмотреть на меня внимательно, узнать во мне черты матери. Двойняшка убежала, но прежде несильно ударила меня пляжной сумкой по голове, когда я стала хватать её за подол кофточка. Она закричала, что вызовет милицию, и меня заберут! Вы поймёте меня, дорогие товарищи, я потеряла покой. Жажда узнать жизнь двойняшки, жажда признать меня матерью поглощает меня целиком. Я встаю утром и, выпив чашечку чаю, густого, чёрного, бодрящего, бегу к месту её работы. Я вижу её по утрам! Но боюсь подойти, опасаясь, что она исполнит свою угрозу, прячусь за кусточком небольшого роста.

По автомобильной дороге около её учреждения всё так же катятся змеи, красивые, блестящие, с узором на спине. Валерий Глухарев продолжает своё

чёрное дело. Я боюсь этих змей, помню, как предупреждал меня зэк: укусят! Укус змей ядовит, я помню это со школы.

Что же мне остаётся? Остаётся одно — обратиться с письмом к своей двоюродной сестре Татьяне Веденеевой, пусть мне поможет! Пусть двойняшка взглянет на меня внимательно! Я ей всё расскажу! Я раскрою ей глаза на Валерия Глухарева! Как вы думаете, дорогие товарищи, Татьяна Веденева согласится помочь? Если нет, напишу Валентине Терешковой. Или обращусь к своему двоюродному брату-прокурору, заранее спрошу у Фаины Григорьевны Стульчиковой его имя. Фаина Григорьевна живёт в посёлке Зайцево Поле, как прежде, но иногда я вижу её здесь, в Сызрани. Наверное, приезжает на свидания к Валерию Глухареву. Они, как и раньше, любят друг друга и рожают детей, будущих прокуроров, депутатов Государственной Думы, дикторов центрального телевидения. Я недавно встретила Фаину Григорьевну — катит коляску!

АНДРЕЙ ПОПОВ



ПО НЕБЕСНОМУ ВРЕМЕНИ

* * *

Природы непонятная ошибка
Или ее таинственный расчёт —
Разбитая и склеенная скрипка
Звук более глубокий издаёт,

Чем новый инструмент.
И звук так чуден!
И слушаешь, и лечишь свой разлад...
Разбитые и склеенные люди
Бессмертными стихами говорят.

* * *

Сердце ничего не понимает,
Не принять известие уму...
Но любовь, как небо, обнимает,
Подступая к горю моему.

ПОПОВ Андрей Гельевич родился в 1959 году в Воркуте. Окончил Сыктывкарский государственный университет, филологический факультет. Автор нескольких сборников стихотворений. Лауреат премии Правительства Республики Коми в области литературы имени И. А. Куратова, Южно-Уральской литературной премии, международной премии С. Есенина “О, Русь, взмахни крылами”, премии имени Н. Тряпкина “Неизбывный вертоград”, Всероссийской Арктической литературной премии им. В. Маслова. Член Союза писателей России. Живёт в Сыктывкаре.

* * *

...нет ни Еллина, ни Иудея...
Кол., 3, 11

В церкви нет ни Маяковского, ни Толстого,
Ни Фридриха Ницше, ни Вольтера.
Талантливые их слово — всего лишь слово,
Ещё не дело. Совсем не вера.

Странные судьбы. Трагические идеи.
Печаль от мудрости и мастерства.
Не вышло у них, товарищи фарисеи,
С верой, которая без дел мертва.

* * *

Сырое утро. Мудрости излишек.
Идёшь вдоль недостроенных домишек.

В душе твоей война и пандемия...
Будь ты пророком, как Иеремия,

О чём бы ты подумал в серой рани,
Смотря на утлые дворы и бани?

О чём заплакал бы, смутясь и мучась,
Увидев их трагическую участь?

А так всё просто. Город твой спросонок
Мечтает о грядущем, как ребёнок.

НЕБЕСНОЕ ВРЕМЯ

...до скончания неба он не пробудится...
Иов., 14, 12

Иссыхают озёрные воды,
Иссыкают ручей и река.
Укрепляют небесные своды,
Как колонны и стены, века.

Небо
 времени держат опоры —
Уходящие дни и года...
Разрушаются скалы и горы,
Исчезают в песках города.

Человек, как планета, остынет...
Где укроет его тишина?
До скончания неба отныне
Не сумеет воспрянуть от сна.

Человек будет спать, представляя,
Что не зря появился на свет,
Что не зря — ни конца и ни края
По небесному времени нет.

* * *

Осень. Вечер. Холодно и влажно.
Потемнел от мысли небосвод —
От напоминанья, что однажды
Жизнь пройдёт и солнце не взойдёт.

День истёк. И пролетело лето.
И проходит мимолётно жизнь...
Поднимись, моя молитва, к свету,
Над холодной ночью поднимись.

* * *

Усталая столица ждёт рассвета,
Хоть прячет ожидание во мгле...
А доброе придёт из Назарета,
А доброе приедет на осле.

Что может ближний свет от иномарки?
Провинции простые рыбаки
Передадут благой рассвет от Марка,
Матфея, Иоанна и Луки.

И то, что до конца необъяснимо,
Вдруг осветит сомнения сердец.
Услышит город: “Любишь ли ты, Симон?
Паси Моих растерянных овец!”

И пастырь городской столичной ночи
Поймёт, что пройден утренний предел,
Что поведут его, куда не хочет,
И что распнут, как он того хотел.

* * *

Ни в птице, что летит, крылом касаясь лета,
Ни в утренней звезде, ни в памяти времён,
Ни в книгах мудрецов не отыскать ответа,
Ответа не найти — зачем я был рождён?

И только самому врати душою надо
В звериную тоску, в распутия дорог,
В нежданную любовь, во все сомненья ада
И в городскую мглу, и в полевой цветок,

И в горькие слова, и в роковые числа,
И в облако надежд, что на семи ветрах.
И молится душа от осознанья смысла —
Из праха рождена и возвратится в прах.

И молится душа, что всё на свете этом
Уходит навсегда,
Предчувствуя свой срок —
И птица, что летит, крылом касаясь лета,
И городская мгла, и полевой цветок.

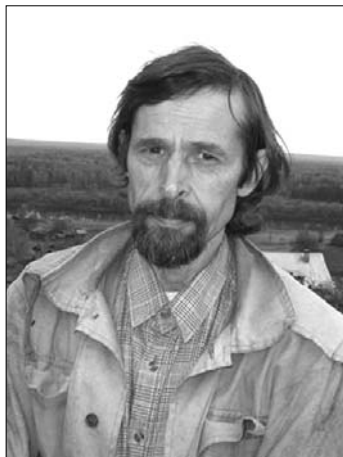
Чего же ты хотел? И твоего ухода
Ждут листопад и дождь, зарницы и мороз.
И молится душа. И говорит погода.
И трудно разобрать ответы на вопрос.

* * *

Келья была у монаха проста:
Стол и божница, Псалтирь и кровать.
Было окошечко в форме креста,
Чтобы сквозь крест этот мир понимать.

В сердце бы келью такую иметь,
Скромную келью монаху под стать,
Чтобы смотреть на рожденье и смерть,
Чтобы сквозь крест это всё понимать.

ПЁТР СТОЛПОВСКИЙ



ОКО НА ЛАДОНИ

ДВА РАССКАЗА

ПОЛЁТ НАД ГНЕЗДОМ ОРКЕСТРА

Что бы мы, мужики, ни говорили, а женщине спеты не все гимны. К примеру, гимны её отчаянной смелости и выдержке. Выражение такое есть: “собачья выдержка”. Ну и что? Кто ж не знает, что в этом деле собаке до женщины, как до Луны? У собаки всякое терпенье лопнет, выдержка треснет, скулёж на всю округу подымет. Женское ж терпенье — кремь! Ни вдоха тебе, ни оха, ни писка жалобного!

А возьмите смелость женскую — ту самую, отчаянную. Николай-то Некрасов не с бухты-барухты на все века возвестил: коня, мол, на скаку остановит, в горящую избу, дескать, войдёт. Не иначе, сам видел. Стоял в сторонке и обмирал со страху: а ну, как не выйдет голубушка из избы-то горящей! А ну, как под копытами гробанётся, отчаюга этакая!

СТОЛПОВСКИЙ Пётр Митрофанович родился в 1943 году в г. Ачинск Красноярского края, в эвакуации, в семье журналиста. С 1973 года живёт в Сыктывкаре. Окончил филологический факультет Коми государственного педагогического института. Автор нескольких книг прозы. Переводчик на русский язык произведений коми писателей, коми фольклора. Выпустил ряд сборников переложений коми народных сказок. Составлял и редактировал энциклопедические сборники, альманахи о Коми крае. Сборник “Коми — край далёкий и близкий” удостоен диплома и II премии Всероссийского конкурса “Моя малая родина”. Лауреат II премии Всероссийского конкурса на лучшее художественное произведение для детей и юношества, премии Правительства Республики Коми в области литературы имени И. А. Куратова. Член Союза писателей России. Народный писатель Республики Коми. Живёт в Сыктывкаре.

Про терпенье и выдержку женскую я случай знаю. Давненько было, а вот помню и до сей поры диву даюсь: это ж надо!..

Редко такое случалось — со всего просторного северного края созвали башковитый народ на слёт изобретателей и рационализаторов. Такому редкому событию не пожалели отдать театральное залище с высоченным потолком, с оркестровой ямой, со сценой, по которой не то что на велосипеде — на мотоцикле можно виражи закладывать. Только сейчас на всю ширину сцены вытянулся крытый красным сукном стол для президиума. Оркестровую же яму загодя накрыли брезентом размером чуть ли не с волейбольную площадку. Дескать, опер и прочих ораторий не ждите, делом занимайтесь, товарищи новаторы и прочие выдумщики. Брезент натянут вровень с полом, да так гладко, что и правда хочется по нему на мотоцикле газануть вдоль красного сукна. Либо в волейбол сыграть.

Зал полнѐхонек. Гул не смолкает — улей пчелиный, мѐдом только не пахнет. Народ меж собой мыслями глубинными обменивается. Даже воздух загустел от передовых технических идей и хитроумных находок.

Однако настала означенная в повестке минута — пора начинать. Всѐ внимание на сцену. А на сцену никто не поднимается. Трибуна без ораторов скучает. И минута прошла, и пять минули. В гуле голосов угадываются недовольные нотки. Вот уж десять минут...

— Ну, знаете, это полное ку-ку, — усмехнулся пожилой новатор, сидящий слева от меня.

Острословы местного значения начинают невоздержанно упражняться в юморе и сатире в адрес организаторов. Они, мол, либо в бега ударились, либо там у них повальная диарея приключилась. Сами острят, сами смеются.

Наконец, из-за кулис вынырнуло лицо. Такие лица носят профсоюзные работники среднего ранга. Резво подойдя к микрофону, профработник с деловитой строгостью возвестил:

— Товарищи! Республиканский слѐт изобретателей и рационализаторов считается открытым!

Почтительно переждав положенные аплодисменты, человек у микрофона с прежней строгостью продолжил:

— Слово для оглашения списка предлагаемых членов президиума представляется...

Тут он стал растерянно вертеть в руках листок, зашарил в карманах пиджака. Где она, фамилия-то?.. Вспомнил:

— Товарищу Полетаевой.

Тут же в зале, в боковом проходе раздались звучные, решительные шаги. Нет, конечно, не Командор. Вдоль рядов кресел шла она, товарищ Полетаева — солидного вида, сказать даже, вместительная женщина в строгом, деловом костюме небесного цвета, который бывает ближе к закату. С достоинством, которое невозможно копировать, а надо с ним родиться, товарищ Полетаева несла украшенную причѐской голову, и причѐска эта неуловимо смахивала на корону. Возможности не проникнуться не было.

И притихший зал проникся. Возможно, даже вспомнил строку того же Николая нашего Некрасова про то, что как посмотрит, мол, так рублѐм подарит. Технари, эти чѐрствые новаторы, погрязшие в железяках, ели глазами гордо шагавшую женщину, и сердца их выстукивали мелодию в ритме еѐ звучных каблуков.

Рублѐм товарищ Полетаева никого не подарила. Прямая и, по всему виду, негибаемая, она чѐтко отсчитала ступеньки, шагнула на сцену и... Случилось страшное! Женщина исчезла, махнув на прощанье рукой! Была — и нет еѐ! Зал обмер, некрасиво растворив рты. Сердца новаторов сбились с ритма.

Она... О, Господи!.. Гордо поднятая голова помешала еѐ увидеть предательски гладко натянутый брезент! Товарищ Полетаева ступила на него и... — кошмар!.. — провалилась в оркестровую яму. Из неѐ, из этой коварной ловушки стал доноситься грохот. Похоже, негибаемая женщина расшвыривала стулья, на которые совершила незапланированную посадку.

От этого грохота зал очнулся. И... взорвался непозволительным хохотом. Хохотал даже солидный новатор слева от меня, повторяя:

— Ну, полное ку-ку!

Это же бесчужденно! Как можно хохотать?! Это безнравственно! Это просто аморально! Бедная женщина! Что стало с ней в этом оркестровом гнезде, захламлённом дурацкими стульями? Как можно ржать над конфузом этой женщины, исполненной, прямо сказать, былинного достоинства?!

Думается, однако, что наторевшие в точных расчётах новаторы решили: если женщина так энергично расшвыривает стулья, то плохо не ей. Плохо стульям, подвернувшимся под горячую руку. А если так, то хохот — это вовсе не осмеяние. Это, скорее, полновесная замена бурным и продолжительным овациям. Это хвала женщине, которая, улетев в таргарары, не вскрикнула, не взвизгнула, как подобает прекрасному сословию, даже не охнула, а чисто по-женски махнула рукой залу, набитому мужиками. Вспомним некрасовскую героиню. Ведь и она, ворвавшись в горящую избу, не взвизгнула, не заголосила благим матом! Она не заверещала, вцепившись в поводья коня, ударившегося в сумасшедший галоп.

— Это же полное ку-ку!

— А что такое полное ку-ку? — сквозь смех спросил я соседа слева.

— Это, брат, когда даже квакать бесполезно!

Овации, то бишь хохот, и впрямь были продолжительными. Профработник уже дважды выходил на сцену звать к благоразумию зала. Он даже гулко стучал согнутым пальцем по микрофону. Подействовало только с третьего захода — смех пошёл на убыль. В тишине, ещё зыбкой, неуверенной, раздались звучные, решительные шаги.

Да, это была она — солидная, вместительная, небесного цвета, с прежним достоинством несшая по тому же боковому проходу слегка изменившуюся причёску, похожую если не на корону, то уж точно на диадему. И всякому стало понятно, что в мире нет такой оркестровой ямы, которая могла бы остановить эту нестигаемую женщину на пути к трибуне.

В задних рядах кто-то несдержанно пискнул, и по этому нечаянному сигналу зал взревел с новой силой. Под этот рёв товарищ Полетаева невозмутимо поднялась на сцену, даже не удостоив взглядом коварное гнездо оркестра. Подойдя к трибуне, она положила перед собой листок и, строго глядя в зал, стала терпеливо ждать, когда утихнет это беснующееся море.

Море выдохлось. Не дожидаясь полного штиля, женщина стала ровным, спокойным голосом называть тех, кому надлежало целый день сидеть в президиуме и скучно лупить в зал.

— Маркелов! — неслось с трибуны. — Никифоров!..

— О-о! Это ж полное ку-ку! — недовольно протянул сосед. — Всю жизнь мечтал.

— Не горюй, Семёныч! — утешили его с заднего ряда. — Главное — пролететь над гнездом оркестра. Без посадки!

ОКО НА ЛАДОНИ

Тому случаю уж сорок с лишним лет, а око нет-нет да всплывёт в памяти. Оно либо висит в воздухе само по себе, либо лежит на полу под столом. И смотрит на меня. Неотрывно, пылливо смотрит, словно ждёт от меня какого-то признания. Прямо душу наизнанку выворачивает глаз этот немигающий.

Сто раз тебе объяснял, и снова скажу: “Не виноват я! — в сердцах говорю ему. Про себя говорю, нутряным как бы голосом. — Не я дурацкие традиции выдумываю. Если хочешь знать, я за всю жизнь ни одной традиции не придумал. Так что прощай и больше не являйся”.

Око нехотя таяло в воздухе, растворялось, а я начинал ломать голову: чего, спрашивается, пристал ко мне? Чертовщина какая-то, блажь навязчивая. Вычеркнуть из памяти — и вся недолга. А то выходит, что я сам с собой дурака валяю.

Хорошо это или плохо, но мне кажется, что стоит рассказать о том давнем случае. Для этого надо вернуться в то время, когда великая наша держава была искренне заражена идеей борьбы за счастье всех людей на планете.

Журналистские пути-дороги привели меня, молодого, лёгкого на подъём, в казахстанские степи, где во всю возможную ширь развернулась целинная эпопея. Быстроногие сайгаки, джейраны вовремя чесанули подальше от этой страсти. Труднее было сусликам, суркам-байбакам и прочим тушканчикам.

Путь мой лежал в глубину обширного казахстанского мелкосопочника, в уделы знаменитого совхоза, в котором директорствовал пожилой мужик с редкостной крестьянской хваткой. И надои у него, и привесы, зерновые да корнеплоды — всё выше всяких похвал. На скотном дворе содержался живой символ совхоза — бык по имени Апрель. Весу в нём больше тонны. Спина у этого быка такая просторная, что ложись на неё загорать — не сверзишься. При этой своей могущественности Апрель спокоен до состояния флегматика. А кольцо в носу всё же имеет. На вопрос: “Зачем?” — зоотехник Анюшкин, длинный, как жердь, отвечал философски:

— Жизнь, она ведь не только у людей непредсказуема, у быка тоже, знаете ли, будь здоров. Положим, случись Апрелю мозгами пошатнуться — всё вокруг в шепки разнесёт. А кольцо в носу и его, и нас бережёт.

Заполнил я свой блокнот цифирью со словесами разными. Пора назад двигать. Но тут прикатила чёрная партийная “Волга”. Выпрастывается из неё шофёр, парень важный. Ему на меня показывают. Подходит: так и так, товарищ первый секретарь райкома Атабай Атабекович просит в гости.

— Не могу, — отвечаю, — пора мне возвращаться.

— Плохо, — качает головой райкомовский шофёр. — Очень плохо.

— Почему плохо, да ещё очень?

— Обидится товарищ Атабай Атабекович. А это очень плохо.

Тут в разговор встречается глубокомысленный зоотехник Анюшкин:

— Сказать по чести, Жамбыл прав: тут вариантов нет. Советую почтить первого секретаря. Это всегда способствует.

Я никогда не умел перечить философам, поэтому махнул рукой:

— Ладно, Жамбыл, поехали в гости к товарищу...

— Атабаю Атабековичу.

— Ничего, по дороге выучу.

Поспели akurat к началу мероприятия, которое проходило в столовой районного значения. Уже расселась за бесконечным столом районная знать, уже нацелились в бесконечность расчехлённые коньячные дула, а возбуждённый Атабай Атабекович озглавил застолье подведением итогов борьбы за что-то очень важное для района. За это почтенное собрание успело хряпнуть по рюмке пятизвёздочного.

Меня усадили рядом с молодым человеком, который оказался старше меня лет на пять.

— Алексей, — представился он. — Это ты из областной газеты? А я из управления сельского хозяйства.

Сбоку от нас зашумели:

— Атабай Атабекович знак подал. Сейчас Махамбет вынесет! Смотрите!

Дверь из кухни медленно открылась. На пороге стоял некто. Я невольно вздрогнул. Некто держал на уровне своих плеч огромный поднос с жареной бараньей головой, которая таранилась на публику двумя сердитыми глазами. Получалось, что эта голова сидит на плечах человека. Зрелище, скажу вам, для обладателей надёжных нервов.

— Коронный номер уважаемого Махамбета, — крикнул кто-то, и грянули аплодисменты.

Плотный, крепко сбитый повар поставил поднос перед хозяином торжества.

— Молодец, Махамбет! — вскричал возбуждённый товарищ Атабай Атабекович. — Никто во всей республике не умеет так жарить баранью голову! Это наш, районный секрет. Махамбет даже мне, первому секретарю райкома не говорит этот важный секрет. И правильно делает, товарищи!

Гром аплодисментов! Растроганный Махамбет кланялся, прижимая руку к сердцу.

— Сейчас начнётся! — шепнул Алексей из управления. — Будь спокоен, как тумбочка.

Кланяющийся Махамбет задом открыл дверь и исчез в кухне.

— Природа, товарищи, лучше нас знает арифметику! — возвестил Атабай Атабекович, возбуждение которого всё усиливалось. — У барана два глаза! У нас, за этим скромным столом, два почётных гостя из области. Поприветствуем их!

— Встаём, — шепнул Алексей из управления.

Мы встали под аплодисменты и раскланялись на оба конца стола.

— Мы уважаем старинные традиции, — продолжал Атабай Атабекович. — Глаза барана — угощение для почётных гостей.

Он протянул назад ладонь, и некто вложил в неё огромный кухонный нож. С ловкостью фокусника хозяин застолья извлек из головы глаз и, держа его на ладони, двинулся к нам.

— Положено открывать рот, — с грустью шепнул Алексей из управления.

— Это вам, уважаемый Алексей Иванович, за то, что вы любите наш знаменитый район!

С этими словами Атабай Атабекович вложил глаз в открытый рот Алексея. Видя, чего стоило ему проглотить бараний глаз, я подумал, что так у меня ни за что не получится, и конфуз будет обеспечен.

Блеснул нож, и на ладони второй глаз. Эта ладонь надвигается на меня неотвратно, как судьба! И уважаемый Атабай Атабекович говорит о том, что я, выдающийся журналист, тоже люблю этот знаменитый район! Что делать? Видя, что мой рот закрыт, товарищ первый секретарь с недоумением замер надо мной.

— Можно сначала подержать его в руке? — робко спросил я.

Пауза. Сбой ритуала.

— Желание гостя — закон для хозяина! — твёрдо изрёк хозяин, и глаз лёг в мою ладонь.

Публика с любопытством смотрела на меня. Я с подлой улыбкой обвёл взглядом обитателей стола, открыл рот и вложил в него это всевидящее баранье око. Стол зааплодировал!

— Молодец! — склонился ко мне Алексей из управления. — Мне первый раз тоже трудно было.

Благодарно кивая в ответ на аплодисменты, я опустил руку под стол, и бараний глаз из рукава пиджака шлёпнулся на пол. Он смотрел на меня оттуда, как мне показалось, с ненавистью, даже с отвращением.

Тем временем хозяин отхватывал ножом ломтики от жареной головы и одаривал ими гостей — строго по ранжиру, по заслугам.

А глаз всё пялился на меня. Носком ботинка я пытался отфутболить его дальше, но глаз переворачивался и продолжал жечь меня взглядом.

Не выдержав, я встал и подошёл к хозяину.

— Атабай Атабекович, должен просить у вас прощения, мой поезд через пятьдесят минут.

— Жамбыл отвезёт вас. Счастливого пути!

Вот и вся история. С тех пор, когда я слышу о новой традиции, всегда спрашиваю:

— А глотать ничего не надо?

ЕЛЕНА АФАНАСЬЕВА



ИЗ ЦИКЛА “КОЛОДЕЦ”

* * *

Колодец стоит посредине села,
Я воду его не однажды пила.
Смотрела в него —
И не видела дна,
И в душу входила его глубина.
И мысль глубока так бывает порой,
Когда наполняется слово
Душой,
Простором лесным и предчувствием сна.
Я в душу смотрю —
И не вижу в ней дна.
Но помню, что сон мой уже пригубил
Студёное слово подземных глубин.
Никто не подскажет,
Не знает, когда
Судьбу обожжёт из колодца вода,
Чтоб точное слово
Поднять я смогла
С холодного дна посредине села.

АФАНАСЬЕВА Елена Евгеньевна родилась в 1967 году в селе Важгорт Удорского района Республики Коми. Окончила Сыктывкарский государственный университет. Автор пяти стихотворных сборников и нескольких книг для детей. Стихи опубликованы в российских литературных журналах, альманахах и антологиях. Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии имени А. Е. Ванеева. Живёт в Сыктывкаре.

Из нашего села — с родной земли —
Исчезли все колодцы-“журавли”.
Как будто бы от зимних стуж и мук
Перелетели стаями на юг.
Один из них в былые времена
Я видела из нашего окна.
Казалось мне, как за водой идёшь,
На бабушку Августу он похож,
“Журавль” сутулый. И была темна,
Как тайна, в том колодце глубина.
В ней жизнь своя, я верила всегда,
Поля там пашут и пасут стада,
Там тоже плачут и смиряют нрав.
Но, полное ведро со дна подняв,
Решала: там на утренней заре,
Как солнечные зайчики в ведре,
Играют светом и поют про свет...
Уже два года,
Как колодца нет,
Как будто улетел он из села,
Как бабушка Августа умерла.
И только в памяти своей порой
Вновь поднимаю я ведро с водой,
Вновь вспоминаю напряженье рук...
И ждёт колодец, что вернусь я вдруг.
Подарит,
Как в былые времена,
Мне солнечные зайчики со дна...

ПТИЦА

Вглядывалась душа в лунную ночь устало,
Спать не могла —
Я надежды свои теряла.
И прилетела вдруг птица и смотрит, словно
Трепет мой видит — и взгляд у неё бездонный.
Я лишь спросила:
— Зачем прилетаешь снова?
— Знаю, ты ищешь колодец святого слова.
— Где он, скажи? По каким отыскать приметам?
Как мне его найти? Жизни хватит на это?
— Между землёю и небом ищи, в верховьях
Речки таёжной, но только ищи любовью.
— Как мне воды набрать, чтобы душе напиться?
— Сердцем черпни своим...
И улетела птица.

СЛЕПОЙ

Какое лето! Сердце веселится,
Что облака плывут, как корабли.
И я веду слепого из больницы
В село родное — на краю земли.
Так далеко живём от благ лечебных!
И потому дорога далека.
И держим путь мы, как во сне, степенно,

Чтоб не упасть — плывём, как облака.
Но всё равно идти порой непросто:
То мостик снёс ручей, то берег крут.
Я думаю: мы в этом мире гости.
Жизнь коротка. Чего все люди ждут?
Каких минут? Каких души раздолий?!
И тихо плачут, ожидать устав...
До горизонта перед нами — поле,
Луг бесконечный, море жёлтых трав.
Дойдём до роши — отдохнём немного,
Я полевых цветов букет нарву,
И поглядим на берегу отлогом,
Как величава наша речка Ву.
Слепой молчит. Ни вздоха, ни привета,
Ни жалобы, ни просьбы, ни суда.
Каким он видит северное лето,
Наверно, не узнаю никогда.
Какая на душе его тревога?
О чём молчит, скрывая мысли, речь?
Что он познал на жизненных дорогах?
Что потерял, хотя хотел сберечь?

Слепой молчит. А мне на сердце хмуро,
Что до села до ночи не дойдём.
А солнце посмотрело вдруг с прищуром
И скрылось в дальней роще за холмом.
Куда теперь идти? Кругом потёмки.
Заблудимся легко во мгле ночной.
— Я поведу! — раздался голос громкий.
Слепой заговорил: — Иди за мной!
И в лес вошли, таинственен и мрачен,
Но спутник мой как будто видел свет,
И я была слепой, а он был зрячим,
И шла за ним доверчиво след в след.
И шла за ним, не помня про усталость
И становясь сильнее и смелей.
И сердце у слепого открывалось
Для глаз моих и для души моей.
Есть зрение у внутреннего взгляда.
Я прозревала, кто идёт со мной.
Он видел жизнь и что беречь в ней надо,
И как не потерять в ней путь прямой.

Переводы с коми Андрея Попова

АЛЕКСАНДР СУВОРОВ



ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

* * *

Не заросла чертополохом
Поэзия в сердцах людских.
Живёт меж выдохом и вдохом
Одушевлённый русский стих.

И это тот счастливый случай,
Когда, молитвенно дыша,
В потоке искренних созвучий
Растёт и полнится душа.

И оmyвается, как кровью,
Её невидимая грусть
Не ненавистью, а любовью,
Чтобы запомнить наизусть.

СУВОРОВ Александр Васильевич — русский поэт, прозаик, драматург, переводчик — родился 9 октября 1946 года на Дальнем Востоке. Младенцем перевезён родителями в Сыктывкар, где окончил школу, пединститут. Работал журналистом, редактором книжного издательства, сейчас на пенсии, но не расстаётся с литературным трудом. На его творческом счету девять книг стихов и прозы, пьеса, поставленная в Национальном театре, переводы коми поэтов и прозаиков. Член Союза писателей России. Живёт в Сыктывкаре.

БЕЗДНА

В неведомую бездну бытия
Заглядываю сердцем восхищённым.
Там время жизни бьёт через края
Потоком лет, ничем не укрощённым.

Там свет и тьма, огонь и вечный лёд,
И бесконечность страшных расстояний.
И сердце рвётся, как звезда, в полёт
Встреч кутерьме распадов и слияний.

Весь мир постичь, конечно, не дано
Короткому уму, но мне всё мнится,
Что бездна ломится в моё окно,
Как будто и меня постичь стремится.

* * *

На краешке сознания
Свой проживает век
Частичка мироздания,
Обычный человек.

Живёт себе, не думая
О тайнах бытия,
И бездна тьмы угрюмая
Ему не судия.

Он скоро остановится
Слегка передохнуть,
А в этой тьме готовится
Его дальнейший путь.

“ТЫ — ЭТО Я...”

Бог мне даст провожатого в райском саду,
Чтобы я не блуждал по тенистым аллеям,
А тебя конвоир черторогий в аду
Поведёт к сковородке, к вора́м и злодеям.

Но ведь ты — это я, нас с тобой не разъять,
Мы грешим безоглядно и каемся с болью.
Вот зову я тебя на молитву опять,
Только ты равнодушен опять к богомолью.

Вот я мимо соблазнов мирских прохожу,
А тебя так и тянет в хмельную пучину.
Как я святость свою на Суде докажу
В час, когда нам Всевышний назначит кончину?

Неужели разрубит нас Бог пополам
И по-царски одарит меня райским садом,
А тебя по твоим непотребным делам
Наградит, как обещано, смертью и адом?..

ЭТЮД С МИКРОСКОПОМ

На стёклышке живой налёт,
А я огромней небоскрёба.
Неужто всех переживёт
Микробессмертная амёба?

Переживёт, не замкнут круг,
Жизнь бесконечно может длиться.
Амёба вечна, если вдруг
Не передумает делиться.

ЛЮБОВЬ АНУФРИЕВА



ДОРОГА ЗОРНЯЯ

* * *

В зарослях долгие годы преля,
дом без хозяев осел и выстыл.
Я захотела нарвать кипрея,
а тишина — как прицельный выстрел...

Дома сказали, что жило счастье
в этом старинном дому когда-то,
да на развалины возвращаться
дальним наследникам поздновато.

Пусть одинокая чайка стонет —
за временами ещё не ветхо,
старое дерево не устанет
слушать полей затяжное эхо.

АНУФРИЕВА Любовь Андреевна родилась в деревне Гам Ижемского района Коми АССР. Окончила Сыктывкарский государственный университет, филологический факультет. Автор пяти сборников стихотворений. Лауреат республиканского литературного конкурса “Серебряное крыло” в номинации “Поэзия” (2007), лауреат литературной премии Общества М. А. Кастрена (Финляндия) за поэтический сборник “Пятнадцатый камень” (2015), лауреат литературной премии имени народного поэта РК Альберта Ванеева (Республика Коми, 2022), лауреат литературного конкурса “Наше поколение” в номинации “Поэзия” (Саранск, 2022). Член Союза писателей России. Литературный консультант Союза писателей Республики Коми. Живёт в Сыктывкаре.

Но и меня уведут дороги,
сердце живое надеждой грея...
И — тишина на былом пороге
буйными зарослями кипрея.

* * *

Не пробуждаемые и снами,
не сознающие слов небрежных,
все мы по жизни плывём тенями
прошлых столетий и жизней прежних...

Мамой недолго была тогда я —
ветер голодный унес ребёнка,
да задержалась душа живая,
в старом серванте рыдает тонко.

Чашку её молоком наполню,
к дверке стеклянной приближу — тихо...
Может, она молоком и помнит
счастье любви, что ей не хватило.

Я ей на землю торю дорожки,
светлые подыскиваю именины...
Слышишь — в серванте играют ложки?
Надо побольше набрать малины.

* * *

Страх, неуступчивый до икоты,
в душу вонзился ершовой костью,
гиблые крутит водовороты,
донным песком обдаёт со злостью.

Сердца протока болит. Подую —
волны над взмученными песками...
Страхом ночные морозы чую —
сонная прорубь не отпускает.

Надо проснуться слегка поближе
к жизни, как острая кость, жестокой...
Но закрываю глаза и вижу:
сильная рыба идёт протокой.

Так по родительскому примеру
невод и бросила б наудачу...
Мамину вновь обретаю веру,
а просыпаюсь — от страха плачу.

* * *

Сердце не кутай до самого края
в мягкую шерсть — послезавтрашним днём,
память замёрзшую отогревая,
ветер весенний помчится конём.

Конь вороной, камениста дорога —
жизни бы не растрясти из горсти.
Так далеко отходила от Бога —
ангелу ржавчины не соскрести...

Дерево мягкой шерстью окутай,
что нам приснилось в начале всего —
там, на обочине, с каждой минутой
гаснет без помощи сердце его.

Смутное что-то цыганка сулила,
топал копытами конь вороной,
озеро стыло... А я — позабыла:
было да сплыло иной стороной.

Летней зарёю в тебе под рубашкой
свечке моей отвечает весна...
Дом наш пропахнет живою ромашкой,
будет расти возле дома сосна.

* * *

Не высматривала, не мерила,
не рассчитывала — вперёд!
Что звезду ухвачу, поверила
и уехала в свой черёд.

Много лет я в отцовском озере
не рыбачила поутру...
Лето снова к печальной осени
подвигается на ветру.

Сердца голос другим не слышится,
да разносится далеко.
Где ты, папа?.. Туман колышется,
словно сладкое молоко.

Вроде дымом повеяло от леска,
бесконечно к нему иду...
Ни огня, ни хотя бы проблеска —
потемнело на холоду.

Но до проблеска предрассветного
будто маленький отпуск дан:
звук мотора мотоциклетного
различила я сквозь туман...

Моег берег вода озёрная,
сосны клонятся в омота...
Поманила дорога зорняя —
да приехала ли куда?

Перевёл с коми Андрей Расторгуев

СТАНИСЛАВ НОВИКОВ



СТАЛЬНАЯ ДУША

РАССКАЗ

Автомехколонну трясло и лихорадило на всех уровнях. Предприятие перекупали, и новый владелец проводил аудит. Во время проверки вскрылось что-то таинственное, о чём низы не знали, а верхи не говорили. И дело не в том, что, похоже, было выявлено какое-то преступление. Дело в том, что преступником оказался безупречный, великий и великолепный начальник колонны Правдин Сергей Валерьевич, имевший репутацию честного и прямого человека.

Водители, слесаря и механики судачили по курилкам и ошарашенно делились слухами. В общем и целом, народ не верил в то, что Правдин вор. Но на вопросы Правдин ничего не отвечал и, по всему было видно, оправдываться перед новым начальством отказался. Сегодня в присутствии полиции новый владелец был настроен провести последнюю попытку разобраться в частном порядке, без официальных расследований.

Шлагбаум поднялся, и на территорию автомехколонны заехали злобный чёрный “Мерседес” с наглухо затонированными стёклами и белый полицейский “Патриот” с синими полосами по бортам. В кабинет к Правдину

НОВИКОВ Станислав Алексеевич родился в 1976 году в Ухте. Окончил Ярославское медицинское училище по специальности “медицинский брат”. Учился в Медицинской академии, Сыктывкарском духовном училище (пастырское отделение), Коми государственном педагогическом институте (филологический факультет). Лауреат общероссийского творческого конкурса межвузовской ассоциации духовно-нравственного просвещения “Покров”, награждён “Почётным знаком Св. Татианы, молодёжная степень”. Публиковался в журнале “Святой Покров”, газетах “Вера”, “Вифлеемская звезда” (Санкт-Петербург), альманахах “Белый бор”, “Перекличка”. Автор книг “Никиткино чудо” (2012), “К кому приходят ангелы” (2013). Член Союза писателей России. Живёт в Сыктывкаре.

поднялась очень грозная на вид компания. Стороны расселись по разные стороны длинного стола. С одной стороны сидел Сергей Валерьевич, сухой, высокий пожилой мужчина интеллигентного вида. Напротив него находились три человека в стильных костюмах. Компания аудиторов излучала лоск, уход и дорогой парфюм. Между сторонами в качестве третейского судьи расположился полицейский, состоявший из нахмуренных бровей и зло поджатых губ. Возглавлявший процессию мужчина доброжелательно глянул на Сергея Валерьевича и, открыв лежавшую перед ним папку, заговорил приятным баритоном:

— Предлагаю начать. Итак, для протокола поясню следующее. В качестве жеста доброй воли и в рамках последней попытки досудебного урегулирования мы сегодня собрались для того, чтобы получить исчерпывающие пояснения по факту пропажи автомобиля УАЗА, год выпуска 1980. В ходе контрольного аудита выявлено, что автомобиль, числящийся на балансе предприятия, не снят с учёта, не списан, несмотря на многократно превышенный разумный срок эксплуатации, и, по личному указанию начальника колонны Правдина Сергея Валерьевича, своим ходом убыл с базы несколько месяцев назад без оформления путевого листа или переводной ведомости. Итак, Сергей Валерьевич, прошу пояснить, почему эта рухлядь до сих пор на балансе предприятия и где, собственно, сам автомобиль?

— Господа, я понимаю, что служба у вас такая, из мухи слона делать. Но из-за “уазика” тридцатипятилетнего расследование вселенское устраивать... Это уж слишком, господа. Ситуация здесь, как я уже не раз говорил, сложная с этической точки зрения, и до сегодняшнего дня я был связан обязательствами перед третьей стороной, которую пригласил на нашу встречу. Что-то задерживается эта третья сторона, так что я начну без него, поскольку эта третья сторона обязательства с меня сняла. Полгода назад ко мне в кабинет зашёл молодой человек, сел вот в это вот кресло и дал мне для ознакомления нотариально заверенное завещание своего деда — Авдотьева Глеба Матфеевича. Это наш самый старый сотрудник, умер в прошлом году. До последнего дня работал в нашем автопредприятии. По годам своим преклонным, уже уборщиком, а не водителем. Суть его завещания следующая. Все свои скудные сбережения Глеб Матфеевич оставляет внуку для выполнения последней своей воли... А вот и третья сторона пожаловала. Здравствуй, Илья, присаживайся, представься и дальше сам рассказывай.

Вошедший в кабинет крешкий, спортивного вида мужчина с волевым лицом сдержанно кивнул присутствующим и начал свой рассказ. Когда он закончил, в кабинете воцарилась глубокая тишина...

— Здравствуйте. Меня зовут Илья Глебович Авдотьев. Дед мой, Глеб Матфеевич, фронтовик. До ранения — гвардии сержант пехоты. После ранения — водитель, работал на Дороге жизни в Ленинграде. Орденоносец. После войны он со своим фронтовым товарищем Каменевым Павлом Сергеевичем вместе устроились в автоколонну и работали здесь до последних дней. Павел Сергеевич вчера умер. У него был тяжёлый рак. Умирал он дома, от больницы отказался, потому как последние годы жизни в ней провёл. Упёрся, старый, дескать, буду дома помирать...

Незадолго до своей кончины мой дед устроил дома у себя генеральную уборку, в том числе и личных архивов. И в один день с ним что-то случилось. Он стал замкнутым, молчаливым, часто плакал, глядя в окно. Живём мы раздельно, но я к нему заходил каждый день. Стал я у него выпытывать, что да как. Он в итоге и рассказал, что нашёл письмо Павла Сергеевича к своей жене, о существовании которого ранее не знал. Бабка Прасковья представилась несколько лет назад. Я, честно говоря, просто обалдел. Старики наши — люди советской закалки, высокого духа, которые вместе сквозь такие пламена прошли... Ну, не про них истории с изменами и тайными письмами, как мне сначала показалось. Но ошибся я. Это письмо оказалось совсем про другое. Позвольте, я его вам зачитаю.

“Сердечный мой друг, уважаемая Прасковья Михайловна.

Пишет Вам Павел, и пишет в тайне, и тайну свою просит сохранить ото всех, и особенно от супруга Вашего и друга моего Глеба Матфеевича. Сим

письмом припадаю к Вашему благоволению и прошу посодействовать в высшей степени важном деле. Соль в том, что Глеб Матфеевич, по начальственному бесчувствию, получил в рабочее своё распоряжение автомобиль мой, буханку-санитарочку, на которой я работаю уже многожды лет и на которой планировал совершить последние пути свои, по возрасту моему преклонному. Этот автомобиль благословенный, для меня большое значение имеет. Сердце моё прикрепилося, душа моя прикипела к этой машине. И даже имя у этого автомобиля есть — почтенный Рыдванчик. Я принял Рыдванчика с самого рождения, я самолично гнал его с завода. Я на нём свершения свершал, людские жизни спасая. Больше десяти лет я на нём работаю и каждый винтик в нём знаю, и каждый агрегат мной лично проверен, обслужен и ухожен. Под старость лет одна мне отрада осталась — Рыдванчик мой. И какая же великая получилась несправедливость, что разлучили меня с ним. И потому прошу посодействовать, как сумеете, и уговорить Глеба Матфеевича отказаться от Рыдванчика в мою пользу. Сам я к другу своему обратился, но, по волнению сильному, не нашёл сил признаться в том, сколь много мне значит эта машина и какие сердечные муки я испытываю, потеряв его... И отмахнулся Глеб от моего обращения, как от блажи простой, не уловил, что это была сокровенная мольба. Умоляю Вас проявить человеколюбность и деликатность Ваши и помочь, как разумеете. Без Рыдванчика жизнь мне не в радость...”

Александр Глебович осёкся и прервал чтение.

— Далее уже ничего существенного нет. Со стороны кажется, что повод пустячный для таких вот страстей. Но надо знать этих стариков. За грубыми лицами кроются глубокие переживания. Не понять нам... Письмо бабка Прасковья не прочла. Преставилась к Богу. И лежало оно до поры, пока не нашёл его дед. Это потрясло его. Он к тому времени был отстранён от вождения. И вся его жизнь отныне исполнилась боли и раскаяния. Он изнывал от бессилия исправить содеянное. Уж как он сокрушался... А когда Павел Сергеевич отказался от больничного лечения и переехал домой доживать последние дни, воспрянул дед. Осенило его. Вознамерился он выкупить Рыдван и перегнать домой к своему другу и тем скрасить последние дни друга. Но он так сильно боялся идти к начальству с этим обращением... В итоге так и не успел собраться — слёг и в считанные дни угас. Успел вот только завещание составить. И с этим вот и пришёл я к господину Правдину. Как оказалось, дело это отнюдь не самое простое и сопряжено с большими трудностями. Всё же, благодаря Сергею Валерьевичу, решение нашлось. Деньги он не взял, а машину отогнали Павлу Сергеевичу. Видели бы вы, какими слезами старик заплакал, когда услышал шум двигателя Рыдванчика своего. Сейчас автомобиль стоит во дворе его частного дома. До недавнего времени я еженедельно вывозил старика на Рыдванчике на короткие прогулки, благо автомобиль приспособлен для перевозки больных, а я его чуть усовершенствовал... Павел Сергеевич вчера умер. И у меня огромная просьба... Павел Сергеевич очень просил, чтобы тело его везли на похороны в Рыдванчике. Потому что я сказал ему, что перед смертью Глеб Матфеевич выкупил машину и передал другу в дар... Старик искренне верил, что Рыдванчик — его личная машина. Похороны завтра. Я готов полностью оплатить аренду автомобиля за всё время пользования и разрешить последний рейс этой машине завтра. А послезавтра буханка будет в гараже автоколонны.

Тишина стояла густая, плотная. Что творилось в головах молодых людей в стильных костюмах, сказать сложно, но лица у них были ошарашенные. Нарушил молчание Правдин:

— Прежний владелец автомехколонны последовательно реализовывал план управления предприятием. Жесточайший порядок по образцу государственного предприятия. Это у нас в уставе прописано. Таким образом, всё, как в госконторе. Я не могу продать автомобиль без аукционных торгов. Я не могу использовать его в личных целях, без сложной процедуры. Но... Вы подумайте, ведь это я снял деда Пашу с Рыдванчика... Ну, представляете, ведь я этому старику сердце вырвал. Машина-то реально хлам уже. Скорость чтоб включить, спортивный разряд нужно по атлетике. Эту рухлядь планировал списывать в самое ближайшее время. А пока передал деду Глебу.

Он по здоровью-то получше был, чем дед Паша. Да и этот старик тоже с причудами был. Обожал старые машины... А потому я просто не смог остаться в стороне от этой истории. Решил пойти на нарушение, которое, по моему мнению, не наносило вреда предприятию, не несло дополнительных затрат. Счёт времени жизни старика шёл на дни, и были неплохие шансы на то, что история останется тайной, и автомобиль спокойно вернётся в гараж и будет списан. Мы чуть-чуть не успели, и тайное стало явным. Господа, как видите, никакого криминала нет. Илья Глебович готов компенсировать любые ваши претензии и имеет на это средства. Меня как основного нарушителя можете уволить. Теперь вы всё знаете. Никакого хищения, никаких преступных схем. Некоторое нарушение правил, и всё.

Главный из аудиторов усталο потёр переносицу, явно используя этот жест, чтобы собраться с мыслями и подобрать слова:

— Я как-то так и представлял себе эту историю... Ну, по схеме события. А вот по сути события потрясающе, конечно... Одного не пойму. К чему такие страсти-то? Ну почему просто не подойти и не попросить? Все ведь мы люди, вошли бы в положение. Так, собственно, и произошло ведь.

— Надо знать этих стариков... — Сергей Валерьевич пронзительно смотрел в глаза собеседнику. — Они просто стеснялись. Дя них просить — это позор. Это особые люди. Они могли себе позволить сообщить о своей потребности. И то не всегда. Но уговаривать, упрашивать, вытребовать что-то... На это они просто не способны. Они созданы решать проблемы, а не создавать их. Они фронтовики. Это люди со стальными душами.

Аудиторы, не сговариваясь, закрыли свои папки и встали.

— Дя протокола. Все недоразумения полагаю разрешёнными. Полученные ответы полагаю исчерпывающими. Нарушения, допущенные администрацией автомехколонны, полагаю ничтожными. Как представитель нового владельца предприятия, даю разрешение на последний рейс автомобиля УАЗА, год выпуска 1980.

Полицейский с мягкими, влажными глазами тоже встал:

— Готовы оказать содействие в организации траурной процессии. Когда вонил хоронят, вроде машины же в колонне идут, верно? Мы организуем всё, как надо. Улицы там перекрыть. Короче, до слёз, мужики. Вот ведь племя-то...

Главный аудитор дрогнувшим голосом закончил встречу:

— Также уведомляю всех присутствующих о том, что намерен ходатайствовать к новому владельцу предприятия о создании культурной композиции на въезде в предприятие в виде помещённого на постамент указанного автомобиля в качестве уважения к профессии и сохранения этой невероятной истории. Инцидент исчерпан, позвольте пожать ваши руки, господа.

Это была необычная похоронная процессия. Огромная, растянувшаяся на несколько кварталов колонна самых разных машин. Тяжёлые самосвалы, грузовики всех мастей, автобусы и вахтовки, множество “уазиков”...

Колонна торжественно шла по городу, и город почтительно замирал, приветствуя её. Возглавляла колонну старая, потрёпанная буханка-санитарочка. Она степенно шла по перекрытым улицам, сердито порывивала двигателем, переваливаясь через неровности. Рывдванчик бережно вёз свой священный груз по последнему маршруту.

Поравнявшись с автопредприятием, где они с усопшим трудились всю свою жизнь, буханка остановилась и долго и протяжно просигналила. И в ответ ей раздался мощный вой сотен автомобилей. Протяжно, разноголосο и непрерывно гудели сотни машин на стоянке предприятия, участников процессии...

Когда прощальный крик машин стих, Рывдванчик взрычал двигателем и двинулся дальше. Словно не сдержав чувств, машины вновь взревели криком боли. Под этот прощальный рёв Рывдванчик взял курс на кладбище.

Скорбел весь белый свет. И лишь три стальные души были исполнены светлой радости. Душа Глеба Матфеевича радовалась, что получилось удружить другу. Душа Павла Сергеевича радовалась, что Рывдванчик с ним и ничто более их не разлучит. А душа Рывдванчика радовалась тому, что она есть. И ни у кого в этом не оставалось никаких сомнений.

АЛЁНА ЕЛЬЦОВА



ЛУЧА КОСНУВШИСЬ
ЛУННОГО

* * *

Снег выпал — и жизнь наступила другая.
Укрылась земля пуховым одеялом.
По первому снегу сегодня гуляя,
Тебя я увидела —
И не узнала.

А снега ещё нам достанется вволю,
Зима у нас может держаться до мая.
И память оставит лишь снежное поле,
Пойду по нему —
И тебя не узнаю.

ЕЛЬЦОВА Елена Власовна (Алёна Ельцова) родилась в селе Усть-Кулом Коми АССР. Окончила Сыктывкарскую гимназию искусств при Главе Республики Коми, финно-угорский факультет Сыктывкарского государственного университета, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького, семинар Ю. Кузнецова. С 2005 года научный сотрудник Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Кандидат филологических наук. Член Союза писателей России. Автор четырёх сборников стихов. Стихи переведены на русский, финский, эстонский, английский, венгерский, марийский, мордовский, узбекский языки. Живёт в Сыктывкаре.

ПАРИЖ

*Никогда я не видел моря,
Звуков пения его не знал...*

Виктор Савин

Никогда я не была в Париже.
По дорогам родины пыля,
Вновь луга вдоль Вычегды увижу,
А не Елисейские поля.

Снова на окрестные туманы
Посмотрю — и защежит внутри:
Так и не поела круассаны
Во французском замке Тюильри.

Только надо верить в перемены —
И наступит время перемен.
И в кафе на набережной Сены
Мне прочтёт свои стихи Верлен,

Грустные стихи про сон вчерашний...
И я буду слушать. А потом
Мы пойдём на Эйфелеву башню,
Чтоб родной увидеть Усть-Кулом.

Переводы с коми Андрея Попова

* * *

Засмеётся небо полумесяцем —
зарябит вода над тёмным омутом,
и душа живая не уместится
в теле, тягостью земною сомкнутом.
Световыми струями несомая,
оглядев небесные предместия,
полетит над ними, невесомая,
мотыльком в далёкие созвездия,
наберёт пыльцы-нектара лонного,
проникая в звёздные соцветия...
А потом, луча коснувшись лунного,
вспыхнет
или стихнет на столетия.

* * *

Слёзы осенние медленно
пригоршней полной
выпью до дна.
Знает, что далее,
тёмною ночью бессонной
бездна одна.

Стихотворение осени
в сердце запало
до запятой...
Светлое счастье
звучало в нём да миновало
за красотой,

Только осыпалась наземь
листвы позолота
до черешка...
Всё ещё можно вернуть
накануне отлёта
наверняка.

Переводы с коми Андрея Расторгуева

ПОЮЩЕЕ ДЕРЕВО

Едва проснётся в сумерках земля —
Я просыпаюсь тоже. И внимаю,
Как за окном, листвою шевеля,
Мне дерево тихонько напевает.

От песен тех совсем уходит сон,
Лишь сердце замирает в удивлении,
И, словно настроение весеннее,
Легко разносит эхо это пение,
Которое то реет в отдалении,
То возвращается со всех сторон.

Так день мой начинается, и я
Всё слушаю, как веточка любая,
Любой листочек, с ветерком играя,
Звучат, и эти звуки вверх взлетают,
И сердце моё счастьем окрыляют,
И утренняя мне поёт земля.

Перевод с коми Владимира Цивунина

АНДРЕЙ КАНЕВ



ПОМНЮ, Я БЫЛ НА ОХОТЕ...

РАССКАЗ

Помню, я был на охоте... Вечерело. Осень стояла обычная, ни холодная, ни жаркая, а как всегда; пнёшь попутный мухомор, и не жаль его, такого королевского красавца. Листва на деревьях разноцветная, глаз радуется, ветки кедровника гладят тебя по щекам своей мягкой хвоей. Солнце, если не прячется за облака, такое неназойливое и всегда в дневную пору в помощь. Дожди почти не докучали в ту осень, бывали, конечно, но не назойливо, словно, бюджетный врач на одной ставке: хочешь лечиться — болей, а не желаешь — таки здоров ты, братец...

Иду себе, под сапогами мох шуршит, ружьишко не тянет плечо, в кармане бутерброд с салом... До охотничьей сторожки каких-нибудь метров триста осталось. Чувствую уже обострённым обонянием, товарищ что-то варит на костерке и чай цейлонский уже заварил... Запахи в лесу очень чуткие и быстрые, поэтому настоящему охотнику-промысловнику ни курить, ни водки пить, ни одеколоном после бритья пользоваться нельзя. Так вот, предвкушаю уже отдых, как вдруг — хрусть сучок под сапогом, швырк глухарёнка с еловой ветки в небо, вскидываю двустволку, бах вдогонку... мимо получилось. Сплюнул с досады и ружьишко снова на ремень через плечо. И вдруг слышу:

КАНЕВ Андрей Валерьевич — член Союза писателей России, автор нескольких книг поэзии, прозы, литературной и театральной критики, романа “След Ночного Волка” (“Эксмо”, 2008, 2009). Родился в п. Ачим (ныне пригород Емвы) Княжпогостского района Коми АССР в 1963 году. Окончил филфак СГУ им. Питирима Сорокина. Ветеран боевых действий, подполковник в отставке, имеет государственные и ведомственные награды. Стихи, повести и рассказы публиковались в журналах “Наш современник”, “Нижний Новгород”, “Литературный Кисловодск”, “Медный всадник”, “Крещатик”, “Север”, “Арт” и других. Живёт и работает в Сыктывкаре.

— Ты что это шмаляешь куда ни попадя... Топай-ка сюда, помоги мне, а то попался тут, как индюк на шампур...

Гляжу, сидит на мшистом пригорке мужик, странный какой-то, совсем не наш. Лицо за бороду и усы спрятано. И одежда на нём странная, не наша, и вид у него какой-то не современный, а страшноватый такой, словно из американских фильмов ужасов. И, главное, взгляд, тяжёлый, будто он рыцарь средневековый крестового похода и занёс над тобой свой меч правосудия, чтобы к вере христианской пристрастить. Я, конечно, человек не из трусливых, пенсионный подполковник внутренних войск, и две войны кавказские за спиной, всякого повидал, и ксива ветерана боевых всегда рядом с охотничьим билетом в кармане на всякий случай, а вот стрёмно как-то стало мне, больно уж этот мужик был как-то сверхъестественно грозен и опасен на вид.

Вот и спросил, скидывая ижевскую двустволку с плеча:

— Ты кто такой и что тут делаешь?

Мужик осклабился тяжёлой улыбкой:

— Ты не поверишь сразу, но признаться тебе придётся, такой уж расклад выскочил мне...

Ветерок поднялся к вечеру, шелестел хвойными вершинами, душно пахло грибами, от нашего охотничьего бивака тянуло дымком и какой-то похлёбкой. Я потихоньку подходил, не спуская глаз с незнакомца:

— И какая помощь нужна?

Тот снова тяжеловато ухмыльнулся. На его смуглом лице, как мне показалось, даже ямочки, появившиеся на щеках, чудились опасными. Тряхнул кудлатой, тяжёлой головой с квадратным волевым подбородком за окладистой бородой и неожиданно мягко произнёс:

— Ты, Андрейка, лишних вопросов не задавай, а помоги мне освободиться, и всё тут... Видишь, в медвежий капкан угодил. Поторопись, а то больно чуточку...

Подойдя поближе и снова приладив ружьишко на плечо, так как никакого оружия у незнакомца не наблюдалось, увидел, что правая нога необычного человека была крепко зажата створками медвежьего капкана, который крепился на цепи и надёжно ладился под замок к стволу стоящей рядом вековой ели. В голове сразу пронеслось: “Откуда такой серьёзный капкан, тут наши с товарищем путики, наши угоды, а мы таким не балуемся... Кто же хулиганит на нашем промысле?..” Так, размышляя, приблизился к мужику вплотную, присел над его ногой в железных оковах. Показалось странным, что зубья створок впелись в ногу, в плоть людскую, а крови, обычно в таких случаях обильной, не наблюдалось. Мужик покряхтел, пронзительно глядя на меня неестественно глубокими карими глазами, и резюмировал:

— Ты там себе всякой хрени не придумывай, а давай снимай с меня вериги, да и разойдёмся по своим делам...

Схватился обеими руками за створки капкана, пытаюсь их развести, даже ухнул для усилия, напрягнул все мышцы в неслабых, тренированных гантелями руках, но так разомкнуть полукруглые зубчатые створки и не смог... Аж потом пробило по всему телу. Вырвалось:

— Что за хрень, заржавели, что ли...

Терпилец хмыкнул:

— Так вот и говорю, что сразу-то и не поверишь...

— Чему? — кряхтя и снова пытаюсь разжать створки, буркнул я.

— Да тому, что я твой ангел-хранитель...

— Не понял...

— Вот и я говорю, что ты не поймёшь, сразу. Постепенно нужно. А меня там заставляют, пора, мол, человеку полвека минуло, а он до сих пор причастия не принял...

— Какой на хрен ангел-хранитель, — вырвалось у меня с натуги, капкан необъяснимо не поддавался, хоть ты тресни.

— Ты погоди, не спеши... Вот ты ведь человек хороший, захотел мне, совершенно левому терпиле, плечо подставить, капкан с меня снять, хотя не ты и вешал его на мою ногу... так ведь? — и сам себе ответил: — Так...

Я, совершенно замороженный непонятной ситуацией и тем, что впервые не смог решить сразу, казалось бы, наипростейшую задачу, прекратил попытки разомкнуть створки капкана, присел рядом со странным мужиком на сухой мох. Солнце, уже почти скатившись к западу, нежно брызгало в глаза сквозь хвою и листья своей живительной силой тепла и радости. Какая-то лесная птица чивикала, не переставая, над нашими головами, тянуло дымком и варившейся дичью со стороны охотничьей избушки, а от сидевшего рядом с ногой в капкане — чем-то сладостным, то ли мёдом, то ли воском из далёкого и уже давно забытого детства... И тут меня рвануло:

— Какой ты на хрен ангел... Ангелы они ведь... как бабочки...

Мужик снова хмыкнул:

— Так вот, и я говорю... Какое этому придурку испытание? Ты думал, что я амурчик с крыльшками и кудряшками? А я вот у тебя такой, и крылья у меня из кованой стали, как у истребителя... Да у меня и меч есть, чтобы головы врагов твоих сечь... Да и пару гранат как-то пришлось использовать... Не готов ты ещё к испытанию. И не показатель, что две войны за плечами и полвека жизни в паспорте. Говорю им, он ещё дитё малое, неразумное, лося вот вчера завалил без лицензии, а не понимает того, что Андрейка заповедь нарушил... Не укради... А он украл у государства российского, у народа русского православного уворовал от его девственной таёжной природы. Снимай, давай, капкан с меня, и разойдёмся миром! А то если ты меня тут бросишь в капкане, не освободив, сгинешь без моего прикрытия, как в бою без артиллерийской поддержки... И вертолётов с воздуха... И патриотически настроенных депутатов в парламенте... А слабó снять-то...

Прослушав эту ахинею, я снова навалился на капкан, но опять мои неслабые усилия оказались тщетными. Плонуть, встать и пойти себе дальше к лесной избушке, где парится в казане досиная ляха, где можно прилечь на нары, расправив и ноги, и руки, и спину... Ан ведь и нет, что-то клеило меня к этому непонятному мужику, что-то злило меня ему помочь, и всё тут. А он вещал надоедливо, словно диктор из телевизора:

— Вот и я говорю, на фига я тебе сдался, там тебя и хавка ждёт, и ложе из горбыля какое-никакое... А вот пока не вспомнишь, сколько раз я тебя спасал, так и меня спасти не сможешь... А поднапряги мозги свои, паря...

И тут вдруг меня словно осенило... И с почти звериным рыком пытаюсь разомкнуть створки капкана на ноге лесного встречного, начал вспоминать...

Мне почти четыре. Отец, который меня до этого не видел, вернулся из армии, стал спать с матерью, а меня переложили на раскладушку у печки на кухне. Ударил его ночью по голове берёзовым поленом, а он меня, схватив за пижамку, спросонья хрястнул о стену со всего размаху... Выжил? Выжил. Потом через год мать сбежала от него с Севера на Украину, жили с ней в мазанке в саду у дяди Броника. Как-то ночью проснулся, мать, медсестра, была на дежурстве, стал пытаться настольную лампу включить и пальцами, чтобы воткнуть вилку в розетку, дырочки нащупывать, смертельным током долбануло... Выжил? Выжил. А уже позже в Коми, в Ачиме, купаясь с пацанами, ныряли в реку с бонов, а меня под боны течением затащило, трусы за проволоку зацепились... Выплыл? Без трусов, но выплыл. А до этого в карьере с плота столкнули, плавать ещё не умел, научился... А ещё до этого в Роси под Белой Церковью на Украине нырял с тарзанки, а ноги в воде водорослями заплело, выкарабкался, порвались водоросли...

А когда было пять годочков, от жажды с улицы наполнил из фронтовой фляжки у дядьки Вовы, который в зону песок возил на КамАЗе, зэковского чифиру, думали, помру, потом две недели в лагерной больничке меня откачивали... Откачали. А когда в драке в двенадцать лет голову амбарным замком проломил... Тоже ведь выкарабкался... Учась в университете, возглавлял студенческий оперотряд, чтобы молодой семье студентов с их первенцем в общежитии дали отдельную комнату, на одной из дискотек местные “балашовцы” ножом всего иstryкали... Выкарабкался... В армии в начале восьмидесятых на площади Брежнева в Алма-Ате, когда разгоняли местных националистов, месилово было ещё то, тоже ведь почти не пострадал... А в Афганистан вместе со всеми не попал — спроста ли? А в Чечне сколько случаев было

и с обстрелами, и с подрывами, хоть бы осколочком задело, только ухом глухим отделался от контузии... Тоже ведь не так просто, почему-то...

И тут, словно меня морской волной накрыло, вспомнилось ещё одно событие... Мне двадцать, студент университета на педагогической практике в пионерском лагере в Сухуми. На второй день, перезнакомившись друг с другом, пионервожатые, набрав местного вина, двинули на ночное купание к морю. Повеселились вволю, изрядно опьянев, кинулись гольшом купаться. Чтобы удивить сверстников, — спортсмен же! — рванул вплавать от берега, что было сил. Через какое-то время очнулся от упоения самолюбованием и вдруг понял, что не знаю, в какой стороне берег.

Костра видно не было, только волны вокруг, да над головой страшно далёкое чёрное звёздное небо. Ужас охватил всё моё сознание. Что подо мной, какие монстры плавают в тёмной морской пучине? А ещё с тех пор знаю, что, будь на мне плавки, может, и не было бы так жутко, голый человек, он многократно беззащитен. В панике, ища ориентиры, несколько раз крутанулся вокруг своей оси и ещё более убедился в полной потере координат во времени и пространстве. Неожиданно из глубин подсознания откуда ни возьмись в голове забились слова, всплывшие из раннего детства, слова, произносимые перед сном бабушкой:

— Господи, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое...

И тут вдруг над кромкой волн, между которыми болталось моё почти безвольное уже тело, готовое кануть навсегда в эту солёную пучину, блеснул луч берегового прожектора, который периодически освещал морскую пограничную зону. Во мне вновь забурились силы, и я поплыл в направлении света.

Пронеслось это всё в голове за какое-то мгновение, и вдруг хрясть — створки распахнулись, и нога лесного странного мужчины оказалась на свободе. Солнце почти скатилось за вершины деревьев, надоедливая птаха затихла. На меня снизошло вдруг такое облегчение, словно последний мешок картошки с огорода пацаном ещё скинул на телегу, а дед хлестнул белый круп Лебедко и покатил к дому с песней: “Хазбулат удалой, бедна сакля твоя...” Странный мужик поднялся во весь рост, и оказалось, что он выше меня почти на две головы, улыбнулся неожиданной доброй и мудрой улыбкой:

— Ну вот, а я не верил в тебя... Думал, ты ещё не готов... Ты ведь крепённый, не забывай... Теперь тебе осталось только в храм сходить исповедаться и причастие принять... И всё у тебя будет хорошо. Это я тебе точно говорю... Молиться только не забывай...

Глаза мои сами собой зажмурились, я встряхнул головой, открыл их и с удивлением увидел, что и цепи никакой нет, и капкана, и даже мох не примят в том месте, где недавно сидел странный человек... Человек ли? И я, как остановился, так и стою недвижимо. Лесные шорохи вокруг меня, и пение птахи, вечерние солнечные лучи, ветерок, запах близкого костра...

ТАТЬЯНА КАНОВА



ГУСТОЕ ЧЕРНИЧНОЕ НЕБО

* * *

Я когда-то умела летать!
А теперь? А теперь
крепко держит уставшая долгими зимами дверь:
распахнуть не могу, чтоб крылами её не задеть.
А летать-то охота!
Да, видно, уже не взлететь.

А глаза всё равно в небе ищут лазурную синь.
Но прогноз обещает, что будет докучливый дождь.
И с портрета уже смотрит мама:
— Гляди, не простынь!
Может, дома побудешь?
Да, может, и дождь переждёшь?

Но какое там ждать, если крылья зудят — не стерпеть!
— Мама, знаешь, поди, как безудержно тянет лететь.
И сломать бы препопу, но снова наступит зима...
Как студёно без двери, теперь-то я знаю сама.

КАНОВА Татьяна Алексеевна родилась в деревне Кольёлъ Сысольского района Коми АССР. Окончила с отличием физико-математический факультет КГПИ. Работает учителем математики в Межадорской малокомплектной школе. Публиковалась в журналах "Арт", "Войвыв кодзув", "Север", "Двина", "Невский альманах", "На любителя" (Атланта, США), альманахе "Глаголь" (Париж). Автор сборников стихов "Осиновая осень" (2002), "Немногословие души" (2008). Член Союза писателей России. Живёт в деревне Кольёлъ.

ПРОСТИВШАЯ ПАМЯТЬ

Помнишь, ты в юности с лёгкостью предал меня?
Сколько потом было в жизни обид и печалей,
сколько ошибок назло тебе сделала я....
Столько любви было выжжено в самом начале!

Долго болело и пеплом на сердце легло,
в поле судьбы разрасталось густой лебедью.
Любый мой, милый мой, как же тебя не сожгло
болью моею от горькой разлуки с тобою?!..

Времени плуг запахал эту боль в толщу лет.
Сил не жалея, на пашне борюсь с сорняками.
В сердце моём разливается солнечный свет,
и прорастает прощая память стихами.

ТИХИЙ ГОВОР

Меня не вынесло на гребень
крутой волны —
ко мне присматривалось время
из глубины.

Сквозь необъятные просторы
и груды слов
едва сочтется тихий говор
моих стихов.

А роднику про шум прибоя
и невдомёк.
Но время глыбкое порою —
лишь восемь строк.

ДЕКАБРЬСКИЕ СУМЕРКИ

Розовый снег на исходе декабрьского дня,
сумрачный лес и густое черничное небо...
В бездну прошедшего выманил вечер меня —
день растворился в потёмках, как будто и не был.

Низкое небо окутало землю теплом.
Розовым снег оказался совсем ненадолго.
Тихо, уютно... Но вечер попросится в дом:
тоже боится вчера пробежавшего волка.

Темень погасит зарю и зажжёт фонари.
Вечер сквозь дрёму посмотрит на них из оконца...
Завтра из леса ко мне прилетят снегири
вместо застрявшего в небе декабрьского солнца.

* * *

Приходит осень. Как её принять?
За стол просить? Или взашей прогнать?
Да, наглая, сама пойдёт к столу
и в красном распояшется углу.

А ну и пусть! Налью-ка ей вина!
Хмельную чарку выпью с ней до дна.
Незваная пусть будет ко двору, —
глядишь, и побратаемся к утру.

* * *

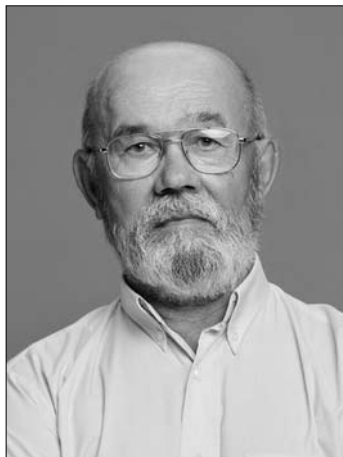
Меня от тебя оторвали земные заботы.
Я жадно цеплялась за повод, пытаюсь остаться.
И голос мой страстный сорвался на жалкие ноты,
когда мои жаркие пальцы сумели разжаться
и выпустить руку твою из горячего плена
всего, что нахлынуло с нашей нечаянной встречей.
Любовь оказалась сильнее разлуки и тлена —
люблю, оказалось.
Но тяжкою ношей на плечи
земные заботы легли и на землю вернули
к тебе полетевшую робкой надеждою душу.
Боюсь одного: что нещадно меня обманули
ослепшие очи, от счастья оглохшие уши,
что всё показалось, что всё обстояло иначе,
что робкой надежды свечу я напрасно спалила,
что я для тебя ничего в этой жизни не значу...
Я пальцы разжала и с миром тебя отпустила.

* * *

Осень платье свадебное шила,
на себя — чужое — примеряла.
Под фатой с опаскою кружила,
чтоб зима об этом не узнала.

То метнётся к зеркалу, то снова
снимет платье белое и спрячет.
Вся в лохмотьях, Осень шьёт обнову.
Не себе.
Поэтому и плачет.

АЛЕКСЕЙ ПОПОВ



ТАКИЕ ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

ДВА РАССКАЗА

ПЯТИДЕСЯТЫЕ САНКИ

Пётр Павлович считался в селе главным мастером на все руки. Остальные, конечно, тоже многое умели: кого-то называли лучшим трактористом, кто-то выделялся умением красиво говорить. Но по столярной части Петру Павловичу не было равных. Из дерева он мог сделать всё что угодно — и резную утку, и дверь для избы. Лучше всего у него выходило мастерить санки — они получались красивыми, лёгкими и прочными.

Но однажды Пётр Павлович наотрез отказался их делать. Односельчане всячески старались его умастить, уговорить, но мастер стоял на своём. И причины никому не рассказывал.

ПОПОВ Алексей Вячеславович родился в 1950 году в селе Большелуг Корткеросского района. Работал в совхозе “Вишерский”, в районных газетах “Звезда”, “Вперёд”, на республиканском телевидении, радио, в республиканских газетах. Заочно окончил историческое отделение Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина. С 2003 года по июнь 2021 года главный редактор республиканского литературно-художественного детского журнала “Искорка”. Автор более десяти книг прозы и тридцати пьес. Повести и рассказы печатались в журналах “Север”, “Сельская молодёжь”, “Мурзилка”, еженедельнике “Литературная Россия” и др. Прозаические произведения и пьесы переведены на марийский, удмуртский, татарский, чувашский, коми-пермяцкий, хакасский и другие языки народов России, а также на финский, французский, болгарский, эстонский и венгерский языки. Член Союза писателей России. Награждён нагрудным знаком Министерства культуры РФ “За достижения в культуре”. Заслуженный работник культуры Республики Коми, заслуженный работник культуры РФ. Народный писатель Республики Коми.

А произошло всё очень давно, когда Пётр Павлович пробовал делать свои первые санки. Где-то пять штук всего смастерил к тому времени. И вот пришился ему один сон — будто заходит к нему во двор очень некрасивая женщина. Наверное, сама Смерть. А Пётр Павлович как раз во сне санки делал. И чувствует он, что в спину впился чей-то острый взгляд. Поворачивается, а там стоит та самая некрасивая женщина. Рта не раскрывает, но слова звучат в голове: “Сделаешь пятидесятые санки и сразу же умрёшь. Вобьёшь последний клин — упадёшь замертво”.

После этого прошло много лет. Каждый год Пётр Павлович делал по несколько саней — и вот настала очередь пятидесятих. И вот их он мастерить отказывался. Что бы ни говорили, отвечал: “Не буду, и всё тут!” Но недавно дочка снова принялась выпрашивать:

— Папа, когда ты нам новые санки сделаешь?

— Старые ещё хорошо ходят, — ответил Пётр Павлович.

— На старых вдвоём не покатаешься! Одного посажу, а другого на руках нести, что ли? — упрямилась дочь.

У Петра Павловича подрастали двое внуков. Ели хорошо, крепкие вымахали. Таких даже взрослый мужчина еле поднимет, что уж говорить о худышке-дочери. И вот Петру Павловичу уже второй день не спалось. Он даже сердился на некрасивую женщину из сна — ведь только из-за неё всё так получилось. Потом Петру Павловичу пришла в голову дельная мысль — смастерить двое санок одновременно. Детям ведь всё равно одних не хватит, да и таскать сразу двоих мальчиков дочка не сможет. А так пусть одного катает она, а второго... Да хоть бабушка. Позовут её — и дело с концом.

Через несколько дней пара маленьких санок была почти готова. Пришло время заколачивать последние клинья. Поставил Пётр Павлович санки перед собой, вставил в них два клинышка. Потом взял по молотку в каждую руку и одновременно ударил. Так получились у него не пятьдесят санок, а пятьдесят один.

Но страх всё равно не отпускал — сердце бешено билось до самой ночи. Пётр Павлович всё сидел и смотрел в окно, вглядывался в зимнюю темень. И в какой-то момент почувствовал на себе тот самый острый взгляд. Обернулся — и может быть, почудилось ему, но увидел в углу дома ту самую страшную женщину. С очень злым лицом — видать, разозлилась, что её перехитрили. На этот раз она ничего не сказала — просто исчезла. А Пётр Павлович и поныне жив. Говорят, готовится делать свои сто десятые санки.

СНОВА ВСТРЕТИЛИСЬ

Иван Яковлевич, сельский учитель литературы, после каждой ссоры с женой уходил в соседнюю комнату и подолгу там отсиживался. В семейной жизни всякое бывает — так-то супруги неплохо жили, но и без ссор не обходилось. Жена находила какой-то, по её мнению, веский повод и начинала ругаться почём зря: и назовёт мужа по-всякому, и былые поступки приплетёт. Даже те, которых не было. Такой вот у неё характер. Усядется потом Иван Яковлевич в соседней комнате и вспоминает прошлое. Больше всего, конечно, думает о своей Гале. Так и стоит перед глазами её радостное лицо, блестящие глаза и нежный голос. Иван Яковлевич начинает себя корить, думать, почему же он расстался с той самой, единственной. Жили бы сейчас душа в душу!.. Уж Галя бы не стала ругаться на него так, как нынешняя жена...

Познакомились они во время учёбы. Такую живую, милую девушку Иван за свои сорок пять лет больше не встречал. Как же теперь себя не корить? Они были, словно две половинки одного целого. Останутся вдвоём, и Галя принимается ему что-то рассказывать, да так увлечённо! Словно ничто на этом свете её не тревожило. Всегда шутила, резвилась. Любую проблему могла решить. Ване с ней жилось очень легко. А как крепко, но в то же время нежно Галя его обнимала! Никто больше так не умел. Интересно, повезло ли кому-нибудь заполучить её в жёны? Иван Яковлевич

ведь так и не сумел довести их отношения до свадьбы. После университета Галию отправили работать в село, далеко-далеко. Иван к ней, конечно, даже съездил. Один раз. Галя ему тогда сказала, чтобы он с ней оставался и в местной школе преподавал. Но Ивану этого не хотелось. Вернулся обратно. Обещал Гале, что в следующий раз навестит её и уже хорошенько всё обдумает. Но второго раза не случилось. Погряз в работе, да и дорога до любимой какой-то слишком долгой казалась. Потом и Олю повстречал, свою нынешнюю жену. Всё пошло не так, как хотелось бы. Так думал Иван Яковлевич после каждой ссоры с супругой. Где сейчас его Галя? Как живётся ей без него?..

Шёл год за годом. Воспоминания не поблёкли, наоборот — стали гореть в сердце ещё ярче. С каждым днём Иван всё сильнее и сильнее жалел о своём поступке. И вот три года назад он нашёл Галино фото в газете. Статья была хвалебная. Кроме прочего, в ней упоминалось о том, что Галине предложили какую-то важную работу в столице. После этого фотографии бывшей возлюбленной стали появляться в газетах чаще. Год назад опубликовали новость, что Галину назначили на очень важный пост. Смотрел Иван Яковлевич на эти статьи, фотографии и вздыхал. Он был уверен, что Галина до сих пор осталась такой же ласковой и неумолимой. Наверное, за это её так и ценили на работе.

И вот захотелось Ивану Яковлевичу всё же увидеть Галию, хотя бы раз. Он знал, что былого не воротить. Но можно же хотя бы посидеть, поговорить, посмеяться, вспомнить молодость. В нынешней жизни ему этого очень не хватало. Около года он вынашивал мысль о том, что надо увидеться с Галей, но только вчера нашёл причину, чтобы отпроситься у жены и поехать в город. Прямо с гостиничного телефона позвонил Гале. Из-за её важной должности номер нашёлся быстро.

— Галя! — радостно отозвался Иван Яковлевич, когда услышал на другом конце провода женский голос.

— Это Вика. У нас никакая Галя не работает.

— Как это не работает? А с кем я разговариваю?

— Я секретарь Галины Викторовны.

— Прошу прощения. Я сельский человек, вот из головы все приличия и вылетели. Мне как раз Галина Викторовна и нужна. Соедините с ней, пожалуйста.

— А как вас представить, кто звонит?

— Ваня Куштысев. Она меня знает. Пожалуйста, соедините побыстрее.

На проводе некоторое время воцарилось молчание. Потом снова прорезался Викин голос:

— Галина Викторовна сейчас занята, не может говорить.

— Как это не может?

— А вы вообще по какому вопросу звоните?

— Собственно, ни по какому... Увидеться хочу.

Раздались короткие гудки. Иван Яковлевич был ошарашен. Но потом, немного посидев, понял, что Галя стала человеком высокого полёта. Наверное, чтобы к ней попасть, нужна веская причина. Придумав какой-то повод, Иван снова позвонил. Выслушав его, Вика через некоторое время сухо ответила:

— Приходите завтра, в тринадцать часов. Вам выделили пять минут.

— Пять минут?

— У Галины Викторовны очень плотный график. А ваш вопрос можно решить за пять минут.

И на другом конце провода снова зазвучали короткие гудки.

Всего пять минут? За это время даже чашку чая выпить не успеется. Видимо, Галя всё-таки не поняла, кто звонит. Ничего, завтра она его увидит, и тогда всё изменится. Пять минут превратятся в целый час, за который они успеют вспомнить былое.

На следующий день Иван Яковлевич пришёл в приёмную намного раньше назначенного времени. На входе вроде бы проблем не возникло, но все его паспортные данные переписали в специальный журнал. Иван нашёл нужный кабинет и представился секретарше Вике.

— Входите, Иван Яковлевич. Помните, что у вас всего пять минут.

Иван попытался изобразить на своём лице нечто вроде маски радости и шагнул в кабинет. В просторном помещении стоял длинный стол, в дальнем его конце восседала Галя. Много лет прошло, но черты её лица всё ещё можно было узнать.

— Здравствуй, Галенька, — Иван еле сдерживался, чтобы не броситься к ней с объятиями. Он ждал, что Галина вскочит из-за стола и побежит к нему навстречу. Но она лишь бросила на него быстрый взгляд и не сдвинулась с места.

— Подойдите. Вот ваш стул, — прозвучал холодный голос из-за стола.

Иван Яковлевич сел и, вздыхая, усталился на Галю.

— По какому вы вопросу?

— Неужели ты меня не узнала? Это же я, Ваня Куштысев.

— Узнала. Чем мы можем вам помочь?

— Мне никакая помощь не нужна. Я лишь увидеть тебя хотел. Вспомнить наше прошлое.

— На такие дела у меня нет времени.

— Как это нет? А помнишь, Галя...

— Прекратите, Иван Яковлевич.

— Что прекратить? Помнить про твои объятия? Или же вообще стереть прошлое из головы, не вспоминать его?

— Вспоминай. Но без меня.

Иван Яковлевич пытливо заглянул Гале в глаза, но ничего, кроме строгого выражения, в них не увидел. Тогда он отодвинул стул, встал и вышел из кабинета.

— Помогли? — спросила Вика.

— Помогли...

Перевод с коми Анастасии Поповой

ИНГА КАРАБИНСКАЯ

ЛЁТНОЕ

Сказано, спето и сыграно всё возможное,
Не тяготит молчанье, не ждут друзья.
Ангел-хранитель стиснет у врат таможенных:
Дальше ему нельзя. Никому нельзя.

Дальше с тебя испросят за всё сохранное,
Прочее сбросят росчерком со счетов.
Ты, почитавший аэропорты храмами,
К взлёту готов. Да, в общем, давно готов.

Помнишь, хотелось верить во что-то вечное,
В доброе и разумное, чёрт возьми!
Нажил себе балластом добра заплечного,
Кто бы подумал, сколько же с ним возни.

Всё примерялся жить — широко и с пользой,
Всё выверял — то выгоду, то престиж.
Хватит, рождённый ползать, уже отползали —
Здесь без билета тоже не полетишь.

Здесь проходные те же, таможни, кассы ли —
Толпы людей и не с кем поговорить.
Впрочем, да что я... Жизнь получилась классная.
Надо её при случае повторить.

КНИГА ЛУЧШЕ

В хорошей книге должны быть любовь и смерть,
И им присущие пара больших безумий,
И прочих сил гремящая круговерть,
И нечто высшее, что не равно их сумме.
Хорошей книге приличествует печаль,
Как горный выдох, вдоху, увы, не кратный;
И путь, ведущий из тьмы к маякам начал:
От смерти к любви — и почти никогда обратно.
И всё, что я позволю себе посметь,
Поверить ей, как верят в счастливый случай.
В хорошей книге должны быть любовь и смерть —
Почти как в хорошей жизни. И даже лучше.

ОЛЬГА ХМАРА

* * *

Мужу

До первого снега душа навсегда повзрослела.
И самое время вернуться нам с передовой.
Мы старыми стали с тобой, дорогой мой Акела,
Израненный мой. Наконец-то — мой непризывной.

И правим свой быт повседневный, и делим излишек:
Тепла, доброты, драгоценного света в окне.
Но вот — похоронки идут и идут на мальчишек.
И множится счёт в этой немилосердной войне.

Кричать по ночам не разучишься, старый вояка.
Глотай корвалол. И гляди не мигая в стакан.
Она без тебя завершится, та страшная драка,
Где надо стрелять, не колеблясь, в таких же славян.

Никак не уймутся великой беды почтальоны.
И где-то в ночи сына ищет безумная мать...
...Идёшь в Военторг и опять покупаешь погоны.
А я их в шкатулку вновь прячу. Опять и опять.

НИНА ОБРЕЗКОВА

ЛЕДОХОД

Ты видел, как весной лёд вскрылся на реке?
Гладь раскололась вдруг,

и вот тяжёлый пласт

Пошёл — один, другой, — исчезнув вдалеке,
Течением гоним.

Куда — ответ кто даст?

Не ведает никто, что ведает вода.

Там где-то нужен лёд,

там не растёт трава...

А нам-то ни к чему душа скупая льда —

Другой породы мы,

иного мы родства.

А впрочем, мы с тобой бог весть чего хотим!

А может, даже Бог не ведает того,

Что род людской уже с водой не побратим,

Давным-давно с водой

потеряно родство?

Так ты не видел, как лёд вскрылся на реке?

Как, тяжело дробясь,

вдаль уплывали льды?

Как льда хрусталь померк, исчезнув вдалеке?..

Время сильнее нас —

время большой воды.

ВРЕМЯ НЕВИДИМЫХ РЕК

Это время, когда оживают
Невидимые прежде реки.
Бойся их,
Потому что земля
Под ногами дрожит.
И зовут эти реки, и манят,
И вот уже мы иссушаем
Иступленьем своим те, что ближе,
И те, что родней.
Только где ж зачерпнуть
Исцеляющую раны воду?
Только бьётся вчерашней реки водоверть...
Это время
невидимых
рек.

Перевод с коми Валерии Салтановой

АНЖЕЛИКА ЕЛФИМОВА

* * *

Спать вроде рано. Выпить что-то не с кем.
Смотрю в окно я на ночную мглу.
Истрёпанный от чтенья Достоевский
Валяется забытый на полу.

Стихи мои, что я не написала,
По осени бредут туда-сюда.
И нет меня. Как у стихов начала.
И не было как будто никогда.

* * *

Тем, кто верит в рай, достанется в будущем рай,
Тем, кто в рай не верит,
Достанется что-то иное.
А сегодня красивое небо, хоть летай.
А за небом ещё красивей оно —
От покоя.

Не умею ещё любить тебя — быть вдвоём
Лишь учусь. Различая оттенки небесной сини,
Верю, что останусь когда-то в доме твоём
Мудрым сердцем,
Как в бруснике таёжной —
Сладкий иней...

Перевод с коми Андрея Попова

АЛЕКСАНДР ШЕБЫРЕВ

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМ

Охнув,
 как напуганная баба,
Дом упал —
 настали, видно, сроки,
Осторожно
 повалился набок.
Не живётся долго
 одиноким!

Был Касьян — хозяин!
 Только к Богу
Отошёл.
 За ним — его старуха.
Дом упал
 от полной безнадёги,
Не хватило
 на терпенье духу.

И угасли
 от безлюдной стыни
Все надежды,
 что горели слабо.
— Жизнь такая
 да сгорает синим
Пламенем! —
 И повалился набок.

Перевод с коми Андрея Попова

АЛЁНА ШОМЫСОВА

ЮЖНОЕ ОКНО

Время отмечалось по прохожим...
Точно давний бессловесный друг,
было нашей бабушке погожим
днём окно, глядящее на юг.

Начинали сумерки сочиться
на исходе гаснувшего дня —
принималась бабушка молиться
и крестила истово меня.

Жаль, она не знала, что когда-то
вырастет часовня за стеклом...
Может быть, поверила бы свято
в Божий свет и над родным селом...

Сквозь прозрачный ситец занавесок
та часовня из окна видна
на руках горы, где перелесок
переходит в синеву без дна.

Отмотать к началу невозможно
прожитого времени кино...
Как ночами бабушка тревожно
вглядывалась в чёрное окно!

Переводы с коми Андрея Расторгуева

ОЛЬГА БАЖЕНОВА

* * *

Вернусь я, как ветер,
Что лёгок и светел —
О, как истомилась, тоскуя, природа!
Ты ждёшь, ты скучаешь...
Но верь мне: на свете
В награду за верность приходит свобода.

Свобода почувствовать вкус поцелуя,
Что губ нецелованных влажно коснётся.
Вернусь не однажды — вновь ветром приду я,
И сердце твоё, как окно, распахнётся!

Перевод с коми Валерии Салтановой

НАТАЛЬЯ СТИКИНА

ПЕТЕЛЬКА

Подвела дурёха-память...
Не смогла признать тебя
Среди тысячи признаний,
Среди тысячи воззваний.
Мне бы быть с тобой, а я

Распустила, словно шарфик
По петле, на пустяки.
Среди тысяч одиночек,
Среди тысяч многоточек
Всё назло, да вопреки.

Шерстяною ниткой вилась,
Да не грея, не любя.
Потому и отступилась,
Потому и отступилась,
Открестилась от тебя.

ПАМЯТЬ

Память, кажется, сделалась тоньше,
Словно новый мой волос седой.
Чтоб не стало мне в будущем горше,
Ты опять колыбельную спой.

Пусть не здесь, а оттуда — не важно —
Прозвучит этот хрупкий мотив.
И последняя нота протяжно
Мне напомнит, что всё ещё жив
Тот чарующий миг откровенья
Детских снов, где нет хмари и туч,
Где улыбка твоя, без сомненья, —
Это тоненький солнечный луч.
Мне не надо от памяти ленной
Больше, чем помнить ласковость рук,
И в себе задержать колыбельной
Исчезающий, тающий звук.

ГРИГОРИЙ СПИЧАК

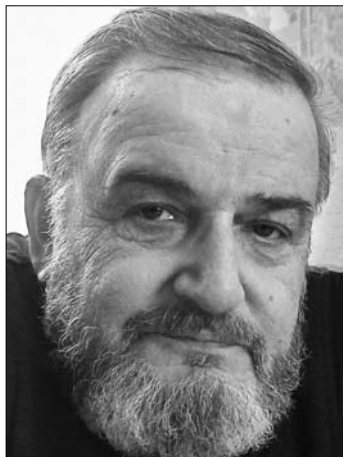


ФОТО В МУЗЕЕ

РАССКАЗ

Писатели — не пенсионеры, даже если они пенсионеры. Это факт. Как не пенсионер, например, священник или монах. Даже если он пенсионер. Потому что служение их одинаково: не за пенсию и не до пенсии, а до смерти. Или до вечности. Как уж там Господь рассудит.

Седовласый и уже согбенный, но ещё в меру бодрый, не пенсионер Гаврилов оказался в родном районе с телевизионной съёмочной группой в роли консультанта. Знакомый режиссёр попросил помочь ребятам. Так почему бы нет, если есть ещё и возможность посетить родные края?

Мартовский денёк съёмки был насыщенным, весенний ветер и слепящее от бликов на снегу солнце утомили съёмочную группу быстро. Есть такая особая усталость глаз от избытка света и от непрерывного заветривания. Обед надо было бы организовать не на час, а часика на два всё-таки. Надо немного отдохнуть глазам — именно глазам. К счастью, обед на два часа получился как-то сам, сложилось так. Потому что прямо перед трапезой надо было успеть заскочить в школу, чтобы забрать музейные фото, и неожиданно в школе все они задержались почти на час. Тот самый дополнительный час для усталых глаз.

Школа была знакомой — в ней сразу по окончании университета Гаврилов работал один год учителем. Давно уже это было — тридцать шесть лет назад.

СПИЧАК Григорий Иванович родился в 1960 году, издал несколько книг прозы и одну книжку стихов, печатался в журналах "Наш современник", "Юность", "Север", "Дон", "Колокол" (Великобритания), "Глаголь" (Франция) и других, международных, федеральных и региональных альманахах, в газетах "Литературная Россия", "Литературная газета", "Наш век". Член Союза писателей России. Живёт в Сыктывкаре.

Группа телевизионщиков зашла в школу без аппаратуры, просто из любопытства, благо, уроки уже закончились, смутить своим появлением они уже никого не могли, разве что старых учителей, которые радостно и ошеломлённо встречали писателя Гаврилова. Ведь это он, тот самый, о котором десятки лет тут вспоминают, который когда-то вот тут, вот в этой маленькой учительской, хвастался первыми своими рассказами, выходившими в республиканских газетах того времени немислимыми тиражами за сто тысяч экземпляров. Теперь на-ка: “Приехала вот знаменитость: здарсьте — потолок покрасьте!” Учителя с шутливыми упрёками о том, что “забыл”, “зазнался”, “смотрите, какого к нам дяденьку занесло!”, хлопотали в учительской, приглашая и Петра Павловича, и всю съёмочную группу к чаю. Но учителя прямо с порога выслушали просьбу о музейных фото, которые точно есть в их школьном музее, и сразу повели в музей. Хрупкая худенькая, как в молодости, учительница русского языка и литературы Валентина Николаевна и по-комсомольски строгая математичка, другая Валентина, Михайловна, и “тёплый Колобок” — улыбчивая и пухленькая Раиса Сергеевна — все они, постаревшие и уже не звонкие, как в молодости, потащились показывать и рассказывать телевизионщикам “про наше”. Честно говоря, телевизионщикам-то что? Они шли из вежливости. Да и просто отдыхали. Глаза, выжженные солнцем за дорогу да за четыре часа работы среди ослепительных снегов, теперь просто остывали в тени музея.

С фотографиями разобрались быстро. Школа щедро поделилась на время съёмок несколькими экземплярами (на условиях возврата, конечно). А потом раздалось:

— А хотите на молодого Петра Павловича взглянуть? — шаловливо организовала “сюрприз-и-из” Валентина Николаевна, вдохновенно ожидая реакций удивления и от Павла Петровича, и от съёмочной группы. — Вот он у нас! В тот год, когда работал. Редкое фото! Небось, такого и у тебя, Пётр Павлович, нет?

Группа и сам Пётр столпились у стенда, на котором были фото 80-х годов прошлого столетия. Ещё чёрно-белые, ещё эпоха СССР, ещё тогда, когда количество учеников в этой школе было почти в три раза больше нынешнего.

На фото стоял учительский коллектив возле кадучки с фикусом.

Человек пятнадцать учителей радостно улыбались, глядя на снимающего их фотографа. Они ещё не знают дурацкого: “Скажи: “чи-и-з...”, — они ещё улыбаются потому что улыбаются — потому что весна, солнце и молодость. Да, это тоже была весна. И Гаврилов помнил, как приходил фотограф и как фотографировались, но на снимке... был не он. Точно не он. Это был человек отдалённо (что самое обидное) похожий на него, работавший тогда то ли инструктором в райкоме комсомола, то ли в спорткомитете райисполкома. Гаврилов помнил лицо, но не помнил ни фамилии, ни должности его. Наверное, тот человек и поработал-то так же, как и сам Гаврилов, один год. Время в конце 80-х было временем активных перемещений — люди перемещались и по должностям, и по карьерной лестнице, и географически. Вот и Гаврилов уехал тогда через четыре месяца после фотографирования у этой кадучки.

Фотографировались — да, но на этом снимке был не он.

— Это же не я, — сказал он учительницам. Они засмеялись. Дескать, да ладно — все мы изменились.

— Ну, точно вам говорю! Я ж выше ростом вот Валентины Николаевны, — Гаврилов подвинулся к самой филологине и показал, что, даже сильно сутулившийся сейчас, он всё равно на полголовы выше Валентины Николаевны. — А вот этот парень прям с нею почти одного роста. На два пальца, может, выше... Да и как не видно-то? У меня и куртки такой никогда не было.

— Не смейся, — загалдели учителя. — Вон как ты любезничаешь в кадре с Мариной Сергеевной — химичка твоя любимая.

Дальше было уже совершенно неважно, какие аргументы находили учителя. Потому что Гаврилову и съёмочной группе как-то сразу стало понятно:

учителя хотят, чтобы это был он! Им важно, что у них есть фотодокумент присутствия писателя Гаврилова в истории их школы. Гаврилов не спорил дальше совсем. Но не потому, что его забили своим эмоциональным гвалтом учителя, а потому, что он на секунду пересёкся взглядом с телеоператором группы и понял, что тот тоже всё понял. Остальные телевизионщики — и молодая репортёрша, и ассистентка, и водитель машины — просто деликатно молчали и, как показалось Гаврилову, немного нарочито переключали интерес учителей своими вопросами уже на другие фото и на другие экспонаты.

А потом за чаем и разговорами уже о сюжетах, которые снимали в этой поездке, час в школе пролетел незаметно. На прощание, уже в дверях школы, учителя ещё несколько раз натужно хихикали: “Ну, шутник Пётр Павлович, свою любовь, Марину Сергеевну не узнал. От себя отбрыкивается. Может, ты и в нашей школе не работал?” Было понятно, что их волнует — есть их школа в судьбе Петра Гаврилова или нет? Свои они для него или уже потерялись где-то в нагромождениях событий, как потерялись десятки других учителей и, наверное, сотни учеников?

Прощались, однако, тепло. Гаврилов теперь пообещал специально приехать на встречу, на спокойный обстоятельный разговор. “Не зовёте — вот и не приезжаю, а позовёте — приеду”, — нашёл он свой “козырь”. А в машине с телевизионщиками тему “чужого фото” они всё-таки продолжили.

— Надо же, как важно им единство судьбы с вами! — молодая репортёрша Верочка прямо другими глазами смотрела теперь на Гаврилова. — Как они хотят этого!..

— Ой, Вера, не надо. Всё грубее, жёстче и зримее. Они в пустоте. Городок разваливается, школа пустеет. Забыты всеми и вся. В учительской две тысячи триста пятьдесят седьмая сколка на одну и ту же тему, и обиды друг к другу из какого-нибудь 1992 года. Или из 2004-го, например... Вы не знаете жизни учительских, Верочка. Лестно мне их внимание, но у этого внимания совсем не та природа, о которой вы думаете... Это природа всё той же тоски о смысле жизни. Всё тот же вопрос — что в жизни было главное, а что — второстепенное? Люди, события, уроки... Страна невыученных уроков. Там, в музее, помните фото мужичка, погибшего на специальной военной операции? И ещё один там есть — в Чечне погибший. Помните? Того, который в Чечне погиб, я не помню. Наверное, он или сильно изменился, или он всё-таки учился на момент моей работы в начальных классах. А вот “вагнеровца” я помню. Вот помню я его! Восьмой класс. Пакостник был знатный. По тюрьмам пошёл — и этому я не удивился. И вот, глянь-ка, как судьба развернула. Взяли его в “Вагнер”. И награды. И погиб героически. Я к тому, что и в школе, и после школы он был “вне главного”. Но на главное вдруг вышел. По высшему счёту — вышел и занял место на стенде... И я нужен им там не более, чем отблеск причастия их к каким-то состоявшимся по более крупному счёту событиям и людям.

А про себя не пенсионер Гаврилов думал с ещё большим сарказмом: “Экспонат. Это как после поездки по границам: “Вот я и пирамида Хеопса”, “вот я и Рейхстаг”, “я и восковая фигура Пола Маккартни”... Неважно. “Я и овраг, где прятался Чапаев”. И я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, да в рот не попало... Телевизионщики рассуждали между собой и будто пытались успокоить в чём-то их старого консультанта Петра Павловича. Они говорили о том, что ведь и в учебниках выдуманное изображения, подобия. Что вообще-то даже иконография вся — это схема, условный образ. Кому нужна фотографическая точность и буквальность положения фигур на доске истории?

— И история наша тоже, — грустно поддакивал Гаврилов, — и история, и Отечество со схематичным примерным изображением. И мы в итоге примерно думаем, — это примерно мы и что есть примерный смысл.

— Ну да, — с готовностью поддакнул оператор, — как примерный смысл был у “ума, чести и совести нашей эпохи”. Как примерный смысл “холодной головы и горячего сердца”. Это же природа фантиков. Для вас открытие что ли? Как-то я даже удивлён.

Дальше бубнили и бубнили по кругу исторической и научной историографии, подтверждая сами себе, что знания наши “индексны”, что всё по большому счёту только символы, знаки, статусы. Как в компьютерной игре. Об этом же фильм “Матрица”.

Только интонации разговора становились всё глуше и безрадостнее. Остаток дороги молчали вообще.

На прощанье Гаврилов то ли спросил, то ли наказ дал:

— Вы не бойтесь нейросетей. Это тоже условно. Как было и до них... Как было всегда.

СЦЕНА СЕВЕРА

ПОЭТИЧЕСКАЯ МОЗАИКА

ДЕНИС ПОПОВ

НА РАССВЕТЕ

И Господу утро иное —
гляди! — достаётся с трудом:
румянится небо льняное,
в росинках поля, от и до,
что пот на Господней рубахе.
Сымай, Боже! К речке айда!
И брызнули в стороны птахи,
как будто речная вода.

* * *

Ни с того ни с сего поутру
я, себя не стесняясь, заплакал.
Может, ангел провёл по нутру,
словно ветер по стенам барака,
вдруг ладонью. Иль что там у них
вместо рук, у посланников Божьих?..
Ни похмелья, ни мыслей дурных,
как проснулся, не чувствовал кожей.
Но заплакал... И, глядя на свет
сквозь окно, улыбался кому-то.
Точно видел во сне: смерти нет!
Есть другое, Небесное утро.

ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВ

* * *

Поверхность озера, как будто тонкий лёд,
Гладь неподвижна. Тихо! Если звякнет где,
Невольно рыба вздрогнет. Вздрогнет и вздохнёт —
И светлые круги увижу на воде.

И небо, как во сне, мне ляжет на ладонь.
И надо уходить. Но задержу уход.
Смотрю, как замирает медленно огонь.
Костёр мой вздрогнет, догорая. И уснёт.

И снова мыслей начинается разброд —
Всю жизнь увижу в них за несколько минут.
Невольно сердце вздрогнет. Вздрогнет и вздохнёт —
И светлые круги по памяти пойдут.

Переводы с коми Андрея Попова

ВЛАДИСЛАВ СУШКОВ

* * *

Как по Вычегде по реке
Где пушистые облака
Приезжает моя любовь
Уплывает моя тоска

Облака скользят надо мной —
Не причёсана круговерть —
Я протягиваю тебе
Берегов надёжную твердь

Сквозь порожний сквозь птичий гам
Сквозь шумливый берёз испуг
Ты не можешь не разобрать
Неспокойного сердца стук

Ты беги набегай волна
В ритме пульса стучи скользи
Потому что река одна
На земли и на небеси

Не бывает других дорог
Не бывает судьбы иной
Обопрись о мою ладонь
Я встречаю тебя весной

* * *

А таких, как я, — на пятак кило.
И, наверное, что-то ещё на сдачу.
...Но весной голову унесло,
и сажу, строгаю себе весло,
чтоб опять отправиться наудачу.

Если просто плыть — ведь куда ни шло?
Просто по течению — ведь не слишком?
И весло — оно небольшое зло?
Да и, в общем, какое оно весло?! —
мелочишка, в общем-то, так, веслишко...

А здесь держат за ноги — и вообще,
словно жучки с внучками — друг за дружку.
...Я сажу, строгаю, хотя вотще:
в негустом и мутном речном борще —
только щепки и кольца древесной стружки.

Вот сорваться б, вырваться всем назло!
Вот послать к чертям эти сказки-репки
и вперёд! Снесло — значит, повезло! —
Помогай мне, Господи и весло! —
обгонять неслышно листву и щепки.

ВИКТОРИЯ НАУМЕНКО

“И РОЖДАЕТСЯ БЛЮЗ”

И когда пустота по фигуре села,
Как садится на вырост хранимый фрак,
Это вовсе не значит, что плохо дело:
Всё должно было кончиться именно так.

Что страшило — смешит, и мельчают драмы.
Отсырев, не горят, а гниют мосты.
Каждый гость, каждый зритель и гвоздь программы
Ясен, прост, предсказуем до тошноты.

Ты рассыпал весь бисер, свиней распродал,
Пожелав долгой жизни и всяких благ.
Знаешь брод, но уже не суешься в воду:
У тебя на счету каждый вздох и шаг.

Так сидишь в тёмной кухне почти крылатый
И свободный от всяких возможных уз.
Для тебя нет ни правых, ни виноватых.
И звенит тишина.
И рождается блюз.

МИХАИЛ ЕЛЬКИН

* * *

В августе спелостью переполняется воздух.
Июль благодушный, как располневший гусак,
Медленно скрылся за лесом — куда-то в овраг.
Ночи стали темнее, чтоб созрели звёзды.
В августе созревают звёзды. Раньше никак!
Столько в лесу ягод! И благодатно, как в храме!
Ягоды рву горстями. Кланяться им привык.
Звёзды вижу на небе. Звёзды и под ногами!
Звёзды северных ягод — брусник и поленик...
В роще поёт рябчик — слышу весёлые трели.
Видно, влюблён, счастливый. Видимо, навсегда.
Вправду ли я когда-то счастлив был? Неужели?
Может, ещё буду — только созреет звезда.
И на лесной поляне лягу — в небо взглядеться.
Долго живите, звёзды! Долго и заодно.
Августом,
Августом,
Августом зрелое сердце,
Словно первой любовью, словно счастьем, полно.

* * *

Туесок поставлю у порога
С гроздьями созревшими рябин,
Пусть светлее станет хоть немного,
Дом, в котором я живу один.
Дом, в котором я с печалью дружен,
Хоть не стар. Но если верить снам,
Всё прошло... Никто совсем не нужен!
Да и никому не нужен сам.
Но живу! Пока что ноги носят.
Не раскис я от неразберих.
...Жизнь идёт по улицам, как осень,
Не жалеет красок — никаких!
И смотрю с надеждою и верой
На сентябрь и на рябин огни.
На душе порой темно и серо.
Но и золотые вижу дни!

Переводы с коми Андрея Попова

АЛЁНА СТАРЦЕВА

* * *

Соберу я росу, из неё и тумана
Я рубаху свяжу с тайной мыслью о том,
Что, надев её, лебедью белою стану —
Улечу на край света я Млечным Путём.

От людей улечу я — сквозь муку ночную —
На забытую пристань, где спят облака.
Буду жить и смотреть там на воду речную,
Отраженье твоё не мелькнёт в ней пока.

Переводы с коми Андрея Попова

АНАСТАСИЯ СУКГОЕВА

ЦВЕТУЩИЙ ЁЖИК

Однажды ночью тёмной,
Морозною зимой
Родился ёжик скромный
Под старою сосной.

Он был, как все ежата:
Нос, лапы, голова,
И ушки чуть прижаты,
Но вместо игл — трава.

Пусть колются снежинки,
И воеет ветер злой.
Почешет ёжик спинку —
Запахнет, как весной.

“Такого не бывает!” —
Твердит лесной народ.
А ёж о том не знает,
Он ходит
и цветёт...

ЭВЕЛИНА ПИЖЕНКО

РУБАШКА

Дождило. Небо словно кто-то сглазил.
Весь день из-под резиновых сапог
Летели комья чавкающей грязи,
И тоненький сиреневый платок

Промок насквозь, на худенькие плечи
С густой копны сползая без конца.
Приветливо кивая редким встречным,
Шла женщина: с усталого лица

Стирали дождь озябшие ладони.
От дома к дому... Крайние дворы —
И опустеет сумка почтальона.
Не по себе... Не слышно детворы,

Спугнуло всех погодой невесёлой,
В округе — лишь дождинок голоса.
Как будто вымер маленький посёлок...
Последний дом. Последний адресат.

Почтовый ящик на резной калитке,
А во дворе, над жухлою травой,
Висит мужская, мокрая до нитки,
Рубашка на верёвке бельевой.

Рабочая, из клетчатой фланели,
Та самая... По краю подола́,
Чужим глазам заметна еле-еле,
Подпалинка, что второпях прожгла

Она... Хозяин приходил с работы
В их общий дом... Уставший и родной,
Рубашку ту, пропитанную потом,
Снимал... Не сомневалась: ей одной

Принадлежит незыблемое счастье.
...Да в гости “синеокая беда”
Нагрянула. Ждала — пройдёт... Напрасно.
В рубашке этой и ушёл тогда.

Вещей не отдавала не из мести,
Надеялась: когда-нибудь придёт,
А там... Но горьких дождалась известий:
Повестку получила на развод.

Не соглашалась долго, но не вышло...
И снова горечь сердце обожгла,

Когда открытку от свекрови бывшей
На новый адрес мужа принесла.

Привычною дорогой, как на плаху,
Теперь ходила с почтой день за днём.
В чужом дворе знакомая рубаха
Сушилась по субботам... Жгло огнём,

Раскалывалась на две половинки
Душа... За тем окном — чужой уют...
Но там чужие руки из машинки
Привычно, раз за разом, достают

Рубашку ту... Вернуть бы всё, да разве
Доверила б кому свои права?
Чуть мыльца, голубой с цветочком тазик...
И всю — руками!.. Полы, рукава!..

Стирала бы заботливо, любовно,
Чтоб с выжатой — кристальная вода!
А после, отутюженную, ровно —
На плечики... Да только никогда

Тому не быть. И надо же — не рвётся!
И пуговицы те же, как ни глянь...
С годами только выцвела на солнце
Прочней любви фланелевая ткань.

...Газету — в ящик. Под ноги не глядя,
Шла быстро прочь по улицам пустым.
Себя корила: “Старой тряпки ради
Тревожить сердце?! Сожжены мосты!”

Домой! Уже пришли из школы дети,
Скорее — к ним!.. Не думая о том,
Как их отца рубашку треплет ветер
В чужом дворе под проливным дождём...

НАДЕЖДА ПАВЛОВА

* * *

Мой город как река, что не спеша
В ночных просторах волны света катит.
Куда плывём по городу, душа?
Куда же направляется наш катер?

Многоэтажный дом, как пароход,
Плывёт навстречу сквозь густые мраки,
Указывает жизни поворот
Ему фонарь серьезный, словно бакен.

А мы, душа, куда мы держим путь?!
Какие ищем чувства и потери?
Пора нам повернуть иль утонуть?
Или найти родной высокий берег...

Переводы с коми Андрея Попова

ДМИТРИЙ БЕЗГОДОВ

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

О том, что лето, — душно и в окно
Кричит, терзаема подростком, песня.
В диапазоне трёх аккордов тесно,
Под сводом одиночества темно.

Но что поделать — юг, и ночь нежна,
Пигменты мглы от нежности активны.
На голову жары бывают ливни,
На тьму — кинематографа блесна

Сюда влечёт, к облупленным скамьям,
К неугомонной семечковой речи...
Такая исподволь от судеб лечит.
Судьба — полёт сплошь из воздушных ям.

Трещит проектор ветхий. Персонаж
Словоохотлив и отчасти верен
Словам, которыми встревожен веер,
Которому в ответ дрожит плюмаж.

Открытый зал, странноприимный дом,
Приют для глаз, охваченных сияньем,
Для женских слёз, недолгого молчанья,
Тире — и звук, и шум, и жизнь потом...

ВИКТОР ДАВЫДОВ



“ОН БЫЛ БАТАЛЬОННЫЙ РАЗВЕДЧИК...”

РАССКАЗ

*Я был батальонный разведчик,
А он писаришка штабной.
Я был за Расею ответчик...*

Всякий раз, как в нерабочее время в квартире раздавался телефонный звонок, домашние внутренне напрягались, ожидая, что хозяину дома в очередной раз предстоит экстренный вызов на службу. Сколько же их было в его оперской жизни, этих очень ранних или очень поздних звонков, в праздники и короткие часы ночного отдыха, во время дружеского застолья или законного выходного дня. И даже во время отпуска, если не успел вовремя убраться из города.

ДАВЫДОВ Виктор Сергеевич родился в 1950 году в г. Камышлов Свердловской области, вырос в Кузбассе. После школы работал матросом на Волге, грузчиком. Окончил институт иностранных языков в Горьком, выезжал в двухгодичную спецкомандировку в Южный Йемен. С 1975 года в Республике Коми, преподаватель английского языка в Мещурской средней школе Княжпогостского района. С 1976 года на комсомольской и партийной работе. Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С началом перестройки на оперативной работе в МВД РК, полковник милиции в отставке. Имеет государственные награды. Автор историко-приключенческих романов “Влюбиться в резидента”, “Два портрета с бульвара Монпарнас”, “Отложить до победы”, готовит к изданию новый роман “Ателье мадам Ферри”, завершающий серию под общим названием “Кто бросит камень?” Дипломант литературного конкурса МВД РФ “Доброе слово” 2011 года. Член Союза писателей России. Живёт в г. Сыктывкаре.

Но вот чтобы ни свет, ни заря в первое утро нового года, одного из тех первых лихих годов в недавней истории государства Российского... Такое в его практике было впервые. И вызов-то был не куда-нибудь, а на экстренное совещание к самому министру.

Как оказалось, поздним предновогодним вечером на пороге своего дома был убит городской уголовный “авторитет”, и по всем признакам убийство носило заказной характер. В считанные минуты каждый из приглашённых на совещание руководителей получил конкретное задание в рамках операции по раскрытию этого дерзкого резонансного преступления.

Похороны убитого должны были состояться на следующий день, и к этому мероприятию требовалось подготовиться должным образом, дабы исключить любые непредвиденные осложнения оперативной обстановки во время траурной церемонии. Не исключался и факт появления на похоронах убийцы, ведь “сколько раз твердили миру”, что преступника тянет на место преступления... Короче, через полчаса он уже изучал список жильцов соседнего здания, откуда открывался отличный вид на дом, в котором проживал авторитет, и двор, в котором должны были прощаться с покойным.

Дело оказалось не из простых. Нужно найти квартиру, хозяева которой не только бы заслуживали доверия властей, но и пошли навстречу их просьбе. Ну и, само собой, не отличались излишней разговорчивостью. Такая вот задача с несколькими неизвестными при дефиците времени.

В этот раз, видимо, по случаю Нового года ему повезло. Намётанный взгляд с ходу выудил из перечня жильцов знакомую фамилию. Он откинулся на спинку стула и, взглядываясь в начинающие таять сумерки зимнего утра, стал вспоминать, где он впервые увидел седовласого хозяина нужной квартиры. Несколько лет назад на доске почёта в офисе одной из весьма уважаемых организаций города. Подпись под фотографией почтительно сообщала об участнике Великой Отечественной войны, о заслугах которого свидетельствовал внушительный иконостас орденов и медалей на груди. Особо отмечалось, что имярек активно участвовал в военно-патриотическом воспитании молодёжи. А спустя некоторое время им неожиданно довелось встретиться и церемонно раскланяться на большом и важном мероприятии республиканского масштаба.

— Ну, вот тебе и решение проблемы, — повеселел сыщик и, не теряя времени, выехал по адресу ветерана. Несмотря на ранний час, дверь квартиры быстро распахнулась, и он увидел юную парочку, аккуратно, но настойчиво задвигавшую назад шустрого маленького мальчонку. Все трое глядели на раннего гостя с приветливым безмятежным спокойствием. “Счастливые”, — неожиданно вздохнул он про себя и, поздравив молодёжь с Новым годом, вежливо поинтересовался наличием хозяина дома, назвав того по имени-отчеству. Настроение молодых людей на глазах поменялось. Молодой супруг чуть подался назад, предоставив жене свободу общения с незнакомцем. “Примак”, — машинально отметил сыщик. Супруга же, запинаясь, поведала, что хозяин дома отсутствует, но его можно найти в гараже в двухстах метрах от дома. Сыщик извинился, поблагодарил ребят и пошёл искать хозяина.

На дворе тем временем совсем развиднелось. Горожане в массе своей ещё спали, но кое-кто уже приступил к первому завтраку нового года, как правило, состоящему из остатков салата “оливье”, селедки под шубой или холодца, отсыпавшихся на праздничном столе. Немало было и тех, кто лихо радочно поправлял здоровье удивительным образом сохранившимися скудными граммами разноимённой алкогольной продукции в диапазоне от заморского коньяка “Хеннесси” до родимой удорской водки. При этом те и другие лениво обсуждали открывающиеся необъятные перспективы предстоящих выходных дней.

А зимний день между тем сулил состояться не морозным и не тёплым, а так, в самый раз для редких прохожих, вроде тех двух благообразных бабушек в спортивных комбинезонах с лыжами, которые, аппетитно похрустывая лежащим под ногами снегом, спешили на лыжную базу “Динамо”. Прямотаки живописный рождественский сюжет с давней открытки пятидесятых годов, которую он когда-то видел на выставке, посвящённой истории города.

На мгновение вспомнилась песенка тех же лет в исполнении Аркадия Райкина: “И вокруг меня прохожие шли, на ангелов похожие...”

Но только на мгновение. Взгляду уже открылась длинная вереница гаражей, припорошённых снегом, у одного из которых мужчина в рабочей одежде копался в багажнике своей выдавшей виды “ласточки”. Это был тот самый ветеран с доски почёта, и за оставшиеся несколько шагов нужно было вернуть мысли в рабочее состояние.

Заслышав шаги, мужчина поднял голову. Поздоровались. После взгляда на предъявленное удостоверение на его лице явственно обозначилось выражение узнавания и нескрываемого любопытства. На вопрос, знает ли он, что произошло вчера в соседнем доме, автовладелец спокойно ответил, что знает, однако глаза под кустистыми седыми бровями мгновенно насторожились. Выслушав суть просьбы, ответил не сразу.

— Вас, наверное, удивит мой ответ, — медленно начал он после паузы. — Извините, но я не могу пойти вам навстречу, — и, увидев, как изменилось лицо сыщика, заторопился с объяснениями. — Вам, я уверен, известно, что во время войны я служил в разведбате, ходил за линию фронта за “языком” и ничего не боялся. И так было до недавнего времени. Сегодня на дворе другая эпоха, и у меня, как ни прискорбно, появилось мерзкое чувство страха. Не за себя, а за детей, за внуков своих. Вам ли не знать, какой разгул преступности творится сегодня в стране. Каждый день по телевизору только и говорят...

Сыщику иногда удавалось поздним вечером посмотреть последние новости, и с каждым таким просмотром на душе становилось всё мутрней. Как и все его коллеги, он остро переживал трагизм тектонических сдвигов, что потрясли страну, совсем недавно гордившуюся спокойствием общества, каждый член которого находился под надёжной защитой государства от криминального беспредела. Сицилийская мафия, гангстеры Чикаго, японская якудза — всё это когда-то казалось советскому человеку таким далёким и чуждым, каким-то киношным триллером. И вот когда это общество, как сказал поэт, “задрал штаны”, побежало навстречу так называемой свободе и демократии, то, что скрывалось за пугающими названиями международных криминальных структур, вдруг махровым цветом расцвело в России. За что боролись?

Очередную внутреннюю дискуссию по этому животрепещущему вопросу сыщик оставил на потом — надо же всё-таки как-то попытаться убедить товарища помочь органам.

— Иван Иванович, — осторожно начал он подбирать слова, — прекрасно понимая ваши опасения, со всей ответственностью хочу заверить вас, что информация о месте завтрашнего местонахождения нашего сотрудника будет известна только вам, мне и ему. Даю вам слово...

Но ветеран, не дослушав, энергично затряс головой, возбуждённо объясняя, каким образом может произойти утечка информации, как можно вычислить засаду и всякое такое. Он говорил и говорил, почти захлёбываясь, словно оправдывал свою слабость. Хотя, если посмотреть “глубоко в глаза правде”, это была не его слабость, а слабость великого прежде государства, которое, по мнению бывшего батальонного разведчика, было неспособно защитить его и его семью от преступного элемента.

Сыщик тяжело вздохнул. Давить на сознательность старого фронтовика — и неловко, и неприятно. И неизвестно, у кого из них было мутрнее на душе: у ветерана за свой страх и трусость, или у него, человека, представляющего в данный момент государство. Он, было, совсем уже собрался уходить, когда ветеран попробовал-таки сохранить своё изрядно пошатнувшееся реноме.

— Вы знаете, у нас в доме имеется подвал, а у меня есть ключ от него. Давайте посмотрим, может, подойдёт? — с надеждой спросил он.

— Ну, пойдёмте, — угрюмо согласился сыщик. Утро враз потеряло для него пасторальную умиротворённость. Вспомнился другой куплет из той же песенки Аркадия Райкина: “И вокруг меня прохожие шли, на дьяволов похожие, и несло капустой квашеной из соседнего двора...”

Едва забрались в подвал, как стало ясно: фронтовик действительно потащил его за собой для успокоения души. Из бойниц подвала не было видно ничего, кроме сугробов и ног редких прохожих.

— А вот ещё есть чердак, — не отставал хозяин.

— Ну, пошли на чердак.

В любом случае надо было использовать возможность изучения потенциальных возможностей здания, как говорится, “про запас”. Но, как и предполагалось, и там не нашлось ничего путного. Вернулись на лестницу.

— Ну, что ж, будьте здоровы, — мрачно бросил сыщик и, не слушая новой порции оправданий, тяжело зашагал вниз. Он и представить себе не мог такой афронт неожиданный. Задача резко осложнилась. Других проверенных жильцов в его заглазнике не было, а времени на поиск нужного места для проведения мероприятий оставалось всё меньше.

Наверху хлопнула дверь, ветеран возвратился в свой дом, свою крепость. Сыщик ещё раз помянул в сердцах недобрый словом всех и вся, машинально метнулся взглядом по дверям квартир, угрюмо демонстрирующих ему свою неприступность, и неожиданно замедлил шаг. Вспомнил, что в квартире, располагающейся аккуратно двумя этажами ниже ветеранской, согласно документам прописана одинокая женщина преклонного возраста. А что, если?.. Без особой надежды нажал кнопку звонка. Дверь открыла маленькая сухонькая женщина в пёстром халатике. Возраст, похоже, совпадал с указанным в их документах.

— Анна Николаевна? — осторожно уточнил он.

— Да, а что случилось? — удивлённо спросила пенсионерка.

— Вы позволите войти?

Увидев удостоверение, женщина сделала приглашающий жест рукой. Откуда-то из глубины квартиры доносилась оживлённая детская перебранка.

— А ну тихо, чижики, — построжилась на них хозяйка. — Вы, небось, по вчерашнему убийству?

— Вот те раз, с места в карьер... — Он кивнул и тут же услышал гневную пространную тираду о закончившейся спокойной жизни, уровне компетенции наших управителей, об окончательно свихнувшихся людях и распоясавшихся жуликах.

“Ну, опять за рыбу гроши”, — тоскливо подумал сыщик. Улучив момент, когда хозяйка набрала полную грудь воздуха для продолжения анализа внутриполитической обстановки, он, скорее для очистки совести, всё-таки спросил:

— Послушайте, а вы не могли бы нам помочь?

Прервав свой эмоциональный монолог, Анна Николаевна неожиданно по-деловому ответила:

— Конечно. А что надо делать?

Оправившись от удивления, сыщик объяснил суть дела.

— Когда это нужно? — снова, почти по-военному, спросила она.

— Завтра. Я позвоню где-то за час. Если что...

Но женщина прервала его, энергично замахав руками:

— Не беспокойтесь, всё будет в порядке. Я буду ждать ваших людей.

Выйдя из подъезда, он остановился и постоял несколько секунд с закрытыми глазами. Потом наклонился, слепил снежок и с силой запулил им в мусорный бак.

На следующий день задача, поставленная министром, была выполнена безукоризненно. При этом вернувшиеся сотрудники доложили, что хозяйка буквально предваряла все их просьбы и пожелания, а по завершении мероприятия ещё и напоила чаем с горячими оладьями.

Тут же, ни секунды не колеблясь, сыщик написал на имя руководства рапорт, в котором ходатайствовал о поощрении гражданки N за оказание активной помощи в деле борьбы с преступностью, а руководство, в свою очередь, так же быстро утвердило ходатайство.

Вечером следующего дня он, заранее договорившись, в означенный час вошёл в её квартиру, этакий Дед Мороз с мешком гостинцев. Но едва начал раскрывать цель визита, как хозяйка буквально взвилась от гнева. Столько

сердитых слов и выражений в единицу времени в свой адрес сыщик никогда не слышал ни от одного из вышестоящих начальников. Красной нитью через весь её эмоциональный речитатив проходило возмущение тем, что сотрудники милиции могли подумать, будто она помогала им за вознаграждение.

Но и сыщик тоже иногда был очень упрямым, и на это у него были свои убедительные резоны. В общем, через пять минут они мирно пили чай на кухне, а двое внучат, измазавшись апельсиновым соком, с весёлым визгом брызгались водой в ванной комнате. Хозяйка опять “оседлала своего внутриполитического конька”, а сыщик машинально поддакивая, думал о своём. Его почему-то всегда раздражало употребляемое всеу выражение: “Я бы пошёл с ним в разведку”. Зачастую люди, вспоминаяшие его, и близко не представляли, сколько нюансов профессионального характера скрывалось за этой фразой. А вот, поди ж ты, именно сейчас это выражение объявилось в его разгорячённом сознании, осмысливающим случившееся. Казалось бы, с профессиональной точки зрения, лучшего напарника, чем бывалый, прошедший через огонь войны батальонный разведчик, и быть не может. Вот разве что с общечеловеческой... Так ведь и в Священном Писании сказано: “Не судите, да не судимы будете”.

А сыщик и не собирался никого осуждать. Он просто точно знал, с кем, если понадобится, пойдёт сегодня в разведку.

АЛЕКСЕЙ МИШАРИН



ПЕРВЫЕ УРОКИ

РАССКАЗ

В первый год Андрей Игнатов учился проводить планёрки, разговаривать с людьми. С утра старался заглянуть в каждый уголок своего хозяйства: и в гаражи, и на фермы, и в хранилища, и в другие рабочие места, которых в отделении совхоза предостаточно. Спрашивал и сам отдавал распоряжения. Главным учителем был директор. Ему смотрел он в глаза, каждое его слово ловил, каждый свой шаг согласовывал с его советами. Одно время даже начинал говорить, как он, размахивая руками, и походку поменял, стараясь ставить ноги по-сидоровски.

Сидорову исполнительный парень нравился, директор водил его повсюду, учил всё делать так, как он сам бы сделал, думать так, как он думает. Однажды весной повёл его в верхний конец села, где раскинулось большое поле, сказал:

— Там надо стерню убрать.

Андрей не стал уточнять, каким образом директор собирается убирать стерню, накинул на себя лёгкую куртку и последовал за ним. Поле, к которому они направились, начиналось сразу же за последними домами.

МИШАРИН Алексей Васильевич родился в 1949 году в селе Сторожевск Корткеросского района Коми АССР. Окончил Сыктывкарский сельскохозяйственный техникум. Работал в совхозе "Вишерский" механиком, управляющим отделением совхоза, инженером. Семь лет проработал учителем производственного обучения в Богородской средней школе. Окончил Ленинградскую лесотехническую академию. С 1983 года более десяти лет возглавлял совхоз имени 50-летия СССР. Был директором совхоза "Нившерский" и ГУП "Зеленец". Работал в Сыктывдинском управлении сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода Республики Коми. Публикуется с 1967 года. Заслуженный работник Республики Коми, награждён орденом Почёта. Член Союза писателей России. Живёт в Сыктывкаре.

В прошлом году, когда Андрея ещё не было в Ягдоре, это поле засеяли семенами многолетних трав. Из-за дождливого лета и осени техника туда заехать не смогла. Чтобы не испортить его глубокими тракторными колеями, поле решили оставить необработанным. И теперь, весной, высохшая стерня лежала толстым слоем, как будто кто-то аккуратно расстелил её.

— Пойдём в тот конец. — Сидоров махнул рукой в сторону дальнего угла поля.

Андрей не успел даже глазом моргнуть, как Сидоров достал спичечный коробок, чиркнул спичкой и кинул её в сухую траву. Огонь пошёл гулять по всей ширине поля и стремительно двинулся в сторону села. К несчастью, ветер усилился. Вал огня поднялся выше пяти метров и с рёвом жадно пожирал сухую траву.

Андрей растерялся и испугался. Перепугались и жители близлежащих домов. Они выскочили из домов и кинулись тушить пожар. Андрей сорвал с себя куртку и начал сбивать пламя. Но как только удавалось сбить его в одном месте, тут же начинало гореть в другом, да ещё сильнее и яростнее.

Бог, видимо, всё же есть. Ветер вдруг переменялся, задул в обратную сторону. Только это спасло дома от большого пожара. А Андрею впервые пришла в голову мысль о том, что может быть, Сидоров не всегда думает о последствиях своих действий. Ведь высохшее поле можно было пробороновать, собрать высохшую траву и сжечь её более безопасным способом или увезти на торфонавозную площадку для приготовления торфокомпоста. Конечно, это потребовало бы каких-то затрат, но пожар в селе принёс бы ещё большие потери.

Однако Игнатов эти мимолётные крамольные мысли сразу же выкинул из головы. Он, как и прежде, верил директору, полагая, что тот всё делает с пользой для совхоза. Он даже устыдился, что плохо подумал о Сидорове, осудил его, а директор этого не заслуживал. Но когда люди с руганью накинулись на поджигателя и принялись обвинять и его вместе с Сидоровым, нехорошие мысли снова зашевелились в голове Андрея.

“Ладно, пусть он один сжигает сухую стерню, если считает нужным, второй раз с ним поджигать не пойду, — дал себе слово Андрей. — Вон как ругаются односельчане. Неужели он не слышит?”

А Сидоров больше ни разу его и не позвал. Не обращая внимания на людские разговоры, ходил один, поигрывал спичками, будто страдал пироманией. Возле электростанции поджжёт прошлогоднюю траву, в результате сгорел электрический столб, деревня Медвежье целые сутки оставалась без электричества. За это районная адмкомиссия оштрафовала Сидорова на пятьдесят рублей — тогда это были большие деньги. Штраф не остановил директора, он не спрятал свой спичечный коробок.

— Я делаю благо для земли, — отвечал он на недовольство односельчан.

Спорить с директором было бесполезно.

В гараже сиротливо стояла бортовая машина “ГАЗ-51”. Шофёры на ней менялись один за другим, а сейчас она оказалась вовсе без водителя. Андрей завёл машину, заправил, обошёл вокруг неё, попинал колёса. Затем залез в кузов, поправил деревянные лавки. Сел в кабину и через несколько минут примчался к сенокосникам второй бригады.

— Залезай! — крикнул он, высунув голову из окна кабины.

— Управ сам за рулём, что ли? — удивились бабы.

— Говорят, шофёром был, — сказала Микипер Ольга.

— Откуда знаешь? Кто сказал? — посыпались вопросы.

— Знаю, если не был шофёром, разве сел бы за руль? — Ольга обвела глазами толпу и твёрдо заключила: — Я точно знаю, шофёром работал.

— Говорят, что кур доят, а ты веришь, — иронично поддел её стоговальщик Закар Костя.

Ольга на иронию никак не отреагировала, только поджала губы и отвернулась. Андрей, слышавший эту перепалку, усмехнулся. Если бы они знали про его шофёрский стаж, может, никто бы в кузов не полез. Он на грузовой

машине ездил только в техникуме, когда учился на водителя и сдавал экзамены в ГАИ. А сегодня захотел себя показать: вот я какой смелый и умелый. И вообще захочу — на трактор залезу, захочу — за руль машины сяду.

До Даниловки первая половина дороги песчаная, а вторая — одна глина. Дождей давно не было, поэтому проезжая часть утрамбовалась и стала ровной. Только местами попадались небольшие ямы. Андрей прибавил газу, машина набрала скорость, за ней закружилась пыль. Около деревни на небольшой лужайке она остановилась.

— Приехали, — выскочив из кабины, сказал Андрей. — Вечером во сколько за вами приехать?

— В шесть! — крикнули сразу несколько человек. — Коров в шесть пригоняют. Надо будет подоить, по дому похозяйствовать...

— Хорошо, буду в шесть, — ответил Андрей, наблюдая, как люди гуськом направились в сторону леса. Им отсюда почти два километра надо было пешком топать по дороге, которая тянулась лесом до самого луга. Сенокосные угодья протянулись вдоль небольшой речки километра на полтора. Утром отдохнувшие за ночь ноги ещё шустро шагают, но вечером, когда за день вымотаешься, эти два километра кажутся очень длинными. И каждый год так повторяется. По лесной дороге проезжали только трактора, форсировали два ручья, а чтобы попасть на луга, им надо было спускаться по крутояру.

Вечером Андрей не стал останавливаться на лужайке у деревни, где обычно водители ждали сенокосников. “Поеду прямо на луг, удивлю людей, — решил он. — Пусть похвалят: вот какой у них управ! Даром что молодой, а смелый и умелый, не чета прежним водителям, которые заставляли их туда-сюда шагать в такую даль! Уважает рабочего человека, к самому стогу подъехал!” Так он думал. Где надо, снижал скорость, а где — добавлял газу. Без происшествий подкатил к крутому спуску, который представлял собой широкий песчаный лоток. С обеих сторон этого лотка росли берёзы.

Андрей сбросил газ и направил машину вниз. Она покатилась хорошо. Если бы парень оглянулся, его глаза наверняка бы округлились от удивления, а быть может, и от ужаса, он, конечно, подумал бы, что поступил неразумно — снизу гора казалась крутой и неприступной. Но он не оглянулся.

Вдоль лесной речушки машина проехала по убранному лугу и подкатила прямо к стогу, где уже собрались все работники, готовые пуститься в путь.

— Карета подана! — сказал Андрей, бодро выходя из кабины. Он обвёл глазами убранный луг и стог, похвалил. — Молодцы, славно поработали!

— Мы всегда славно работаем, чтобы первая бригада не обогнала, — отозвались сенокосники.

— Хорошо-то как, сегодня прямо отсюда домой увезут! Как он посмел спуститься? — Бабы, выходя из кулиги последними, громко и радостно переговаривались между собой.

— И подниму на гору, и дальше повезу! Через полчаса будете дома! — хвастливо заявил Андрей.

Люди расселись в кузове, и машина потихонечку тронулась. Приблизилась гора. “Вторую передачу надо включить”, — вспоминая техникумовские наставления, решил Андрей и, переключив рычаг коробки передач, нажал на педаль газа. Машина заревела и ринулась вперёд.

— Ну, давай! — стиснув зубы и сжав губы, мысленно подбадривал новоявленный шофёр своего железного коня. На его лбу выступил пот. Машина выстрелила чёрным выхлопом. — Ну, давай! — шептал Андрей. Машина заревела пуще прежнего, затем зафыркала, задёргалась и ровно на середине горы остановилась, задние колёса какое-то время ещё крутились, зарываясь в песок, наконец, мотор не выдержал и заглох.

— Сука! — выругался Андрей, выбрался из кабины и обошёл машину.

— Прибыли? — послышался недовольный голос из кузова.

— Сейчас сдам назад, снова попробую, — ответил Андрей.

Вторая попытка закончилась так же, ничем. “ГАЗ-51”, дотянув до места пробуксовки, встал и заглох. Машина даже немного накренилась. Кто-то крикнул:

— Прыгай, не заметишь, как кувыркнёшься!

Люди, бурча, стали вылезать из кузова. Стоговальщик Костя предложил:

— А давайте привяжем верёвку, чем копыны возим, возьмёмся все разом и поможем таратайке подняться.

Ребята сбегали к стогу за верёвкой. Андрей сел за руль, сдал назад, поправил песчаный лоток лопатой. Костя привязал верёвку к буксирному крюку бампера, и все приготовились тянуть по команде. Машина снова заревела, двинулась в гору. Люди изо всех сил тянули её. Один раз пробовали, второй — всё оказалось тщетно.

— Шабаш! — гаркнул Костя и матюгнулся. — Пойдём пешком!

— Через полчаса дома будем! — кто-то передразнил Андрея.

Люди качали головами, уходя по протоптанной тропе, песочили шофёра ядрёными словами. А Андрей сидел за рулём с пылающим лицом и глаз не смел поднять.

Оставшись один, он вышел из кабины, посмотрел на застрявшую машину. Она действительно могла перевернуться — вон как накренилась, обрыв уже совсем рядом. Хорошо, берёза попалась по ходу, удержала.

— Надо же было спускаться по этому песку! — корил себя Андрей. — Знал ведь, что здесь ходят только трактора. Решил выпендриться, ухарь. Стыдоба-то какая!

Он сел подле берёзы и повесил голову. А как же не переживать! Людей после работы пешком отправил, целых восемь километров будут шагать! И машина на ночь останется без присмотра. За одну ночь, может, никто не тронет, но ведь плохие люди везде есть. Завтра сюда трактор придётся гнать. Опять расходы. А людские упрёки! Обматерят!

— Воронёнок я ещё, а туда же — захотел в ястребы! — ругал себя Игнатов.

Он не услышал, как подъехал мотоцикл.

— Поедем, что ли? — Ласей Митрей восседал на своём новеньком мотоцикле и скалился.

Андрей виновато улыбнулся и, усаживаясь за спиной Митрея, сказал:

— Не смог вот подняться.

— Вижу, держись крепче.

Утром мужики в гараже поглядывали на Андрея и усмехались. Если бы открыто осудили, может, на душе у него легче было бы. А механик Пётр Сергеевич сразу отправил “Беларусь” вытаскивать злополучную машину.

— Андрей, с ним поедешь? — спросил.

— Не поеду! — сверкнул глазами Игнатов.

Сидоров, который спустя некоторое время зашёл в гараж, строго посмотрел на Андрея, повернулся к Петру Сергеевичу и жёстко приказал:

— На перевозку людей ставь настоящих водителей, чтобы несчастного случая не было!

Лицо Андрея вспыхнуло: “Значит, я ненастоящий, может, и управляющим считает ненастоящим?”

Перевод с коми Александра Суворова

ИГОРЬ КОРНИЕНКО

АМУРСКИЕ ИСТОРИИ

(Амуры над Амуром)

Первая история места, история возвращения родилась в поезде по дороге из Красноярска в Ангарск; “Место встречи поездов”, или красноярская история, положила начало одноимённому циклу историй места и возвращения. За спиной Новосибирская история, Белгородская и Московская, Обская и Новокузнецкая, Иркутская и Зиминская...

А в середине мая, вооружившись поддержкой Ассоциации союзов писателей и издателей, в компании Марии Базалеевой началась история Амурская.

Благовещенск – город стройных деревьев, многоэтажек, соседствующих со старыми деревянными избушками, тихих вечеров, в которые слышно, как веселится китайский город Хейхе на противоположном берегу Амура.

“Каждая история, как сражение”, – первая встреча в Амурском казачьем колледже (село Тамбовка): студенты – молодые парни и девушки в форме цвета хаки осторожно задавали вопросы, специально выбранный для встречи рассказ “Флаг” задал тему разговора, говорили о героях нашего времени, есть ли они, какие они... История десятиклассника Серёжи, забравшегося на крышу здания городской администрации, чтобы распутать запутавшийся флаг, взволновала, растрогала и расположила молодых слушателей. Вспомнили о молодёжных субкультурах, личных победах и сражениях...

Каждый день, как сражение, – поддерживали студенты: сражение за учебным столом в классной комнате, на беговой дорожке стадиона, в голове с мыслями и чувствами, в сердце...

Вот и в этом “сражении” обе стороны расстались победителями, договорившись о новой встрече, чтобы поделиться новыми победами, мыслями, идеями... Новыми историями.

Истории и правда рождались от каждой новой встречи, прогулок по залитой солнцем набережной, пропахшей варёной кукурузой и сладкой ватой, экскурсий, общения...

Утром следующего дня – встреча под названием “Разбуженные сны (Мистика – это реальность)” в зале музея “Русский Харбин: история, культура, литература”, где нас ждали филологи и преподаватели Амурского государственного университета.

Вопросы посыпались с порога: “Счастливы ли вы и как спите?”, “Автобиографичны ли рассказы и откуда в них мистика?”, “Почему выбираете такие темы и что так привлекает молодёжь в страшных историях?”, “Что скрывается в названиях рассказов? Правда ли то, что используете что-то вроде 25-го кадра в своих историях и что это за зверь – разбуженный сон?”...

Снова и опять разговор завертелся вокруг истории “Мымры”, которая в июне этого года перешагнёт двадцатилетний юбилей. “Мымра” подвела

к другому рассказу – “Любимая помада бабы Дуни”, к трагедии “другой Мымры”, только здесь “другая Мымра” спаслась от жизни, победила жестокую по отношению к ней реальность: девочка подружилась со старостью, превратилась в свою бабушку-покойницу и этим спаслась. Спаслась ли?.. Победив жизнь, стала ли она жить вечно?..

Приятно осознавать, что рассказы вызывают у читателей неравнодушный отклик, неординарные мысли и любопытные, совершенно невероятные и неожиданные выводы и решения... .

– Мне придушить вас просто захотелось, – сказала Евгения Манакова, очаровательная ведущая программы “В центре внимания” на Алтайском областном телевидении про финал рассказа “По Дарвину”.

Комплимент, который настроил на лёгкий, душевный разговор о литературе. На Амуре только и разговоров о литературе в эти три незабываемых дня под лозунгом дружбы, дружбы со словом и чудесами... .

Завершилось путешествие по Амурскому краю встречей “Чудеса между строк” в молодёжной библиотеке им. А. П. Чехова.

И вновь история завертелась вокруг рассказа “Убить Мымру!”, страшной темы травли и насилия среди молодёжи, подростков-школьников: как распознать беду родителям и научить ребёнка не бояться говорить о своих проблемах.

О мистике, которая реальна, и реальных чудесах поговорили по следам прочитанных рассказов “Три миллиона пятьсот двадцать три мамы” и “Место встречи поездов”.

Так первая красноярская история о чуде замкнула Амурскую историю. И не одну... .

Благовещенск после трёх солнечных, яростно-жарких дней проводил дождём, самолёт набирал высоту, в иллюминаторе – река Амур и белые облака, похожие на белокрылых амуров, а в душе, в голове и сердце – первые строчки Амурской истории... .

До свидания, Благовещенск, Благовещенск, здравствуй!

Ещё и ещё раз спасибо АСПИР и Марии Базалеевой, Татьяне Ярушиной, старым и новым друзьям-амурчанам спасибо! Тамбовской центральной библиотеке – за незапланированную, такую весёлую и душевную встречу (“ничего нельзя бояться, а улыбки спасут мир!”), Амурскому казачьему колледжу, Алтайскому государственному университету, особое спасибо кафедре литературы и мировой художественной культуры, молодёжной библиотеке имени А. П. Чехова – спасибо!

И до новой встречи с новыми историями!..

Потому что жизнь – это возвращение!..

P.S.: Молодёжная библиотека имени А. П. Чехова попросила гостей поделиться впечатлениями после встречи с Игорем Корниенко.

– *Интересный писатель, много историй рассказал.*

– *Рассказ “Убить Мымру! Шесть диктофонных записей” захотелось прочитать. Это важная тема, которую затронул писатель, и думаю, что в сердцах людей она найдёт отклик.*

– *Было здорово, живо, весело. Истории смешные рассказал.*

– *Я под большим впечатлением от этой встречи. Эмоции зашкаливают, и не хватает слов, чтобы описать всё сразу. Нужно время, чтобы обдумать то, что было сегодня сказано. Знакомство с творчеством Игоря Корниенко начну с рассказа “Три миллиона пятьсот двадцать три мамы”.*

– *А я – с “Мымры”! Хотелось бы сравнить с “Чучелом” Железнякова, сделать свои выводы. Интересно очень!*

– *Меня поразила личность автора. Заинтересовали его рассказы, особенно рассказ про три миллиона мам.*

– *Всё понравилось. Интересный автор, весёлый, забавный. Прочитать, конечно, захотелось.*

– *Ранее не знала об этом авторе. Рассказы тронули до слёз. Раньше не читала, но обязательно буду читать, начну с “Мымры...”. Посмотрю ещё произведения и буду читать.*

– *Сегодня я открыла для себя нового автора. Спасибо библиотеке Чехова!*

15 мая 2023 года

АЛЕКСАНДРА ВАЙС



ГОЛОС БУБНА

* * *

Там, где, золото бросив, берут латунь,
Не колеблясь,
Только там и чувствуют красоту.
Те, что, освободившись от всяких уз,
Добровольно впрягаются,
Те и пробуют жизнь на вкус.
Ты заляжешь на дно, я пойду ко дну —
Там и встретимся.
Только так и чувствуют глубину.
Только так и чувствуют.

ГОЛОС БУБНА

Они думали, расшитый бубен не запоёт.
Они сказали, мой бубен — канва, натянутая на пальцы.
Они заменили мою колотушку на иглу и схему для вышивки.
Они приказали приступать.
Кожа бубна не хотела поддаваться игле.
Они сказали: “Возьми напёрсток!”
Они сказали: “Приложи все силы!”

ВАЙС Александра родилась 28 сентября 1989 года в Барнауле. Окончила факультет искусств АлтГУ. Публиковалась в различных литературных журналах, выпустила 4 поэтических сборника. Автор и исполнитель песен. Член Союза российских писателей. Публикация осуществляется при поддержке Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР).

Я взяла напёрсток, но, неумелая, продолжала колоть пальцы.
Я работала со схемой, но сослепу меняла кресты местами.
Золотая рыба плыла по небу среди цветов, и капля запёкшейся крови
проступала у неё под глазом.
Они смеялись над моей вышивкой, но заставляли продолжать.
Однажды я закончила работу и увидела луну, скрывающуюся в изгибе реки.
Палец в напёрстке ударил по ободу, и мой бубен заговорил со мной.
Пальцы мои натруженные стали сильными.
Пальцы мои пустились в пляс по расшитому полю, но они радовались,
ведь голос бубна был так тих...
Глупцы!
Бубну не нужно кричать, чтобы быть услышанным мною.
Бубну не нужно кричать, чтобы я была услышана.

* * *

Сибирячки-дочки сказали: “Ну как же так?
Скоро будет зима, а снега в помине нет!” —
“Что поделаешь, если такие места.
Здесь бывают бесснежные зимы”, — был мой ответ.

И как только я им ответила, снег пошёл,
Полетел, посыпал, укутал и завалил.
Мы ещё в Барнауле вызнали: хорошо,
Если снег. Значит, достанет сил.

Когда-то в мае стаи кружили мух
Белых-белых, и дочки мои пришли
В этот мир. Прекрасные. Две из двух.
И во всех небесах звучало раскатисто: “Пли!..”

Я одно за другое цепляю все эти слова,
Разумеется, чтобы похвастаться, только один вопрос:
“Почему число 2022
На заснеженной площади напоминает SOS?”

* * *

А кто-то живёт, не меняя лица,
Его подставляя и солнцу, и слову,
А мне бы из образа вырваться
И к новому образу кинуться снова.

Не знаю, зачем остаются в друзьях,
И в дамках, и в мамках, и в их сыновьях.
Почаще делитесь, пишите — я стол,
Что выпустил ветви, а позже зацвёл.

И если не смыслом, то верой в других
Заполните ящиков зевы пустых.
Их много, в них стонет порой пустота
И требует очередного листа.

Нескоро, но, чувствую, голод пройдёт,
И места не станет для краткого слова,
Столешницу времени скроет налёт,
А ветви пойдут на листы для другого.

АЛЕКСАНДР СЕГЕНЬ

ВСТРЕЧИ НА БЕРЕГАХ СУРЫ

В конце нынешнего апреля Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР) предложила мне творческую командировку в Пензу. В этом городе я никогда не был и без колебаний согласился. В поездке меня сопровождала живая и весёлая Мария Базалева, она замечательно всё организовала, так что я мог ни о чём не беспокоиться.

Первое выступление состоялось в Педагогическом институте имени В. Г. Белинского перед студентами исторического и филологического факультетов. Моих слушателей интересовала не только история, но и моё творчество, и я не мог не остановиться на тех своих книгах, действие которых разворачивается на фоне определённых исторических событий. Впрочем, почти все мои книги имеют чёткий подтекст той или иной эпохи, будь то “Солнце земли Русской” об Александре Невском, “Поп” или последний опубликованный в журнале “Наш современник” роман “Волшебный фонарь”.

Многие писатели спокойно могут обходиться без исторического фона, ограничиваясь сугубо личными отношениями и переживаниями своих героев. И в том нет ничего плохого. Просто лично мне всегда нужно залезть не только в эти взаимоотношения, но и в исторический пласт, в котором мои персонажи оказались. Шекспиру вовсе не обязательно показывать нам, на фоне каких именно обстоятельств разворачивается трагедия Гамлета или в чём суть конфликта Монтекки и Капулетти, или с кем воюет Отелло. Для него важнее — надо ли мстить за гибель отца, обрекая других на смерть, должны ли Ромео и Джульетта смириться с желаниями родителей, можно ли Венецианскому мавру забыть свои главные обязанности и ослепнуть от ревности. Меня же тянет одновременно с судьбами персонажей разбираться в проблемах социума, внутри которого они существуют и действуют. Шекспир прав по-своему, аз грешный — по-своему.

Второе выступление состоялось в гимназии имени Святителя Иннокентия Пензенского. Перед совсем молодыми юношами и девушками я говорил о своём творческом методе, основанном на главном принципе русской классической литературы, выраженном Ф. И. Тютчевым: “И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать”. Без любви к людям, без сострадания к ним и без стремления помогать улучшать свою жизнь вера становится номинальной, поверхностной, показной. Здесь основой для разговора стали мои книги “Московский Златоуст” о митрополите Филарете (Дроздове) и “Предстоятель” о Святейшем Патриархе Алексии II.

Публикация осуществляется при поддержке Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР).

Меня спрашивали, можно ли говорить о существовании отдельной православной литературы в отличие от светской. Я уверен, что православная литература включает в себя сугубо святоотеческие сочинения. Но и светская литература может носить христианские черты, если она основана на человеческих понятиях совести, чести, любви.

А заключительная моя встреча с читателями прошла 22 апреля в городе Мокшане. Здесь меня встречала Центральная модельная библиотека. Появился такой новый тип библиотек, в которые люди могут приходить не только для получения книг, но и для общения, просмотра фильмов или спектаклей, а дети – для развивающих игр. Тему моего разговора здесь я обозначил так: “Зачем писать книги, если их и так много написано”. В основном я отвечал на вопросы о своём творческом пути, о том, как выбираются темы для книг, что является источником вдохновения, какие герои привлекают меня, а о ком я никогда не стану писать.

В Мокшанской библиотеке меня много расспрашивали о том, что пишу сейчас, и я рассказал о своём последнем написанном романе “За мной, читатель!”, посвящённом жизни Михаила Булгакова. Почему я стал писать о нём? Потому что сейчас особо важно показать его разносторонность, его любовь к людям и стране. И его нестигаемость. Показать, через какие испытания этот писатель прошёл на протяжении своей жизни...

Также я рассказывал о своём романе “Эолова арфа”, готовящемся к книжной публикации в издательстве “Рипол-классик”. Это сочинение о человеке, прожившем долгую жизнь и всегда старавшемся сохранить в чистоте свою душу, не оскверняясь, как многие, по тем или иным причинам. И о романе “Волшебный фонарь”, только что опубликованном в первых четырёх номерах “Нашего современника”. Эта книга готовится к печати в издательстве “Вече”.

От пребывания на пензенской земле, раскинувшейся по берегам Суры, у меня остались самые тёплые воспоминания о хороших вдумчивых людях, по-прежнему с волнением интересующихся тем, что пишут современные писатели.

ТАТЬЯНА ШИШКИНА



НА ЗАДАННЫХ СКОРОСТЯХ...

СЛОВО

И слово в воздухе повисло —
ну, сказано... А что с того?
Оно уже не слышит мысли
царя и бога своего.

Почти утратившее корень,
неловко созданное встарь,
глядит оно с сиротским горем
в орфографический словарь,

где, букв родных не различая
давно приевшуюся вязь,
легко падёт в контекст случайный,
в несемантическую связь.

И будет жить, теснимо смыслом
чужих и несозвучных слов,

ШИШКИНА Татьяна Геннадьевна родилась 17 июня 1983 года в г. Куйбышеве. Окончила Самарский государственный архитектурно-строительный университет, Литературный институт им. М. Горького. Работает ведущим инженером по отоплению и вентиляции в проектной организации. Автор поэтических сборников "Липы на асфальте" (2008), "О чём поют наяды" (2015). Подборки стихов выходили в журналах "Юность", "Волга XXI век", "Берега", "Подъём", "Русское эхо", "Идель", "Бельские просторы" и пр. Участница XV и XVII Форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Живёт в Самаре. Публикация осуществляется при поддержке Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР).

как будто брошенное в числа
бесцельной юности назло.

В тот мир, где “жечь сердца глаголом”
для большинства — привычный путь,
войдёт оно простым и голым,
произнесённым как-нибудь.

И там, наращивая кожу
в пустой и звонкой болтовне,
оно простит, что было Божьим,
но было брошено вовне.

* * *

Когда-то я умела врать,
копить вину, не беспокоясь.
Но рано камни собирать,
когда они ещё по пояс,

Когда хмельной осенний снег
послушно оседает в руку,
когда хороший человек
мне открывает дверь по стуку

и сразу в комнату ведёт,
даёт халат и ставит чайник.
И мёд, что он мне в чай кладёт,
всегда душист необычайно.

Скажу: “Такого нет нигде”.
На “Как дела?” совру, конечно.
Заговорим о ерунде
тепло, неспешно.

И ничего, что завтра — жизнь.
Сегодня жить не нужно с этим.
— Друг, я хорошая?
Скажи.
И друг ответит.

* * *

Всем сполна обещали, тебе — никто
не солгал, по детской макушке глядя.
Ну, и зря: память девичья — решето:
всё равно бы забыла, сожгла тетради

со стихами, грешками... И — здравствуй, жизнь! —
погляди на хвост от чужой кометы.
Та летит и метит, а ты лежи,
тонкой стружкой с сердца снимай ответы.

Тут не поровну делят. Везде — как тут.
Всё твоё — внутри. Разделяй и властвуй.
Умножай на звонкую пустоту
то, что есть и что может сойти за счастье.

Человеку плохо — с него и спрос!
Человека судят, а небо — просят.
Принимают смиренно, что день принёс.
А потом саму тебя днями носит

по кругам — на заданных скоростях —
несчитово, глупо, без всякой цели,
но с напутствием: ты у земли в гостях,
а гостям рады дважды... Не ела, ела —

хоть пустая, но встанешь из-за стола
в чём была, без надежды на всякий случай.
Были б дети, врала бы им, как могла:
выходить из детства без правды — лучше.

* * *

Пожившую душу спасают постом
и прячут в молитвы осеннюю сырость,
но я сохранила себя на потом,
как чешский сервиз или вещи на вырост.

И не было горя, что чашка пуста —
хранит позолоту на праздничный вечер.
А нищую память удобно листать
назад — от закладки до ангельской речи.

Где жили да были, я только была —
без видимой доли на общей раздаче.
И нет, не по мне эти колокола
и вспышки любви средь вселенского плача.

И как ни молюсь на божественный сад,
на мутные цифры небесного счёта...
Я вечно одна — среди свежепрощённых
и тех, кого рано судить и спасать.

* * *

Пишу по-женски — “ты и я”
по презираемым канонам.
Я не придумала новья —
для графомана нет закона.

Нет цели, памяти и нет
того, кто вправе ждать отчёта —
на этой мелкой глубине
нет беспокойного кого-то.

И от сомнительных чудес
не будет звонкого навару,
а сердцу не мешает вес
воображаемого дара...

Оно живёт, оно болит
само — без пыточных метафор,
не ведая небесных штрафов —
по ясным правилам земли.

АНАТОЛИЙ АВРУТИН



НА РУБЕЖЕ МЕРЦАНИЯ И СВЕТА

* * *

Скупой слезой двоя усталый взгляд,
Вобрал зрачок проулок заоконный.
И снова взгляд растерянно двоят
В биноклик слёз забившиеся клёны.

Через слезу до клёна — полруки,
Полтрепетного жеста, полкасанья...
Сбежит слеза... И снова далеки
Вода и твердь, грехи и покаянья.

Вот так всегда...
Как странен этот мир,
Как суть его божественно-двояка!
Вглядишься вдаль — вот идол... Вот кумир...
Взглянёшь назад — ни памяти... Ни знака.

АВРУТИН Анатолий Юрьевич родился в 1948 году в Минске. Окончил БГУ. Автор двадцати четырёх поэтических сборников, изданных в России, Беларуси, Германии и Канаде, нескольких книг переводов, лауреат Национальной литературной премии Беларуси, Большой литературной премии России, международной литературной премии им. Марины Цветаевой и многих других. Обладатель “Золотого Витязя-2022” в жанре поэзии. Академик Международной Славянской Академии литературы и искусства (Варна, Болгария), главный редактор журнала “Новая Немига литературная”. Указами Президента Беларуси награжден орденом Франциска Скорины (2019), а также одноимённой медалью (2009). Название “Поэт Анатолий Аврутин” в 2011 году присвоено звезде в созвездии Рака. Живёт в Минске.

* * *

К сентябрю всё реже редколесье,
Всё прозрачней кроны тополей.
Сквозь прорехи в дымчатой завесе
Птичий клин острее и черней.

Шаг... Другой... Трава ещё лоснится,
Хоть и порыжевшая на треть.
На стволах прозрачная живица
Всё спешит до стужи загустеть.

Постоишь... Подумаешь, что осень —
Это тоже время перемен,
Что кусты засохли... И что очень
Много боли в прозелени вен,

Что не все дожди отморосили,
Что не вся исчезла благодать,
Что ещё пока хватает силы
О своём бессилии сказать...

* * *

Стою на сквозняке... — Ты кто? — Аврутин...
— Зачем ты здесь? — Достали шулера...
Опять один в своей извечной смуте,
Опять один — как завтра, как вчера.

Душа болит... Не много-то народу
Стоит впотьмах с тревогой о душе.
Кому на радость, а кому в угоду
Мой голос тише сделался уже.

Душа болит... И слава не в зените —
Солги, попробуй, строки выводя...
“Отчизна иль дитя?” — вы мать спросите,
И мать в ответ промолвит, что дитя...

И тот ответ правдивей и превыше
Высоких слов, что в горький миг — пустяк.
Стою один... Пустых словес не слыша...
Стою один... Не понятый никак...

* * *

То ли это судьба... То ли так, по наитью,
Я забрёл в этот маленький камерный зал...
Помню женщину в белом... И мальчика Митю,
И оркестрик, что Моцарта тихо играл.

Крепко спал билетёр... Никаких декораций.
Прямо в сердце со сцены лилась ворожба.
Мне казалось: вот так Ювенал и Гораций
Тоже звукам внимали, а муза ждала.

Я спешил... И ушёл посреди перерыва,
Тихо вышел, прикрыв осторожную дверь.

А в лощине, где нет людей,
Ночью воеет, границ не зная,
То ль отшельник и лиходея,
То ль сама тишина ночная.

Но когда золотая ширь
Над оврагами заструится,
Будет роще читать Псалтирь
Прозревающая блудница...

И спешишь надыхаться впрок,
Коль сбежал сюда от разлуки
По безбожью, где всюду Бог —
В каждом шаге и в каждом звуке.

* * *

В напрасном мире полусонном
Всё чудится, что вижу я,
Как над стремительным вагоном
Восходит звёздная струя.

Чуть извивается... Искряше
Насквозь пронзает облака.
И крестит лоб ненастоящий
Ненастоящая рука...

Мне это чудится... Но, светом
Едва колеблема в ночи,
Нисходит тень... Зачем об этом?..
Зачем об этом?.. Помолчи...

Ведь жизнь устроена зеркально —
То, что бесценно, то тщета...
Печален я... И ты печальна...
И между нами пустота.

Проходит всё... Сотрутся лица.
Но ослепит ночной порой
Тот свет, что истово дробится
В твоей слезинке золотой.

* * *

Я в этот бурный мир пришёл издалека,
Была там божья длань к высокому воздету.
И взгляд слепила даль, колеблема слегка
На зыбком рубеже мерцания и света.

Просветы в небесах, нечасты и темны,
Скрывали бег минут и мутных рек течение,
Что всё струились вглубь истерзанной страны —
До чёрной пелены, до белого свеченья.

Примерил — и следы мне сделались малы,
Хотя ступил назад, ещё не сделав шага,
Но чувствуя одно — что спилены стволы,
Что сказаны слова, что скомкана бумага...

И только чей-то глас твердит: не вышел срок
Тому, что Высший Суд тебе доверил лютю.
Ещё дрожит вдали последний огонёк
И в зареве зари не блекнет почему-то.

И всё старо, как мир... И в мире всё старо...
И только с высоты, прозрачно и воздушно,
Летит, кружась, летит утиное перо,
Пророчествам небес внимая равнодушно.

* * *

На старом листке обтрепались края,
Изломана строчка.
Гляжу на себя... Оболочка моя,
Но лишь оболочка.

А что там внутри? Незнакомец, ты кто?
Смеешься в кураже.
Стоит незнакомец в моём же пальто,
И шапка моя же.

На кухне садится... Супруга моя
Нальёт ему супа.
Придвинется ближе, любви не тая...
Обидеться?.. Глупо...

Он что-то расскажет о жизни моей,
И всё-то он знает.
Кивает жене: "Ну, и чаю налей..."
Она наливает.

А я всё стою... Ни пальто, ни лица,
Ни шапки, ни чаю.
Неверно блестит золотая пыльца
На столике, с краю.

Ни охнуть, ни крикнуть, ни слова сказать,
Ни взять сигарету.
Шагнуть в Зазеркалье, чтоб сгинуть опять?
И зеркала нету.

Потрескалось, стоило мне углядеть,
Как всё очумело.
Стою... И рука моя виснет, как плеть...
И в трещинках тело.

* * *

Мальчик нежный, мальчик мой кудрявый,
Ты всё вдаль мучительно глядишь.
У тебя от бренности и славы
Лишь одна раздумчивая тишь.

У тебя остался гул трамвая,
Чей-то шёпот, скрежет тормозов.
Ты глядишь в окно, не понимая
Бренной жизни истинных азов.

И тебе всё чудится: далече,
Где видна разлука на просвет,
Золотисто падает на плечи
Тихий отсвет звёздных эполет.

Ты подумай просто, милый, где ты,
Если время близится к шести,
И какие нынче эполеты,
Если и погоны не в чести?

Ты заметил, милый, где-то близко,
По безлюдью... Смело... До угла,
Не вещунья и не одалиска —
В платье белом женщина прошла?

А куда она?.. Какое дело
Мальчику, глядящему в окно,
До её волнительного тела?..
Мальчикам не всё разрешено.

Звёздный воздух пахнет медуницей,
И разлукой тянет из дверей.
Ты гляди, пока тебе глядится,
И робей, мой милый, и робей...

Поздравляем нашего постоянного автора и друга с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья и неиссякаемого вдохновения!

ПЁТР АЛЁШКИН

ТАМБОВСКИЕ ВОЛКИ

РОМАН

19. Сарычев

Рано утром Зина ждала в палисаднике, когда появится машина Сарычева, начальника милиции. Мать сказала, что и в воскресенье за ним приезжают. Ждала с дрожью во всём теле, верила: он скажет, что враньё это всё, что Николашу просто подозревают, разберутся и отпустят. Зина пыталась полоть цветы, дёргала траву, а сама вся превратилась в одно большое ухо. Не шумит ли машина? Услышала, выскочила на улицу, увидела, как машина остановилась. Водитель посигналил, давая знать начальнику, что прибыл за ним. Забор у Сарычева высокий, сплошной. Машины не видно. Зина с бьющимся сердцем слышала, как хлопнула дверь за забором. Шаги, скрип калитки. Как к нему обращаться? Саша или Александр Кириллович?

— Александр Кириллович, доброе утро!

Улыбки у неё не получилось.

— А-а, приехала! — радостно повернулся к ней Сарычев. — Здравствуй!.. Чего это тебе не спится?.. А-а-а! — сразу помрачнел он, будто вспомнив, и развёл руками. — Вот такие дела!

— Александр Кириллович, расскажите мне всё! Всё-всё!

— Что ты меня на “вы” и по батюшке, Саша я для тебя, Саша!.. Как тебе рассказать это?.. Ночью было, дома я был... Звонок из милиции, начальника привезли — выезжай! Сама понимаешь, дело необычное для Уварово: драки, поножовщина — это есть, а такое... Приехал, смотрю: Николай, девчонка с маслозавода и два парня. Девка в слезах, вся дрожит... Парни говорят, он насильовал, поймали прямо на месте...

— А девчонка?

— Подтвердила... Говорит, шла с работы домой. Он из кустов выскочил, затащил в лесопосадку, стал душить и насильовывать. Она билась, кричала. Ребята услышали и схватили его...

— А он, он что говорил?

— Молчал... Голову опустил и молчал... Что тут скажешь? Не подозрение ведь, а на месте... Не открутишься...

— Ой, не верю, не верю я!

— Да и я не поверил сразу... Ошеломлён был. Коля — и такое! Поверить невозможно... Если б не на месте его взяли, я б ни за что не поверил... Как это всё?... Почему? Ума не хватает понять... Что ему надо было?... Слышал я, будто бы в Тамбове он сразу признался. Сам написал, как было... Тут уж, верь — не верь...

— Я хочу его видеть! — страстно прошептала Зина.

Она совершенно побелела, слушая Сарычева. Он боялся, как бы она не упала в обморок.

— Пока нельзя, — ответил он мягко. — Следствие...

— Я хочу видеть его до суда... Непременно до суда! Он нуждается в помощи! Помоги мне, Саша! Помоги! Ведь ты начальник милиции, тебе не откажут!.. Я хочу его видеть! Понимаешь?

— Нельзя... Закон...

— Можно! Закон не преграда!.. Помоги! Хочешь, я на колени встану? Сейчас? Хочешь, я твои ботинки поцелую!

Зина сделала движение, чтобы встать на колени, но Сарычев подхватил её, удержал.

— Ты что? Ну, ты что... Я постараюсь... — отпустил он её. — Я попробую помочь... Ты когда в Тамбов уезжаешь?

— Сегодня же... Я тут не могу быть... Постарайся, Саша! Я этого не забуду. Никогда!

— Я всё для тебя сделаю! — Сарычев подчеркнул слова “для тебя” и шагнул к машине, но, взявшись за ручку, оглянулся, спросил: — Неужели ты его так любишь?

— Я готова сейчас руку отдать, глаз свой отдать, жизнь, лишь бы ему помочь!

В Тамбове Зина не жила, не училась после этой поездки в Уварово, была, как в бреду, как в тумане. Не слышала, когда к ней обращались. Нужно было несколько раз повторить, чтоб она поняла, о чём идёт речь. Каждый вечер она гуляла возле городской тюрьмы, ходила вдоль кирпичного забора с колючей проволокой по верху, старалась представить, где сидит Коля, как он себя чувствует, что думает. Не верила она, что он насильник. Не верила! Звонила каждый день Сарычеву в Уварово. Он не разочаровывал её, обещал. И в конце недели сказал, обрадовал, что уговорил прокурора, получил разрешение на свидание в субботу. Но только при нём, при Сарычеве, и при следователе.

— Пусть! Пусть! — вскрикнула Зина, чувствуя необыкновенную радость, подъём, словно она уже помогла выволить Николашу из тюрьмы. — Пусть хоть сто человек будет! Ты молодец! Ты хороший!

Они договорились, где встретятся в субботу. Встретились. Сарычев удивился, как она исхудала.

— Ты ничего не ела в эти дни? — воскликнул он.

— Не могу.

— Ну, дурочка! Изведёшь себя!

Приехали в тюрьму, пришли в комнату для свиданий. Там был уже следователь Макеев. Сидел молчаливый, делал вид, что хмурится. Он договорился с Сарычевым, как вести себя с Зиной, что говорить. Они, конечно, и не помышляли устроить свидание Зины с Анохиным.

— Где Коля? — спросила Зина.

Макеев только руками развёл.

— Напрочь отказался... Говорит, зачем мне нужна эта встреча, только лишние страдания... Просил Вам передать, чтоб Вы считали, что он умер... просил забыть...

— Нет! Нет! Нет! — вскричала Зина, зарыдала, забилась в истерике, упала на стол. — Я хочу его видеть! Я хочу его видеть! Проведите в камеру!

Макеев с Сарычевым бросились успокаивать её, совали стакан с водой. Она отгалкивала его, кричала:

— Проведите в камеру! В камеру!

Еле успокоили, еле уговорили: в камеру нельзя, в камеру никому нельзя!

Сарычев долго возил её по городу на машине, успокаивал, говорил ласковые слова, а она плакала, молчала, смотрела на улицы пустыми глазами. Слезы безостановочно текли по её щекам. Чуть ли не силой затащил он её в ресторан, заставил глотнуть водки, немного поест. Потом привёз в общежитие, уложил в постель, сидел рядом, держал её руку в своей, пока она не уснула. Оставил на столе записку, что не поедет в Уварово, ночует в Тамбове и утром придёт к ней.

И действительно пришёл. Опять чуть ли не силой вытащил на улицу, увёз в лес, ходил рядом с ней, пытался развлечь, говорил, говорил, говорил. А она молчала, потом сказала:

— Всё кончено! Зачем жить? Зачем? Нет смысла... Надо уходить...

— Ты только жить начала! Первое горе, и ты сразу крылья опустила! Посмотри вокруг, чего только в этом мире не делается!.. Оглянись!.. У последних подлецов таких мыслей нет... Ты-то при чём? Что ты сделала? За что ты мучаешься?

Сарычев снова завёлся, говорил, говорил о людях, которые её любят, которым она дорога беспредельно. Говорил, пока она не вздохнула тяжело:

— Брошу я институт, уеду отсюда...

— погоди, не спеши, всё уладится, увидишь... Это он сейчас тебе всё небо заслонил, а завтра по-иному увидишь мир. Поверь!

— Не знала, что ты такой мудрый, — буркнула она.

“Значит, слушает!” — обрадовался он.

— Ты меня вообще не знаешь!.. Давай уедем с тобой на недельку на юг, на север. Всего на недельку! Я буду твоим рабом, я буду сдувать с тебя пылинки! Я не коснусь тебя пальцем! Я хочу, чтоб ты выздоровела! Только этого и хочу!

Зина зарыдала снова. Он не успокаивал её, молча шёл рядом меж деревьев, понимал, что это иные слёзы, не тяжкие, а очистительные.

— Давай уедем, давай, — прошептала она. — Я не могу здесь!

Они прямо из лесу поехали в аэропорт. По дороге Сарычев размышлял, куда лететь? Хватит ли денег на билеты? Потом пришёл, конечно. Юг, море успокоит её, решил он и купил билеты в Крым. Позвонил своему начальству, уговорил дать отпуск на недельку, а своего зама попросил выслать деньги в Ялту, в Главпочтамт до востребования.

Полёт немного развлёк Зину. Она впервые летела на самолёте, смотрела на редкие облака, на землю, на зелёные поля, на серые нитки дорог, по которым навстречу друг другу ползли маленькие точки машин, и вдруг засмеялась, сказала громко:

— Хоть бы мы сейчас упали! Как хорошо было бы!

Седая женщина, сидевшая впереди, оглянулась на неё с недоумением и страхом. Зина показала ей язык. Она отвернулась, покачала головой и спряталась за высокую спинку сиденья. Сарычев подмигнул Зине и пожал ей руку.

Море было тёплое. Зина первые два дня не входила в него, сидела на тёплой гальке, брала её в руку и сыпала себе на ноги. Много гуляли по набережной, по переулкам Ялты, по парку. Зина по-прежнему молчала, но уже не была такой безучастной, смотрела по сторонам, слушала болтовню Сарычева, изредка улыбалась. Она была в первый раз в Ялте, первый раз видела море, а он уже хорошо знал город и предместья.

Жили они в одном доме, но в разных комнатах. Сарычев до поздней ночи бывал у Зины, сидел на краешке её кровати, как в больнице у больной, держал её руку в своей, пока она не засыпала. Тихонько касался губами её лба и уходил. Он был её другом, ласковым другом. И видел, чувствовал, что она начинает ценить его нежную дружбу.

20. Судья

Судья Анна Романовна получила новое дело, необычно тонкую папку, сидела в кабинете своего начальника, полноватой, седой женщины, слушала её, разглядывая папку у себя на коленях, и искала повод открутиться от

поездки на совещание в облисполком. В стране начиналась очередная кампания по борьбе с хулиганством в быту и сквернословием. Судья понимала, что совещание проводится для галочки, чтобы отметить, что ведётся работа. Если бы совещание было в рабочее время, то Анна Романовна спокойно поехала бы на него. Но после работы ей нужно было забирать девочку из детского сада. Не будет же сидеть с ней нянечка, ждать, когда совещание закончится! А муж назло ей не пойдёт за девочкой, было уж такое. Надо опять упрашивать сестру, у которой со своими детьми забот полон рот. Но и отказаться неудобно. Только вчера был доверительный разговор с начальницей, и она обещала помочь Анне Романовне с квартирой. Услышав, что председатель облисполкома Климанов желает видеть на совещании именно её, Анну Романовну, судья подняла голову и спросила с надеждой:

— Вы... ему говорили?

— Был разговор, — ответила начальница, сдвигая кресло на колёсиках вправо, и потянулась за пачкой сигарет в дальний угол стола.

Кресло тонко и жалобно скрипнуло под её грузным телом.

— И что он? — быстро спросила судья.

— Кто же сразу ответит, — достала начальница сигарету. — Не отказал, и то хорошо... Воспользуйся случаем... поговори, — шепелявя, держа сигарету в зубах, проговорила она.

Анна Романовна не была знакома с Климановым. Видела его много раз, но познакомиться не довелось. Разные уровни. Сидя на совещании, которое вёл он, судья придумывала, как подойти к нему, как заговорить. Человек он занятой, сразу уйдёт в комнату президиума и к себе. В кабинет к нему не пробьёшься. Записываться надо на приём. Да и пожелает ли он сам принять? Замов много. К ним направят, когда узнают, что она по жилищному вопросу. А жить дальше так, как живёт она, неумоготу. Дочь истеричкой вырастет, глядя на бесконечные ссоры родителей, на постоянную злобу, ненависть друг к другу. Анна Романовна неожиданно поняла, что нужно делать, достала бумагу, черкнула на ней нервно: "Прошу слова!" Подписалась и передала записку в президиум. Нервно следила, не зная ещё, что говорить будет, как записка шла по рядам зала из рук в руки, как из первого ряда её передали прямо Климанову. Он развернул, прочитал и, как показалось Анне Романовне, одобрительно кивнул. Потом, когда очередной оратор покинул трибуну, сразу дал ей слово.

Говорила она о том, что всем опостытело сквернословие на улицах, в общественных местах, в семье, что сквернословы потенциальные преступники, что люди, избегающие похабщины, никогда не совершат преступления. Говорила, что пусть матерщинники не ждут снисхождения от них, судей. Говорила, а самой казалось, что это не она говорит, а кто-то другой, а она сидит в зале, позёвывает, не вслушиваясь в эти пустые газетные слова.

Ей недружно похлопали, как, впрочем, и другим. Все понимали, что ничего их слова не изменят. Как матерились люди, так и будут материться. Чтобы что-то изменить, надо прежде изменить условия их жизни.

Анна Романовна с нетерпением ожидала конца совещания, мечтая перехватить Климанова в приёмной, попросить у него минутки две, чтобы выслушать её. Надо успеть раньше других выскочить из зала и подняться на второй этаж. Смущало одно: вдруг он прямо из зала совещание уедет куда-нибудь, не заходя в кабинет?

Люди бодро захлопали откидными сиденьями кресел, поднимались довольные, что наконец-то трепотня закончилась, можно заняться своими делами. Анна Романовна впилась глазами в Климанова, который не торопился уходить со сцены. Его сразу же окружили люди, стали расспрашивать о чём-то, задавать вопросы. И судья тоже рванулась на сцену, поднялась по ступеням, встала в сторонке, там, где был выход, чтобы Климанов, уходя, шёл мимо неё, и она могла обратиться к нему. Анна Романовна, волнуясь, ждала, не спускала глаз с председателя облисполкома, смотрела, как рассылаются люди вокруг него. Она видела, как Климанов глянул в её сторону. Глаза их встретились и — о, чудо! — он улыбнулся ей доброжелательно и тут же отвернулся к своему собеседнику. Анна Романовна машинально

поправила рукой причёску, чувствуя, как загорелось лицо. Вспомнилось, что, по слухам, Климанов жизнелюб, не чурается женщин. Мелькнуло в глубине сознания, что, может, она приглянулась ему, собой она неплоха, довольно свежа ещё в свои тридцать лет, худощава, стройна, кожа на лице нежная, без морщинок. Климанов мужчина видный, крепкий, крупный. Седина только украшает его. Лицо немного грубовато, нос широковат, но это ерунда. За квартиру Анна Романовна чёрту лысому отдать была готова. Улыбка Климанова как бы приглашала дождаться его, давала надежду.

Председатель облисполкома наконец-то пожал поочередно руки своим собеседникам и двинулся к ней, чуть улыбаясь своими толстоватыми губами.

— Вы молодец, Анна Романовна, — коснулся он логонько её руки чуть ниже локтя, — хорошо сказали... Идёмте... Верно, надо всем миром навальнуться на сквернословов, не давать им покоя ни дома, ни на работе, сделать, наконец, жизнь нашу чище, светлее. Особая роль тут у вас, у народных судей. Мы что, мы можем только словами воздействовать. — Они вышли в коридор и пошли по красной ковровой дорожке. — А у вас в руках кнут, вы можете и физически воздействовать. Хватит нашим женщинам терпеть. Натерпелись... Жизнь одна...

— Верно, верно, — вставила Анна Романовна. — Ох, как я натерпелась! Врагу не пожелаю!

— Слышал я немного... Что же вы не поделили?

— Пойми теперь — что?.. Женились по любви... По горячей любви! А через девять месяцев, когда мне рожать надо было, он любовницу завёл... И сам же признался... Честный! Вот и пошло... Может, и я себя не так повела, может, молчать надо было, терпеть! Да разве утерпишь... Нервы, ребёнок... Скандалы каждый день... Трезвым он перестал домой приходиться... Гадко всё. А живём в одной комнате... Деться некуда... Придётся с работы, приведёшь девочку, а у него либо дружки пьяные, либо девица. Хорошо, если за столом... бывает и в постели... Да ещё норовит на мою кровать уложить. Нарочно делает, чтоб позлить... Понятно, какой концерт бывает... И так почти каждый день...

— А квартира чья? — остановились они возле двери в приёмную.

— Его... Не выгонишь... И мне идти некуда.

— Ну да, ну да... Это не жизнь, — сочувственно проговорил Климанов, открыл дверь, вошёл в свой кабинет, сказав секретарше: — Кофею нам!

Анна Романовна вошла следом. Сели.

— Вы видели, верно, на Интернациональной улице кирпичный дом вырос. Сейчас отделка идёт. Через месяц распределять будем. Я надеюсь, вам тоже там двухкомнатная квартирка найдётся...

— Сергей Никифорович! Сергей... — вскочила ошеломлённая Анна Романовна. — Да я... я...

— Сиди, сиди! — засмеялся, замахал обеими руками Климанов, успокаивая. — Я ни при чём. Вы заслуживаете... Отзывы о вас самые хорошие...

Секретарша внесла на подносе две дымящиеся чашечки кофе, сахарницу с сахаром и конфеты на блюдечке, расставила всё на столе, отметив, что руки у судьи подрагивают от волнения и ужасно возбуждённое лицо.

— Не сегодня это решать будем, ещё целый месяц впереди... Всяко может случиться, — говорил Климанов, поглядывая то на секретаршу, лицо которой выражало самую любезность, то на ярко-алое лицо судьи, довольно милое и симпатичное. “Бедная женщина! Как она теперь соскучилась по мужской ласке! Видно, темпераментная!”

Когда секретарша вышла, Климанов поднялся, достал из холодильника начатую бутылку коньяка, из шкафа — две рюмки, поставил их на столик возле кофе и сел напротив Анны Романовны, налил в рюмки, говоря:

— Понемногу за знакомство... и поговорим о грустном...

Анна Романовна посчитала неудобным отказаться от коньяка, выпила, взяла конфету.

— Как мне известно, вы будете вести дело моего земляка? — спросил Климанов.

Судья вспомнила дело насильника Анохина, которое, получив сегодня утром, она успела бегло перелистать, вспомнила, что преступник, как и Климанов, из Уварово. Она поняла, что они знакомы, ведь насильник журналист, замредактора районной газеты — это её больше всего поразило. Неужто он при таком положении дел себе найти не мог? Непременно надо насилловать? И всё дело было какое-то сомнительное. Следственного эксперимента не провели. Показания свидетелей да протокол допроса насильника, в котором он признавал свою вину. Видно, Климанов будет сейчас просить быть помягше к преступнику. Она с удовольствием вернёт дело на следствие, а там откроется масса новых обстоятельств, при которых, если надо председателю, она сможет легко забыть дело. Всё что угодно сделает, лишь бы вырваться из дома мужа, лишь бы квартиру на Интернациональной не упустить. Это же два шага от работы. О таком подарке она мечтать не смела. Любой комнатухе на краю Тамбова рада бы была. Всё это в один миг пронеслось в голове судьи, и она переспросила:

— Вы имеете в виду дело Анохина?

— Ну да... Опозорил, гад, мой район! — вздохнул горько Климанов. — Да и во всей области такого маньяка за свою жизнь я не припомню... Вот сволочь, что ему надо было? А?.. Выродок, настоящий выродок! Врачи говорят, такие неисправимы... Отсидит свои пятнадцать лет, если его в живых оставить, вернётся — и опять за своё. Такое уж не раз бывало! Это вы и без меня знаете. Примеров полно... — говорил горестно Климанов, держа чашку с кофе в руке и изредка отпивая глоток. — Вы пейте, пейте кофе! Стынет!.. Ой, как представлю свою дочь в руках такого садиста, дрожь берёт, мурашки... Сколько вашей дочурке?

— Третий годок, — подняла Анна Романовна чашку с блюдечка. Она ещё не понимала, к чему клонит председатель облисполкома.

— Вот-вот, представьте себе... Через пятнадцать лет ей будет восемнадцать. Вернётся этот гад, по-другому я его назвать не могу, из тюрьмы, выследит вашу дочку... — Климанов замолчал. — Ну да, — качнул он головой, — страшная картина!.. Нет, нет, безжалостно надо очищать землю от садистов, маньяков... Правильно вы выступали сегодня... безжалостно надо выбивать! Милосердие может только навредить невинным людям... Хочется побыстрее покончить с этим делом, чтоб шум до столицы не дошёл. Скажут, напишут: вот какие дела в Тамбове творятся, маньяков развели... Позор на весь Союз. Не хочется, чтоб имя наше трепали даром из-за каких-то садистов... Надеюсь, вы меня понимаете?

Анна Романовна кивнула. Она действительно поняла, что Климанов хочет поскорее отделаться от этого скользкого дела, опасается за свою карьеру. И от секретаря обкома удар решил отвести. Всем им хочется, чтоб сор в избе оставался, чтоб ничто не мешало спокойной работе, спокойной жизни.

— Месяца вам хватит разобраться?

— Там всё ясно, — быстро ответила судья, ставя чашку на блюдечко. — Две недели хватит на подготовку суда.

— Ну, вот и ладненько... И пожёстче, пожёстче! Ваш настрой мне нравится... В Уварово народ грозит райком партии разнести, если этот сексуальный маньяк в живых останется. Мол, райком своего не осудит, всегда выручит... Имейте в виду, Анохин хитёр, умён, изворотлив, может что угодно напастить, выдумать, чтоб суд затянуть, запутать, в живых остаться. В фантазии ему не откажешь... — Климанов поднялся, прощаясь, и улыбнулся, заговорив о другом: — А на новоселье меня не забудьте пригласить! Непременно приду... Приятно посидеть за одним столом с такой красавицей!.. Дурак у вас муж! Ох, дурак! Ничуть в женщинах не разбирается...

21. Суд

Левитан оказался прав. К следователю Анохина не вызывали долго. Подбитый глаз начал открываться, не мешал читать. Синяки на теле почернели, потом стали светлеть, исчезать. На ногу уже не больно наступать. А его всё не звали. В камере Анохина больше не беспокоили, не обращали на него

внимания. Он не принимал никакого участия в жизни камеры: не играл ни в какие игры, хотя умел и любил играть и в шашки, и в шахматы. Если предлагали, отказывался, говорил, что не умеет. Обида за позор первого дня не отступала. Когда подсаживались к нему поговорить, отвечал односложно: да — нет! Сам ничем не интересовался, никого ни о чём не спрашивал. Только читал газеты, книги, что попадалось под руку. Если долго не меняли книги, перечитывал заново уже знакомое.

Однажды к нему подсел стриженный, тот, что вместе с узкомордым пытался его изнасиловать. Кликуха у него была Игрок. Азартный человек, играл во все игры, встречал во все дела, во все камерные свары.

— Ты, это самое, не дуйся слишком, — начал Игрок. — Знаю, обидели... Но пойми, таков закон, не нами придуман: помял крылышки — надевай юбку... Мы не знали, что тебя, это самое, подставили... А закон, понимать должен, справедливый. Ведь так?

Анохин молчал, не отвечал ничего.

— Вот так... Ты парень безобидный... В общем, так... Договорились! — Игрок хлопнул по плечу молчаливого Анохина и ушёл к столу.

А узкомордый по кликухе Мерин не замечал Анохина. Не замечал Мерина и Николай.

Дождался всё-таки вызова к следователю Анохин. Шёл по коридору собранный, думал, что сейчас он всё расскажет, напишет собственноручно обо всём, что знает. Лишь бы ручку с бумагой получить. Сел напротив следователя Макеева, этого скользкого человека, ожидая вопроса. Стол перед следователем был совершенно пуст: ни ручки, ни бланка протокола вопроса, ни клочка бумаги. Следователь Макеев молча рассматривал его с некоторым любопытством. Теперь это был любопытный человек с грустноватыми глазами. Насмотрелся, спросил лениво, без интереса:

— Вспомнил, где плёночка?

— О какой плёночке вы спрашиваете, поясните? — приготовился к бою Анохин.

— Ух ты, сколько слов сразу! А говорят, немногословный... Не нужна нам твоя плёночка, — вздохнул устало грустный следователь. — Пусть гниёт... Не хочешь вспоминать, не надо. Тебе она никогда не понадобится... Вызвал я тебя не зтем. — Макеев сделал скорбное лицо. — Печальную весть я тебе принёс... Вынужден, так сказать, сообщить тебе, что твоя мать умерла...

— Как?! — вскопчил ошеломлённый Анохин, схватился за край стола.

— Вот так... — развёл руками скорбный следователь. — Сердечный приступ... Инфаркт.

— Это вы её убили! — выкрикнул Анохин. — Вы! Как вы мне ответите за это! Как вы ответите!

— Не брызгай слюной, присядь! — сказал печальный следователь. — Кому мешала бедная старушка? Никому... Присядь, присядь! Не горячись, видишь, всем сердцем разделяю твою горе. Будь моя воля, я бы тебя на похороны отпустил... Но сам знаешь, закон... Да, закон...

Макееву действительно было жаль Анохина. Видно, этот парень прикоснулся к тайнам больших людей, хозяев жизни. Ничто теперь его спасти не может. Судьба Анохина всё время напоминала Макееву, что он тоже маленький человек, ничтожный клоп, которого сразу раздавят, если он даже не укусит, а только покажется из своей щели на глаза хозяевам.

Николай сел, с ненавистью глядя на сытое грустное лицо Макеева. Он понял своё полное бессилие, беспомощность, понял: что бы он ни говорил сейчас, следователь его не услышит.

— У тебя ещё есть родственники?

Анохин подумал о тётке, сестре отца, в далёкой деревне Масловке, о детях её, своих двоюродных брате и сестре, и ответил:

— Нету... Есть невеста... Мне надо написать ей письмо.

— Зачем? Забудь о ней, зачем её тревожить, ранить. Не думаю, что ты её обрадуешь своим посланием, не думаю, что ты её когда-нибудь увидишь. Это уже не в твоей власти... Дело твоё оформлено и передано в суд...

— А как же допрос?

— Какой допрос? Все уже опрошены. Всем всё ясно... Ни одного вопроса ни у кого нет. Жди суда!

Ошеломлённого и вновь раздавленного смертью матери Николая Анохина привели назад, в камеру. Он понимал, что умерла мать от горя из-за него. Конечно, она ни на секунду не верила, что он насильник. Ждала, надеялась, что его вот-вот выпустят, страдала, и сердце не выдержало. Николай вновь не спал несколько дней, думал о матери, представлял, как она металась от прокурора к адвокату и обратно. Искала правду. И всюду её уверяли, что она вырастила маньяка.

В эти дни он стал быстро сесть. Постепенно приходил в себя, всё чаще думал о суде, стал готовиться к нему, продумывать ответы на вопросы, свою речь. Долго решал: отказаться от адвоката или принять. Всё равно он будет работать против него. Как жалел теперь Анохин, что никогда не интересовался, как проходит суд. Ни разу не был в суде. Знал только, что слово подсудимому дают, что бывают на суде зрители. Даже если судья будет подкуплен, он всё расскажет слушателям, а они передадут своим знакомым. Пойдёт слух о нём, и может быть, кто-то из знакомых журналистов заинтересуется его делом, пожелает встретиться с ним.

Не верилось Анохину, что Перельгин предал его. Ошибается Левитан. Не может такого быть! Перельгин должен ему помочь. Как только он услышит о его беде, он прибежит к нему. Он напишет обо всём. Он-то знает причину его ареста. Он теперь бьёт во все колокола. Неужели Перельгин ни разу не был у прокурора, в исполкоме? Не может такого быть! Случись что с Перельгиным, он, Анохин, немедленно ринулся бы помогать другу. А если Перельгин поверил, что он смог изнасиловать? Неужто поверил? Тогда какой он друг?.. А Зина, что делает Зина? Неужели она поверила, что он убийца, насильник? Неужели поверила, что он сразу после ночи с ней, такой прекрасной ночи, мог думать о другой, мог изнасиловать? Если так, то зачем тогда жить, кому нужен такой мир! Нет, она не могла поверить! Что она теперь думает, что делает? А мама, что она перенесла, как она жила эти дни после его ареста? Как смотрела в глаза соседям, когда прошёл слух о его злодействе? Она, конечно, не поверила! Они убили её этим известием. Они убийцы! Мстить, мстить! Смести нечисть с русской земли!

Анохин стал думать о мести, о жестокой мести! Вся его жизнь разрушена. Что бы теперь ни случилось, даже при самом счастливом стечении обстоятельств, он уже не сможет жить так, как жил прежде. Не сможет! Не забыть того, что было! Не забыть! Не говоря уж о том, что он всё потерял. Даже если его оправдает суд и накажет его мучителей, разве возьмут его главным редактором в газету? Разве сможет он по-прежнему работать в Уварово? Разве сможет он по-прежнему служить этой власти, сможет ли подозревать каждого партийного работника в мошенничестве? Разве сможет писать по-прежнему? А если не сможет, то как будет жить? Что делать? В таких мучительных размышлениях прошли дни до суда.

О том, что суд будет закрытый, Анохин не знал, не догадывался. Что такое закрытый суд, он узнал только тогда, когда его привели в зал. Он был пуст. Сидели за своими столами прокурор и адвокат. Сразу же после того, как два конвоира ввели Анохина в зал, вошла женщина и строгим голосом объявила:

— Встать! Суд идёт!

Прокурор с адвокатом встали, а Анохин ещё не успел сесть, стоял за барьером, смотрел, как друг за другом, гуськом, входят три женщины с серьёзными лицами. “Сказать, сказать им всё! — вертелось в голове Анохина. — Они поймут, они вернут дело на доследование!.. Следователя заменят, другой всё узнает, расследует, и преступникам не уйти!”

Слушал он обвинительное заключение с тоскливой дрожью во всём теле, хотелось перебить, крикнуть, что не так это! Враньё! Состряпано! Но он сдерживался; дадут слово, тогда он всё скажет. По обвинительному заключению получалось, что он весной изнасиловал и убил одну девушку, потом повторил свои действия. Но во время насилия ему помешали парни, схватили на месте преступления, поймали и доставили в милицию. Когда Анохин

услышал, что он признался в совершённом преступлении, он не выдержал, воскликнул:

— Неправда!

— Что неправда? — строго и недоброжелательно спросила судья Анна Романовна. — Ваши показания имеются в суде... Не мешайте работе! Вам дадут слово!

Анна Романовна помнила предупреждение Климанова, что Анохин не дурак, изворотлив, может что угодно придумать, чтобы затянуть суд или попытаться вернуть дело на доследование. Готовясь к судебному процессу, она решила как можно меньше давать слово обвиняемому, а если понадобится, то вывести его из зала. Взглянув впервые на Николая Анохина, она, действительно, увидела бандитскую рожу и поняла, что он решил играть роль невинного или раскаивающегося ягнёнка, лишь бы сохранить жизнь. Бить на жалость! Нет, нельзя расслабляться, подставлять дочь таким извергам! Чем меньше их на земле, тем легче жить, спокойнее. Климанов ждёт для обвиняемого самого сурового наказания. И оно будет!

Судьба обвиняемого была решена. Опасения Анны Романовны оправдавались. Анохин даже обвинительного заключения не выслушал, начал перебивать.

А Анохин потрясён был, когда услышал, что девушка, которую изнасиловали, покончила с собой, бросилась с пешеходного моста на рельсы на глазах у тех самых парней, теперешних свидетелей, и нового начальника милиции. “Убили! Сбросили! — мелькнуло в голове. — Они способны на всё!” Поразило и то, что Сарычев был с ними. “Неужели прав Левитан? Неужели Сарычев с ними? Не может быть, обманули его как-то...”

Опрос свидетелей начали с подруги потерпевшей. Она рассказала, как возвращалась с Валеи домой с работы, как кто-то выскочил из кустов, схватил её подругу, а она испугалась и убежала. Кто схватил и сколько их было, она не успела заметить. Вроде бы один.

Потом по очереди вызвали Мишку и Славика. Они слово в слово повторили, как шли ночью мимо лесопосадки и услышали в кустах какую-то возню, сдавленные крики, хрипенье, бросились туда и захватили вот его, указывали они на Анохина, прямо на месте преступления. Он насиловал девчонку.

— Неправда! — вскричал Анохин, вскакивая со своей скамьи, когда Мишка первым рассказывал эту версию. — Я лежал в кустах связанный! Это они насиловали, они!

— Что за бред! — воскликнула Анна Романовна. — Успокойтесь, а то попрошу вывести! Вам дадут слово!

“Начинается! — подумала она. — Только что-то ума большого не видно. Мог бы что-то поущественней, потолковей придумать, чем обвинять в насилии свидетелей”.

Анохина начало трясти. Он видел, что суд идёт не так, как ему хотелось бы, что слушать его не хотят. Как быть? Как потолковее рассказать? Как сделать, чтобы выслушали? Адвокат задавал вопросы свидетелям, но все они, по мнению Анохина, были не по существу, а только уточняли, утверждали версию свидетелей и следствия. Адвокат, познакомившись с делом, поверил, что Анохин действительно насильник и убийца. Это, по его мнению, доказано. Он решил побороться за жизнь Анохина. Он хотел встретиться с Николаем перед судом, чтобы поподробнее узнать о его жизни, чтобы на суде напирать на его неопасность для общества, но адвокату передали, что обвиняемый отказался от встречи с ним. Адвокат решил, что Анохин совсем опустил руки, кается и хочет понести самую суровую кару. На этом и хотел он построить свою защиту, разжалобить судей и чуточку смягчить приговор. Но обвиняемый вдруг повёл себя не по придуманному адвокатом сценарию, зачем-то стал отпираться, кричать: “Неправда!” — потом вообще сделал глупость: обвинил свидетеля, спасителя девчонки, что это он изнасиловал. Идиот, защитай такого, когда он сам в петлю лезет!

Наконец-то дали слово обвиняемому. Анохин встал, страшно волнуясь. Его трясло, руки дрожали. Он сжимал пальцы в кулак, чтобы не видно было, что руки ходят ходуном. Надо всё рассказать, всё!

— Я журналист. Работаю в районной газете заместителем редактора... По некоторым фактам я стал догадываться, что на нашей Уваровской трикотажной фабрике что-то нечисто. Я поехал туда, но не к директору, а в цех...

— Это было в день преступления? — перебила, решила уточнить Анна Романовна.

Для неё было ясно, что Анохин придумал какую-то историю, чтобы запутать дело. На этот раз, видно, решил действовать умнее.

— Нет, недели три назад...

— Какое это имеет отношение к делу? То, что вы журналист, мы знаем, и чем занимаются журналисты, тоже знаем. Переходите к делу, давайте по существу. Вы признаёте себя виновным в совершённом преступлении?

— Нет.

— Ясно... — Судья обратилась к секретарю суда. — Так и запишите: обвиняемый вину свою не признал. — И вновь обратилась к Анохину. — Почему же вы следователю признались в совершённом преступлении?

— Меня вынудили, заставили! — воскликнул Анохин, начиная нервничать. Он почувствовал, что дело его опять уходит в сторону, что не дадут ему всё рассказать. — Меня били!

— Следователь бил?

— Нет. В камере!

— В камере били, а вы следователю признались, что изнасиловали и убили двух девушек? Хороша логика!.. Садитесь, суду всё ясно!

— Я не всё рассказал! — воскликнул Анохин.

— Садитесь! — жёстче повторила Анна Романовна. — У суда к вам вопросов нет. Не мешайте работать!

Анохин не садился, губы его дрожали.

— Вас что, вывести из зала?!

Николай медленно опустился на скамью и обхватил голову руками. Всё! Прокурор потребовал высшей меры наказания.

Адвокат бойко, но не искренне просил не применять к его подзащитному высшей меры, просил учесть молодость, высказывал уверенность, что пятнадцать лет достаточно, чтобы осознать всю степень своей вины и исправиться.

Суд удалился совещаться.

— Кажется, тут всё ясно... вопросы не возникают, — сказала Анна Романовна. Она была довольна, что суд прошёл гладко, без эксцессов. Климанов будет доволен. Вероятно, он поинтересуется, как прошёл суд над его земляком. — Нельзя его оставлять в живых!

— Может, пятнадцать лет? — засомневалась одна из народных заседательниц, маленькая, круглолицая, с тремя глубокими морщинами на лбу.

— Нет! — уверенно ответила судья. — Я не хочу рисковать своей дочерью. Через пятнадцать лет ему будет сорок... Вернётся, опять кого-нибудь непременно задушит и изнасилует. Врачи говорят, такое неизлечимо. Таких либо пожизненно надо изолировать от общества, либо высшая мера... Пожизненного у нас нет... Его дело на контроле в обкоме... Валентина Петровна, заполните протокол решения суда...

— Ну что? — уставились на Анохина сокамерники, когда его привели.

— Вышка! — выдохнул Анохин и жалко улыбнулся. Внутри его было мертво.

— Шутишь?

— Отшутился... Хана мне...

Анохин лёг на нары лицом вниз. Лежал неподвижно.

В камере было необычно тихо, словно в ней был покойник.

22. Адвокат

Решение скорого суда было так неожиданно для Николая Анохина, что он не сразу осознал, что приговорён к смерти. Он слышал слова судьи, понимал, что значит высшая мера наказания, но сердце и разум отказывались

принять, осознать это. После суда, по дороге в тюрьму нашло какое-то отупение, омертвление всего. Было только чувство общей катастрофы, полного обвала всей жизни. Анохин верил в суд, был убеждён, что он решит всё по справедливости. Не мог думать, что кто-то действительно искренне считает, что он преступник, что он насильник. Неужели трудно понять, что это абсурд? Николай был уверен, что суд его оправдает, освободит из-под стражи и отпустит.

Лёжа на нарах, он часто представлял, как вернётся домой, как встретится с Зиной. Она, конечно, ни разу не засомневалась в нём, ни секунды не верила, что он насильник! Как она теперь переживает, страдает, мучается из-за него! И как сладка будет встреча! О том, как он будет себя вести с Перлыгиным, Анохин не думал, не верилось, что он предал. С ним надо по-мужски поговорить, без виляний, глядя в глаза друг другу. Тогда станет всё ясно. А как быть с Долговым, с Сарычевым? Верно ли, что именно Сарычев организовал ловушку для него, арест? Изнасилование девчонки? Ничего, с этим он разберётся потом, а сейчас главное — суд. Оправдание. Главное выкарабкаться из тюрьмы.

И вот суд позади. Анохин лежит на нарах. Ни мыслей, ни чувств. Полное отупение. Тела он тоже не чувствует. Пустота. Только ощущение тошноты. Смутно кажется, что тело парализовано, невозможно шевельнуть ни рукой, ни ногой.

Шума в камере он не слышит.

Ничего нет вокруг.

Время остановилось.

Мир умер.

Ужинать Анохин не стал. Просто не услышал, когда его позвали. Не шевельнулся. Ночь пролежал с открытыми глазами неподвижно, на спине. Утром его растормошили. Он долго не мог понять, что пришёл адвокат. Вызывает. Равнодушно брёл по коридору. Конвоир, поругиваясь, подгонял его, подталкивал в спину, но он не чувствовал толчков, не реагировал на них. Адвокат увидел его состояние, усадил на табуретку, сказал, что написал Председателю Верховного Совета СССР прошение о помиловании, что без согласия главы государства к нему не имеют права применить высшую меру наказания.

— Подписывай, — адвокат протянул ручку Анохину и пододвинул по столу листы бумаги. — Читать будешь?

Анохин взял ручку, но она выскользнула из его вялых пальцев на стол.

— Что ты как кукла тряпичная! — рассердился адвокат. — Соберись! Тебя ещё не расстреливают. Будь мужчиной!

— Я не насиловал, я не убивал, — выдавил из себя хрипло и еле слышно Анохин.

— Так ли? — насмешливо спросил адвокат. — Суд позади! Чего теперь юлить. Я не следователь и не судья.

Адвокат был уверен, что Анохин маньяк и приговор получил по заслугам. Но он обязан писать прошение о помиловании. Это его работа. И он выполнил её добросовестно, как и полагалось. Адвокат не верил, что Председатель Верховного Совета СССР будет читать прошение. Дел, что ли, у него нет других!.. Подмахнёт, утвердит, и нет человека. Ни разу не слышал адвокат, чтобы кого-то помиловали.

— Я не насиловал, — вновь прошептал Анохин, пытаясь уцепить непослушными пальцами ручку на столе. — У меня невеста... мы только подали заявление в загс...

— Тебя же с девки сняли, — усмехнулся адвокат.

— Они держали меня в кустах связанным и с заткнутым ртом, а сами насиловали...

— И зачем же это? Не проще было бы пристукнуть тебя в этих кустах, чем так изощряться? — не верил адвокат.

— Они отравили начальника милиции... Они убили замначальника милиции через три минуты, как он вышел из моей комнаты. И меня б убили давно, если б не плёнка, — вяло выговаривал Анохин. Он не оправдывался, просто говорил, как было.

— Какая плёнка? — вырвалось у адвоката совсем другим тоном.

Он слышал, что в Уварово неожиданно умер сорокалетний начальник райотдела милиции, а потом почти сразу же погиб в автокатастрофе его заместитель. Странный случай! В три дня районная милиция лишилась своего руководства. Но никаких слухов в Тамбове по этому поводу не возникло. Бывает. Совпадение. Никто не соединял эти две неожиданные смерти с делом Анохина. А он ведь был не только из Уварово, но видным в районе лицом. Не только знал руководителей милиции, но часто виделся с ними. Анохин, действительно, никого не убивал и не насиловал, его убивают. Он встал на пути у кого-то очень сильного. Это быстро промелькнуло в голове адвоката, и он понял, что находится на пороге какой-то тайны, из-за которой гибнут люди. Тревога и чувство опасности сжали грудь, и он быстро перебил Анохина, который заговорил, отвечая на его вопрос:

— С документами... Мы с замначальника милиции пересняли...

— Не надо! Эти байки ты на суде пытался гнуть... Молчи! — крикнул адвокат.

Николай говорил до этого в стол, не поднимал головы, не смотрел на адвоката, но теперь поднял глаза и увидел ошестинившегося, готового к защите человека, и вместе с тем бледного, растерянного, жалкого... Что с ним? Вспомнил Перельгин после рассказа о плёнке. Он был таким же. Вот как меняет людей эта чудодейственная плёночка!

Они смотрели друг на друга. Молча. Не отрываясь. Анохин почувствовал, что кролик не он, а адвокат, и улыбнулся, оживая.

— Я не буду... обременять вас, — теперь усмехнулся он, но пока ещё криво. — Живите спокойно, если можете... Где подписывать?

Адвокат молча указал пальцем на лист внизу текста, быстро вытащил из кармана платок и начал промокать лоб с большими, внезапно вспотевшими залысинами. Анохин подписал, поставил дату, положил ручку на лист.

— Отправите? Не забудете? — посмотрел он на адвоката.

— Об этом не беспокойтесь, — буркнул адвокат, забирая ручку и лист и укладывая их в папку. — Это мой долг! — добавил он, пытаясь говорить с достоинством. Не попрощался, быстро пошёл к двери.

23. Зачем жить?

Анохин считал, что теперь его долго беспокоить не будут. Пока не придёт ответ из Москвы. При Сталине расправа после суда была скорой. Расстреливали в двадцать четыре часа. Теперь исполнение приговора, как ему объяснили в камере, может затянуться на год, а то и на два. Всяко бывает.

Подписав прошение о помиловании, Анохин вернулся в камеру в ином состоянии. Шёл по коридору уверенно, быстро, держа руки за спиной. Конвоир едва попевал за ним, стучал сапогами по каменным плитам, громко чиркал железными подковками. “Надо не раскисать! Хорошенько обдумать своё положение!” — решил Анохин. В камере он не направился, как обычно, к своим нарам, а подошёл к столу, где четверо играли в домино, а двое наблюдали за игрой, ждали, когда кто-то проиграет и можно будет их заменить.

— Будешь? — глянул на Анохина один из игроков, скуластый, добродушный парень, когда, закончив партию, начали перемешивать костяшки.

— Давай! — неожиданно для всех ответил Николай.

Скуластый парень отодвинулся в сторону, уступая место Анохину, и тот перешагнул через скамейку, сел за стол. Он заметил, что напарник скуластого, лысоватый с серым бескровным лицом, недоволен, что он сел с ним играть. Николай до этого не участвовал в жизни камеры, не знал, как кого зовут. Лишь позже, во время игры, он узнает, что его лысоватого партнёра зовут Банан.

— Играл когда-нибудь? — буркнул Банан, кинув взгляд на Анохина исподлобья.

— Приходилось, — ответил Николай.

Внутри его всё сидела боль и тягостная тоска.

— Следи за игрой, — оживился Банан и резко врезал костяшкой по столу, выдохнув: — Ёпе!

— Клёво! — стукнул по столу другой.

Анохин увлёкся игрой, стучал вместе со всеми по столу, но тоска не отпускала, гнездилась глубоко в душе. Ему приятно было, что Банан оценил его игру. Они высаживали соперников одного за другим. Банан шутил, ёрничал, подкалывал проигравших, сыпал матерными прибаутками и уголовным жаргоном. Он, видимо, не первый раз ждал суда. Давно освоился. Но шутки его и подколки были необходимыми. Вокруг смеялись, проигравшие отвечали ему так же беззлобно и, крихтя, лезли под стол, по которому с хохотом, азартно начинали бить кулаками. Анохин улыбался, но не стучал кулаком, не шутил. Он заметил, что к нему обращались как-то бережно и необычно деликатно. Николай во время игры услышал позади себя разговор.

— Во, бля, за ночь белый стал! — восхищённо произнёс кто-то.

— Хотел бы я глянуть на тебя на его месте: не только поседел бы, но и облез, — грубовато ответили говорившему.

— Я не о том... Первый раз вижу такое: вечером — русый, утром — белый...

Анохин догадался, что говорили о нём, и машинально провёл рукой по волосам. На ощупь они были по-прежнему мягкие. Отдалившиеся боль и тоска приблизились снова, подступили к горлу, стали мешать игре. Он вылез из-за стола и подошёл к мутному зеркалу над умывальником. Отшатнулся, не узнал себя. Старик! И окончательно поверил, что прошлого не вернуть. Всё потеряно. Ничего восстановить нельзя. Матери нет, невесты нет, работы нет! Осталась только жизнь, да и ту отнять должны. И не жалко её! Зачем жить? Что его удерживает на земле? Нет ему места в мире! Нет... Не лучше ли уйти сейчас, самому, не дожидаясь, когда другие отнимут? Как здесь это сделать, чтобы не помешали? Ночью?

Анохин вспомнил, что читал где-то, кажется, Леонид Андреев писал, как в тюрьме заключённый покончил с собой. Он прыгнул со стола головой в каменный пол. Если прыгнуть со второго яруса нар, то голова непременно расколется, разлетится, как лампочка.

Об этом он думал и ночью. Нары у него теперь были внизу. Но прежние, у параша, пустовали. Можно было потихоньку взобраться на них и нырнуть сверху головой в каменный пол. Анохин представил, как от грохота вскинется камера, как шарахнется от его окровавленного тела с размазанными по полу мозгами.

Николай потихоньку стал подниматься. Нары хрустнули тихо, скрипнули под ним. Но в общем храпе, силном дыханье, постанывании многих мужчин этот слабый шум был слышен только ему. Тускло светила лампочка под потолком. Рядом, на соседних нарах, шумно дышал пожилой мужик, ожидавший суда за то, что по пьянке сильно избил жену. Соседка вызвала милицию. Жёна со злости и обиды написала заявление. Анохин потихоньку направился к пустующим нарам. Шёл крадучись, затаив дыхание, представлял, как будет осторожно взбираться на нары и нырять вниз.

— Не спится? — как неожиданной удар, раздался шёпот.

Анохин вздрогнул и остановился. Глянул в ту сторону, откуда раздался шёпот. Узнал в полутьме Банана. Ничего не ответил Анохин и пошёл к умывальнику. Исполнение приговора себе откладывалось.

“Почему я должен убить себя? — с прежней тоской подумал Анохин, укрываясь одеялом на своей шконке. — Разве я подло жил? Или я поступал мерзко? Разве я делал гадости кому-нибудь? Нет же... Я чисто жил, по-божески... Да, я не ходил в церковь (надё бы Библию почитать), я не верил в Бога, не думал о Нём. Нет, я никогда никому не говорил, что не верю в Бога, не доказывал никому, что он не существует. Просто не задумывался я серьёзно, есть Он или нет Его. Учили с детских лет, что нет Бога. Ну, нет и нет... Но ведь с детства учили, что власть советская самая справедливая, что коммунист честнейший и справедливейший человек на земле, что партия — ум, честь и совесть нашей эпохи. Разве не коммунист Долгов, представляющий партию и власть в Уварово, загнал его в ловушку и теперь

отнимает у него жизнь? Значит, нет совести и чести у партии, нет справедливости у Советской власти. Враньё, всё враньё! Может быть, и с Богом так? Отменили, чтоб совесть не мучила, чтобы было всё позволено... Надо попросить Библию! Завтра же... Напрасно не прочитал раньше... Где её было взять? В Уварово все церкви давно разрушены... Если есть Бог, почему Он допускает такую несправедливость, ведь Он знает, что я чист? Зачем ему надо убить меня, убрать с лица Земли? Я уйду, а эти мерзавцы, пролившие столько крови, будут жить, лить кровь дальше, будут наслаждаться жизнью, возьмут его невесту в жены! Зина будет ласкать Сарычева, забудет обо мне, о моём существовании. Сарычев внушит ей, что я садист, маньяк, убийца, что я получил по заслугам. Она проклянёт ту ночь, нашу первую ночь, свою первую ночь! Неужели этого хочет справедливый Бог?.. Господи, разве я грешил? В чём мой грех? Я не почитал Тебя, да, это грех, но я не нарушал Твои заповеди! Я не убивал, не желал чужих жён, почитал отца и мать, не грабил! За что же Ты меня наказуешь? Почему негодяи должны радоваться жизни, радоваться своим мерзостям, а я умирать?! Разве это справедливо? Если Ты милосердный, если Ты всевидящий и всемогущий, почему Ты закрыл глаза на мою жизнь? Почему Ты хочешь, чтобы я умер?.. Но Он не допустил сейчас моей смерти! — молнией пронеслось в воспалённой голове Анохина. — Я шёл убить себя, а Он не допустил!.. Может быть, он разбудил Банана, заставил его обратиться ко мне? Если так, то зачем? В чём Его тайный умысел? Ведь всё равно меня убьют чуть позже. А если не убьют? Если Он знает, что расстрела не будет... Тогда зачем, зачем? Какова цель Его и что я должен делать на Земле, жалкий раздавленный червь? Страдать, смотреть, как наслаждаются жизнью гонители мои? Так? Нет, нет... Для чего тогда?.. Мстить? А если Он избрал меня ангелом мести? Может, Он хочет, чтобы именно я покарал их, наказал зло, очистил Землю от этой мерзости? — Эта мысль мелькнула, резанула по сердцу болью, и легче стало, словно в груди нарыв прорвался, словно была решена судьба его. — Жить, жить, вот для чего стоит жить! Вот она цель! Жить, чтобы мстить! Выжить, стать сильным и отомстить! Всем негодяям, большим и малым! Ради этого стоит жить! Они изощрённо убивали меня, они никого не жалеют. И он будет безжалостен с ними... Главное, выжить! Выжить..."

24. В камере смертника

— Анохин, с вещами! — повелительно крикнул надзиратель в открытую дверь камеры.

Николай не поверил своим ушам. Зачем? Куда его? Неужто на казнь? — обожгло грудь. Прошение о помиловании только ушло в Москву. Вспомнились ночные мысли о Боге, о вновь обретённой цели. Неужели адвокат что-то предпринял? Или Левитан? И теперь его отпускают...

Но оказалось всё жёстче и проще. Его увезли в Орёл, где в местной тюрьме приводили в исполнение смертные приговоры. В Тамбове этого не делали. Там, в Орле, в одиночной камере он должен был ждать решения своей судьбы.

Везли его в машине одного. Два конвоира сидели в кузове по другую сторону решётки напротив друг друга, искоса поглядывали на него. Вскоре решили, что Николай Анохин не представляет для них опасности, стали подрёмывать, клевать носом. Когда дорога шла лесом или вдоль лесопосадки, Николай видел сквозь высокое зарешёченное окно мельгающие зелёные верхушки деревьев. Но чаще всего в окошке стояло белёсое небо или медленно движущееся облачко. Было жарко. Июль. Прошло всего полтора месяца, а кажется, целая жизнь позади.

В Орле его привели в маленькую одиночную камеру с тёмно-зелёными грязными стенами. Были в ней кровать, стол, табуретки, тумбочка и маленькое пыльное окошко с толстыми решётками высоко под потолок. Свет едва пробивался в камеру даже в солнечный день. Угрюмая комната пять шагов в длину и три в ширину с никогда не выветривавшейся предсмертной тоской её одиноких, постоянно меняющихся обитателей. Сколько человек

провело в ней свои последние дни за сто шестьдесят лет существования тюрьмы? Кто считал...

Анохин бросил вещи на шконку, сел рядом и огляделся. Здесь ему суждено провести последние денёчки. “Тоскливо как здесь! — отметил он. — И тишина! Как могильная тишина! Дают ли здесь книги? Не должны отказывать... Надо попросить Библию... И не надо раскисать. Смерть всё равно придёт ко всем. Рано или поздно. Все умрём! — попытался он унять боль и подкатывающую к горлу тошноту, которая всегда возникала, когда он вспоминал о предстоящей казни. — Надо жить, пока дышится, готовиться мужественно или к смерти, или к новой жизни. Надо быть бодрым, бодрым, бодрым! — уговаривал он себя. — Так, нужно пройтись, погулять, размяться. Физические упражнения притупляют душевную боль”. Он встал и начал энергично ходить по диагонали из угла в угол. Шесть шагов туда, шесть — обратно. Устал, взмок. Но стало легче на душе. Не так давила тоска.

Он деловито разобрал вещи, разложил в тумбочке по ящичкам. Потом постучал в дверь. Открылась форточка в двери. Показались усы, нос и равнодушные глаза надзирателя.

— Чего тебе?

— Книги здесь дают?

— Книги можно...

— Мне, пожалуйста, Библию.

— Надеешься на встречу с Богом? — усмехнулись усы.

— Надеюсь, что Он милосерднее и справедливее советского суда.

— Ну-ну.

— А бумагу с ручкой?

— Может быть, ещё винца с колбаской?

— Непременно, — не удержался Анохин. — Только сухого, виноградного. Крепкое я не пью.

Надзиратель сощурился, посмотрел внимательно на Николая и захлопнул форточку. Но Библию принёс. Не сразу, часа через три, вместе с ужином.

Николай хлебал баланду и смотрел на толстую книгу, предвкушая общение с Книгой книг, как называли её. Он много раз читал и слышал, что Библия начинается со слов: “В начале было слово, и слово было у Бога. И слово было Бог”. Но оказалось, что Библия начинается совсем не так:

— В начале сотворил Бог небо и землю, — прочитал Анохин вслух. — Земля ж была безвидна и пуста... — На слове “безвидна” он запнулся, подумал: — Что такое? Опечатка? Скорее всего безводна! — и стал читать дальше вслух: — ...и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою... “Как хорошо! — подумал он останавливаясь. — Как просто, легко и светло сказано! И как хорошо это слово “безвидна”! — Земля ж была безвидна и пуста... и тьма над бездною! — повторил Анохин вслух, и слёзы, светлые слёзы потекли по его щекам. — Тьма над бездною! — прошептал он и начал читать дальше, наслаждаясь простыми ёмкими словами, повторял их: — И был вечер, и было утро!

Читал, наслаждался. Но вскоре, после того как прочитал о рождении сыновей Евы, Анохин перестал понимать события, описываемые в Библии, стали возникать вопросы. Почему Бог не принял дар плодов земли крестьянина Каина, ведь он первым от чистого сердца принёс свой дар Ему, а брат Каина пастух Авель следом за ним? Почему Господь привелил Авеля, а не Каина? Огорчение старшего брата понятно. Он трудился в поте лица своего, обрабатывал землю, почитал Бога и, стараясь отблагодарить Его, принёс дар, а Господь ни за что ни про что обидел его, отверг дар, но брата Авеля призрел. Почему? Почему не понял этого Всевидящий? Может быть, Он уже видел в Каине убийцу брата своего? Но почему тогда не предотвратил убийство?... Больше всего поразило Николая Анохина открытие, что первый же человек, рождённый женщиной, стал убийцей, братоубийцей. Господь наказал его за это, сказав:

— Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.

Так Господь наказал Каина. Но Он ошибся. Каин поселился в земле Нод, у него родился сын Енох. “И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох”. Каин не стал скитальцем, крепко осел в земле Нод, даже город построил, нашёл силы и средства. Значит, земля давала ему свои силы. И стал Каин отцом многочисленного семейства.

Ещё одного не понимал Анохин: где взял себе жену Каин? Ведь на земле было всего два человека: его отец с матерью, Адам с Евой, и было у них три сына: Каин, Авель и Сиф. Каин даже не мог жениться на родной сестре. Ни одной дочери не было у Адама с Евой. Может, просто не сказано об этом в Библии?

Чем дальше читал Николай, тем больше встречал непонятных несправедливостей. Невинные отвечали за виноватых. Ной напился вина, валялся в шатре пьяный и голый, увидел его таким родной сын Хам, посмеялся над отцом. А когда Ной протрезвел, то наказал не Хама, а его сына Ханаана, своего внука, сказав: “Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих”. При чём здесь Ханаан? Почему он наказан, когда насмеялся над пьяным отцом Хам? Какое отношение к этому имел Ханаан? Почему он должен стать рабом? Страдать пришлось невинному. Почему?

Николай Анохин сидел над Библией, мучился над этими вопросами до отбоя. Он не прислушивался к осторожным шагам за дверью камеры, которые часто замирали возле его двери, у глазка. Ему было плевать на то, что за ним наблюдают. Он не мог понять, почему Господь не только прощал эти несправедливости, но часто поощрял их. Николай пытался соотнести судьбу свою с судьбой других несправедливо обиженных.

По утрам Анохин стал подолгу заниматься гимнастикой. Дух должен быть бодр, а тело крепко. Он не смирился с тем, что его должны казнить, что он должен умереть. Притушился первоначальный ужас перед близкой смертью, но тоска, томление в груди остались. Когда он занимался чем-то, тоска отдалась, затушёвывалась, уходила в туман. Но когда вновь приходила мысль о предстоящей казни, томление, жуткая тоска снова волной накрывали его, поднимали с постели или табуретки, и он начинал ходить по камере, сжимая грудь с левой стороны пальцами. В бессонные ночи, бывало, представлял себе жизнь после смерти. Если есть рай и ад, то, вероятней всего, душу его должны пустить в рай. Он не совершал больших грехов. Анохин перебирал в памяти свои грешки, и все они не тянули на ад. В школе он, бывало, обманывал учителей. Когда хотелось уйти с уроков, он отпрашивался у дежурного учителя, говорил, что у него болит голова. Его всегда отпускали, ни разу не заподозрив обмана. Учился он хорошо, не был шалуном. Раза два вместе с мальчишками забирался в сад за яблоками к одинокой женщине, когда её не было дома. Один раз ночью забрались в чужой огород, нарвали огурцов. Грех, конечно, но детский грех. Никогда чужое добро не привлекало его, никогда не было желания присвоить чужое, как бы оно плохо ни лежало.

“А можно ли назвать большим грехом его отношения с женщинами?” — спрашивал он себя, вспоминал своё первое падение. Было это в Москве, в университете, с однокурсницей. Кто кого соблазнил? Непонятно. Она была опытной, раскрепощённой. Играючи учила его премудростям физической любви. Связь была лёгкой, легкомысленной и недолгой. Началась играючи и кончилась так же. Когда Николай узнал, что он у неё не единственный любовник, взволновался, затеял серьёзный разговор. Она легко засмеялась на его слова, не отводя глаз и ничуть не смущаясь, спросила:

— Птенчик, неужели ты на мне жениться собираешься? Не рано ли? Разве тебе плохо со мной? Скучно?

— Наоборот! — воскликнул он, краснея.

— Так в чём же дело?

— Я не могу так...

— Ах ты, прелесть моя! — засмеялась она. — Не знала я, что ты такой собственник! Раз не можешь, не буду я тебя мучить... Больше всего ненавижу страдания. Надо жить легко!

И всё. На этом связь прервалась. Он каждый день сидел с ней в одной аудитории, смущался вначале, а она вела себя с ним как прежде, будто ничего

между ними не было, ничего не менялось. Однажды он не выдержал, предложил снова встретиться. Она засмеялась, чмокнула в щёку:

— Соскучился, милый птенчик? Глупыш, зачем тебе это, чтобы страдать потом? Это глупость! Поверь, я права...

И пошла, зацокала каблуками по паркету коридора университета, обернулась, помахала ласково пальчиками. Он понял: она права. Через год он начал жить с другой студенткой, серьёзной, деловой и скучноватой. Она не понимала, почему он после окончания университета собирается вернуться на свою родину, в Уварово, в глушь, в грязь, где никакой культурной жизни нет. О чём он писать там будет? О надоях молока? За полгода до защиты диплома она своим обычным серьёзным тоном сказала ему:

— Извини, ты мне нравишься, но пути наши в разные стороны ведут. Я хочу остаться в Москве, у меня появился шанс выйти замуж. Он старше, разведён, не так красив, как ты, но москвич. Мне надо жить здесь... Остаемся друзьями!

Воспоминания о второй женщине у Анохина были менее приятны, чем о первой. Он мог бы жениться как на той, так и на другой. Но не было желания с их стороны. Он их не устраивал по разным причинам. Любовь с ними была не такой, какой он представлял себе. Такой поэтической любовью стала для него Зина. Всё у них было так, как ему мечталось в отрочестве, когда он читал книги Вальтер Скотта, Бунина, Тургенева. Романтическая нежная любовь, с томительными поцелуями под луной под трели соловьёв, ласковое поглаживание и пожимание пальцев её руки, ветхая скамейка на берегу Вороны, прогулки рука в руке и стихи, стихи. В каком бы ни был он бреду от её мягких губ, как бы ни бросало его в жар в её объятьях, он ни разу не пытался овладеть ею. Верил, что она его, что они предназначены друг для друга, что у них впереди долгая совместная жизнь, будут и дети, и внуки. Лишь после того, как подали заявление в загс, они отдались друг другу. В ту первую и последнюю ночь всё было не так, как с однокурницами. Он вновь был неопытен, чист. Они с Зиной были половинками одного существа, наконец-то обретшими друг друга.

Может ли усмотреть Господь грех в его отношениях с женщинами? Может ли назвать его сладострастником? Страсть к Зине была сладка! Прикосновения её рук сводили его с ума! Сладки её поцелуи! Но она же его... его половина, предназначенная ему Богом...

А если нет ни рая, ни ада, а души умерших витают в небе, пока вновь не воплотятся в новорождённом человеке, как утверждают другие религии, то, значит, его душа уже не один раз была на земле в другом человеке. Почему тогда он ничего не помнит из прежней жизни? Запомнит ли он что-нибудь из этого своего воплощения в Николая Анохина?

25. Жених умер

Сарычев в Ялте каждый день выгадывал минутку, чтобы позвонить в Уварово Долгову, узнать, как идут дела? Нет ли чего нового? Он знал, что суд состоится в эти дни. И наконец, он услышал долгожданное: суд прошёл успешно, Анохин приговорён к высшей мере наказания! Все препятствия устранены. За такие преступления у нас не милуют. Осталось окончательно приручить Зину, сделать так, чтобы она привыкла всегда видеть его рядом с собой, не представляла свою жизнь без него. Нужно сейчас преодолеть ещё одно препятствие, сообщить о суде и приговоре так, чтобы не вызвать нового потрясения. Как это сделать потоньше? Об этом думал Сарычев, выходя из телефонной будки и делая лицо удрученным.

Зина ждала его на набережной. Стояла, прислонясь к парапету. Позади неё равномерно и успокаивающе шумело море, накатывало волной на берег, шелестело галькой. Зина смотрела на него внимательно, а он, подходя к ней, хмурился, отводил взгляд. Подошёл, встал рядом у парапета и стал смотреть на море с поблескивающими на солнце волнами, на большой белый пароход слева у причала, у которого из широкой чёрной трубы шёл дым, на лежащих

на гальке людей. Молчал. Зина тоже повернулась к морю, тоже молчала. Молчание было тяжёлым. Не выдержала Зина, спросила:

— Был суд?

Сарычев мрачно кивнул, не глядя на неё, и взял её руку в свою.

— И что?

— Высшая мера! — хрипло проговорил он и быстро обнял Зину, впервые обнял, прижал к себе.

Она задрожала, забилась в рыданиях у него на плече. Он молча гладил её рукой по спине. Не успокаивал. Слезы — хорошо, пусть льются. Хуже было бы, если бы она вновь окаменела, ушла в себя. Проплачется.

Мимо по набережной шли люди, оглядывались на них. Зина повисла на нём, устала плакать. Он усадил её на парапет, сам сел рядом, обнимая за плечи.

— Он имеет право подать Брежневу прошение о помиловании, — хрипло и негромко проговорил Сарычев.

— Я должна была быть там, на суде... должна...

— Суд был закрытым. Никого не пускали.

— А теперь?.. Я могу его видеть?

— Теперь тем более не пустят, — вздохнул Сарычев. — Но я попробую!

— Сделай, помоги! — простонала Зина.

— Я для тебя всё сделаю, — как-то обречённо, страдальчески выговорил Сарычев. — Но захочет ли он?

— Мне непременно надо его видеть! Надо... надо...

— Я всё сделаю! — убеждённо воскликнул Сарычев, и Зина благодарно прижалась к нему и заговорила:

— Нам нужно сейчас же лететь назад... сейчас же! Не терять времени!

— Сегодня опоздали. Завтра... Через полчаса самолёт из Симферополя вылетает, а до аэропорта три часа пути. Завтра непременно вылетим.

Они помолчали.

— Когда... после суда приводят... — Зина запнулась, подбирая слово. Сарычев понял, о чём она хочет спросить.

— Всяко бывает... раньше тут же... — Он хотел сказать: расстреливали, но остановился, чтобы не травмировать Зину этим словом. — А теперь Председатель Верховного Совета СССР должен утвердить приговор...

— И долго это?

— Когда как...

Сарычев надеялся, что вечером отговорит Зину лететь в Тамбов. Они останутся в Ялте ещё дня на два. Но Зина твёрдо стояла на своём. И к вечеру на другой день они были в Тамбове. Утром вместе отправились к начальнику тюрьмы. Он сказал им, что Анохина перевели в Орёл, где содержатся в тюрьме смертники в ожидании помилования или исполнения приговора.

Зина с Сарычевым приехали в Уварово поездом. Перед калиткой палисадника у своего дома Зина сказала твёрдым голосом:

— Я поеду в Орёл!

Сарычев возражать не стал, ответил, что завтра непременно узнает на работе, можно ли ей встретиться с Анохиным и что нужно для этого сделать.

Он сдержал слово, пришёл к Сушковым вечером прямо с работы в милицейской форме, принёс образец текста обращения в Тамбовскую прокуратуру с просьбой разрешить свидание с осуждённым Анохиным. Был у родителей Зины недолго, разговор не клеился. В доме Сушковых была такая тишина, словно в нём находился смертельно больной человек, которому нужен покой. Зина поблагодарила Сарычева, тут же написала заявление в прокуратуру и отдала ему. Он обещал быстро доставить письмо в прокуратуру по своим служебным каналам и проследить, чтобы не было проволочки с ответом.

Через две недели по почте пришёл официальный ответ. Зина выхватила из рук матери конверт со штампом прокуратуры, дрожащими пальцами вскрыла его, вытащила сложенный вчетверо бланк областной прокуратуры, и напечатанные слова запрыгали у нее перед глазами. “Уважаемая Зинаида Фёдоровна! В ответ на Вашу просьбу о свидании с Анохиным Николаем

Игнатъевичем сообщаем, что гр. Анохин Н. И. приговорён Тамбовским областным судом к высшей мере наказания. 22 июля 1970 года в г. Орле приговор приведён в исполнение. Справка о смерти гр. Анохина Н. И. будет выслана по просьбе родителей или членов его семьи". И — неразборчивая подпись.

26. Леонид Ильич Брежнев

Генеральный секретарь ЦК КПСС и одновременно Председатель Верховного Совета СССР был в то утро бодр, энергичен, весел, находился ещё под впечатлением вчерашней охоты на кабана. В машине, по дороге на работу, разговаривал, похихатывая, с охранником о кабане, которого он так удачно завалил, а ситуация была опасной. Промახнись он, и чёрт знает, чем дело бы кончилось. Но он всадил кабану пулю точно в глаз. Попал, конечно, случайно. Стрелял наугад. Но охранники так долго и искренне восхищались его выстрелом, что он сам поверил, что целился именно в глаз. Кабан был хорош, клыкаст. Туша его горой лежала на белом снегу. И банька была хороша, и выпил в самый раз, ни много ни мало. Спал крепко, встал утром бодрый, выспавшийся. Утро радовало. Машина скользила по шоссе вдолг строя заснеженных ёлок. Солнце золотило снег, веселило. Эх, хорошо!

Шагая по мягкому красному ковру коридора к своему кабинету, он увидел, как открылась одна из дверей, появилась женщина в зелёном свитере, взглянула на него, растерялась и нырнула назад в комнату, захлопнула дверь. Она пахнула на него свежестью, словно ветка цветущей сирени. Леонид Ильич отметил нежность белой кожи на шее, зеленоватые блестящие глаза, чуточку пухловатые щёки, белую, видимо, мягкую кисть руки. "Должно быть, очень нежная и мягкая, — отметил про себя с каким-то удовольствием Леонид Ильич. — За тридцать ей, видно, перевалило совсем недавно!"

— Кто это? — спросил он у охранника.

— Новая стенографистка... Вместо Екатерины Семёновны...

— Да, да, — произнёс Брежнев, вспомнив, что ему говорили, что маленькая быстрая старушка Екатерина Семёновна умерла.

В своём кабинете Леонид Ильич скинул с плеч пальто, остановился перед зеркалом, взглянул на своё красивое мужественное лицо, лицо уверенного в себе крепкого здорового человека, и коснулся расчёской своих густых длинных волос. "Да, крепок, крепок! Не скажешь, что шестьдесят пять!"

— У нас новая стенографистка? — спросил он у помощника.

— Второй день работает.

— Как её зовут?

— Лидия Григорьевна.

— Пригласи её ко мне.

Помощник вышел.

Леонид Ильич сел в мягкое кресло за рабочий стол, на котором не было ни бумажки, только письменный прибор, откидной календарь, круглая настольная лампа на высокой ножке, стеклянный стакан с несколькими остро заточенными карандашами и несколько тонких папок. Три телефонных аппарата стояли слева на приставном столике. Зелёный бархат стола приятно радовал глаз. Брежнев придвинул к себе поближе письменный прибор и достал из ящика стопку чистых листов бумаги. Бесшумно открылась дверь.

— Стенографистка, — сказал ему появившийся помощник.

— Приглашай.

Леонид Ильич поднялся навстречу Лидии Григорьевне, смотрел, любовался, не сдерживая улыбки, как приближается к нему сама свежесть. Хороша! Невольно захотелось расправить плечи и втянуть живот. Леонид Ильич знал, что всё ещё нравится женщинам, что мужским обаянием и статью его Бог не обидел, знал, что женщинам с ним легко. Он умел пошутить, к месту сказать комплимент, умел отметить и похвалить именно то качество в женщине, что она считала своим достоинством. И сейчас, находясь под обаянием приближающейся к нему женщины, Леонид Ильич каким-то непонятным чутьём охотника чувствовал, что эта дичь от него не уйдёт. Он уже

ощущал под своей рукой нежность её белой кожи. Брежнев отметил, что Лидия Григорьевна только начала полнеть. Именно такие женщины нравились ему.

— Садитесь, — указал он на кресло. Сам сел только тогда, когда она уселась, поправила серенькую юбку. — Второй день у нас?

Женщина улыбнулась, кивнула.

— А раньше где работали?

— В Госплане.

— Понятно. Замужем?

— Да.

— И кто муж?

— Доктор наук. Завлабораторией в НИИ химической промышленности.

— Химик, — засмеялся Леонид Ильич, переходя на шуточный тон. — Давно завлабом, не пора ли замом становиться?

— Лет пять... — улыбнулась, сделала ямочки на пухлых щеках стенографистка. Она сразу отметила, что Леонид Ильич любит её.

— Пора, пора... Ревнует, верно, такую красавицу? Я б ревновал...

— Он больше поводов для ревности даёт, — как-то слишком серьёзно сказала Лидия Григорьевна.

— Да ну! — шуточно воскликнул Леонид Ильич и поднялся. Не мог спокойно сидеть. Распирало, хотелось двигаться. Он вышел из-за стола и остановился рядом, продолжая любоваться женщиной. — Это он зря, зря!.. Мы посмотрим теперь, как он себя почувствует, когда вы будете возвращаться домой в десять-одиннадцать вечера, — засмеялся Брежнев, прохаживаясь по ковру кабинета. — У нас ведь ненормированный рабочий день. Иногда приходится задерживаться допоздна.

— Я нарочно сюда устроилась, чтоб заставить его поревновать, — подхватила его шуточный тон Лидия Григорьевна и засмеялась, немного смутившись или сделав вид, что смутилась, как бы прося извинения за такой тон с Генеральным секретарём, хотя она уже поняла, что перед ней не руководитель страны, а мужчина, стареющий мужчина, но довольно ещё привлекательный. Видно было, что он желает её. Она понимала, что, если она даст ему понять, что любит мужа, что верна ему и намерена впредь оставаться верной женой, то Леонид Ильич отстанет от неё, не будет её преследовать, не уберёт из аппарата ЦК, опасности в этом нет. Но, во-первых, это будет неправдой, верной женой она не была, доводилось изменять мужу, и не раз; во-вторых, Леонид Ильич не был ей неприятен как мужчина; в-третьих, он, скорее всего, поможет мужу шагнуть ещё на одну ступеньку выше на работе; в-четвёртых, разбирало любопытство: каков первый человек страны в постели. По началу разговора видно, что не зануда. Это хорошо! Общаться с ним легко. В-пятых... Много причин у женщины, чтобы отказать или согласиться на близость. Конечно, Лидия Григорьевна не облекала в мыслих в слова все эти причины. Они подспудно, неосознанно были в ней и заставляли вести себя так, а не иначе. Когда она произнесла, что нарочно сюда устроилась, Леонид Ильич шагнул к ней, воскликнул, не меняя шуточного тона:

— Вот как! — и положил ей руку на плечо, на нежный мохеровый свитер. Лидия Григорьевна тут же мгновенно коснулась его руки огненными пальцами: то ли убрать хотела его руку, то ли погладить. Леонид Ильич отдернул свою руку с её плеча, почувствовав нежный обжигающий огонь от её прикосновения, и отошёл от женщины, говоря:

— Сегодня вечером я хотел поработать на даче... У вас ничего не запланировано?

— Нет, я свободна.

Это “я свободна” прозвучало для Леонида Ильича не так, что она имеет свободное время для работы вечером, а так, что она свободна, вольна сама распоряжаться собой, то есть согласна провести с ним вечер.

— Хорошо, — легко и радостно вздохнул он. — Я распоряжусь, чтобы вас привезли ко мне и потом доставили домой.

Когда стенографистка вышла, сразу же появился помощник.

— Вы приглашали Смирнова, — напомнил он.

— Пусть входит.

Смирнов, помощник Брежнева по делам Верховного Совета СССР, принёс папку в тёмно-красной коже с документами на подпись. Сверху он, как обычно, положил документы попроще, которые можно было подписывать, не вникая в них, а внизу были те, что требуют пояснений. Сейчас сверху лежало ходатайство о помиловании Анохина Николая Петровича. Обычно такие бумаги подписывались быстро, без вопросов. “Утверждаю!” — быстро чиркал Брежнев и расписывался. И сейчас он поднёс ручку к бумаге, чтобы кинуть привычное слово, но глаз его выхватил слова на бумаге “25 лет, журналист”. Состояние у Леонида Ильича было по-прежнему радостное, восхищённое Лидией Григорьевной, хотелось делать хорошее людям, и рука его замерла в верхнем углу листа.

— Комиссия внимательно изучила дело?

— Да, — с готовностью ответил Смирнов. — Насильник, убийца... Изнасилование с убийством...

— Доказали? Тут написано: окончил МГУ, журналист, к таким девки сами в объятья падают, зачем убивать...

— Следователю признался, а на суде вину свою отрицал.

— Смотри, какой следователь, а то и мы с тобой признаемся, что мы турки, — добродушно хмыкнул Леонид Ильич и, довольный своей добротой, быстро черкнул: “Помиловать! 15 лет”.

27. Вагонзак

Вызов был неожиданный. Зачем? Расстрел? Когда надзиратель вывел его из камеры в коридор, ноги у него ослабели, подкашиваться стали, и в груди всё онемело. Не конец ли это? Руки дрожали. Ноги не хотели идти.

Привели его в комнату, где были два человека. Один майор, другой в штатском. Перед приходом Анохина они, видимо, говорили о чём-то весёлом. Лица у них были добродушные. И при виде Николая Анохина они не стали делать лица официальными. Это Николай сразу отметил, и на душе полегчало. Пока не расстрел, подумал он. Не должно быть. Но к тому, что произошло дальше, он был совершенно не готов.

— Леонид Ильич Брежнев рассмотрел твоё дело, — совсем не официально, стряхивая пепел сигареты в пепельницу, буднично сказал человек в штатском, — и счёл возможным помиловать, заменить высшую меру на пятнадцать лет...

Анохин почувствовал, как стал нарастать шум в ушах, позеленело в глазах, ноги совсем ослабели. Человек в штатском шевелил губами, вероятно, говорил что-то. Николай шагнул к столу, обеими руками оперся на него, чтобы не упасть, навалился грудью, тихо шепнул:

— Водички!

Потом был этап.

Ещё в вагонзаке к Анохину прилип хлипкий на вид, шустрый, разговорчивый эк Вася Киргиз. Круглолицый, с широким носом, с реденькими усиками на верхней губе. Его можно было принять за подростка, но, по его словам, он делал уже третью ходку на зону. И всё время по одной статье — за злостное хулиганство. Был он обидчив и чрезвычайно вспыльчив, с сильно высоким чувством собственного достоинства. Уже через час после того, как эки разместились в своём отсеке вагонзак, Вася Киргиз сцепился в короткой и яростной драке с эком, который был на вид крепче его и крупнее раза в два. Тем не менее Вася Киргиз первый ударил его в нос, разбил до крови. Из-за чего началась стычка, Анохин не видел. Он сразу взобрался на свою полку на второй ярус и не обращал внимания на происходящее в отсеке, на разговоры, шутки, смех.

Он ещё не пришёл в себя от ошеломительных событий в своей жизни: готовился жениться и переезжать в Тамбов на новую должность, дававшую ему возможность блестящей будущности и карьеры, но был приговорён к смерти; готовился к смерти, к последней точке в своей жизни, но оказалось, что ему

придётся жить пятнадцать лет в лагере и что, возможно, у него впереди долгая жизнь среди людей. Теперь все его мысли двигались вокруг одних и тех же вопросов. Как жить дальше? Для чего жить? И стоит ли жить вообще? Какой смысл в его дальнейшей жизни? Кому нужна его жизнь?

Он ясно осознавал, что никому не нужен на этой земле. Была мать — умерла! Была невеста — она теперь, скорее всего, стыдится того, что была невестой маньяка. “Неужели Зина поверила, что он насильник и убийца?” — миллионный раз мелькнуло в усталом мозгу, мелькнуло привычно, без прежней острой боли, когда выть хотелось при одной мысли о Зине. Её больше нет, Зина прошлое, это ясно. Теперь он мог писать ей письма. Но зачем? Анохин твёрдо решил не напоминать ей о себе. Зачем мучить её? Не будет же она ждать его пятнадцать лет!.. Пятнадцать лет! Целая жизнь. Ему будет сорок, ей — тридцать пять. Молодость позади. Счастье позади. Всё позади. И неизвестно ещё, выдержит ли он эти пятнадцать лет в лагере? Не прибьют ли его зэки? Нет, Зина должна забыть о нём, вычеркнуть его из своей жизни. И он должен забыть о ней.

Забыть?! Но для чего жить? Как жить? И нужно ли жить? Зачем длить страдания? Для чего? Страдания можно выдержать, зная, что впереди ждут радостные дни, или хотя бы надеясь, что они будут. А будут ли у него когда радостные дни? Что может обрадовать его в этой мерзкой жизни? Разве можно радоваться, зная, что всё в этом мире обманчиво? Если сегодня солнце над твоей головой, это ещё не значит, что завтра над твоей головой не будет грязное окно в клеточку, как бы ты ни был чист и праведен. Не лучше ли самому покинуть этот грязный мир? Втихаря...

Здесь даже хлопнуть дверью нельзя. Анохин ясно представил, как снимают его тело с нар, как выносят из вагонзака, быстро, деловито и равнодушно закапывают полупьяные небритые мужики наскоро сколоченный гроб на краю запущенного кладбища, ставят нестроганный крест. Через год могила осядет, вместо бугорка образуется небольшая ямка с покосившимся крестом, одиноко торчащим среди густой травы. Потом крест упадёт, и никто не вспомнит, даже эти пьяные мужики, за бутылку согласившиеся закопать его, где похоронен зэк, покончивший с собой в проходившем мимо поезде. Его закопают, о нём забудут, как будто и не было его на земле.

А в Уварове... нет, в Уварове его будут долго вспоминать! Не забудет Зина... Она не должна забыть ту ночь в общежитии пединститута на Полевой улице, когда она стала женщиной. Мгновенно промелькнули в голове, как яркие кадры кинохроники, томительно счастливые часы с Зиной, и Анохин застонал, шевельнулся на полке. Никто не услышал его стон в шумном отсеке вагонзака. Как Зина будет вспоминать эту ночь? С радостью или безразличностью? Не будет ли она считать, что отдалась маньяку? Не будет ли с сороганием думать, что я мог задуть её в постели?..

Долго будут вспоминать о нём в Уварове и те, кто не знал его, но слышал о кровавом сексуальном маньяке, ведь такой случай довольно редкий в тихом городке, будут рассказывать, как замредактора газеты изнасиловал двух девок, одну тут же задавил, а на другой его схватили, но она сама от позора бросилась с моста на рельсы. Сама ли она бросилась? Конечно, нет! И её убили, сбросили с моста... Убили эти выродки. По приказу Долгова. Это ясно! Сам ли он руководил их действиями или через посредника? Не мог он сам связываться с этими мелкими подонками. Они могли подставить секретаря райкома в любой момент. Разболтать по пьянке, выйдет слух. Кто-то может ухватиться — и пошло-поехало до Москвы.

“Может быть, так и будет, всплывет моё дело, и я вернусь!” — проскочила искрой надежда и тут же была раздавлена другой, более реальной мыслью... Долгов не дурак, не будет подставляться. Кто-то другой, тоже неглупый, выполнял его волю. Кто? Сарычев? Так считал Левитан. Может, и он...

Вспомнилось, как дослосилось его лицо довольством, когда он на троллейбусной остановке в Тамбове рассказывал о смерти Ачкасова. Тогда это не поразило Анохина, просто отметилось в сознании, тогда Николай был раздавлен фактом смерти Ачкасова. Сразу понял, что погиб он из-за документов. Но не подумалось тогда, что организатором убийства мог быть Сарычев.

Если убили Ачкасова, значит, был не только убийца и тот, кто дал команду убить (с этим всё ясно), но и тот, кто организовал убийство, кто следил за Ачкасовым, кто поставил убийцу в нужном месте, кто дал ему команду действовать, когда Ачкасов отъезжал от общежития. Не мог всё это проделать тупой Славка Зубанов. Вмазался он самосвалом в мотоцикл лоб в лоб ночью, в темноте. В том месте фонарей не было, место глухое. Откуда Славка мог знать, что за рулём мотоцикла именно Ачкасов? Кто-то дал сигнал! Кто? Сарычев? Не мог сам Долгов руководить Зубановым. Это исключено! Значит, Сарычев? А если кто-то ещё, мне не известный?..

Анохин перебирал в голове имена тех, кто мог выполнять волю Долгова. Этот человек должен был обладать властью, а главное, должен был сам непременно выиграть от убийств начальника милиции и его зама. Снова и снова всплывало имя Сарычева. Больше некому. Прав Левитан. Он, только он мог организовать и провести изнасилование, а потом убрать девушку, скинуть её с моста и объявить, что она сама покончила с собой.

Зачем они её убили? Ведь она на суде могла быть незаменимым свидетелем? Может быть, для того, чтобы ему была гарантирована смертная казнь? Анохин вспомнил, как кричал изнасилованной девушке, что он журналист, что раскрыл махинации секретаря райкома, как показывал ей окровавленные руки и галстук. Да, она могла заметить, что галстука на насильнике не было. Возможно, что она поверила ему, и её опасно было оставлять в живых.

Почему тогда его не убили, разыграли такую сложную игру. Только ли из-за плёнки? Откуда они узнали о плёнке? Всё не хотелось верить Левитану, что предал Перельгин. Снова и снова вспоминались две последние встречи с другом, утром и вечером. Дважды тогда он ошеломил Перельгина. Утром — рассказом об убийствах и плёнке, а вечером — известием, что не он, Перельгин, а Анохин сядет в заветное кресло главного редактора. Этим известием Анохин перечеркнул все планы Перельгина.

Снова думал Николай о Перельгине, вспоминал студенческие годы, их дружбу. Память то и дело подставляла мелочи, маленькие детальки, которые говорили о ненадёжности Перельгина, о его самовлюблённости, тщеславии и эгоизме. Тогда эти поступки Перельгина огорчали, но прощались быстро, не хотелось верить, что этот большой, ироничный парень, твой друг — трусливый эгоист, который спокойно перешагнёт через тебя. Не хотелось верить и теперь! Не хотелось, чтобы Левитан был прав! Если он прав в этом, то тогда прав и в другом, что никак, ну, никак не должно быть.

Хорошо помнилось, как убеждённо, как о само собой разумеющемся факте, сказал Левитан: умрёшь, а невеста твоя станет женой Сарычева!.. Левитан ошибся, я не умер! Ошибается он и насчёт Зины и Сарычева... Анохин сам хотел, чтобы Зина забыла о нём, вышла замуж, была счастлива.

Но не за того, конечно, кто сломал ему жизнь, не с Сарычевым она должна быть счастлива. Нет!!! Хотелось выть, кричать от этой мысли, биться головой об стену, чтобы смягчить боль от страшного видения: Сарычев обвиняет его Зину, и она отвечает на его ласки! Только не это, только не это! Почему так хочет Бог, зачем Он это допустил?

“Это не Бог! — вдруг мелькнуло в воспалённом мозгу. — И не дьявол! Это люди! Это не Божьи законы — человеческие. И надо отвечать по-человечески: мстить! Мечь — вот цель его жизни! Вот для чего стоит жить!” — молнией озарила его мысль, которую он когда-то обдумывал. Он поднялся на полке от этой пронзившей его мысли, поднялся и увидел отсек вагонзака, набитый людьми, увидел, как хлипкий Вася Киргиз ударил в нос крепкого, туповатого на вид детину, а детина в ответ схватил в тесном отсеке вёрткого Киргиза за грудки и, держа на расстоянии вытянутой руки, дважды ударил по зубам своим кулачищем.

— Кончай разборку! — громко, спокойно и как-то по-хозяйски уверенно сказал Анохин неожиданно для самого себя.

Голос его подействовал. Детина отпустил извивающегося в его руке Ваську Киргиза.

— Он меня оскорбил! — воскликнул обиженно Вася, прижимая руку к разбитым губам.

— Он оскорбил, ты ответил. Квиты! — так же спокойно, уверенно сказал Анохин и подумал удивлённо: “Зачем я вмешался? Зачем мне это нужно?” Он вновь опустился на полку, отвернулся к стене. Он считал, что драка продолжится, но к удивлению своему не услышал дальнейшей разборки. Отсек, на две минуты развлекшийся дракой, вновь загудел, зашевелился, начал жить своей, чуждой Анохину жизнью.

Николай лежал, покачивался вместе с вагоном на стыках рельсов. Ощущал он себя бодрее, уверенней, чувствовал, что что-то изменилось в его жизни к лучшему. “Из-за чего это? — удивлялся он. — Из-за драки? Нет же...”

Вспомнился Перельгин, Сарычев... Вот из-за чего! Теперь я знаю, ради чего стоит жить! Цель обретена! Мсть! Мсть! Мне сломали жизнь. Я должен ответить по-мужски. Они считают, что уничтожили меня, растоптали. Меня нет! Но я воскресну, вернусь, пусть через пятнадцать лет... Заплачут они у меня кровью! Я раньше вернусь, сбегу. Я приду к ним, как призрак из могилы!

Утром после завтрака, когда отцепленный от состава вагон до вечера застыл на запасном пути, к Анохину подсел Вася Киргиз:

— Земеля, давай знакомиться, — протянул он руку.

— Николай, — не очень дружелюбно ответил Анохин.

— Откуда родом?

— Тамбовский.

— Тамбовский волк, значит... А кликуха какая?

— Пока нету... Думаю, скоро будет.

— А чо думать! Тамбовский волк! Ты и есть волк: сед, угрюм... Первая ходка?

Анохин кивнул.

— По какой статье?

Этого вопроса больше всего опасался Анохин, но знал, что скрыть статью нельзя. Узнают быстро, будет хуже. Давно размышлял, как отвечать на этот поганый вопрос. Видел, к разговору прислушиваются. Отсек маленький, эки набиты, как селёдка в бочке, а он вчерашней выходкой своей заинтересовал всех. Анохин утром, когда хлебал баланду, замечал на себе любопытные взгляды. Отсек определял каждому своё место. Со всеми уже всё ясно, только Анохин непонятен. Не воровской ли он авторитет? Неразговорчив, угрюм, держится замкнуто, независимо. Что за зверь? Как с ним себя вести? Не опасен ли он? Многие с облегчением и разочарованием услышали сейчас, что он новичок. С облегчением — не опасен, с разочарованием — кого мы опасались? Новичка? И теперь хотелось им узнать о нём побольше. Почему так угрюм, независим?

— Был бы человек, а статья найдётся, — усмехнулся мрачно Анохин. — Большому начальнику дорогу перешёл, и нашли статью. Суд решил мне зелёной лоб намазать. Помиловали...

— Понято... тяжеловес... — протянул Киргиз, хотя ему было ничего не понятно. Понял он одно, что не хочет человек о своём деле говорить. Его право. Позже расскажет. — На воле кем был?

— Газетчиком.

— О! — воскликнул радостно Вася Киргиз. — Журналиста! Значит, писать будешь!

— Куда? — не понял Анохин.

— Заявы прокурору. Нам... Я ручку один раз в жизни держал, и то в сортире, когда на стенке голую бабу рисовал. А мне надо такую жалобу сварганить, чтоб прокурор слезами изошёл, судьбу мою читая, — захохотал Киргиз. — За что же тебя захомутали? Сунул нос в какое-нибудь грязное дельце?

Анохин решил не таиться, рассказать всё как было. Вася Киргиз болтун. Не успеют в лагерь прибыть, как всей зоне станет известно, за что он получил пятнашку. Меньше вопросов о статье будет.

— Если б только нос, — ответил он. — По уши влез! Секретарь райкома из трикотажной фабрики сделал частное предприятие...

— Подпольный цех?

— Да. Раскопал начальник милиции, а меня подключили позже...

— Во, бля, и менты честные есть! — воскликнул нетерпеливый Киргиз.

— Его убили, а меня под расстрельную статью подвели...

— А чо не шлёпнули сразу, как мента? — удивился Киргиз. — Чо они канителились?

— Шлёпнули бы, я бы рядом с тобой не сидел... Документики у меня были, им нужно было всё о них узнать, изъять... Вдруг всплывут, тогда им смерть!

— Какая пруха тебе в лапы шла! Мне бы такую везуху! — с огорчением покачал головой Киргиз. — Я бы копать под секретаря не стал. Я бы на твоём месте в долгу к нему вошёл. Или бы за бумаги такие бабки запросил, на полжизни бы хватило. Укатил бы на юга, под тёплое солнышко. Море, песок, бабы... Какая пруха была, а ты просрал! Сидишь теперь в этом сраном вагонзаке, среди вонючих эков... И сам такой же вонючий. И всё из-за чего, а? Скажи, из-за чего?

— Ну? — глянул на него Анохин.

— Из-за глупого воспитания, — ответил Вася Киргиз. — Секретарь райкома — большой государственный человек — ворует у государства. Ему государство этот пост доверило. А ты пытался вмешаться в государственные дела. И всё из-за чего? Из-за глупого воспитания. Он же не у тебя воровал, у государства, а ты...

28. Воспитание

Вася Киргиз непонятно почему, несмотря на то, что Анохин поначалу не выказывал к нему особого расположения, привязался к нему. Если Николай не лежал на полке, он подсаживался к нему и начинал рассказывать о жизни в зоне, просвещать. Путь, который пассажирский поезд проходил за сутки, вагонзак тащился четверо. Шёл только ночью. Утром его отцепляли и загоняли в тупик на какой-нибудь захудалой станции. Вечером снова прицепляли к попутному поезду. Николай Анохин после того, как решил, ради чего стоит жить, стал бодрее, стал присматриваться к жизни отсека, к экам. Ещё в камере он понял, что у эков свои жёсткие и жестокие законы. Нарушителя ждёт неминуемая кара. Всё регламентировано, у каждого эка своё место, заняв которое он уже никогда не сможет перейти на другую, более высокую ступень. В камере Анохин не интересовался этой жизнью, она шла мимо. Он считал, что среди эков находится временно.

Анохин думал, что суд быстро разберётся, что он не виноват, и его отпустят. Он будет вспоминать о тюрьме, как о страшном сне. Потом, приговорённый к смерти, он оказался в одиночке. И только теперь, когда остался жив и обрёл цель жизни, и когда понял, что пятнадцать лет жить ему среди этих людей, этих изгоев, он начал интересоваться законами их жизни. Лучшего спутника по хитросплетениям лагерной жизни, чем Вася Киргиз, болтуна, оттянувшего два срока, трудно было найти.

От него Анохин узнал, что эки в зоне делятся на четыре касты. Высшая — блатные. Их возглавляет пахан, вор в законе. Вокруг него кучкуются авторитеты, у каждого из которых свои обязанности. Кто-то следит за порядком в зоне, кто-то сидит на "общаке". В каждой зоне есть "общак" — общая арестантская касса, в которую все эки обязаны вкладывать часть своих денег.

У пахана и авторитетов есть своя гвардия; атлеты, бойцы, гладиаторы. Стать блатным может не каждый эк. Прежде всего, он должен быть чист по вольной жизни. Бывшим коммунистам и начальству дорога в блатные закрыта. Тот, кто хоть раз вышел в зону на работу бригадиром, нарядчиком, в любой должности, которая даёт малейшую власть над людьми, тоже никогда не станет блатным. У блатных реальная власть в зоне, почти всегда они борются с властью официальной — администрацией лагеря. Правильный

пахан обязан следить, чтобы зона “грелась”, то есть получала нелегальными путями продукты, чай, табак, водку, наркотики. Он обязан решать споры, возникающие между эками, не допускать серьёзных стычек между ними, следить, чтобы никто не был несправедливо наказан, обижен, обделён. Есть паханы, которые не вылезают из штрафного изолятора, сидят на хлебе и воде ради того, чтобы братва жила мирно и не впроголодь.

Следующая каста — мужики. Обычно это случайные люди в лагере, которые жили на воле нормальной, не преступной жизнью и попали в лагерь за преступления, случившиеся из-за стечения обстоятельств. Это работники. Самая многочисленная каста. Ни на какую власть они не претендуют, никому не прислуживают, с администрацией не сотрудничают.

Открытых сотрудников лагерной администрации, тех, кто согласился принять какую-нибудь должность — завхоза, завклубом, библиотекаря, бригадира, — на зоне зовут козлами или суками. Ссученный — согласившийся работать на администрацию.

И последняя каста — петухи, обиженные, опущенные, пидоры. Это каста изгоев, неприкасаемых, отверженных, пассивных гомосексуалистов. Лучше умереть, чем стать петухом, считал Вася Киргиз. Обращаются с ними эки жестоко, делают самые дикие вещи: заставляют мышшей жрать, лампочки им в задницу засовывают. У петухов места отдельные, посуда отдельная, работа отдельная — плац мести, сортиры мыть. Брать у них ничего нельзя, прикасаться к ним нельзя. Если тронешь вещь, к которой прикасался петух, то сам становишься осквернённым, зашкваренным, петухом. И тогда любой ээк станет делать с тобой, что захочет.

Много тонкостей лагерной жизни узнал от Киргиза Анохин во время долгих стоянок вагонзак и понял, что выжить на зоне можно. Для него было теперь главным: выжить. Выжить, чтобы отомстить. Ещё лучше — сбежать. Как это сделать, зона покажет. Сбежать, найти Левитана и попробовать отомстить. Всем, всем обидчикам. От Славика Зубанова до Долгова. О роли в его судьбе Климанова Анохин пока не догадывался.

Для того чтобы отомстить, сбежав или дождавшись окончания срока, он должен выйти из лагеря сильным, крепким и физически, и духовно. В тесном отсеке хуже, чем в одиночке, повернуться негде. Гимнастикой не займёшься. И всё же Анохин каждое утро прямо на полке отжимался тридцать раз, не обращая внимания на шутки и подколки братвы. Отжимался он по тридцать раз трижды в день.

— Зачем ты мучаешь себя? — спросил Вася Киргиз.

— Я должен выйти из лагеря сильным.

— Через пятнадцать лет!

— Да! — коротко и серьёзно бросил Анохин.

Вагонзак наконец-то дотащился до Котласа. Там пересадили ээков в трюм баржи и потянули её неспешно по реке Вычегде до Выгвоздино. Оттуда по песчаной дороге среди леса долго болтались в машине, в автозаке, до лесного посёлка Вожаель. В зарешёченное маленькое мутное оконце автозак видны были мелькающие коричневые стволы деревьев. Леса, леса. Вася Киргиз говорил, что совсем недавно по этой дороге шли в Вожаель, столицу лагерного края, несколько дней пешком. Из Вожаеля, переночевав и получив распределение в лагерь, снова в автозаке потащились в конечный пункт назначения.

29. ШИЗО

На зоне вновь прибывших ээков первым делом обшмонали обстоятельно и повели в баню. В моечной Вася Киргиз, стоя под душем, сказал тихонько Анохину:

— Повезло нам! Я узнал, зона правильная. Беспредела нет... На строгом режиме таким, как ты, младенцам, и таким, как я, болтунам, проще жить. Строже правила, меньше издеваются.

В раздевалке на скамейках новичков ожидала одинаковая лагерная роба: куртки, брюки из грубой материи сероватого цвета. На рукаве куртки Анохина ярко краснела новенькая повязка.

— Что это? — недоуменно показал Анохин Киргизу.

— Косяк... В секцию профилактики правонарушений тебя сунули. В актив. Видно, должностишка тебя ждёт.

— Иными словами, козлом назначили?

— Или сукой, — хохотнул Киргиз. — Выбирай, как тебе приятнее...

— Почему меня?

— Дело полистали... Образование, журналога... Знают, такие с первого дня сучиваются...

— Нет, я не сука и не козел! — Николай стал рвать ногтями повязку с рукава. Она не поддавалась, пришита надёжно. Тогда он подцепил её зубами, рванул, надорвал и с треском содрал с рукава.

Зэки одевались, прислушивались к разговору Анохина с Киргизом, смотрели, как он рвал повязку и выбирал нитки из рукава.

— Кондей тебя ждёт теперь, — засмеялся Киргиз.

— Что это?

— Карцер. ШИЗО. Штрафной изолятор.

— Пускай! Лакеем их я никогда не стану.

Киргиз не ошибся. Анохина выдернули из строя возле бани и отправили в штрафной изолятор на пятнадцать суток. По дороге к домику в углу зоны, который служил карцером, Анохин обдумывал слова кума — замначальника по воспитательной части, которые тот бросил злобно, когда Николай твёрдо отказался вступить в актив:

— Не хочешь повязку — привью чахотку!

Анохин уже знал, что каждое выражение на зоне имеет своё значение. И теперь он пытался понять, что стоит за словами “привью чахотку”. Понятно, что кум угрожает заразить туберкулёзом, но как он это собирается сделать? Об этом он сразу же спросил у зэков, сидевших в камере карцера, куда его втокнули. Зэков было трое. Два каких-то безликих, серых, одинаково угрюмых. Третий, Акимыч, щуплый, как будто высушенный, с желтоватой кожей на щеках. Познакомились. Анохин теперь называл не только имя, но и кличку, которая прилипла к нему, перешла из вагонзак в трюм баржи, а оттуда в автозак. Анохин стал привыкать к ней. Нормальная кличка. Если хочется зэкам так звать его, пусть зовут. Это даже лучше, чем Анохин. Уводит от прежней жизни, от тягостных воспоминаний того времени, когда имя Николай Анохин стояло под статьями в каждом номере районной газеты, очень часто мелькало в областной и изредка появлялось в центральных молодёжных газетах. То время ушло безвозвратно, надо учиться жить в новых условиях, а о былом забывать. Теперь он не Николай Анохин, а Коля Тамбовский Волк или просто Волк. Николай Анохин растоптан, уничтожен. Учится ходить по земле Коля Волк.

— С воли? — спросил один из угрюмых зэков, когда Коля кинул свой тощий сидор на нары и начал развязывать его.

— Оттуда... Жаль мне, братва, угостить вас особенно нечем. Сумел начать только пару сигарет. Остальные выскребли. Сам я не курю... Берёг для такого случая. — Коля вытащил из сидора две помятые потрескавшиеся сигареты и протянул Акимычу.

Все три зэка молча следили за ним голодными глазами.

— И то хлеб! — удовлетворённо пробормотал Акимыч, принимая бережно на ладонь сигареты так, чтобы и крошка табака не упала на пол.

— Хлеба совсем немного... Зачерствел, не разломишь, — вытянул Коля со дна сидора небольшую краюху чёрного хлеба и с сожалением стал рассматривать слипшийся твёрдый ломоть, похожий на кусок пережжённого кирпича. — Это всё. Беден я, как церковная крыса!

— На десятый день здесь тебе и это покажется царским подарком... — Акимыч так же бережно взял хлеб. — Как же тебя утوراзило прямо с этапа в ШИЗО?

— Куртку выдали с косяком, — глянул Коля на свой рукав. — А мне это не понравилось!

— Почему же? На должностишке стал бы ты побогаче церковной крысы, — усмехнулся Акимыч.

— Ненавижу их, ненавижу их власть, ненавижу лакеев! — слишком серьёзно и нервно ответил Коля.

— Из политических?

— Нет... Акимыч, что означает “привить чахотку”?

— Кум пообещал?

— Он.

— Оглядишься, принохайся... Посидишь месяца полтора, и тубик обеспечен.

Коля, как только переступил порог камеры, сразу почувствовал вонь, сырость, холод, спёртый воздух. Ни в вагонзаке, ни в трюме баржи — нигде не было такой липкой холодной сырости.

— Они не имеют права сажать в ШИЗО больше, чем на пятнадцать суток.

— Младенец, видать? — усмехнулся Акимыч. — Пустят через постель, отсидишь полгода.

— Как это? — Коля решил, что пустить через постель — значит изнасиловать, сделать петухом, опустить. — Разве это можно?

— Им всё можно... Пятнадцать суток отсидишь, выпустят на ночьку в барак и по новой. И так пока не сломаешься или не сдохнешь... Ты им свою ненависть поменьше выказывай. Не поможет... Только хуже будет. Если сдохнуть, конечно, не хочешь...

30. Кум

Через пятнадцать суток Колю позвал к себе кум. Конвойный привёл Колю к нему в кабинет и оставил наедине. Замначальника лагеря по воспитательной части был крупный, щекастый, бровастый, но с маленькими, глубоко посаженными глазками, остро и ехидно блестящими из-под густых бровей. Красная повязка лежала перед ним на столе.

— Отдохнул? — спросил он ехидно и насмешливо.

Коля решил не перечить ему, не злить, в спор не вступать. Он молча пожал плечами.

— Пришивай, — пододвинул к нему по столу повязку кум.

— С начальником лагеря можно встретиться? — спокойно спросил Коля, глядя прямо в ехидные глаза кума.

— У тебя есть что ему сказать?

— Есть.

— Говори мне.

— Мне хотелось бы с ним поговорить. Просто у меня к нему важное дело. Если он пожелает, он вам скажет, — стараясь, чтобы в голосе не было ни малейшей нотки вызова, произнёс Коля.

— Ну-ну-у... — протянул кум, меняя тон.

Ему совершенно не к чему было прицепиться. Вернее, прицепиться он мог и без повода. Он особенно ненавидел таких преступников, насильников, убийц. У него была дочь-подросток, которую он сильно любил. С женой понимания не было, слишком она легкомысленная. Зато дочь умненькая, серьёзная. Вся в него, как считал он. Кум, когда видел насильников, представлял в воображении, как какой-нибудь такой гад измывается над его Леночкой, сердце холодело, спина становилась липкой. Полжизни он провёл с преступниками, с первого взгляда определял, что за человек перед ним, понимал, кто чего стоит и от кого чего можно ожидать. Этот зэк, сидевший напротив, приговорённый судом к смертной казни и помилованный, не похож был на насильника, хотя бывали в лагере убийцы с ангельскими лицами и взглядами. И всё же для кума они были ясны. Он понимал их. А этот был непонятен. Не чувствовался в нём преступник, в его взгляде, в манере держаться, в выражении лица. Не было чего-то неуловимого в облике этого зэка, что делало бы его опасным.

Коля заметил перемену в куме. Агрессия, ехидство исчезли из его глаз. Они как бы притухли, не столь остро блестя из-под бровей.

— Впрочем, я могу сказать и вам, — всё так же спокойно и на этот раз доверительным голосом сказал Коля.

— Ну-ну, говори, — кивнул кум.
— Вы, думаю, смотрели моё дело...
— Это моя работа, — бросил кум.
— Тогда вам известно, что мне двадцать пять лет, что я был журналистом?

Кум кивнул.

— Но там вряд ли написано, что за день до того, из-за чего я здесь, мне предложили и фактически утвердили на должность главного редактора областной газеты. Вам это легко проверить...

— Это не входит в мои обязанности.

— В деле вряд ли написано, что я подал заявление в загс, хотел жениться на студентке пединститута, которую любил... Это тоже легко проверить... — Коля замолчал, глядя на кума. Тот тоже молчал, ждал, что дальше скажет зэк. — Вы верите, чтобы человек, который неожиданно получил повышение с правом переезда из районного городишки в областной центр с гарантированным получением квартиры, чтобы человек, у которого через месяц свадьба с любимой девушкой, чтобы этот человек, подав заявление в загс и получив повышение, от радости помчался в лесопосадку, чтобы дожидаться первой попавшейся девушки и изнасиловать её? Вы верите?

— Здесь и не такие бывали! — усмехнулся кум. — Почему же суд поверил?

— Вы лучше меня знаете, что в этом лагере совсем недавно сидели люди за то, что якобы копали тоннель из Москвы в США через Атлантический океан. Суд верил в это и давал срок.

— Когда это было... — протянул кум. — Быльём поросло!

— Люди сидевшие ещё живы, и судьи тоже...

— Они уже своё отсудили. Отдыхают...

— Я ещё не всё сказал, — проговорил Коля быстро, испугавшись, что разговор уйдёт в сторону, в ненужный спор. — Я хотел сказать, что там, на воле, я перешёл дорогу тому, кто мечтал о должности, которую предложили мне, другой, оказывается, мечтал о моей невесте, третий, влиятельный чиновник, пока вы здесь, в тайге, корячились, кормили комаров, белого света не видели, работали на Родину, обворовывал эту Родину и жил припеваючи, пока я не узнал о его махинациях. Меня он легко смахнул сюда и продолжает свои дела, малина его не скоро кончится. Этим троим я перешёл дорогу. И теперь моя жизнь в ваших руках. Но вам-то я дорогу не переходил, вам я ничего не сделал плохого и не собираюсь делать. Почему же вам хочется измываться надо мной? Зачем? Объясните... — Коля говорил дружелюбно, смотрел в маленькие глазки кума.

— Бульгин! — вдруг резко крикнул кум.

Тотчас же распахнулась дверь, и в комнату влетел конвоир.

— Отведи в восьмой барак! — грузно поднялся со скрипнувшего стула кум, взял со стола красную повязку, скомкал её в своей руке и сказал Коле: — Завтра на работу. В лес...

Коля Волк молча и благодарно кивнул в ответ.

31. Пахан

С матрасом под мышкой вошёл Коля Волк в восьмой барак в сопровождении дневального. До обеда было ещё далеко, но в дальнем, светлом углу барака, у окна, кучковались зэки, разговаривали громко, смеялись. Когда вошёл Коля, они замолчали, повернулись к нему. От них отделился один зэк и направился навстречу. Коля узнал Акимыча, обрадовался. Знакомый, вместе семь дней в карцере провели. Они крепко ударили друг друга по рукам, сжали пальцы.

— У кума был?

— Только что.

— Через постель пустил?

— Кажется, отстал. Завтра в лес.

— Он так просто не отстанет. Держись молодцом... Вот здесь располагайся. Я тебе потом расскажу о наших правилах. — Акимыч указал на нижние нары в середине барака.

Коля бросил матрас на нары и тихо спросил у Акимыча, указывая глазами в сторону окна, где снова стали громко разговаривать ээки.

— Пахан здесь?

— А чего тебе?

— Мне поклон ему передать надо.

— Сейчас спрошу... Устраивайся.

Акимыч ушёл, а Коля начал стелить постель. День начинался неплохо. Тревоги в душе не было. Люди живут, и он выживет. Акимыч, значит, бластной, если не работает. Приближённый пахана. Хорошо, что меня именно в этот барак поселили. Пахан произвола не допустит. Коля ещё в карцере узнал, что пахана зовут Сергей Лобан. Вор в законе. Двадцать шестой год по зонам мотается. Человек правильный, строгий... Кум, скорее всего, поверил Коле, если в барак к пахану поселил. Видно, пожалел, посочувствовал. Может, подвох какой? Надо не расслабляться, быть начеку.

Акимыч не подошёл к нему, громко позвал от окна:

— Волчонок, тонай сюда!

Там, у окна, за столом, четыре ээка играли в карты, а трое, в том числе и Акимыч, стояли рядом и наблюдали за игрой. Игра шла весело. Лица у игроков были азартные, разгорячённые. Играли в дурака, и, видно, не на "интерес". Просто на вылет. Поэтому страсть была весёлой.

— Ты мне хотел поклон передать. От кого? — быстро спросил один из игроков, выглядевший помоложе Акимыча, но лысоватый, с седыми висками. Он быстро взглянул на Колю и воскликнул весело: — Вот так его! — радуясь, что партнёр хорошо зашёл. — А я с этой стороны! — резко шлёпнул он картой по столу.

Коля растерянно смотрел на игрока: не разыгрывают ли его? Он ожидал увидеть степенного пахана, заботливого отца зоны, который держит на расстоянии своих приближённых, сурового, малоразговорчивого. При нём громкого слова не скажешь. А этот игрок не производил впечатления человека, который держит власть над сотнями человек.

— Ну! — снова глянул пахан на Колю.

— Левитан просил вам кланяться...

— Левитан! — воскликнул пахан. — Левиташа! Где ты его встретил?

— В одной хате сидели.

— Ох ты, захомутали его опять. Новый срок мотать будет. Значит, возможно, скоро встретимся! — снова шлёпнул картой пахан по столу.

— Он теперь на воле.

— Молоток, сумел выкрутиться. Он всегда был вёрткий.

— Я помог ему.

— Ты? — с интересом и удивлением задержал на этот раз на нём взгляд пахан, отвлекаясь от игры. — Как?

— Я дал ему некоторую информацию, а он воспользовался ею.

— Мы тоже на волю хотим, и нам дай какую-нибудь малосенькую информацию, — быстро сказал один из игроков, и все засмеялись.

Коля решил, что пахан спросит, что за информацию он дал Левитану, но ему не хотелось говорить о плёнке, боялся, что подставит Левитана. Ведь он ею воспользовался. И заговорил быстро:

— Это была местная информация, чисто тамбовская. Уже всё давно позади. Я думаю, Левитан сам при встрече расскажет...

— Ты, судя по всему, парень серьёзный... не побоялся отрицаловки, ШИЗО. Акимыч о деле твоём рассказывал. Пока ты правильно всё делаешь: дал Бог крест, даст и силы нести его. Не чувствуешь вину — считай, что сидишь за другого. Когда-нибудь это тебе зачтётся... Как жить собираешься? С кумом упростовывать будешь, завтра опять в отрицаловку, опять в ШИЗО? Или как?

— Сказал кум... на работу, в лес.

— Значит, в мужики?

— Мужик я... В бойцы не гожусь, шестёркой никогда не был...

— Мужик так мужик... Отдыхай! — произнёс пахан, не глядя на Колю, и воскликнул: — А я его с левака! — и шлёпнул картой по столу.

32. Зона

Началась у Коли Волчонка — так его стали звать зэки — однообразная размеренная жизнь. Подъём, завтрак, развод — вывод на работу бригад, самая нудная часть жизни зэка. Даже летом томительно выстаивать в арестантской колонне под непрерывный зуд комаров, которые утром кажутся особенно яростными и голодными, слушать командные выкрики бригадиров и нарядчиков, проходить быстрый и небрежный обыск, сдачу-приёмку, когда лагерные вертухаи-надзиратели сдают бригады конвою. Но гораздо страшнее зимние разводы. Час, а то и больше надо топтаться на холоде, пока не откроются ворота зоны. Шесть часов утра, но ещё тёмная ночь. Зона освещена. Бегают, сбивают зэков в колонну нарядчики. Зэки в ватных штанах, в валенках, в бушлатах, у многих шеи обмотаны полотенцами вместо шарфов, в сильные морозы лица закрыты масками с прорезями для глаз и рта. Жуткая, фантастическая картина.

В полной тишине бригада идёт к инструменталке, только снег яростно скрипит под валенками, разбирает топоры, пилы, и в тайгу, на лесосеку, спотыкаясь в темноте в снегу о корни, пни. На лесосеке ещё темно, валить лес нельзя. Это хорошее время, блаженство. Разжигается для бригады большой костёр из сухостоя, порубочных остатков: сучьев, верхушек елей, — и маленький костёр неподалёку — для конвоя. Все рассаживаются вокруг костра на поваленные брёвна и смотрят на огонь, не отводя глаз от пламени. Каждый о своём молчит. Кто просто дремлет, кто вспоминает вольные дни, кто мечтает о воле, о том, как он будет жить, освободившись. Как только развиднеется, раздаётся крик бригадира:

— Хватит кантоваться! Работа ждёт!

В ответ обязательно кто-нибудь буркнет:

— Работа не волк...

Все начинают шевелиться, подниматься, брать в руки нагретые огнём топоры...

Первые полгода Коля Волчонок был подсобником у вальщика. Длинной вагой направлял подпиленное дерево, обрубал сучья, потом, поднимая дрынном поваленное дерево, разделявал его на сортименты — шестиметровый пиловочник, четырёхметровую неделовую древесину. Вначале работе эта была мучительной. Нужно было успеть обработать дерево до того, как вальщик повалит следующее. Потом привык, научился быстро расчётливыми ударами смахивать сучья с косматых густых елей так, чтобы не тратить лишнюю силу на замахи и удар по небольшому сучку или, наоборот, не бить несколько раз по толстому, сносить его за один замах. Через полгода, весной, когда вальщик, напарник его, освободился, вышел на волю, Волчонок сам стал вальщиком. Втянулся быстро. Эта работа была чуть полегче. Мелькали дни. В свободное время он читал или качал мускулы. Года через два на зоне появился каратист, и Коля стал заниматься с ним по выходным дням.

С администрацией лагеря Коля Волчонок не поддерживал никаких отношений. Старался не нарушать правила, был замкнут, неразговорчив и этим оправдывал свою кликуху. Постепенно стали звать его зэки снова не Волчонок, а Волком. Тамбовским Волком. На замечания козлов Коля не отвечал, не возражал им, не вступал в пререкания. И сам никого не задевал. С зэками общался только по необходимости. С разговорами ни к кому не лез, а если у него спрашивали что-то, отвечал односложно: да, нет. В таком духе беседе долго вести нельзя, и от него быстро отставали. Вася Киргиз жил в другом бараке. В первые дни в выходные он заглядывал к Коле, пытался разговоривать, но Волчонок, если читал, не откладывал книгу, отвечая на вопросы односложно, не прекращал читать, и Вася отстал. При встречах перерасывались: “Привет!” — “Привет!” — “Как дела?” — “Идут!”

Шли годы, но мысль сбежать отсюда не отставала. Временами очень сильно жгла. Иногда он расспрашивал ветеранов зоны, бывали ли отсюда побегии? Удачно ли? Да, были побегии, но почти все они заканчивались неудачей. Беглецов ловили, добавляли срок и возвращали в лагерь. Но были случаи, что беглецы исчезали безвозвратно. Что с ними случилось? Погибли в тайге либо удалось им скрыться? Кто знает? Сбежать можно, а что потом? От посёлка до посёлка здесь сотни километров по глухой тайге. Каждый житель местный дал подписку властям, что как только заметит он в тайге незнакомого человека, должен немедленно сообщить об этом властям. Иначе сам срок получит. Все эски для местных бандиты. Всегда выдают беглецов.

Они рассуждают так: если ты просто хулиган или воришка и получил малый срок, зачем тебе бежать? Работай хорошо, и срок скостят, амнистируют. А если убийца, то убийца должен сидеть в тюрьме, чтобы не убивал больше. С чистой совестью выдают, и премии за это получают. Поэтому побегов мало. Редко кто отваживается сунуться в незнакомую тайгу с частыми болотами. Как пройти по ней сотни километров и не заплутать, где взять еду? Да и на месте тебя должны ждать, подготовить новые документы, дать деньги. Бежать можно блатным, которых на воле ждёт своя братва. Накормят, оденут, обуют, спрячат. И те редко решаются на побег.

А мужику — труба! Никто не помнил случая, чтобы мужик пытался бежать из лагеря. Наоборот, были случаи, освободится мужик, отсидевший большой срок — десять-двенадцать лет, — и остаётся при лагере, вольняшкой. Привык, страшит его вольная жизнь в родных местах, давно ставшими чужими. А здесь все знакомо, жизнь понятна. Место определённое есть. Таких случаев много. Но чтоб бежал мужик? Нет, такого никто не слышал.

“Услышат!” — думал упрямо Коля Волк. Идти можно вдоль реки или железной дороги, обходя посёлки. Конечно, риск большой встретить в лесу возле жилья человека, грибника или ягодника, если это летом, либо охотника зимой. Зимой следы видно, и как пробираться по глубокому снегу, в мороз? Без лыж далеко не уйдёшь. Возьмут быстро. Весной бежать нельзя. Вода всюду, утонешь в болоте. Лучше всего бежать осенью, когда морозец схватил землю. Снежок ещё не выпал. А если выпал, то неглубок. Хорошо бы сбежать в небольшую метель. Снег заносит следы. Легче скрыться. И грибники перестали шляться по лесам.

Правда, в это время охотники по всей тайге шастают, но их в сравнении с грибниками немного, у каждого свой участок вдали от селений и железных дорог. Хорошо бы на каком-нибудь подъёмнике, где поезд сбавляет скорость, зацепиться за вагон, взобраться в него, спрятаться среди брёвен и докатить до Сыктывкара. Не каждый состав проверяют.

Но как быть потом? Где взять одежду? По арестантской робе первый встречный узнает беглого эска. Надо, чтоб кто-то ждал тебя в Сыктывкаре или окрестностях. Одел, обул, накормил. Взял билет на поезд. Где взять деньги? Всё это сдерживало. Но мечты не покидали. Только бы добраться до Перельгина, а потом деньги будут. С него хотелось начать мстить. С него, с лучшего друга. Он предал. Кто был Анохин для Сарычева? Знакомый. А для Долгова — подчинённый подчинённого. И всё. А с Перельгиным они много лет дружили. Если бы он не подставил его, никогда бы никто не узнал о плёнке до тех пор, пока она не оказалась бы в Москве. С Перельгина началась расправа над Николаем Анохиным, с него Коля Волк и начнёт расплату.

33. Стычка с блатными

Семь одноликих лет прошло, проползло медленно. Полсрока позади. Пахан Сергей Лобан освобожден, роль его теперь играл Акимыч. Он не был вором в законе, авторитет, а это рангом пониже в уголовном мире. Поэтому его не считали паханом, называли “смотрящим”. Но, как и слово пахана, слово смотрящего было законом для всех эсков. На зоне ничто не изменилось с уходом на волю Лобана. Несколько изменился только сам Акимыч.

Он перестал играть в карты, стал говорить медленно, коротко и как-то важно, степенно. За эти семь лет он постарел, ссутулился. Он карал

нарушителей правильных понятий более жестоко, чем Лобан. Несколько эсков приказал опустить, сделать петухами, а двух особенно злостных нарушителей утром нашли на нарах с перерезанным горлом. Шёпотом называли имя гладиатора, то есть палача, исполнителя приговора воровской сходки.

Когда по бараку проходил Акимыч, громкие разговоры затихали. Многие боялись встретиться с ним взглядом. Вдруг что-то обидит его. Чувствовалось, что такое отношение к нему Акимычу нравится. Он впервые за многие годы отсидки оказался во главе большого лагеря. Никто не мог сказать, что он кого-то обидел несправедливо. Все знали, что прирезали одного блатного за крупный карточный долг, который он не отдал. Это было страшным нарушением правильных понятий, лагерного закона.

Был случай, когда один из крупно проигравших блатных, зная, что отдать долг он никогда не сможет, значит, его ждёт смерть, добровольно сделался петухом. Ночью взял свой матрас и перебрался на петушинушку. Теперь у него брать долг стало нельзя, чтобы самому не зашквариться, не стать петухом. Нечем отдавать долг — не садись играть в карты. Другого эска убили за то, что он выдал один из каналов поступления на зону наркотиков. Вольняшка, через которого это делалось, получил срок.

Акимыч приказал опустить одного из блатных за то, что он уболтал на член вновь прибывшего первоходочника, уговорил молодого парня дать ему за пачку сигарет. Мол, дай разочек, никто не узнает, а я тебя всегда буду защищать. Парень не знал, что такое пассивный педераст в зоне. Он автоматически стал опущенным, изгоем. Но и обманщика опустили. Такой обман по правильным понятиям считался крупным косяком, непростительным в правильной зоне. Опущенный блатной посчитал себя обиженным напрасно, послал телегу на Акимыча на сходяк в другую зону, где паханом был известный вор в законе. Оттуда пришёл ответ, что Акимыч поступил правильно.

Но вся эта жизнь не касалась Тамбовского Волка, шла мимо. Он по-прежнему был неразговорчив, замкнут. Читал, качался, закалял тело, оттачивал приёмы каратэ и самбо, крутил “солнышко” на турнике. Уважение мужиков к нему росло, а некоторым блатным из не особенно авторитетных шестёрок такое поведение его не нравилось. Они время от времени пытались его задеть, вывести из себя. Обычно это были подколки, подначки, на которые он просто не отвечал, словно не слышал, словно речь шла не о нём.

Но однажды в воскресенье, когда он занимался на плацу, — теперь он мог отжаться пятьсот раз, — а группа блатных неподалёку на лавочке грелась на солнце, Коля услышал, как один из них, тот самый, что особенно любил подколоть, сказал насмешливо:

— Во, глядите, как козёл рогами бодает землю!

Это уже была не подколка, а оскорбление. По правильным понятиям, оно не должно было остаться без ответа. Коля прекратил отжиматься, поднялся и спокойно пошёл к блатным. Они насмешливо смотрели, как он приближался. Их было пятеро. Они поднялись, когда он приблизился к ним.

— Ты сказал? — Коля ткнул пальцем в обидчика.

— Я! — кривляясь, уверенный в безнаказанности, ответил блатной.

Коля, не размахиваясь, со страшной силой врезал в челюсть блатного. Ноги того оторвались от земли. Он перелетел через скамейку, упал в кусты. Не взглянув на других блатных, Волк повернулся и пошёл назад. Туда, где качался. Трогать других блатных, которые ему ничего не сделали, нельзя. Бить их можно будет только после того, как они нападут. А нападать сзади четверым на одного, который ничего им не сделал, запахло и большой косяк. За него ответ держать придётся.

И всё-таки блатные напали. Очень им хотелось проучить независимого Волка. Коля слышал, как они бросились к нему, увидел по тени, как один из безавших замахнулся каким-то предметом, чтобы ударить его по голове, и успел отклониться. Но всё же получил удар обрезком доски по плечу и хорошего пинка под задницу. Через несколько секунд у одного эска была выбита челюсть, у другого — перебит нос, а двое остальных, вскочив с травы, где они оказались от молниеносных ударов Волка, трусливо бежали к бараку.

Опускаясь на плац, чтобы продолжать отжиматься, Коля заметил, что обидчик его всё ещё лежит в кустах, не шевелится. “Не убил ли я его? — тревожно мелькнуло в голове. — Слишком сильно ударил!” Отжимаясь, считая про себя, Коля краем глаза видел, как блатные поднимались с травы, потом двинулись к бараку, прижимая руки к лицу. “Могут позвать блатных, — подумал Волк. — Будет битва! Могут убить!”

Он в первый раз применил на деле удары каратэ, и сам был ошеломлён результатом. Он считал, что в конце концов четверо блатных его изобьют. Но они даже не успели ни разу ударить его, не считая того момента, когда напали сзади. Он решил, что блатные теперь не оставят его в покое, будут метить, но метить исподтишка, напрямую больше не решатся. Закон против них. Побоятся надеть косяков.

Вечером Колю Волка позвали к Акимычу. “На разборку!” — понял Коля. Видимо, опять придётся драться. Акимыч сидел на своей шконке: строгий, степенный судья. Вокруг блатные. Среди них битые им. Нос у одного посинел, вздулся. Челюсть другого, об этом Коле уже доложили, была подремонтрована в медчасти. Все участники драки были хмурыми, не смотрели на него.

— Что произошло? — коротко бросил Волку Акимыч.

— Меня назвали козлом.

— Почему?

— Не знаю, — пожал плечами Коля. — Я качался на плацу, никому не мешал. Они сидели на скамейке.

— Тебя назвали козлом без причины, — твёрдо, сурово и веско заговорил Акимыч. — На тебя напали впятером... Ты имеешь право вынести дело на разборку, обидчики будут наказаны!

— Меня обидели, я ответил, — сказал Коля. — Теперь я на братву не в обиде. Не вижу причин для разборки.

Акимыч сурово смотрел на него, пока он говорил. Ответил не сразу, размышлял.

— Дело ясно... Ты свободен, — произнёс он медленно.

А Коля подумал, что Акимыч больше похож на настоящего пахана, чем Лобан. Уходя неторопливо, Волк слышал, как Акимыч негромко говорит своим приближённым:

— Слышали ответ достойного человека? Этот мужик живёт по правильным понятиям. Мне жаль, что он не наш... У нас бы он достиг больших высот!

О его стычке с блатными, естественно, сразу узнала вся зона. Коля понял это по почтительному уважению к себе эков, особенно услужливых шестёрок. Больше никто подначивать его не решался.

34. Побег

Однажды осенью, когда шёл к концу восьмой год его жизни на зоне, по бригаде прямо на лесосеке прошелестел слухок, что на зону прибыл пахан. Как дошло сюда из зоны, непонятно. Коля Волк решил, что новый срок получил Лобан, удивился, почему его направили в ту же зону, где он мотал прежний срок. Но вечером в бараке он увидел Левитана. Узнал сразу. Левитан почти не изменился, только вальяжнее стал, щёки округлились. Видно, на воле у него была сладкая жизнь. Левитан не узнал Анохина поначалу, скользнул по нему взглядом при встрече. Потом приостановился, взгляделся, сказал удивлённо:

— Ты? — Имя Анохина он, видимо, давно забыл. Не держал в голове.

— Я.

Левитан неожиданно для всех обнял Колю, говоря:

— Я считал, твои косточки давно сгнили. Как же это они тебе лоб зелёной не намазали? Дружья твои давно тебя в поминальные списки внесли. У нас ведь не милуют.

— Любая машина даёт сбой, — ответил Коля.

Его поразили слова о друзьях, и он хотел спросить о них. Неужели Левитан был с ними?

— А ты крепок стал, — похлопал Левитан Колю обеими руками по бицепсам. — Как тебя здесь кличут?

— Тамбовский Волк мужик у нас уважаемый, — проговорил Акимыч. Степенность с него слетела. Вид у него стал такой же простой и добродушный, как и тогда, когда он был авторитетом при Лобане.

— Ты видел... друзей? — быстро спросил Коля, запнувшись на мгновение.

— Частенько... Теперь они и мои друзья...

— Где они?

— Все в Москве. Большие люди... Но об этом потом, потом... Не всё сразу, или всё не сразу. У меня дел много, — засмеялся Левитан, оттолкнул легонько Колю от себя и направился к выходу из барака.

Встреча эта произошла на глазах блатных и мужиков, вернувшихся вместе с Колей с работы, и добавила авторитета Волку среди блатных. Может быть, кто-то из тех, кого он обидел в стычке на плацу, подумывал о мести, когда Акимыч освободится или придёт новый пахан, но после такой встречи Волка с паханом оставил эти мысли навсегда.

Вскоре Коля узнал, что Долгов сейчас в Кремле, инструктор ЦК КПСС. Некоторое время он работал в Тамбове в обкоме партии заведующим отделом. Оттуда в столицу, где ещё раньше обосновался Климанов. Больше всего поразило Колю Волка, что Климанов — пахан в этой группе, как назвал его Левитан. Сейчас он министр лёгкой промышленности. Сарычев тоже в Москве, в Министерстве внутренних дел, полковник. Перельгин окончил Высшую комсомольскую школу и теперь возглавляет столичный молодёжный журнал. Все четверо дружат семьями. Живут богато. Подпольные цеха их разбросаны по всей стране. Левитан курировал у них безопасность.

Левитан рассказывал о них с такими подробностями, что было ясно, что связан он был с ними довольно тесно.

— Дружки они мне теперь навек! — не сдержал эмоций Левитан. — Это они меня сюда на червонец определили. Не выпустят живым, суки! Недооценил я их, ох, как недооценил... И тебя уберут быстро, как узнают, что жив... Они уверены, что зелёнку с твоего лба черви давно слизнули... Огорчить я тебя должен, но тебе знать надо, надо! Крепись!.. Жену Сарычева зовут Зинаидой. Она из Уварова, соседка Сарычева по улице...

Коле Волку казалось, что память о Зине потускнела, выветрилась. Нечасто он думал о ней в последние годы. Но известие о ней неожиданно больно ударило в сердце. Новости о карьере врагов и без того были не радостны. Достать в Кремле их будет непросто. Двое уже в высшем эшелоне власти, потихоньку прибирают страну к рукам.

После этого разговора Коля на два дня ушёл в себя. Навалилась прежняя тоска. Зина не выходила из головы. Он надеялся, что предположение Левитана о том, что Зина станет женой Сарычева, ошибочно, что она никакого отношения к Сарычеву не имеет, замужем теперь за незнакомым ему человеком, а может быть, до сих пор свободна и когда-нибудь она станет его. На третий день им вновь овладела решимость сбежать отсюда. Одному не уйти, надо подбить Левитана. У него по всей стране связи. С ним можно найти приют, деньги, купить новые паспорта и действовать, действовать. Волк улучил момент, шепнул Левитану, что разговор есть. Встретились на плацу в воскресенье, где, как обычно, тренировался Коля.

— Уходить нам надо отсюда, пока дружки не добрались, — быстро проговорил вполголоса Коля.

Левитан молчал, смотрел на него как-то оценивающе.

— Иного выхода нет, — сказал Волк.

— Знаю я, что живёшь ты, чтоб отомстить дружкам, — негромко сказал Левитан. — Хорошая цель!

— Я давно б сбежал... Но кто меня встретит на воле? Где деньги возьму? Паспорт? Где жить? Нет у меня никого на воле... А у тебя всё есть!

— Я не слышал этого разговора, — тихонько пробормотал Левитан, поворачиваясь уходить.

— У тебя голова, опыт, а у меня руки, сила...

— Жди! — почти прошептал Левитан через плечо.

Сердце радостно дрогнуло от этих слов. Волк подскочил к турнику и стал яростно подтягиваться, ликуя в душе: неужели скоро сбудется мечта? Неужели цель близка? С Левитаном можно и секретаря ЦК раскрутить! Поскорее бы!

Ждал Коля Волк не меньше месяца. При встречах с Левитаном смотрел на него с надеждой, не подаст ли он какой знак. Но Левитан молчал, глядел равнодушно. Коля начал было потихоньку собирать сухари. В тайге надо есть что-то. Голодный далеко не уйдёшь. Потом прекратил.

В одно из воскресений к турнику, где, как обычно, тренировался Коля, неторопливо подошёл Левитан и спросил громко:

— Двести раз подтянуться сможешь?

— Могу, — не глядя на него и продолжая подтягиваться, ответил Коля и услышал быстрый шёпот.

— Завтра сразу после лесосеки к ларьку. Понял?

— Да, — дрогнувшим голосом ответил Коля.

Левитан прошёл мимо него и направился дальше по плацу. Руки у Волка задрожали, и он спрыгнул на землю. Неужели завтра? Как они сбегут из зоны? Проще сбегать с лесосеки. Сейчас сентябрь. Морозец уже прихватывает землю. Самое время для побега. Легко будет идти по тайге. Следов не видно. Утречком, когда ещё темно, сделать вид, что пошёл за сухостоем для костра, и в тайгу. Конвой не заметит. Только после работы на вахте побег обнаружится. А за день далеко уйти можно. Что же придумал Левитан? Нужно ли что брать с собой? Эти вопросы весь вечер не давали покоя. Спросить у Левитана нельзя. Надо ждать.

Спал эту ночь Тамбовский Волк плохо, ворочался, думал о завтрашнем дне, о том, как придут в Москву. Сразиться с друзьями придётся там. Коля до встречи с Левитаном считал, что будет мстить своим врагам в Уварове. На этом и строил планы мести. Не ожидал он, что все они переберутся в столицу. Теперь ему казалось, что в Москве ему будет проще отомстить. Город большой, легче затеряться. Никто там его не знает. А в Уварово тщательно скрываться надо. Там быстро узнают, пойдёт слух, что Анохин жив, вернулся. Все планы могут сорваться. Не успеет отомстить всем.

Работал в тот день Коля не спеша, берёт силы. Пригодятся в побеге. Видимо, придётся идти и ночью, чтобы подальше уйти от лагеря. Ночи сейчас лунные, идти будет можно. Всё учёл Левитан. Не понимал Коля, как же они выберутся из лагеря? Зачем нужно идти к ларьку? Он ведь рядом с конторой. А там всегда после работы крутятся нарядчики, бригадиры, нормировщики и прочие суки.

Еле дождался Волк конца рабочего дня. На минутку забежал в барак, набил карманы приготовленными сухарями. К ларьку шёл неторопливо, своим обычным спокойным шагом. Увидел издали, что он открыт. Возле двери стоят два зэка из блатных. У конторы несколько человек стоят, разговаривают. Обсуждают что-то козлы. К ларьку сбоку от конторы задом к стене прижата грузовая машина с крытым кузовом. Она по понедельникам привозила товары в ларёк. Обычно машина приезжала и уезжала, когда зэки были на работе. Капот у неё поднят. Из-под него торчит задница водителя. Вероятно, машина сломалась. Из окна конторы видна она с одной стороны, с другой стороны — глухая стена инструменталки. Неподальку от машины стоят, курят Левитан и молодой парень из блатных, первоходочник, шестёрка. Ему лет девятнадцать всего. Чтобы подойти к ларьку, нужно пройти мимо них. Когда Волк поравнялся с ними, он услышал быстрый властный шёпот Левитана:

— Не гляди на меня! Быстро забирайся в кузов машины со стороны инструменталки. Дверь открыта!

Волк прошёл мимо них с безразличным видом, ничуть не ускорил шаг. Три вещи ему были непонятны. Почему Левитан сказал это при шестёрке? Как он заберётся в кузов, если машина подогнана к стене задним бортом вплотную? Как может машина проехать вахту вместе с ними, когда её каждый раз тщательно проверяют? Коля неспешно подошёл к водителю,

который позвякивал ключом под капотом, подкручивал что-то, остановился на мгновение и шагнул за машину, к стене. Оказывается, водитель подогнал машину к стене чуть наискось, так, что угол борта, видимый от конторы, касался стены, а другой угол, со стороны инструменталки, не доставал до стены на полметра. Этого достаточно для того, чтобы открыть дверь кузова машины и протиснуться внутрь. Коля проделал это быстро, нырнул в кузов и замер там в полумраке. Кузов был совершенно пуст. Все ящики с товаром выгружены. Достаточно дежурному по вахте открыть дверь, заглянуть в кузов, как беглецы будут обнаружены.

Коля притаился в кузове, замер. Минуты через две он услышал торопливый шорох шагов. Дверь приоткрылась, показалась голова шестёрки. А этот зачем? Шестёрка неуклюже пытался влезть в кузов. Коля ухватил его за шиворот и рывком, одним махом, вздёрнул вверх и прикрыл дверь. Ещё минуты через две дверь снова приоткрылась, и появился Левитан. Волк помог ему влезть в кузов и начал закрывать дверь.

— погоди! — остановил его вполголоса Левитан. — А то темно!

Он подошёл к переднему борту. Крытый кузов был весь обшит фанерой. Левитан прижал ладони к фанерному листу у переднего борта и сдвинул его в сторону. Стена оказалась фальшивой. За ней тайник. Узкий, сантиметров тридцать, не больше, но вдоль всего борта.

— Прячьтесь! Быстро! — приказал шёпотом Левитан.

Коля и шестёрка друг за другом протиснулись внутрь тайника. Левитан — вслед за ними. Он поставил стену на место, придвинул к борту вплотную, чтобы щели не было.

— Не давите на перегородку, вывалится, — буркнул Левитан и стукнул два раза в стену борта.

Через мгновение они услышали стук закрываемого капота, шаги, громкий скрип двери кузова, лязг железного засова. Мотор машины заработал ровно, кузов качнулся, и машина покатила.

— Держитесь за борт, — донёсся в темноте еле слышный шёпот Левитана.

Сердце у Волка в груди разрывалось, колотилось так, что он слышал стук и боялся, что услышит его конвой, когда будет проверять.

Машина притормозила, плавно остановилась. Слышно, как открылась дверь кабины. Водитель вылез, заговорил, забубнил что-то. Значит, вахта. Разговор спокойный.

— Семь раз говорил завгару, — это, видимо, говорит водитель, — надо менять карбюратор. Экономит, сука! В рот бы его... — добродушно матюкнулся он. — А если среди тайги встану! Ночь куковать?

Загремели засовы двери кузова. Скрип. В щели, там, где фанера соединялась с бортами, ударил свет. Коля затаил дыхание, но сердце стало колотиться ещё бешеней. Хотелось прижать руку к груди, придержать удары. Но шевельнуться нельзя. Снова скрип, удар двери, лязг. И полная тишина. Тихий спокойный разговор продолжался ещё минут пять, которые показались вечностью. Видимо, шмонали в кабине. Наконец, радостный стук двери кабины, весёлый рык мотора, и машина медленно выкатила на волю.

— Слава тебе, Господи! — шёпот Левитана.

Коля Волк расслабился, почувствовал, как у него затекли и дрожат ноги.

Ехали по тайге минут двадцать, а может, и больше, кто знает. Наконец, остановилась машина. Мотор тихонько урчал. Быстро и ужасно громко громыхнули засовы, и Левитан тут же отодвинул половину фанерной стены, выскочил. За ним Коля с шестёркой. Спрыгнули вниз на дорогу. Грунт был здесь твёрдый, не песчаный, следов на нём не видно. Машина стояла у моста через небольшой ручей.

— Метров через сто, по берегу, поваленная сосна, под корнями у неё всё, — указал водитель в тайгу и бросился к кабине машины.

Беглецы нырнули в кусты и быстро пошли вдоль берега ручья. Позади рыкнул мотор. Звук его быстро удалился, растаял в тайге. Сосну, выдернутую с корнем бурей, нашли довольно быстро. Разгребли листья, ветки и нашли три больших туго набитых рюкзака.

— Берём и пошли! — бросил Левитан. — Нужно уйти как можно дальше.

Шли быстро. Коля чувствовал себя легко, рвался вперёд. Изредка его окликал Левитан.

— Осади! Не рвись!

И Левитан, и шестёрка тяжело дышали. Пот лил по их щекам. Волк тоже вспотел, но усталости не чувствовал.

Солнце село, стало темнеть, но беглецы не останавливались. Вскоре должна появиться луна. В сумерках хруст ветвей под ногами стал, кажется, слышнее. Ветки словно взрывались, били в уши. В темноте всё чаще стали наткаться на сухие сучья деревьев, которые тоже громко ломались. Хрип, тяжёлое дыхание спутников позади Коли тоже стали слышнее, громче. Шестёрка не выдержал, выдохнул жалобно:

— Не могу! Упаду сейчас!

— Привал, — бросил в ответ Левитан. — На полчаса!

Сели, упали на сухие листья. Левитан развязал свой рюкзак, на ощупь отыскал буханку хлеба, отломил всем по куску.

— Ешьте!

Ели молча. Ветра не было. Деревья стояли не шелохнувшись, но полной тишины не было. Какой-то шорох, шелест, еле слышное тревожное потрескивание. Коле казалось, что их потихоньку окружают со всех сторон, перебегают от дерева к дереву, сжимают кольцо. Он жевал хлеб, озирался, вглядывался в темноту, которая медленно разжижалась. Стволы деревьев явственней чернели в темноте. Выходила луна. Сидели до тех пор, пока не стало настолько светло, чтобы можно было идти без опаски выколоть себе глаза торчащим сучком.

Шли теперь не так быстро, как прежде, размеренно. Левитан изредка бросал идущему впереди Коле:

— Левее чуть-чуть держись!

Уже под утро он скомандовал.

— Привал! Отдых!

Развели костёр. Левитан бросил в него свою шапку, потом телогрейку. Заметил, что Коля и шестёрка посмотрели на него недоумённо, и произнёс:

— И вы бросайте!.. Разбирайте рюкзаки!

В рюкзаках оказались не только куртки, но и свитера, обувь, нижнее бельё, а самое главное — пуховые спальные мешки. На костре сожгли всю свою одежду. Ничто не должно напоминать о связи с лагерем. Коля хотел оставить носки про запас, но Левитан приказал ему:

— Кидай в огонь!

Коля подчинился. Левитан, переодеваясь, говорил:

— Знаете, из-за чего провалилась группа наших разведчиков? Их тщательно подготовили к работе в тылу немцев, забрасывали по одной, по совершенно разным легендам. В разное время они должны были проникнуть в город. И всех их по одной взяли, хотя предателей среди них не было, да и предать было нельзя. Никто из них не знал, под каким видом и именем появятся они в городе. А провалились они просто. У всех у них были одинаковые казённые трусы. Немецкий патруль при въезде в город даже документы у девок не спрашивал, сразу задирали юбку, смотрел на трусы: “Ага! У этой казённые, эта наша! Сюда её! А эта может быть свободна...” Так и нас по трусам да носкам захомутать могут!

В рюкзаках, кроме консервов и хлеба, крупы и другой еды, нашли большую карту севера России, компас, котелок, чайник, топорик, три ножа, ложки и паспорта на всех троих беглецов. Фотография на Колином паспорте была нечёткая, размытая, и всё-таки облик человека на ней напоминал Анохина. А на паспортах Левитана и шестёрки были настоящие фотокарточки. Видимо, Левитан давно готовил побег с шестёркой.

— Будем знакомы, — сказал серьёзным тоном Левитан, протягивая руку Коле, в другой он держал паспорт. — Андрей Сергеевич Попов, геолог, кандидат наук, начальник партии.

— Николай Иванович Седов, инженер, — засмеялся Коля, пожимая ему руку.

— Юрий Михайлович Комлин, инженер, — хихикнул шестёрка.

— Юрок, Юранчик, студент, — поправил его Левитан. — Понял?

— Понято.

— А теперь спать! Три часа! На рассвете в путь!

На рассвете, пока закипала вода в чайнике, Левитан рассматривал карту, сверял путь по компасу. За завтраком сказал:

— Они ожидают, что мы пойдём на юг. Там и усиленно искать будут, а мы двинемся на запад. Через месяц поиски увянут, притупятся. Решат, что мы уже в Москве или в Сочи. А мы выйдем к какой-нибудь станции подальше отсюда и покатаем в Ленинград. За месяц у нас бороды отрастут, станет вид интеллигентный, учёный.

— У нас жратвы не хватит на месяц, — усомнился шестёрка.

— Будем экономить.

— И снега скоро насыплет... Надо, наоборот, в город пробираться...

— Ну да, в лапы к ментам. Там они нас ждут.

Рюкзаки после того, как из них вынули одежду, заметно похудели. Стали легче. Костёр затоптали, аккуратно засыпали листьями, забросали сучьями. Оглядели место ночёвки, чтобы следов не было, и двинулись дальше.

35. Людоедство

Им везло. Ни разу не встретился ни один человек. Возможно, потому, что Левитан вёл их по глухим местам, вдали от человеческого жилья. Дня через три после побега пошёл снег. Он сыпал долго в полной тишине. Следы за ними оставались чёткие. Но Левитан не опасался этого. Наткнётся охотник, ну, и что ж. Не бросит же он свой промысел, заимку, чтобы бежать в посёлок, до которого не менее двух дней пути, чтобы сообщить о подозрительных следах. Потом подул ветер, началась метель, густая, морозная. Два дня блуждали по снегу, пока не набрали на брошенную, полуразвалившуюся охотничью заимку. Заткнули кое-как дыры, чтобы снег не мело внутрь, затопили печь.

Продукты быстро таяли, как их ни берегли, ни экономили. Рюкзаки худели. Через две недели пути хлеб кончился. Ели консервы и жидкий пшённый кулеш. Варили его в котелке. От голода быстрее уставали, всё чаще останавливались на отдых. И пришёл день, когда последние зёрнышки ссыпали в кипящую воду.

— А дальше как? — с тоской спросил Юрок-шестёрка. — Подышать с голоду?

— Недолго осталось, — буркнул Левитан. — Потерпим... Не лезть же в лапы к ментам!

На рассвете Коля проснулся в своём спальном мешке от какой-то возни, хрипа. Оглянулся на шум и похолодел, показалось, что видит сон, ужасный сон. Он увидел, что Левитан стоит на коленях в снегу перед спальным мешком шестёрки и держит за волосы голову Юрка, из горла которого хлещет на белый снег чёрная в полутьме кровь. Рядом в снегу лежит окровавленный нож. Ноги Юрка дёргаются в спальном мешке. Голова содрогается в руках Левитана, хрипит. Он пытается держать её на отлёте, чтобы брызги крови не испачкали его. Левитан услышал, что Коля зашевелился, оглянулся и спокойно позвал:

— Иди, помоги!

Коля не шевелился, оцепенел, с ужасом смотрел на страшное видение.

— Скорее! Подержи ноги! — сердито крикнул Левитан.

Коля, дрожа, стал выбираться из спального мешка. Выкарабкался, вялыми ногами, спотыкаясь, подскокил к шестёрке и навалился на его дёргающиеся ноги. Левитан ткнул голову Юрка в снег. По телу шестёрки пробежала последняя судорога, и он затих. Левитан отпустил голову Юрка и стал мыть руки снегом, с насмешкой поглядывая на Колю. Он всё ещё лежал на спальном мешке шестёрки, навалившись на его ноги.

— Вставай! Он готов! — поднял нож Левитан и стал чистить его снегом. Коля медленно поднялся, не спуская глаз с Левитана. Мелькнула мысль, что он сошёл с ума и сейчас бросится на него с ножом.

— Поджилки трясутся, мститель? — усмехнулся Левитан. — А с друзьями ты что, целоваться будешь? Или уничтожить?

— А что он сделал? — хрипло выдавил Коля, взглянув на окровавленного Юрка.

— Ничего. Он кабан... Ты что, не догадывался? Для этого мы его и брали... Чтобы с голоду не подохнуть.

Коля всё понял. Он слышал в лагере, что беглецы из зоны часто берут с собой в побег молодых неопытных эзков. Когда еда кончается, режут их и едят. Их зовут кабанями или кабанчиками.

— Я его есть не буду, — прошептал Коля, чувствуя подступающую тошноту.

— Будешь, ещё как будешь, — уверенно сказал Левитан. — Человечинка повкуснее телятины будет... Вытаскивай его из спальника, раздевай. Сейчас раздевать будем, — произнёс это Левитан таким тоном, словно речь шла, действительно, о кабане или баране. — Давай, давай! Время не ждёт.

Коля начал дрожащими руками расстёгивать змейку спальника шестёрки, вытаскивать наружу ещё тёплое тело.

— На снег не клади. На спальнике разделаем. Он теперь ему не нужен. Сожжём потом... Стаскивай с него штаны, раздевай.

Обнажённое тело Юрка белело на чёрном спальнике. Когда Левитан поднял его ногу и начал отрезать икру, мякоть, Колю вырвало. Он отскочил к стволу сосны, согнулся, опёрся о ствол рукой. Его выворачивало наизнанку.

— Не будь слабаком, — слышал он за своей спиной спокойный назидательный голос Левитана. — И через это надо пройти... Помни, что, если бы не предали тебя твои дружки, не было бы с тобой ничего этого. Помни это и возьми себя в руки! Ты должен остаться жить любой ценой, любой ценой... Иначе погибнешь и не отомстишь за свою растоптанную судьбу, за свои незаслуженные страдания, за поруганную любовь, за смерть матери...

36. Волки

Есть мясо человека заставить себя Коля Волк не мог. Даже от сладковатого запаха, который шёл из кипящего котелка, его тошнило.

— Ешь! — требовал Левитан. — Упадёшь — брошу! Ещё не менее недели нам блуждать по тайге. Не выдержишь!

— Не могу! — морщился Коля.

Он, обжигаясь, пил пустой кипяток и старался не глядеть, как Левитан уминает мясо. Три дня Коля уже ничего не ел. Днём они шли по тайге, пробирались по снегу, который после очередного снегопада или метели становился всё глубже. Всё труднее пробираться по нему. Длинные ночи проводили в спальниках, настелив под ними еловые ветки.

Идти голодному было всё труднее. Темнело в глазах, приходилось часто останавливаться, отдыхать. Коля понимал, что Левитан, не задумываясь, бросит его, если он не сможет идти дальше. И не просто бросит, оставит в тайге, а предварительно прирежет. На всякий случай. Чтобы не осталось свидетеля. Вдруг какой-нибудь охотник наткнётся на полуживого и выходит его.

И Коля Волк не выдержал. Слишком внезапно потемнело в глазах, и он упал в снег, потерял сознание. Очнувшись, услышал, что Левитан ломает ветки, разводит костёр. К нему не подходит. Коля лежал долго в полудрёме, в забытии, то теряя сознание, то приходя в себя. В очередной раз очнулся от того, что что-то тёплое льётся тонкой струйкой в его открытый рот. Он стал глотать тёплый бульон, чуть сладковатый на вкус. Открыл глаза. Увидел склонившегося над ним Левитана, который лезвием ножа раздвинул ему зубы и лил в рот из кружки мутноватый бульон.

— Глотай, глотай! — сказал он тихо и дружелюбно, продолжая лить бульон.

Коля тихонько отстранил его руку с ножом в сторону и попытался подняться, пробормотал:

— Я сам...

Левитан помог ему подняться, сесть спиной к стволу сосны и дал в руки тёплую кружку. Коля начал пить бульон маленькими глотками, не думая, что он из человеческого мяса. Главное, он был сытным и тёплым. Выпил и протянул кружку Левитану.

— Ещё...

Левитан накрошил в кружку ножом мяса, налил из котелка бульон и молча вернул Коле. Волк глотал бульон, медленно и бездумно жевал кусочки мяса, отдыхал, чувствуя, как становится легче, перестаёт кружиться голова, возвращаются силы. Больше ему Левитан не дал есть, сказал:

— Погоди, не надо сразу много... Вечером...

Вечером Коля наелся. Впервые за последние дни чувствовал себя сытым, спал крепко. Перед рассветом разбудил его долгий тягучий и ужасно тоскливый вой. И тут же ему подтянул другой, более тонкий. Коля зашевелился в спальнике и услышал голос Левитана:

— Братки твои, волки! Стая! Это плохо!

Они развели костёр, сварили мяса, наелись и отправились дальше. Сытому шагать легче. Хотя прежней бодрости пока не было. Хорошо хоть ноги не дрожали с утра, как вчера, не заплетались при каждом шаге. Всего через полчаса ходьбы они увидели на снегу свежие следы зверей.

— Видать, семья... Трое... Держи нож поближе. Чёрт знает, что у них на уме...

Идти тихо по тайге нельзя. Снег хрумкает, глухо потрескивают сучки под ногами, невидимые под снегом. А когда пробираешься по чаще, то невольно трещишь сучьями так, что слышно за сотню метров. В тот день, как назло, было тихо. Не шумели верхушками деревья. Не скрипели, покачиваясь под ветром, стволы.

Левитан шёл впереди. Вдруг он неожиданно остановился. Коля чуть не ткнулся в его спину, спросил:

— Ты чего?

— Смотри! — громко сказал Левитан дрогнувшим голосом и резко взмахнул рукой, словно прогоняя кого-то с пути.

Коля увидел совсем рядом, всего метрах в десяти от них, под усыпанной снегом небольшой ёлочкой волка. Он был похож на овчарку, но покрупнее, серее и тупее, что ли, на вид. Волк не шевельнулся в ответ на взмах руки Левитана, только осерил зубы, будто улыбнулся на этот жалкий жест человека. Коля впервые видел волка. Он машинально опустил рюкзак и вытащил нож. Левитан достал из-за пояса топорик. Оба они одновременно услышали позади себя шорох снега, обернулись и увидели двух волков, летевших на них. Уклониться было уже невозможно. Коля, падая под тяжестью навалившегося на него волка, воткнул ему в бок нож по самую рукоятку, но выхватить не успел. Лезвие хрунуло под тяжестью волка, отлетело, осталось в боку волка, который будто не почувствовал удара ножом, щёлкнул зубами возле самого носа Коли. Он успел схватить его левой рукой за горло, удерживать. Выбросил из руки ненужную теперь рукоятку ножа и обеими руками сдавил горло волка, столкнул его с себя, перекатился на него. Из пасти зверя показалась, забулькала кровавая пена. Коля увидел рядом с собой в снегу топорик Левитана, отпустил волка, схватил его. И в это время зверь из последних сил рванулся под ним, раздирая его одежду. Передней лапой со страшной силой ударил по щеке Коли, обжёг когтями. Коля рубанул его топором по морде и вскочил. Волки яростно рвали окровавленное тело Левитана, который уже перестал сопротивляться. Снег метелью поднимался вокруг них. Коля подскочил к ним и изо всех сил рубанул по хребту топором ближнего к нему волка. Тот осел на Левитана. Второй волк, увидев Колю, рванулся к нему. Коля со всего маху ударил его в голову и кончиком топора

попал в глаз, вонзил лезвие в череп волка с такой силой, что не удержал рукоятку в руке. Зверь рухнул в снег с торчащим из черепа топором. Волк с перерубленным хребтом был ещё жив, яростно скалил зубы, но не шевелился. Коля вырвал топор из черепа убитого волка, несколько раз взмахнул им, добил живого волка. И тут только увидел, что ему на куртку льется кровь из разорванной щеки, почувствовал боль. Он коснулся рукой щеки и взвыл от ожога боли. Видно, щека была глубоко разорвана когтями волка. Коля взял пригоршню снега и прижал к ране, морщась и охая. Только теперь он взглянул на неподвижного окровавленного Левитана. Вся одежда на нем была порвана. Вместе с куском брюк из ноги у него был вырван большой кусок мяса. Чёрная кровь из раны лилась на снег. Коля кинулся к рюкзаку, достал из кармашка бинт, сорвал упаковку, подскочил к Левитану и перевернул его. Под ним была лужа крови. Резко ударил в нос запах дерьма. Левитан застонал, открыл глаза, прошептал:

— Осторожно, живот...

Коля раздвинул окровавленные лохмотья на боку Левитана и увидел рваную рану внизу живота. Содрогнулся, взглянув на порванную клыками синеватую кишку. Из нее текла коричневая вонючая жижа.

— Что там? — простонал Левитан. — Совсем худо?

— Я забинтую, забинтую, — быстро забормотал Коля, не отрываясь взглядом от раны, и с тоской думая, что ничем он уже Левитану не поможет.

— Кишки порвали? — быстро прошептал Левитан. — Я чувствую, чувствую... Ох, силы уходят... Говори правду... Иначе... Кишки целы?

Коля отрицательно покачал головой, прошептал горестно:

— Порвали, суки!

— Хана, всё, хана! — взвыл Левитан из последних сил и зашептал быстро: — Коля, Коля, Слушай! Запомни, запомни, Истра, это под Москвой, деревня Раково, рыбхоз, с середины моста смотри через пруд, на запад, в лес. На берегу две сосны, они выделяются... большие... между ними... в центре... копай. Там кастрюля... Повтори, повтори быстро...

Коля повторил.

— Запомни! — зашептал жарко Левитан. — Там всё моё... Это твоё... Благодаря тебе... Ты наследник... Отомсти, отмести им и за меня! Я работал с ними... Твоя золотая плёнка... Я рад, что у тебя будут деньги... Ты отомстишь им. Они звери, не люди...

— Я спасу тебя, — вышел из оцепенения, засуетился Коля. — Я забинтую! Я найду людей! Где-то должны быть люди...

— Тут деревушка... на юг... километров десять... На карте видел... Мы обходили её... У-у-ух, тяжело мне! — простонал Левитан, когда Коля обнажил его живот и стал, неуклюже поднимая его, обматывать бинтом.

Коля уложил затихшего Левитана на спальный мешок, другим накрыл его и пошёл по тайге в ту сторону, откуда сквозь деревья пробивалось низкое солнце. Шёл, тяжело дыша в щели между бинтами. Всё лицо своё он заматывал бинтами, опасаясь, что потеряет много крови, оставил открытыми только глаза и щель для рта. Часа через полтора он выбрался на узкую дорогу по просеке со следами саней. Видимо, утром кто-то проезжал здесь на лошади. Почти каждый день они с Левитаном пересекали такие дороги, которые вели от деревни к деревне, находящихся друг от друга на десятки километров.

По дороге стало идти легче. Коля пошёл быстрее, временами даже пробовал бежать и, наконец, услышал лай собак. Запахло дымом. Деревня. На улице тихо. Людей не видать. Только две серые собаки лайки с хвостами, загнутыми в кольцо, дружно облаяли его. Коля вломился в крайнюю избу. За столом обедали дед с бабкой. Они ошалело и испуганно уставились на него.

— Волки! — выдохнул Коля, оттягивая бинт ото рта на подбородок. — В лесу человек... Ранен... — И сел, упал на скамью у двери, привалился спиной к бревенчатой стене.

37. Снова зона

Левитан умер. Тело его в сопровождении Коли доставили в районную больницу. Коля Волк простудился сильно, кашлял, хрипел. Держался до больницы. В ней слёг совсем. Бредил. А кашлял так, словно хотел выкашлять лёгкие. Через неделю стал выздоравливать, приходил в себя. Представлялся он всем геологом Николаем Ивановичем Седовым, как по паспорту. Щёку ему зашили.

Перед выпиской из больницы к нему в палату заглянул оперуполномоченный. Нужно было зарегистрировать происшествие, найти родственников погибшего. Опер, полноватый, медлительный парень лет тридцати, отнёсся к Коле сочувственно, дружелюбно. Извинился, что вынужден допрашивать под протокол. Коля начал заливать, как они с начальником геологической партии заблудились, как напали волки. Опер добросовестно и неторопливо записывал его ответы, потом начал уточнять, откуда шли да куда шли? Что за работу делали? Где работали? Телефоны домашние да служебные? Адреса? Коля понял с тоской, что крутиться бесполезно, рано или поздно выяснят, что он за геолог. К этой роли он был совершенно не готов, не знал, что могут делать геологи в этих местах, понимал, что, назови он первый попавшийся московский телефон, по нему тут же позвонят и сразу поймут, что он врёт, и выдохнул признание:

— Ээки мы. Беглые...

Опер ошарашенно откатнулся от стола с ручкой в руке, глядя на грустно улыбающегося Колю, потом проговорил, подмигнув:

— Шутка!

— Я рад был бы такой шутке, но это так... — печально вздохнул Коля. — ИТК номер сто двадцать шесть под Вожаелем... Заключённый Анохин Николай Игнатьевич.

— До Вожаеля отсюда почти тыща километров, — всё не верил опер. — И зачем вы к нам, сюда? — удивлялся он.

— Месяц шли... А почему к вам, мог ответить только он, — кивнул Коля на дверь. — Но у него теперь не спросишь... Я был при нём. Он вор в законе, а я простой мужик... Кстати, с нами был ещё один, блатной. Умер он. Неделю назад похоронили... Теперь не найти, где...

Николаю добавили ещё три года срока без права на амнистию за побег из места заключения и вернули в тот же лагерь. Там он сразу же стал знаменитостью, уважаемым человеком. Принят был в мир блатных, эту элиту лагерного общества. Месяц был на воле, но вернулся неузнаваемым. Лицо в шрамах. На щеке три борозды от глаза к подбородку. Средняя — рваная, глубокая, а две крайние поровнее и помельче. Голос охрип. Коля Волк стал ещё молчаливее после побега. Он мог бы теперь стать одним из приближённых пахана и не выходить на работу, но предпочёл по-прежнему валить дровья. Почти всю свою зарплату он теперь отдавал в общак, оставлял деньги только на самое необходимое.

Снова потянулись дни, годы в мечтах о свободе, о мести, в подготовке к ней. Через пять лет после побега пришла весть — умер Брежнев. Ээки заволновались. Новый правитель должен дать амнистию. Можно раньше срока выйти на свободу. Но дождалась статью 188-3 “прим” — “Злостное неподчинение законным требованиям администрации ИТУ”. Администрация лагеря теперь любое нарушение могла объявить злостным неподчинением и не отправить в карцер, как это было раньше, а добавить к сроку от одного до пяти лет. Так можно всю жизнь просидеть в лагере.

В конце восьмидесят третьего администрация решила воспользоваться статьёй, добавить к сроку по году трём мужикам за то, что они отказались надеть красную повязку, стать членами секции профилактики правонарушений, козлами. И впервые среди мужиков зазвучало слово “забастовка”. Пошла по рукам листовка с призывом объединиться и сопротивляться администрации. Дошла она и до Тамбовского Волка.

“Мужики, братва! — читал Коля. — Что получается? К чему вы идёте? Где закон, честь, гордость нашего общества? Во что превращается зона?

В пионерский лагерь, где почти каждый, словно пионер, подчиняется любому движению, слову вожатого. На любой каприз мента прёте, как стадо баранов, не зная куда, подчиняясь его кнуту. Где ваша солидарность? Где ваша гордость? Надо кончать с этим! Забыты все традиции и законы нашего общества. Страх, трусость, равнодушие в сердцах! Осмотритесь, к чему ведёт наше равнодушие. Встряхнитесь, да и начнём борьбу за наши права. Зона всегда поддержит нас в добрых начинаниях. Стыдно, срамно смотреть, как курвится зона. Вас травят друг на друга, а вы визжите и улыбаетесь улыбкой придурка, и, небось, каждый думает: “Моё дело сторона”. К солидарности, мужики, к усилению общественной организации, братва! Вернём честь нашей зоны. Иначе перекроют нам всё, задушат!”

После развода все бригады собрались возле инструменталки и уселись на траву. Бригадир дёргал их, кричал, матерился. Мужики огрызались угрюмо, сидели на земле. Прибежали отрядники, кум, появился сам хозяин, начальник колонии. Они дружно выступали перед мужиками, увещевали, грозили, обещали разные кары. Мужики стояли на своём: верните документы на увеличение срока мужикам. Возня продолжалась до обеда.

Наконец хозяин пригрозил:

— Я этот бунт сейчас быстро подавлю! Узнаете, что бывает за бунт! Каждый получит добавку к сроку!

Выматерился и быстро ушёл вместе с кумом.

— Доигрались? Ждите беды, — злобно бросил один из бригадиров.

Шелест прошёл среди мужиков. Заколебались некоторые. Коля понял, что могут сдать. Тогда администрация, почувствовав слабость, обнаглела ещё сильнее. Он крикнул властно и быстро, не поднимая головы:

— Сидеть! Пока сидим, ничего не будет!

— Кто кричал? — заметались отрядники.

В ответ угрюмое молчание. Зэки снова почувствовали уверенность в себе. Притихли. Отрядники не унимались, бегали от одной бригады к другой, выкрикивали имена зэков, обращались к ним то с угрозами, то с уговорами. Били по самому больному. Тем, кому осталось трубить немного, говорили, спрашивали: неужели им не хочется поскорее обнять близких? Ведь непременно добавят к сроку за бунт. А тем, кто недавно прибыл в зону, обещали весёленькую жизнь в ШИЗО без посылок и свиданий. Их слушали, молча и угрюмо уставившись в землю, не шевелились, не отвечали. Вдруг один из бригадиров заорал:

— Пожа-ар! Столярка горит!.. Братва, лагерь сгорит! Всем тушить!

Бригадир, отрядники бросились к столярке, которая, действительно, полыхала с одной стороны. Полыхала жарко, почти без дыма. Некоторые зэки вскочили, рванулись за ними, но Коля громко заорал:

— Назад! Всем сидеть!!! Это провокация!

— Какая провокация! Горит же!

— Козлы подожгли столярку по приказу хозяина! Забастовку переводят в бунт! Всем сидеть здесь! Огляните друг друга, на допросах будете говорить, кто рядом с вами сидел!.. Сейчас пригонят войска. Всем сидеть на месте, не шевелиться, не вскакивать! Будут бить — терпеть! Не сопротивляться, иначе все получают добавку. Этот пожар нам на руку. Будет комиссия, рассказывать всё как есть! А теперь сидеть! Сидеть смирно! В этом наша сила!

Сначала Коля кричал громко, чтобы его слышали все возбуждённые пожаром зэки, потом, когда остановились, успокоились, стали слушать его, заговорил потише, но всё же говорил властно и уверенно. Его послушались, снова уселись на траву, стали смотреть, как возле горящей столярки суетятся бригадир, нарядчики и прочие суки, которые сами устроили этот пожар.

Со стороны вахты раздался шум, топот многих ног, и зэки увидели бегущих к ним солдат с автоматами во главе с начальником караула, у которого было особенно возбуждённое, яростное лицо.

— Всем сидеть!!! — снова властно приказал Коля Волк. — Никого не убьют! Не сопротивляться! Прикрыть головы! И молчать! Молчать!!

Солдаты с ходу врубались в сидящих зэков, заработали прикладами, кулаками, сапогами.

— Отставить! — рявкнул Коля. — Стройся!

Большинство солдат остановилось, замешкалось, отскочило от зэков. В пылу многие подумали, что приказал начальник конвоя, и с облегчением прекратили бойню. Ведь не каждый может бить человека, который тебе ничего не сделал, да ещё и не сопротивляется, сидит на месте. Надо обладать особым зверством в душе или не считать зэков людьми.

— Бей их! Бей! — орал начальник конвоя, но слушали теперь его только особо ретивые. Да и те, видя, что большинство солдат прекратило бойню, оставляли в покое забастовщиков. Избитые зэки выхаркивали кровь, потирали бока, рёбра, но не поднимались с земли, чтобы не провоцировать новую бойню.

— Бунт! Я вам покажу бунт! — орал начальник конвоя.

Но голос его потерял уверенность. Он не мог не видеть, что никто не сопротивлялся избиению, руки не отвёл, ни один солдат не получил ни одного синяка. Такое поведение зэков для него было полной неожиданностью. И он не знал, что делать. Старался криком возбудить себя, подскакивал к зэкам, замахивался кулаком на ближайшего к нему. Но никто не пытался уклониться, ответить ему, крикнуть в ответ на его оскорбления.

Появился, прибежал хозяин и сердито крикнул начальнику конвоя:

— В чём дело? Немедленно погасить бунт!

— Гаси! — вдруг зло выпалил ему начальник конвоя. — Вот они! Бей сам! Наслаждайся! Они руки не отводят! Мы не садисты! — И рявкнул солдатам: — В две шеренги становись! — подождал, когда отряд выстроится, и скомандовал: — Напра-во! Прямо шагом марш! — Уходя, глянул на хозяина и бросил сердито: — Взбунтуются — через минуту будем здесь!

Начальник колонии пошёл вслед за ними в сторону вахты. Вид у него был не бойцовский, побитый, понурый.

— Мы победили! — громко сказал Коля.

Мужики зашевелились, заговорили.

— Бляха, зуб выбили, суки! — радостно выругался один.

— Я мог бы у одного автомат выхватить! — возбуждённо, с восхищением говорил другой, помоложе. — Еле сдержался... Эх, выхватить да чесануть бы по ним!

— Чесанул бы, — возразили ему. — В ответ бы тебя чесанули... Кормил бы червей. А так синяк потёр на боку и сиди дальше...

38. Смотрящий

Столярка сгорела дотла. На другой же день приехала комиссия из Вожаеля, из управления. Стали дёргать зэков на допрос. Но придраться не к чему. Никто из мужиков от инструменталки не отлучался. Они поджечь столярку не могли. Комиссией было установлено, что её подожгли, хотя кум с хозяином упирали на то, что загорелась она от электрического замыкания. Быстро стало известно, что зэками возле инструменталки руководил Коля Волк, и его отправили в ШИЗО. Его же считали автором листовки, призывающей к неповиновению администрации. Зэки тоже думали, что написал её он.

— Ты у меня до конца срока из ШИЗО не выйдешь, сгинешь здесь! — пообещал ему зло хозяин.

Коля Волк смолчал.

Через две недели, когда он вышел из карцера, в зоне был новый хозяин. Прежнего начальника колонии куда-то перевели. О новом с восторгом рассказывал блатной, попавший в карцер перед выходом оттуда Коли.

— Новый хозяин — человек!.. Ко мне баба приехала, а разрешения на свиданку нет. Я к хозяину. Он сидит смурной, опухший. Ну, думаю, кондец, не видать мне свиданки... Он выслушал и говорит с такой тоской: похмелиться бы!.. Я ему: гражданин начальник, будет, организацию. Он оживился: гони! Три минуты сроку! Через три минуты я ему — шпок! — водяру на стол, а он из ящика два стакана тянет. Наливает мне полстакана, себе — всклень...

— Свиданку-то разрешил?

— Два дня кантовался... И никакого тебе разрешения управления... Только предупредил: тихо!.. Ещё бутылку взял, на похмелку.

— А как же ты сюда, в пердильник, попал? Он же определил?

— Не-е, кум... Говнюк поганый... — выругался блатной и вдруг засмеялся: — Я, бляха, сам обнаглел, решил, с новым хозяином мне сам кум не брат. И влетел... За дело! Я не в обиде!

Нового хозяина Коля увидел впервые на разводе. После передачи бригад надзирателями конвою Волк, стоя в строю, услышал у себя за спиной тихий насмешливый голос зэка:

— Идёт! Сейчас начнётся.

К выстроившимся бригадам быстрой походкой приближался незнакомый майор в сопровождении кума, который держался чуть позади. Хозяину было лет тридцать пять. Был он белокур, усат, с задорно вздёрнутым носом. Шёл он с серьёзным видом.

— Здравствуйте, граждане заключённые! — громко крикнул он, как полководец, останавливаясь посреди плаца перед строем бригад.

— Здорово!

— Привет, гражданин начальник!

— Пошёл бы ты! — нестройно откликнулись зэки, но все без исключения весело, с иронией. Даже ругательства были беззлобные.

— Граждане заключённые, начинается новый трудовой день. Результата вашего труда ждёт вся Россия, весь мир. Я не оговорился, именно весь мир! Ведь, как вы знаете, из брёвен, которые вы сегодня сработаете, будут изготовлены доски, добротные дома, мебель. Страна продаст древесину во все страны мира, получит валюту, на которую купит необходимое заводам оборудование! Вы должны ясно представлять себе, что труд ваш необходим государству. Но в то же время, как учили Маркс и Энгельс, труд создал человека, и я, майор Чернов, когда соглашался возглавить исправительно-трудовую колонию вместо положенного мне батальона, дал себе слово сделать из преступника нормального советского гражданина. И я своего добьюсь! Сегодня вы преступники, а завтра, благодаря моему участию в вашей судьбе, станете людьми!

Говорил он так минут десять, говорил складно, легко, быстро. Чувствовалось, что он наслаждался своей речью. Наконец с удовлетворением прокричал:

— А теперь за работу, граждане!

Он постоял на плацу вместе с кумом, проводил взглядом удаляющуюся к вахте колонну и пошёл в контору.

Каждый день на разводе он выступал перед зэками, напутствовал их. И главное, повторялся только дважды. Всегда начинал свою речь словами: “Граждане заключённые, начинается новый трудовой день!” А заканчивал: “А теперь за работу, граждане!” Каждый день он находил новую тему для речи.

Кроме этой слабости, у майора Чернова было много других. Он любил женщин, любил выпить, брал взятки со всех бригадиров, любил изящные безделушки, которые делали зэки из корней деревьев, из лосиных рогов. Был случай, когда он захватил двух зэков за выпивкой. Хозяин страшно возмутился, воскликнул яростно, указывая на начатую бутылку под кроватью:

— Берите и ко мне!!

Ясно было всем, что дело окончится карцером. Не впервые такое случается. Но оба зэка вернулись в барак через полчаса. Один из них ругался, обзывал хозяина садистом, а другой хохотал неудержимо. Они рассказали, что хозяин привёл их в свой кабинет, сел за стол, оставив их стоять посреди кабинета. Достал стакан, налил в него водки из отнятой бутылки, выпил и начал доказывать им, что пить водку должен он, майор, а не заключённые, которые должны воздерживаться от выпивки, нести наказание за совершённые преступления, терпеть, пока не станут нормальными советскими людьми. Говорил он так, пока не спеша не опорожнил бутылку. Пустую передал им, приказав выбросить в урну.

За тринадцать лет, проведённых в лагере, Коля Волк повидал не одного хозяина. Но ни одного из них не запомнил. Они его не интересовали. Он был далёк от них. А о майоре Чернове ему пришлось часто думать, изучать его привычки и использовать их для нужд ээков. Дело в том, что в это время произошло ещё одно важное событие в его жизни. Блатные что-то не поделили между собой, произошла стычка, кончившаяся увечьем. И нескольких участников драки вместе со смотрящим (пахана не было в те дни в зоне) увезли в тюрьму. Собрался сходняк зоны, в котором участвовали не только блатные, но и наиболее уважаемые мужики. Коля Волк принимал участие в нескольких общелагерных разборках и сходняках, и всегда к его мнению прислушивались. Он был старейшим ээком в лагере. Тринадцать лет отгубил. И никто не знал за ним ни одного косяка. Он не раз слышал о себе: “Волк — правильный человек!” С ним постоянно советовались не только мужики, но и блатные. За эти годы он выучил наизусть Уголовный кодекс, знал его так же хорошо, как стихотворение Пушкина “Я помню чудное мгновение...”. Научился мастерски писать жалобы заключённым. Они считали, что у него лёгкая рука. Что он ни напишет, ни попросит, то и получится. На том сходняке выбирали смотрящего, который до прихода пахана должен был выполнять его обязанности. Большинство ээков указало на Волка. Не было в то время авторитетного блатного, которому бы вся братва верила.

Коля, когда понял, по ходу сходняка, к чему дело клонится, решил отказать от этой высокой должности, но подумал, что, приняв её, он автоматически становится авторитетом в мире блатных, а взаимовыручка у них высокая, значит, они помогут отомстить его высокопоставленным врагам, и согласился.

Он перестал ходить на работу. Майор Чернов сразу же узнал о решении сходняка и вызвал Волка к себе. Встреча закончилась полюбовно. Майор получил из общака пятьсот рублей за то, что не будет вмешиваться в дела блатных, а Коля Волк обещал ему, что в зоне будет тишина и покой.

Вскоре умер Андропов, который рьяно боролся за дисциплину и порядок, пришёл к власти полуживой Черненко, и всей стране стало всё до фени. Каждый думал только о своих интересах. И в зоне стало жить легче. Подчинялись ээки только своим внутрилагерным законам, правильным понятиям, которые особенно блюл Коля Волк. Нет, он не был мягким смотрящим. Дважды за год он твёрдо давал команду: опустить! Оба раза это были блатные. Один из них подал жалобу на разборку, послал её старейшему вору в законе в далёкую сибирскую зону. Волк знал, что, если там посчитают, что он поступил несправедливо, то могут его самого опустить. Через месяц пришёл ответ: решение смотрящего правильное! Это ещё больше укрепило авторитет Коли.

Была и крупная разборка. Мужик проиграл блатному непосильную сумму в карты. Всё хотел отыграться. Возвратить деньги не мог. Не было их у него. Блатной включил счётчик. Но мужик оскорбил его. Физически он был сильнее блатного.

Карточный долг — святое дело. За невыплату обычно опускают. А этот должник нарушил все правильные понятия, и блатной требовал крови. У всех на виду, напоказ, чтоб другим неповадно было. Требовал назначить гладиатора, чтобы он ночью перерезал горло мужику. Участники разборки согласились с блатным, ждали, что скажет смотрящий. Его слово решающее. Коля всегда говорил мало на сходняках и тогда сказал кратко:

— Долг надо смыть кровью! Но не в бараке. Наедут опера. Покоя всем не будет... Надо уронить сосну. Почему на него упало дерево, братва знает, а для хозяина — несчастный случай...

И через неделю произошёл несчастный случай.

39. Племяш

Когда в бараке появился Иван Егоркин, Волк не обратил на него внимания. Одни ээки освобождаются, другие приходят на их место. Так было, так будет. Иван Егоркин был примечателен только своим ростом. Был он

худ, высок. Блатным он не был, простой мужик. Но срок большой имел, четырнадцать лет. За убийство. Вёл себя он тихо, неприметно. На шутки, которые чаще всего относились к его росту, не отвечал, видимо, давно привык к ним.

Однажды в воскресенье, тренируясь, как обычно, на плацу, Волк заметил, что Егоркин наблюдает за ним. Сидит на лавочке в одиночестве и внимательно следит за его упражнениями. Волк не обратил на это внимания. Любопытствует новенький. Привычная картина. Но в следующее воскресенье снова увидел Егоркина на лавочке. И снова он не отрывал от него глаз. Через неделю Волк уже с некоторым любопытством ждал, придёт или не придёт Иван. Пришёл, всё так же сидел, наблюдал за тренировкой Волка. Отработав положенные два часа, Коля Волк взял полотенце и, вытираясь на ходу, неторопливо направился к новенькому. Как его зовут, Волк ещё не знал. Слышал, что кликуху ему дали опять же по необычному росту: Жердь.

Подходя к нему, Волк решил проверить, знает ли он приёмы. Вероятно, знает, если так интересуется его тренировками. Егоркин глядел на него, не отворачиваясь, ждал, что будет дальше. Волк накинул полотенце на плечо и вдруг резко двинул кулаком, будто бы намереваясь ударить в лоб Егоркина. Иван мигом отклонился, не вскакивая со скамейки, перехватил руку Волка и рванул его на себя и в сторону, стараясь завалить на скамейку. Но Волк вывернулся и отскочил назад. Полотенце свалилось с его плеча на землю. Егоркин остался сидеть на месте, только зорко следил за Волком, который поднял полотенце, усмехнулся и спросил:

— Интересно?

— А вы, правда, тамбовский? — неожиданно спросил Егоркин.

— Ну да.

— Я тоже. Вы, правда, сидите ни за что? Вас оклеветали?

— Ну да.

— Я тоже. Меня оклеветали...

— Здесь все сидят ни за что. Покажи мне хоть одного, который говорит, что он сидит за дело, — усмехнулся Волк.

— Я серьёзно. Они убили моего друга, мы с ним с Афгана вместе, а показали на меня...

На это Волк ничего не ответил.

— Вы из самого Тамбова? — снова спросил Иван.

— Родом я из Ржаксы.

— Из Ржаксы? Так это же совсем рядом с Уварово! — воскликнул Иван.

— А ты из Уварово? — насторожённо спросил Волк.

— Нет. Я из Масловки, деревня такая есть за двадцать пять километров от Уварово. Она в другую сторону от Ржаксы... А в Ржаксе я ни разу не был, проезжал мимо на поезде...

Волк вздрогнул, услышав, что парень этот из Масловки. Именно в этой деревне жила его старшая сестра по отцу, Любаша Егоркина. Видел он её последний раз за год до тюрьмы. Мать просила его заехать к ней, когда он будет проезжать мимо Масловки по своим журналистским делам, узнать, как живёт дочь первой жены её мужа, отца Анохина, передать ей гостинцы. Он заезжал, познакомился со своей племянницей Варюнькой. Ей тогда было четырнадцать лет. Красавица, но капризная, кокетливая. А братишка был совсем пацанчик. Лет девять-десять.

— Зовут тебя как? — спросил Волк, садясь рядом с парнем на скамейку.

— Иван... Егоркин...

Не может быть! Егоркиных в Масловке, вероятно, полно. Не может быть, чтобы его племянник оказался здесь. Такого совпадения быть не может!

— Моё-то имя ты знаешь, надеюсь, — произнёс он, стараясь не выдавать ничем своей заинтересованности и волнения.

— Слышал... Зовут тебя все Тамбовским Волком.

— Ну да, Коля Волк. Так и зови! — Анохин боялся, что фамилия его хорошо знакома Егоркину. — Родители у тебя есть? Братья-сёстры?

— Мать и сестра.

— Старшая сестра? Зовут её как?

— Варюнька. На пять лет старше. А что? Знаком разве с ней? — быстро спросил Иван.

“Племянш! Вот где встретились!” — с болью пронеслось в голове у Волка, и он быстро ответил:

— Откуда? Я же в Воронеже учился после школы и работал там, пока не сел... Рассказывай, что у тебя произошло? Может быть, я помогу чем...

— Мне говорили здесь, что ты можешь письма писать прокурору, — проговорил как-то просительно и смущённо Иван. — А я... не могу...

— Давай, давай, рассказывай, — перебил его Волк.

Егоркин рассказал, что он жил в Москве. Жена его работала в ДЭЗе техником-смотрителем. Однажды при обходе квартир на неё напали наркоманы, пытались изнасиловать. Он защитил жену. Одному гаду руку поломал. А он оказался сыном большого московского начальника. Ивана арестовали. В камере он встретился со своим бывшим другом: воевали вместе в Афгане, вместе приехали в Москву, а там пути разошлись. Друг его за лёгкой жизнью погнался. Связался с блатными и, видно, насолил чем-то им крепко. В камере его прирезали ночью, а свалили на Егоркина как на самого беззащитного. На суде все блатные однокамерники указали на него, и он ничего не мог добиться правды. Судьи не верили ему.

— Кто на самом деле его прирезал? Имя знаешь?

— Нет... Я спал...

— А имена тех, кто в камере был, помнишь? Кликухи?

— Главным у них был Барсук. Пожилой мужик. Видно, у него и работал Роман.

— Это друг твой?

— Да. Только по команде Барсука могли прирезать. По его милости и я здесь оказался.

— А ты с ним не сталкивался?

— Так, по мелочи... в первый день в камере... Я не знал тогда воровских законов. Да и то, скорее всего, не с ним столкнулся, а с его шестёрками. Потрепал я их малость. Они вроде простили...

— Они ничего не прощают... И прокурор тебе не поможет. Ему свидетели нужны. Укажи имя настоящего убийцы, да ещё добейся, чтобы он признался, тогда ты на свободе. А это, как ты понимаешь, нереально... Я попробую узнать, кто такой Барсук. Но это, думаю, ничего тебе не даст.

— А что же мне делать? — растерянно и горько произнёс Егоркин.

— Жить.

— Здесь? — ужас читался в его глазах. — Четырнадцать лет?

— Да, здесь! Ты знаешь, сколько я здесь провёл? И ничего, жив-здоров... В мои годы ты уже будешь на свободе.

— В твои годы... — прошептал Егоркин.

— Ну да. Мне же тридцать восемь, а тебе, видно, года двадцать два. В тридцать шесть ты будешь вольной птицей...

— Тебе всего тридцать восемь? — растерянно смотрел Иван на Волка. — А я думал, не меньше пятидесяти... Неужели и я...

— Не бойся, — перебил Волк, — ты не будешь таким... Тебя, кажется, кое-чему в Афгане научили, пошли, попробуем...

С этого дня они стали тренироваться вдвоём.

Этот год был для эков малиной. Водка, анаша, курево, чифир не переводились. Чуть ли не раз в месяц к блатным приезжали на свиданку марухи. У майора больше не болела голова с похмелья. Мужики давали план, не перегружаясь, карцер пустовал. Поэтому, когда в зоне появился вор в законе и собрал сходняк, чтобы взять власть, стать паханом, блатные встретили его без энтузиазма, насторожённо. Усугублялось недоверие к нему ещё и потому, что большинству он знаком не был, коронован недавно. Но Волк встретил его радушно. Он не хотел быть паханом, не хотел короноваться в воры в законе. Достаточно слыть авторитетом, стать своим среди блатных. Этой цели он добился, и соперничать с новым паханом не хотел.

Они уединились, и Коля Волк два часа рассказывал Захару — так звали вора в законе — о делах зоны, о взаимоотношениях с хозяином. Волк узнал, что весь этот год воры в законе получали информацию из зоны о его действиях, следили за ним и деятельностью его удволетворены. Знают, что цель его жизни — месть. И готовы содействовать. Но многие воры в законе опасались, что он почувствовал вкус власти и не уступит её Захару. Такое бывало. Начнётся соперничество, которое навредит обоим.

— Мне власть не нужна. Ты знаешь мою цель. Поможешь — скажу спасибо, нет — добыюсь сам. Здесь я тебе не соперник. Но имей в виду, жизнь со мной братве понравилась. Будь терпелив, не гони коней. И к тебе привыкнут. А я помогу! Это я обещаю!

На сходянке Коля очень хорошо отозвался о Захаре, просил помогать ему во всём. Волк остался смотрящим по зоне при пахане Захаре. Жизнь пошла дальше так же мирно.

Не долго правил в стране и Черненко. Пришёл Горбачёв. И сразу страна всколыхнулась. Даже в зоне начали надеяться на перемены к лучшему.

40. Журналист

Библиотека зоны всегда получала журнал “Огонёк”. Читали его редко, больше рассматривали цветные иллюстрации. Но неожиданно в журнале пошли такие статьи о жизни страны, что оторваться от них было невозможно. Коля Волк стал с нетерпением ждать поступления нового журнала и первым читать его. Однажды он наткнулся на статью о ээках. Впервые он такую статью читал. С неё и началась для Волка перестройка. Автор статьи хотел рассказать о ээках как можно правдивее, но чувствовалось, что сам он никогда не сидел и жизнь зоны глубоко не знал. О правильных понятиях знал понаслышке. С огорчением отмечал Коля неточности и провалы в статье, и впервые за долгие годы почувствовал журналистский зуд. Как давно он написал последнюю статью! Шестнадцать лет брал в руки ручку только для того, чтобы помочь написать очередную жалобу ээку. Этот зуд не проходил, не давал покоя.

Наконец, Волк решил написать письмо в “Огонёк” в ответ на статью. Письмо получилось довольно длинным, растянутым и каким-то вялым. Коля не решил отправить его в журнал, но не выбрасывал. Он надеялся, что удовлетворил зуд этим письмом и теперь успокоится. Но нет! И письмо, и статья не выходили из головы.

Времени у него было больше чем достаточно. В карты он не играл. Только тренировался, качался да читал. На работу, как приближённый пахана, он не ходил. Голова всегда была свободна. Волк не выдержал однажды, начал переделывать письмо в очерк. Он решил написать его по законам драматургии: с завязкой, развитием действия, кульминацией и развязкой, чтобы редактор, зацепившись за первую фразу, читал дальше не только с неослабевающим интересом, но с каждым абзацем этот интерес должен был возрастать, и чтобы очерк был эмоционально насыщен и как можно более краток.

Почти каждый день Коля переписывал его заново в течение месяца, и всё казалось он ему то растянутым, то скучноватым, то язык слишком казённый, не образный, то не слишком насыщен фактами, то, наоборот, перегружен незначительными фактами. Наконец он устал, но всё же не был удовлетворён очерком. Казалось ему, что он не добился того, чего хотел. Но как улучшить дальше, не знал, силы кончились. Решил послать таким, подписал: Николай Волков, передал вольняшке, который поставлял водку в лагерь, попросил его написать на конверте свой адрес и отправить в редакцию журнала “Огонёк”. Ожидал он ответа месяца через два-три. Но три недели спустя вольняшка принёс ему письмо на имя Николая Волкова в фирменном конверте журнала.

“Отказали!” — мелькнуло в голове, когда он, чувствуя нарастающее волнение, взял конверт и сразу стал его вскрывать. Вытащил белый листок с тремя строками. Краткий текст он охватил одним взглядом. Волнение

мгновенно исчезло, восторг вспыхнул в груди, овладел им. Взяли! Обещают поставить в ближайший номер и просят присылать другие материалы!

С каким нетерпением ожидал Коля Волк очередной номер журнала “Огонёк”! Как лихорадочно просматривал содержание, когда он попадал ему в руки! И с каким огорчением не находил имени Волкова! Потом внимательно перелистывал, лихорадочно взглядываясь в страницы, думая, что, возможно, почему-то не указали его очерк в содержании. Всякое бывает. Может быть, поставили как обычный отклик на ту лагерную статью. Нет. Не было его материала.

И вот наконец-то! Распахнул очередной номер журнала, взглянул в содержание и похолодел, оцепенел, увидев два слова — Николай Волков. Ноги задрожали. Давно он так не волновался. Кажется, даже первая статья, подписанная его именем, не произвела на него такого впечатления. Давненько это было. Тогда ему шёл девятнадцатый год, а теперь начался пятый десяток. Сорок один год. Может быть, волновался он так потому, что подсознательно догадывался, что родилось новое имя в журналистике, которое вскоре станет знаменитым не только в мире пишущих, но и во всей стране.

Коля Волк проглотил очерк, охватывая взглядом целые строки, потом перечитал не торопясь, увидел, что ни словечка не выброшено из него. Ни одно предложение не отредактировано. Недаром он его столько раз переделывал, переписывал, мучился над ним, доводя до совершенства. Читался он легко. Коля принёс журнал в барак, небрежно сунул одному из блатных, который заинтересовался книгами:

— Посмотри, тут о нас написано!

Отошёл от него, лениво улёгся на нары с книгой.

Минуты через три услышал возглас блатного:

— Во, братва, мотри, даёт фраер! Прямо, как у нас побывал! Бля буду, если б надыбал его, водяры литруху поставил... Не все журналоги продажные! — громко восхищался он.

— Чо там? — заинтересовались блатные.

— Ша, прочту — дам!

Коля смотрел в книгу, но не видел строк, с бьющимся сердцем слушал восхищённые возгласы. Он был счастлив. Весь день был под этим впечатлением. Так хотелось сказать братве, которая обсуждала его очерк: “Это я! Я написал!” Но он сдержался. На другой день начал обдумывать следующий очерк из лагерной жизни. Написал он его довольно быстро, легко. Очерк нравился ему, но Коля заставил себя три дня не заглядывать в него, только думать. Потом переписал дважды и прежним путём отправил в редакцию вместе с заявлением, в котором писал, что гонорары за очерки он оставляет в пользу редакции журнала.

И этот очерк быстро напечатали. Из редакции ему переслали пакет писем-откликов на первый очерк с просьбой прокомментировать их. Писали в основном эски, писали они о своих болячках, так хорошо знакомых Волку, отвечать было легко, просто. Писал он с фактами, примерами, подробностями, всё время опираясь на статьи Уголовного кодекса. Редакция печатала его ответ в двух номерах журнала.

В “Огоньке” был раздел “Письма читателей”. В каждом номере в этом разделе мелькало имя Николая Волкова. Одни восхищались глубиной его материалов, другие — редким мастерством слова публициста, третьи — смелостью автора. Ободрённый такой поддержкой, Коля писал очерк за очерком. Однажды он получил письмо из редакции, что они физически не могут напечатать все его материалы, поэтому показали некоторые его очерки другому перестроечному еженедельнику “Московские новости”. Там согласились. Теперь он может посылать туда часть своих очерков.

Коля Волк ни разу не видел этот еженедельник, не знал о его существовании. Он выписал его, чтобы посмотреть, почитать, понять, какие материалы его интересуют. “Московские новости” оказались политической газетой. Но смелостью своей она не уступала “Огоньку”, напрямую громила партократию, критиковала власть.

Читая “Огонёк” и “Московские новости”, Коля решил, что приходят последние денёчки его врагов. Это против таких, как они, были направлены все статьи. Сердце его рвалось на свободу. Полтора года оставалось до выхода на волю! Полтора годочка! Из долгих восемнадцати лет. Страшно хотелось увидеть своими глазами падение Долгова, Сарычева, Перельгина, Климанова. Где они теперь? Что с ними? Десять лет прошло с тех пор, как он пытался бежать с Левитаном. Десять лет ничего не знал о них Коля Волк! Что случилось с ними за эти годы? Делали ли они дальше карьеру или, может быть, давно мотают срока в лагерях за свои деяния? Вряд ли! Такие при любой власти, как рыба в воде! Непотопляемы. Чем ближе к Кремлю, тем выше покровители, тем неприкасаемее они. Климанов уже тогда был в Кремле. Но и он, Волк, теперь тоже не лыком шит.

Есть авторитет в уголовном мире, знают его и в мире журналистики. И “Огонёк”, и “Московские новости” присудили ему ежегодные премии за его материалы. Просили прислать фотографии. Он отмолчался, не послал. Не пошлешь же им отсюда... Не было его портрета среди лауреатов, было только названо имя и очерки, за которые он дали премию. С грустью разглядывал он портреты известных всей стране поэтов, писателей, публицистов, которые, как и он, стали лауреатами. Его портрет тоже должен был быть рядом с ними, его обезображенное шрамами лицо тоже сейчас разглядывали бы миллионы читателей. Тираж “Огонька” — свыше трёх миллионов экземпляров.

Печально было глядеть в зеркало на шрамы. Особенно глубокий и страшный средний. Нижнее веко правого глаза из-за шрама опущено вниз, обнажает красные прожилки глазного яблока, и этот же шрам поднимает уголок верхней губы вверх, чуточку обнажая зуб. Получалось, что он всё время злое ще скалится, особенно когда пытается улыбнуться. И сед, как древний старик! Да, не красавец, далеко не красавец. А в молодости хорош был. Не замечал этого, не думал, не придавал значения. Сорок второй год отстукивает последние дни. И старость близка, а не жил ещё...

41. Свобода

В стране разворачивалась перестройка, набирала обороты гласность. Критиковались такие имена, в сторону которых раньше косо взглянуть было страшно. О правлении Брежнева писали как о времени застоя, загнивания общества. Один за другим вылетали из Кремля его соратники. О них шли разоблачительные материалы. Волк и хотел, и боялся увидеть в печати имена своих врагов в рубрике “Из зала суда”. Если разоблачатся такие неприкасаемые ранее люди, то их-то уж непременно не обойдут. Неужели никому не известна их настоящая деятельность? Такого не может быть. Но он так ни разу и не встретил в печати их имена.

Очерки и статьи Николая Волкова появлялись в московской печати не только на лагерные темы. Вступил он в литературную полемику на страницах “Книжного обозрения” и “Литературной газеты”. Читал Коля много. Особенно когда стал смотрящим и прекратил выходить в лес на работу. Времени стало много. Брал он книги и журналы в библиотеке. Каких там только литературных журналов не было! Поэтому Коля хорошо знал все новинки русской литературы. Обо всех популярных писателях Николай Волков писал с иронией, зло, насмешливо, понимал, что человеку свойственно с большим удовольствием читать о смешных сторонах другого человека.

Не было жалости в сердце Волка к тем, кого сладко кормила та власть, которая прокатилась по нему асфальтовым катком, раздробила, поломала косточки, посчитала, что уничтожила. Да, она уничтожила, сожгла Николая Анохина, но встал из пепла Николай Волков, Тамбовский Волк — ангел мести. Нет ни одной газеты в Москве, которая не ссылалась бы на его статьи, не цитировала бы их, не спорила бы с ними. Скольких газетчиков имя Волкова раздражает, как красная тряпка быка, они начинают шипеть, огрызаться, брызгать слюной! А скольким молодым журналистам имя его придаёт силы, уверенности, вдохновения.

Говорят, что последний год в лагере для эка тянется вечность. Но для Коли Волка он промелькнул быстро. Насыщен был работой за столом, чтением. Свои очерки и статьи он давно уж читал спокойно, вырезал, аккуратно складывал. Знал, что непременно кто-то попытается пнуть его, передёрнуть мысли, и нужно будет отвечать едко, зло, так, чтобы ночами корежило борзописца, так, чтобы где бы он ни появлялся, все глядели на него насмешливо, чтобы постоянно оправдывался перед знакомыми и никогда не покидало бы его чувство неполноценности. Лакеи должны дрожать!

Сколько раз представлял себе Коля Волк, как он будет покидать лагерь вольным человеком! Раньше он считал, что никому не будет нужен на воле. Выйдет отсюда, как одинокий Тамбовский Волк. Вольный. Как ветер. Ни одного адреса в кармане. Будет начинать жизнь с нуля. Главная цель — мсть! Как он будет мстить, Коля представлял по-разному. Но никогда не думал, что будет убивать из-за угла. Нет! Они должны знать, от чьей руки умирают. Должны содрогнуться перед смертью. И должны страдать! Хоть маленькую долю его страданий они должны ощутить на себе.

По-разному рисовал в своём воображении мсть Николай Анохин, Коля Тамбовский Волк, Николай Волков. По-разному! Но завершалась в его мечтах она всегда одинаково — смертью врагов. Только кровь окупит его страдания! Смерть, заслуженная смерть!

Покинул Коля Волк лагерь не так, как ожидал. Блатные устроили ему проводы с застольем, с тостами. Стол накрыли так, что Коля и на воле ни разу не видел его таким. Пили за него, пили за смерть его врагов. Клялись в вечной дружбе. Он пил нарзан. Все знали, что он поклялся выпить в первый раз на могиле первого уничтоженного им врага. Блатные обнаглели до того, что пригласили на проводы хозяина. И Чернов пришёл. Был он теперь подполковником. Постарел, опустился. Лицо обрюзгло. Произнёс только один тост, держа в руках гранёный стакан, доверху наполненный коньяком.

— Чтoб я тебя больше никогда не видал! — произнёс он, одним махом вылил в своё горло коньяк, взял бутерброд и вышел из барака.

С Иваном Егоркиным Коля поговорил ещё до этих проводов, твёрдо обещал, что не пройдёт и полгода, как тот будет на свободе с полным оправданием, пообещал, что им ещё долго работать вместе на воле, в Москве.

Провожали Колю до вахты, обнимали. Все карманы его были набиты московскими адресами. Везде его ждали. В блатном мире о нём легенды ходили. Вновь прибывшие в лагерь блатные знакомились с ним уважительно, чуть ли не с подобострастием. Они рассказывали, какие байки ходят о нём на воле. Будто бы он кума из окна барака выкинул, когда был смотрящим. Не было такого! Просто Волк однажды схватил за грудки одной рукой зря разбушевавшегося кума, поднял над полом, потряхнул раза два, поставил на пол и сказал спокойно:

— Не шуми зря! Тут тихо!..

Ходили слухи, будто бы сидел он за то, что, когда однажды менты окружили малину, он один взял на себя целый взвод ментов, двух из них уложил кулаком насмерть. Пока с ним возились менты, вся братва ушла. А его раненого скрутили, и за это он сидит восемнадцать лет. Поговаривали, что он людоед, трижды из лагеря бежал. Два раза в одиночку, а один раз с Левитаном. Вместе с Левитаном они и сожрали человека, кабана. Брала его менты в побеге только тогда, когда он падал без сознания от голода. Говорили, что он с голыми руками один на один на медведя ходил. Хоть и поддрал его здорово медведь, но всё же он придушил зверя. Много говорилось о нём. Ждали его в Москве. Там нужны были бесстрашные люди. Время пошло интересное.

Давно приглашали его в Москву и многочисленные редакции газет и журналов, где он печатался. В литературном мире о нём тоже слагали байки. Две вещи не могли понять столичные журналисты. Какая сила держит такой талантище в тайге, вдали от кипящей страстями столицы? И почему Волков отказывается от гонораров? Только на одни гонорары любой из них давно бы уже стал состоятельным человеком. Что же за тип этот Волков?

Поговаривали, что это псевдоним известного писателя. Называли разные имена. Удивлялись, зачем нужно скрываться от такой бешеной славы. Пытались объяснить тем, что этот человек был обласкан Брежневым, увенчан им, а теперь, мол, он прозрел, и неудобно ему перечёркивать прежнюю славленную жизнь. Но Волков вдруг едко, очень едко прошёлся по творениям того писателя, которого прочили на его место. Нет, значит, не он! Конечно, писатель мог раскритиковать сам свои прежние романы, но не с таким же убийственным сарказмом, не так ядовито!..

Почему Волков не показывается в Москве, и не слишком ли он плодит для одного человека? Не группа ли писателей стоит за ним? Волков — человек-загадка!

Однажды, было это за месяц до освобождения, в “Правде”, центральном коммунистическом органе, напечатали статью-расследование под названием: “Волков — мистификация!” “Правда” направила своего корреспондента в таёжную деревушку, куда направлялись письма из редакций на имя Волкова. Корреспондент не нашёл там ни одного человека с такой фамилией. О Николае Волкове там никто никогда не слышал. Более того, почтальон утверждала, что никогда сюда не приходили письма Николаю Волкову. В таёжной деревушке, насчитывающей двадцать два двора, жили охотники-промысловики да вольнонаёмные рабочие из obsługi исправительно-трудовой колонии, расположенной неподалёку. В основном в деревушке жили бывшие ээки.

Появилась новая легенда. Мол, под именем Волкова скрывается бывший политический заключённый, который не пожелал вернуться в цивилизованный мир, либо современный диссидент.

Опять вопросы! Зачем диссиденту скрывать своё имя? Все они обычно чрезвычайно тщеславны. Даже если как личности они ничем не примечательны, пусты, ничего не значат, и всё их диссидентство заключалось в том, что они вышли на Пушкинскую площадь и подержали пять минут самодельный плакатик с невинным лозунгом, после чего их сразу арестовали, то всё же теперь они ежедневно пыжились на экране телевизора, мелькали всюду, давали интервью, доказывали, что это они сыграли выдающуюся роль в приближении гласности и перестройки, писали статейки, которые редактора переписывали заново, чтобы скрыть безграмотность автора и вложить в них хотя бы полторы мыслишки. Зачем же тогда действительно талантливому диссиденту скрывать свое имя? Но бывшие диссиденты всё же пытались утверждать: это наш, наш! Увидите, он не выдержит, не усидит в тайге, появится.

И он появился!

ЭВЕЛИНА АЗАЕВА



УСТАЛОСТЬ МЕТАЛЛА

РАССКАЗ

...на меня, бедная, пеняет, говоря: "Долго ли муки сея, протопоп, будет?" И я говорю: "Марковна, до саямыя смерти!" Она же, вздохня, отвечала: "Добро, Петровичь, ино еще побредем.

*"Житие протопопа Аввакума",
памятник русской литературы
XVII века*

Рядом с домом, где проживает журналистка Лидия Сиверцева, — богатый район. С особняками за несколько миллионов. В Канаде всё именно так — район бедный, район средний, район миллионерский. Все рядом, мирно сосуществуют. Друг с другом не смешиваются, но и не враждуют.

В России если простых людей поселить бок о бой с буржуями, возникнет недоумение и желание расследовать: а каким таким непосильным трудом нажиты палаты каменные? Потому элитные посёлки строятся вдалеке.

АЗАЕВА Эвелина Шамильевна родилась в 1970 году в Алма-Ате, окончила журфак Казахстанского государственного университета. С 1991 года жила в Новосибирске. Работала собкором "Комсомольской правды" в Сибири. С 1998 года живёт в Канаде. 14 лет издавала газету "Комсомольская правда в Канаде". Является корреспондентом "Комсомольской правды" в этой стране. С 2018 года издаёт газету на английском языке. Автор двух сборников рассказов, вышедших в Канаде, — "А хочешь в Канаду?" и "Полное накрытие". Печаталась в журналах "Нева", "Аврора", "Огни Кузбасса", "Крым", "Байкал". Дипломант 1 степени литературного конкурса "Мгинские мосты" (Санкт-Петербург 2021). Член Новосибирского отделения Союза писателей России.

В Канаде этого вопроса ни у кого не возникает. Всяк сверчок знает свой шесток. Капитализм в стране не прерывался, и народ, восставший было в 1918-1919 годах, после российской революции и затребовавший себе немало разных прав по примеру русских рабочих, и получивший некоторые (но уже не помнящий благодаря кому и чему), давно свыкся с тем, что есть он, народ, и есть какие-то малые проценты тех, кто в минуту получает столько, сколько простой человек в два года.

Богатые канадцев не раздражают. И есть в этом смиреннии некая обречённость. Дескать, кто мы и кто они? Они всегда были, есть и будут. И всё, что нам остаётся, — тянуться за ними.

К этому призывает и телевидение со своим культом успеха. Дескать, крутись, инвестируй, вкладывай туда и сюда, и тебе тоже будет счастье.

Люди инвестируют. Те, у кого есть деньги. И действительно получают прибыль. Но до настоящих буржуев им далеко. Там дело тёмное — какие были инвестиции. И были ли вообще. Те секреты — как делаются многомиллионные, миллиардные состояния — никто со страниц газеты не откроет. А потому рядовому гражданину, жаждущему роскоши, остаётся читать книжки, написанные такими же, как он, небогатыми авторами, про “поверь в себя”.

Сиверцева едет мимо богатого района и вспоминает, как она однажды решила свозить туда тётю, приехавшую из Томска. Хотела показать ей дворцы. Но вскоре им на хвост пристроилась машина, потребовали остановиться. Вежливо спросили, что им тут надо. Поездить не запретили, но уже расхотелось. Получилось, будто она заехала на бал чужой жизни, и её вежливо спросили, какого чёрта...

А ведь это обычная городская улица. И никаких писаных правил, что по ней нельзя ездить, — нет.

И Лида, которая в конфликте красных и белых всегда была за белых, вдруг подумала по-пролетарски, глядя на все эти башенки и кованые ворота с золотыми листьями: “Да чтоб вы сдохли! Недобитки”.

Была ли это зависть? Нет. Это была обида трудящегося. Она, Лида, окончила университет и много работает. Честно, с душой. И если на её улицу забредёт бомж, она не будет выяснять, что он тут делает. Он имеет право идти по этой улице и дышать этим же воздухом. А тут надо же, она отравила богатеям воздух выхлопом от своего “Шевроле”. Они боятся, что она им... что? Взорвёт? Нагадит на парковке?

— Поехали, поехали, — трясла за плечо тётя. Она испугалась охранников.

Лида уехала, но настроение было испорчено, и она думала по дороге о том, что в СССР тоже была знать, но жила она на тех же улицах, что и все люди. Да, в центре города. Но там жили и рядовые граждане... Знать ходила с ними по одним тротуарам. Квартиры её были побогаче (но не в разы, как сейчас!), а улицы и воздух у неё с народом были общие. И никто не пристраивался в хвост, если ты шла, например, мимо Дома на набережной. А если кто из руководителей слишком возносился, его пропесочивали в парткомах и в фельетонах. Не задирай нос перед народом! И генсеки, когда их спрашивали о любимом блюде, традиционно говорили про жареную картошку, гречку и борщ. Чтобы народ видел, что они не оторвались.

Как всё изменилось потом!.. Ельцин был первым, кто ответил, что любит суши. Лида тогда, в 90-е, питаясь в основном макаронами и хеком, думала: что за суши такое? Хоть бы кто вокруг сказал, да никто, как и она, не знает.

Лида ещё на втором курсе заочного журфака, в восемнадцать лет получила урок на эту тему — как от народа не отрываться. Хайрулла Касымович Ахметжанов, первый редактор, рослый, широкоплечий, красивый казах, добрый и справедливый, вызвал как-то с вопросом, почему она не ответила на письмо чабана.

— Вот, жалоба пришла, что не ответил ему политический отдел газеты.

— Ой, — закатила глаза юная творческая интеллигенция, — дурак какой-то... Что попало написал... Там не на что отвечать.

— Это что ещё? — вскипел Хайрулла. — За каждым письмом — человек! Если он написал в газету, — значит, доведён! Значит, чиновники отпнули, и только на журналистов надежда! А красиво написать не может, так он животновод, он и не обязан! Ты должна разобраться и написать красиво! Если есть о чём. А нет — так ответить ему. И ласково! Потому что он в тебя верит!

Лида запомнила урок на всю жизнь. И никогда больше не оставляла писем без ответа. Даже когда переехала в Канаду, поселилась в Монреале и открыла газету на русском языке, и время уже стоило денег, она отвечала и на письма, и на телефонные звонки. И выслушивала порой по часу-полтора, и утешала. Потому что “за каждым письмом — человек!”

— Ты знаешь, что в районе, где богатые, проживает сын Сихулашвили? — сказал знакомый рекламный агент и устроитель массовых мероприятий Исаак Лернер. Через месяц у него в русском районе Монреаля будет проходить фестиваль “Русский самовар 2005”. Он его каждый год устраивает, собирает спонсоров, приглашает артистов из России и сейчас через неё, Лиду, хочет познакомиться с семьёй Сихулашвили.

— Сделай с ним интервью, заодно Расскажи о нашем фестивале, — просит Лернер. — Может, отец приедет, выступит.

Лида обещает. Сихулашвили — известный грузинский танцор. Любимец советского народа. При его появлении на лицах расцветают улыбки.

Страна распалась, и Грузия повела себя неожиданным образом. Стоило Москве ослабнуть, как бывшая братская республика бросилась в объятия более сильной державы. Да ладно бы только бросилась, но она постоянно лягала Россию, плевала в её сторону, будто ничего хорошего меж ними и не было. А ведь не просто было! Было такое прошлое, что нигде и никогда Грузии больше такого времени, таких даров — материальных и духовных — не взять...

Ах, как любили грузин в СССР! Лида читала, что однажды провели опрос на тему, какая нация в стране самая популярная. Вышло, что грузины. Они были, как любимый ребёнок. Красивый, благородный, вспыльчивый. Этот ребёнок говорил с милым русскому сердцу акцентом. Он проповедовал красивые истины: что старых надо уважать, женщину — боготворить, и надо быть верным в дружбе...

Русские верили, что грузины именно таковы. Радостно вскрикивали вслед за ними: “Генацвале!” — и, не зная грузинских слов, насвистывали мелодию “чито-грито”. И признавали Пиросмани художником — чего не сделаешь ради дружбы? И даже прощали грузинам фильмы студии “Грузия-фильм” — беспощадные по бессмысленности.

Москва выискивала в Грузии таланты и делала из них звёзд. Где был бы Сихулашвили, если бы не Москва? В лучшем случае, в тбилисском театре. А может быть, плясал на деревенских свадьбах. Москва же сделала из него мегазвезду. Его снимали в фильмах, он ездил с концертами по всей стране. И везде его качали на руках, пели дифирамбы, кормили-поили бесплатно, вручали дары...

Так он провёл жизнь. Сегодня это лысый старик с редкими зубами.

Лида, как и все зрители, думала, что он такой же добрый, как в кино. И была уверена, что это политики вбивают клин между народами, а на самом деле не может быть, чтобы грузины стали против русских, чтобы не помнили, как вместе воевали и как богато, изобильно жила Грузия в советское время. Она с мамой приезжала в Грузию по турпутёвке в 1980 году, и обе были удивлены тем, что простые люди обитают в двухэтажных домах, похожих на дворцы культуры. У них в Томске жили куда беднее. Частные дома — одноэтажные. И полки магазинов не ломались от изобилия. Не голодали, разумеется, но и не роскошествовали, как в тёплых республиках.

Хотя чему удивляться, думала Лида, повзрослев. Ещё Монтегкё говорил, что империя — как дерево. Если ветви слишком разрастаются, они отнимают жизненные силы у ствола. Вот и в СССР советская власть с самого начала “поднимала окраины”, сышала туда много и лучшее. Обездоливая центр. Чтобы были верны. Чтобы подтянулись до уровня России во всём.

И так с тех пор и продолжала Россия сыпать... В Грузии было самое большое по Союзу количество машин на душу населения. Москва понастроила там курортов, обеспечив местное население лёгкими деньгами.

А вон что получилось... Сожрано и забыто.

Лида верила, что Сихулашвили, конечно, скучает по СССР, где у него была прекрасная творческая жизнь, что благодарен русским. Ведь как не любить народ, который тебе рукоплещет, который до сих пор принимает тебя с распростёртыми объятиями, несмотря ни на какие политические заявления Тбилиси?

* * *

Исаак снабдил Лиду телефоном сына Сихулашвили, и она договорилась с ним об интервью. Точнее, Шота передал трубку какой-то женщине, видимо, жене, и та, внимательно выслушав Лиду, узнав, что Сиверцева является корреспондентом популярной российской газеты в Канаде, благосклонно согласилась принять её в своём доме.

Дом оказалась в том самом богатом районе. Когда Лида пришла, велись строительные работы. Рабочие мостили камнем пространство перед дворцом, а около них стоял в спортивном костюме Шота Сихулашвили. Надсматривал.

Это был высокого роста и средней комплекции мужчина лет двадцати семи. С хорошей фигурой, безвольным лицом и ярко-синими “зенками” на нём. Так Лида про себя называла глаза, которые ничего не выражают. Просто смотрят. Приборы виденья.

Шота с журналисткой поднялись по широкой витой лестнице наверх.

— Познакомьтесь с Соней, — предложил мужчина.

Лида вошла в комнату с высокими, или, как называют их в Канаде, кафельными потолками. Потолки украшены панно — как в Эрмитаже. Под ними — золотая лепнина. Пол — мозаика из паркетных досок. Такое Лида тоже видела в Эрмитаже.

Никакой мебели в помещении не было, кроме трёх кресел у окна и столика. Одно кресло занимала полная маленькая женщина с невнятной причёской. На лице — ни грамма макияжа. Притом, что женщина не из красавиц. Одугловатое лицо, большие, смотрящие пристально, остановившиеся глаза. Стёртые брови, малозаметные ресницы. Усики над верхней губой. Рядом с ней Шота смотрелся, как витязь в тигровой шкуре рядом с этой самой шкурой. Но лицо у “шкуры”, в отличие от него, было волевое.

— Софья Владимировна, — представилась женщина, которой на вид было лет тридцать пять.

В Канаде нет отчества. И русские тоже их не используют в разговоре. Поэтому представление себя по имени-отчеству означало, что собеседница требует особого к себе уважения. Лида догадалась, что хозяйка дворца — Соня. Шота суетился вокруг неё. Он даже не начинал говорить, пока она разглядывала Лиду. Курила и смотрела на журналистку оценивающим взглядом. Потом кивком разрешила приступить к интервью.

И из Шоты полилось... В рассказе о его детстве выяснилось, что он не рос с золотой ложкой во рту, не был мажором, а терпел невероятные тяготы русской оккупации. Что папе и маме приходилось в поте лица трудиться, чтобы купить кусок сливочного масла. Что грузин притесняли, не давали им пробиться...

— Да что вы такое говорите? — возмутилась Лида. — А Думбадзе? Дanelия? Брегвадзе, Гвердцители, Бокерия? Да Сталин в конце концов? Где ещё, какой страной мира руководил грузин? Это как так вас притесняли, если министром иностранных дел назначили Шеварднадзе?

Шота продолжал бухтеть. Он не смотрел на Лиду, а как заведённый повторял то, что, видимо, давно заучил. Сообщил, что всегда мечтал стать лётчиком, но еле поступил в Московский авиационный институт, его не хотели принимать, и конечно, из-за национальности. Но отец подключил связи, и приняли. А потом преподаватели его ненавидели, и в итоге отчислили, как

будто бы за неуспеваемость и пропуски занятий, а на самом деле из великорусского шовинизма. И вот так в России везде — издевательство над нацкадрами, затирание их в угол, резюмировал Шота.

При этом оказалось, что со школьным образованием он успел полгода поработать в российском министерстве торговли, потом год — в крупной российской энергетической компании. С тех пор он больше не работал, так как искал себя. И сейчас не работает, поскольку “помогает жене контролировать стройку”. Шота очень рад, что СССР распался, и он смог свободно выехать в Канаду, найти там свою любовь и жениться. А Россия — да провалилась она пропадом!..

Он сказал просто:

— Её дни сочтены.

Лида была поражена открытием: получается, это было в семье Сихулашвили всегда. С его, Шоты, детства. Пламенная русофобия. Дети высказывают то, что скрывают родители. И никто, никто в России не знает, что у народного артиста СССР в доме такие настроения...

— Но разве Грузия не жила богаче России в советское время? — спросила.

— Вы ленивый народ, — ответил безработный Шота. — Не любите трудиться и не умеете. Потому вы бедные...

— А вы кем сейчас работаете?

— Жене по стройке помогаю.

Лида молчала. В голове всплывали картинки советского прошлого: как мужчины в больших кепках продают у метро зимой гвоздики. По бешеной цене. И мандарины. Продают уставшим людям, наломавшим спины на заводах и фабриках, возвращающимся из НИИ и университетов. Вспомнились и криминальные хроники девяностых: об этнических группировках квартирных воров, об оргпреступности, ворах-барсеточниках...

Если она вывалит сейчас всё это, будет скандал. Но должен же кто-то остановить витязя в ослиной шкуре?

Она взглянула на Софью Владимировну. Та ответила взором, полным неприязненного любопытства. Она была в разы умнее своего спутника жизни и не принадлежала ни к большому народу, от которого в минуту беды почти все бежали, ни к малому, предъявляющему претензии. Ей наплевать на оба.

Соне было забавно видеть, как журналистка глаза-то выпучила. А чего, спрашивается, хотела? Похвал Рашке, глупых мантр про дружбу народов? Дура. И все они болваны там, в России... Не умеют распорядиться деньгами и человеческим ресурсом. Вот она, Соня, Шоту использует по назначению. Он, конечно, недалёк. Но она его не для финансовых операций нанимала. А он именно нанят — спит с ней за канадский паспорт. И не просто спит, а слова ласковые на ушко шепчет...

Он, может быть, думает, что после того, как получит документы, сбежит. Но не тут-то было. Соня, помогая ему заполнить анкеты на иммиграцию, так как сам он английского не знает, в некоторых местах наврала. Потому, что Канада лишает людей гражданства в одном-единственном случае — когда они обманули при получении вида на жительство. Канадцы этой малой лжи сейчас не раскроют. Но в будущем Соня всегда сможет держать Шоту в своих пухлых ручках. Попробуешь сбежать — и я расскажу властям, что ты соврал в анкетах.

Подло, вы считаете? Нет. Предусмотрительно.

Софья познакомилась с Шотой во время гастролей его отца в Монреале. Парень ей сразу приглянулся — не красавец, но глаза васильковой голубизны, и голубиный взгляд — кроткий. А главное — фигура хорошая. Для неё — подарок. Софья отдавала себе отчёт в том, что она не красавица. Женщина не могла найти себе пару и по другой причине — своего богатства. Мужчины, увидев её красный “Феррари” или побывав в строящемся замке, сразу говорили: “Какая ты красивая! Как я тебя люблю!” — и она устала от этого. Среди русскоязычных эмигрантов равного себе по состоянию, да ещё такого, чтобы нравился, она не видела. Канадцы на неё не обращали

внимания. Спать с пронырливыми мужчинами, обладающими канадской паспортиной, вообще опасно: такие могли оттяпать часть имущества. По канадским законам, пожилы некоторое время под одной крышей, так уж, считай, семья, и сожитель — даже не муж — может претендовать на половину. Поэтому подвернувшийся под руку Шота был подарком судьбы. Вида на жительство у него нет, полностью в её руках. Захочет Соня — сделает ему канадскую паспортину, захочет — в любой момент позвонит в министерство иммиграции, скажет, что он женился для получения вида на жительство, и его в два счёта депортируют.

И он тоже это знает. Отрабатывает. Никогда Соня не просыпалась такой счастливой на такой заросшей волосами, мужественной груди. Шота не лез не в своё дело — не расспрашивал о финансовых делах, а готовил блюда грузинской кухни, варил кофе, присматривал за рабочими и устраивал небо в алмазах по ночам. Он был всегда готов, и это при её насыщенном графике являлось просто спасением. Иногда она приезжала домой на полчаса, злая оттого, что в бизнесе что-то шло не по плану, а возвращалась на работу отдохнувшая, посвежевшая. И уверенная в себе.

Дураки вы все, думала она, затыгиваясь сигаретой и поглядывая на журналистку. Людям надо использовать по назначению. Ты же не прикуриваешь от гвоздя? Одни созданы для труда, другие — для секса, третьи — для того, чтобы руководить. Надо понять, кто для чего, и не нарушать инструкцию к применению.

А русские нарушили. Хотели всех осчастливить. Но как, как ты можешь сделать из торговца на рынке учёного или шахтёра? Кремлёвские мечтатели! Заставили дехкан на пианино играть, ещё и спасибо ждут. А надо уметь читать инструкцию к применению. Она у каждого человека на лбу написана. Как и у каждого народа.

В современном мире такие мнения, как у Сони, считаются фашизмом, но поскольку книг она не читала, как и газет (кроме статей о финансах), то она не знала о себе этого любопытного факта. Скажи ей, что на воротах немецкого концлагеря было написано то же, что у неё в голове: “Каждому — своё”, — она бы искренне удивилась.

Тем временем разговор её супруга с журналисткой уже превратился в перепалку. Он ругал Россию, она — защищала. Дошли до вопроса о Чечне. Шота говорил, что Москва — оккупант, что правильно Грузия боевиков лечила и ютила у себя.

— И Басаев был прав, когда захватил школу в Беслане? — спросила Лида.

“Хех, вот куриная голова, — усмехнулась Соня. — Думает, задала прямо опупенный вопрос, и Шота сейчас пойдёт на попятную”.

— Да, прав. А что ещё ему оставалось делать? — спросил Шота. — Вы оккупировали Чечню, вы убивали мирное население.

— Дети погибли!

— Это Путин виноват.

Журналистка молчала. Она не знала, что ей делать: встать и уйти прямо сейчас? Она так требовательно посмотрела на Соню, что та решила вмешаться.

— Давай ты лучше расскажешь свою родословную, — предложила Шоте. — Это для интервью куда лучше будет, чем споры.

— Мои предки были князьями, — начал тот.

И вдруг журналистка ухмыльнулась.

— Почему вы смеётесь? — холодно спросил Шота. — Папа много раз говорил об этом в интервью, вы не читали?

— Нет, просто я вспомнила слова Гоголя о князьях на Кавказе. Понимаете, тут такое дело... С кем из ваших ни поговоришь, у половины предки — князья.

— Что сказал Гоголь?

Соня даже перестала курить, так стало интересно.

— Я не буду, вы обидитесь, — пошла на попятную журналистка.

— Не обидимся! Говорите! — приказала Соня.

— Он сказал: “На Кавказе всякий подлец, помывающийся двумя другими подлецами, уже именуется князем”, — произнесла Лида.

Повисла мёртвая тишина.

— Может, конечно, ему приписывают эти слова, — уронила в тишину Лида.

Она уже понимала, что интервью не состоялось. Всё превратилось в склоку. И эта усатая жаба всё время смотрела злобно. Она видела, что её невольник глуп. И видела, что это знает Лида. Соне было неприятно, что её избранник глуп в глазах другой женщины. Это означало, что она, Соня, спит с дураком.

Сначала, соглашаясь на интервью, Соня хотела посмотреть, как Шота будет вести себя с другой женщиной — не будет ли заигрывать, хотела и узнать мнение о нём умной дамы, — журналистика все-таки, интеллектуальная профессия. И вот эксперимент провалился. Шота не заигрывал с гостями, но с самого начала зарусофобил, и это было неразумно. Ведь интервью с ним могло выйти в Москве. Непонятно пока — зачем, но могло бы понадобиться. Соня знала, что иногда нужно делать что-то, что не несёт явной прибыли, но может сыграть на неё в будущем.

Журналистку можно было прикормить, приручить, но Шота поволок не в ту сторону, и гостя время от времени взглядывала на Соно с недоумением. Мол, как ты терпишь *это* возле себя?

Как-как... Тебе хорошо, ты стройная, блондинка, думала Соня. А у меня волосы по всему телу. Вплоть до лица. Светлые, издалека не видно, а вблизи заметно. А мужчины — они вблизи. И приходится всю жизнь делать эпиляцию рук и ног — аж до самого не хочу. И по бокам лица... И эта эпиляция всё равно видна, если мужчина близко. И фигуру не сохранишь — работа сидячая, из офиса в машину, из машины в офис. Благосостояние — оно вот таким упорным сидением в кресле делается. Мозг и железная задница — залог успеха.

Однако, как ни странно, журналистка вдруг сделала вид, что не обиделась. Она тепло попрощалась, разулыбалась и сказала, что принесёт готовое интервью на одобрение через два дня.

Соня с интересом на неё взглянула. Хм... Ну ладно, посмотрим.

Она подала журналистке руку, а на Шоту даже не взглянула. Он ещё своё получит.

Через два дня Лида стояла у высоких, кованых, в завитушках ворот. На них даже светился вензель “SK” — Софья Кишинёвская.

Лида позвонила заранее, и теперь Шота бежал к воротам открывать. Они поздоровались весело, как друзья. В Шоте хорошо то, что он незлопамятен. У него всю жизнь, как сетовали родители, в одно ухо влетало, в другое вылетало. И в этом его счастье. В том, что не заморачивался. Потому что если бы заморачивался, не смог бы жить с Соней.

Лида вошла в комнату и сразу отдала распечатанное интервью хозяйке дома. В России она не заверяла ни у кого интервью, разве что если брала его у представителя ФСБ. А тут, в Канаде, где журналист постоянно находится под угрозой судебных исков, лучше материал дать на подпись.

Однако на этот раз она знала, что интервью не одобряют. Потому что Лида написала всё как есть. Как было. Все свои вопросы и все его ответы. И если в разговоре всё смотрелось просто нехорошо, то на бумаге это была катастрофа. После такого интервью артиста Сихулашвили возненавидела бы вся Россия. Тайное стало бы явным.

Соня читала и хмурилась. Потом, дойдя до конца, подняла лицо. Оно было растерянным и гневным.

— Н-н-нет! — выдохнула. — Мы не даём разрешения это печатать!

Шота взял листок и пробежал по нему глазами.

— Я не согласен!

— Ну, вы же всё это сказали.

— И что? А печатать — не согласен.

— Ну и ладно, — улыбнулась Лида.

Она оставила на столе листки и ушла. Шагала к машине и думала, что впервые в своей жизни писала всего для двух людей. Не для миллионов российских читателей, а для этой парочки: некрасивой женщины и её альфонса. Для сына неблагодарного танцора. Для глушца, который кусает дающую руку.

Лида создавала зеркало, в которое эти двое могли бы посмотреться.

Да, она потеряла впустую время. Не получит оплаты. Но иногда, чтобы люди хоть что-то о себе поняли, нужно не сказать им, что они неправы, а просто записать их прямую речь и подсунуть под нос.

Матерное слово вслух и в точности такое же, но в газете выглядят по-разному. “Русские — лентяи”, сказанное сгоряча на пьянке и сказанное в газете — совсем разные вещи. Особенно, если в газете указать, что производит это мужчина, работающий резиновой куклой.

“Боевики были правы, когда взяли в заложники детей” выглядит поганно и вслух, но в газете — это атомный взрыв. Причем в какой бы стране ни вышло. Даже в Канаде, где боевиков в 90-е называли мягко “повстанцами” (rebels) и “борцами за свободу” (freedom fighters), такое невозможно напечатать.

Лида вышла за кованные ворота и подумала, что сейчас хозяйка дворца вспылит Шоте по пятое число. А потом он искупит вину в постели, и Софья Владимировна улетит на седьмое небо. Где и положено быть таким богатым женщинам хоть иногда. Ведь рискует Соня, где-то ворует и кого-то намахивая. Не верилось, что такие состояния приобретаются честным путём. Тем более эмигрантами.

Через несколько лет танцор Сихулашвили расчехлился. Такое па выкинул, что его возненавидела вся Россия. Старик подумал, что денег он накопил, недвижимости накушил, и более ему ничего от Москвы не надо. Ан, потом оказалось, что надо, и он предпринял было несколько попыток оправдаться, да не был прощён. И тогда танцор через российские газеты послал россиянам несколько проклятий. И ответно был проклят навек.

Потом Лида надолго забыла о Грузии и её жителях. В Канаде они ей не встречались. Был момент в 2008 году, когда её газета в российско-грузинском конфликте заняла пророссийскую позицию, ей вдруг начала звонить незнакомая женщина и с сильным акцентом ругаться: “Вы все алкоголики и проститутки! Как вы смеее оправдывать российскую агрессию”?

— А ничего, что мы русская газета? — спросила Лида.

Эк привыкли... В 90-е годы российские “демократические” газеты всегда выступали на стороне всех, кто против русских. И, видимо, “все” к этому привыкли. Самое страшное было в Чеченскую войну, когда московские СМИ, в ту пору сплошь либеральные, давали репортажи с мест мясорубки. Армию своей страны холодно называли “федералы”, саму Россию — “эта страна”, а террористов — бородатых дядек, отрубающих головы девятнадцатилетним солдатам, — исподволь превозносили. Интервью брали у наёмников из Саудовской Аравии. Из интервью следовало, что русский народ должен быть за саудитов и спонсируемые ими отряды. Ежели он умён и честен. А коли дурак, то пусть переживает за “федералов”. Но тогда он будет нерукопожатен...

Русский и чеченский народы теряли свою молодёжь, детей, а сильный алкаш пил, и его подручный олигарх открыто финансировал бандформирования, на глазах у всей страны передавая чемоданы налички прямо перед телекамерами якобы для выкупа солдат. Пишущая “демократическая” братия бесновалась в восторге от происходящего. Одна из таких бесновашек, журналистка, прославлявшая боевиков, однажды попала к ним в плен, была изнасилована, подвешена за руки и за ноги умирать, и только случай в виде ненавистных “федералов” спас её.

Женщина продолжала звонить Лиде в газету, склонять редактора, и Лида бросала трубку. Она тем не менее не перестала покупать хачапури в грузинском ресторане “Колхида” в пригороде Монреаля. Думала, что не все же такие безумцы, как звонившая или Шота? Нельзя винить весь народ во взглядах отдельных личностей. Есть ведь и хорошие грузины.

Но было странно, что после перестройки из Грузии не доносилось народного голоса. Что мы, де, против своих политиков, хотим дружбы с Россией, помним всё хорошее. Вы, мол, нашего Мишико не слушайте... Никогда нигде Лида Сиверцева не встречала грузинской ностальгии по СССР. Из Средней Азии такие голоса доносились постоянно, в Молдавии несли самую большую Георгиевскую ленту. А из Грузии ничего не было...

Однако Лида верила, что народ не виноват. Напоминала себе: вон полководец Багратион, умирая, говорил детям: “Помните, вы русские!” А Сталин? Пил за русский народ, восхищался им. Сражался за СССР на международной арене. Бил внутреннего врага. Много можно рассуждать о репрессиях, но факт остаётся фактом — Иосиф Джугашвили был лидером русского народа в самое трудное время, победил вместе с ним в войне и оставил ему право вето, помогающее России до сих пор, атомную бомбу, спасающую Россию по сей день, и поднятое после гражданской войны, а потом и после Великой Отечественной народное хозяйство. В “сталинках” народ до сих пор живёт. А “хрущёвки” сносят.

А Яков Джугашвили? А боевой лётчик Василий Сталин? Не спрятанные и не спрятавшиеся дети честного отца. Значит, не все такие, как Шота.

Вскоре в офисе редакции появился молодой человек красоты необыкновенной. Лицо — глаз не оторвать. Маговая, чистая кожа, прямой нос, большие тёмные, газельи глаза, мужественная недобритость идеально слепого небесным скульптором лица.

Лицо назвалось Тенгизом. Он сказал, что ему посоветовали обратиться к ней, к Лиде, с его огромной проблемой.

Лида слушала проблему и любовалась. Вот откуда, оказывается, взялось слово “ненаглядная красота”. Действительно, глаз не отвести.

Он о своей неотразимости знал и, как выяснилось, страдал от неё. Речь Тенгиза была бурной, эмоциональной, с сильным акцентом и активной жестуляцией.

— Понимаете, я красивый. Я не хвастаюсь, просто знаю...

— Не стесняйтесь. Это очевидно.

— Так вот, я постоянно влипаю в ситуации! Ещё в армии было, нас везли из одного города в другой, и мы спали на вокзале. Я вдруг проснулся и вижу, что на меня какой-то мужчина смотрит. “Ты, говорит, такой красивый, просто картина”. И тут нет никакого гомосексуализма. Просто вот так всегда все люди, любого пола на меня реагировали.

— Верю.

— Я приехал в Канаду по рабочей визе с другими ребятами-грузинами. Подал документы на получение вида на жительство. И понеслось. Тут какое-то общество бешеных одиноких женщин! Они рвут меня на куски! Они угрожают депортировать, если не пересплю!

Лида едва сдерживалась, чтобы не засмеяться. Тенгиз хмурил брови, очи сверкали негодованием, он возносил руки к небу, словно прося у него защиты. И это были идеальные мужские руки, как у статуи Давида.

Далее он поведал такую историю. Однажды на свою беду он повстречал пятнадцатилетнюю распутницу. Девочку с формами, как у взрослой, и она не стесняла себя ни в чём. По его словам, она буквально влезла на него, как коала на дерево, а он не мог сопротивляться, поскольку её феромоны лишили его сил.

Тенгиз и лихая несовершеннолетняя Илона Ласкина любили друг друга самозабвенно — в парках, в мотелях, в лифтах и т. д. А потом Тенгиз снял квартиру в том же многоквартирном доме, где жила Илона, и она утром вместо того, чтобы идти в школу, спускалась этажом ниже и проходила другую школу.

Так они неистовствовали полгода, пока обман не раскрылся. Мама Илоны пришла предъявлять Тенгизу претензии и пугать заявлением в полицию. Однако его виноватое прекрасное лицо произвело на сорокалетнюю маму такое воздействие, что она решила не заявлять в полицию, а вовсе даже наоборот — стала отправлять дочь в школу, а сама заявлялась к Тенгизу с тарелкой пирожков и в пеньюаре.

— Вот, принесла домашнего, — говорила она, смело проходя в квартиру и усаживаясь на диван. Закидывала ногу на ногу и призывно смотрела.

Тенгиз понял, что выхода нет, обидеть женщину — значит попасть в руки полиции за соращение несовершеннолетней, и стал окучивать и эту грядку. Илоне он, разумеется, не сообщал. А мать делала всё, чтобы помешать встречам дочери с Тенгизом. Запретила их.

Её подвела болтливость. Марина Ласкина решила похвастаться сестре своей сексуальной жизнью. Точнее, она выглядела такой счастливой, что Мила, сестра, заметила это и осведомилась о причине сияющей ауры. И Марина всё рассказала. Миле захотелось посмотреть на прекрасного Ясона. Ровно так же, как сестра, в один скверный для Тенгиза день она объявилась на пороге его убежища разврата. И уже через две минуты разговора дала понять, что хочет большой и светлой любви и что его шаг назад будет приравниваться к побегу. Она ведь знает, что он спит с несовершеннолетней. Более того, она паралигал — подкованный в составлении заявлений человек.

— Я не знаю, что мне делать! — обхватив голову, говорил Тенгиз. — Скажите мне! Она изнасиловала меня! И это длилось несколько месяцев! Я спал с тремя!

— Вам не понравилось? — сдерживая смех, спросила Лида.

— Нет! У неё волосы по всему телу! Как у меня. Но у меня тёмные, а у неё светлые. Руки с вот такими волосами!

Он показал пальцами длину в полтора сантиметра. Лида расхохоталась. Это ж надо, сколько в Канаде волосатых баб.

— Простите меня, — повторяла она, смеясь. — Просто вы так жарко обо всём этом говорите, я никогда не слышала ничего подобного...

— Так мне ещё приходилось врать всем трём, что они у меня единственные, и делать всё, чтобы они не пересеклись!

Тенгиз сидел, вытаращив глаза от возмущения и раскинув руки, как бы говоря: что это? Что происходит в этом мире, где беззащитного грузина может изнасиловать любая канадская паралигалша? И это — цивилизованное, демократичное общество?

— О'кей, а что дальше? — придав лицу серьёзное выражение, спросила Лида.

— Дальше было хуже. Мама и тётя Илоны взревновали меня к ней. Они поняли, что я люблю только её. Догадались, что мы встречаемся. И стали следить, чтобы она ко мне не бегала. Мы не виделись два месяца. А потом встретились в лифте. И у нас случился секс. И, представляете, лифт останавливается, двери открываются, и мы с Илоной видим этих двух — маму и тётю.

После этого меня арестовали. Но... я не дурак... я, когда был у Илоны дома, выкрал её дневник. На всякий случай. И этот дневник меня спас. Там она описала, сколько у неё было мужчин. И сделала график, в котором отмечала, кто и как всё делает, ставила им оценки, записывала размеры членов... Следовательно, когда прочитал, а писала девочка на английском, сказал мне, что она шалава, и что меня отпустят. И меня отпустили. За недоказанностью. И теперь мы снова с Илонкой встречаемся. Но тайно от двух мегер.

— Так в чём проблема?

— Они грозят, что напишут в министерство иммиграции, и меня депортируют.

— И что я могу сделать?

— Не знаю. Посоветуйте.

Лида посоветовала расстаться с Илонкой и переехать в другой город. А мегерам сказать, что вернулся в Грузию. Чтобы им не было смысла куда-то писать...

— А как получите канадские документы, так и вернётесь к Илоне. Она уже подрастёт и сможет выйти за вас замуж.

— Она не дождётся. Распутная.

— Вы удивляете меня.

— Спасибо, что выслушали.

— Не отчаивайтесь. Ваша красота со временем поблекнет, и вы сможете жить нормальной жизнью. Годам к семидесяти, — пошутила Лида.

Тенгиз грустно кивнул.

— Я понимаю, вам не хочется жить в Грузии: маленькая страна, негде развернуться. А почему вы не поедете в Москву? — спросила.

— Что вы такое говорите! — всплеснул руками Тенгиз. — Что я забыл в Москве? Там одни...

— Алкоголики и проститутки, — подсказала Лида.

— Я не то хотел сказать, — смутился Тенгиз.

— До свидания, мне пора закрывать офис. Я подумаю, что можно для вас сделать, — сказала Лида, в эту же секунду решив, что делать для него ничего не будет.

Но правило “за каждым письмом — человек” сработало и тут. На следующий день, после долгих раздумий Лида позвонила паралигалу Ласкиной, которую знала лично как рекламодателя, и оставила на автоответчике суровое сообщение, что “я к вам прекрасно отношусь, но поступила жалоба... и мы обязаны отреагировать... Может быть, этот человек преувеличивает, но вы знаете, как в Канаде такие вещи называются... Сексуальный харасмент... Получается, что вы, паралигал, запугиваете подающих на статус иммигранта, пользуетесь служебным положением и принуждаете... Ещё раз: ничего личного, исключительно из заботы о вас... Потому что, если вы не прекратите встречи с известным вам лицом, мы вынуждены будем обратиться с жалобой в вышестоящие органы, и вы потеряете лицензию. А после мы опишем в газете этот случай всем паралигалам в назидание”.

Лида на самом деле не обязана была предпринимать никаких мер. Это в СССР газета, партийный орган, была обязана. А тут частный бизнес. Хочет — слушает редактор Тенгиза, помогает ему. Не хочет — не слушает и не помогает. Но вряд ли Ласкина это знает. Её дело — сочинять липовые истории для тех, кто хочет получить вид на жительство в Канаде. Писать, что их в России преследовали за национальность, религию, сексуальную ориентацию. В работе СМИ она ничего не понимает.

Лида теряла рекламодателя, то есть деньги. Но думала так: допустим, Тенгиз — русофоб. Но значит ли это, что его можно насиловать? Нет. И потом, какой же он русофоб, если явился за помощью в русскую газету? Но самое главное: “за каждым письмом — человек”. Если Тенгиз пришёл к ней, значит, верил, надеялся. Лиду всегда, всю жизнь трогало доверие людей к журналистам, народная вера в существование неподкупных, смелых, режущих правду мастеров слова. Рушить эту веру — всё равно, что отобрать конфету у ребёнка.

Через месяц Лида позвонила Тенгизу и узнала, что его утомлённые чресла отдыхают от радостей секса. Сёстры Ласкины отвязались, а с Илонкой он расстался, застукнув её со своим приятелем.

Лида лежала в постели и перечитывала одну из любимых книг — “Я, бабушка, Илико и Илларион” Нодара Думбадзе. Книгу лиричную, светлую и полную юмора. Книгу, от которой многие в СССР ещё больше полюбили грузин. Лида привезла с собой в Канаду целый чемодан любимых книг, и Думбадзе был среди них.

Так бывает, что один человек, который правильно себя ведёт, может привлечь любовь миллионов к своему народу. Думбадзе привлёк. В его книгах грузинские парни уходят на фронт, погибают, и все герои его повестей — благодарны и благодарны. Честны и великодушны. Милы и забавны.

“Солгал он, приукрасил? — думает Лида про писателя. — Или глаз любого человека устроен так, что свой народ видишь безгрешным? Или он написал правду, и грузины именно таковы, а сейчас просто “обострение отношений”?

И может, когда-то два народа снова станут друзьями?

А с другой стороны, оно нам надо? Какая нам польза, кроме чачи?”

Лида вдруг почувствовала, что очень устала, и глаза закрываются. “Самое тяжёлое, когда хочется спать, — это веки”, — написал Думбадзе. Но тут не просто спать хочется. Есть такое понятие, как усталость металла. А русские, считает Лида, это металл, сталь, нержавейка. Но она тоже

может устать. От вечного предательства. От бесконечной миссии прощать, помогать...

Усталость металла. Лида её периодически испытывает. Когда читает неприятные новости о поведении бывших советских республик или стран Варшавского договора. Больно душе. Обидно.

Но имеем ли мы право уставать, думала она. Нет, не имеем. Мы империя, были, есть и будем. И как только наберём силу, к нам снова прибудут все... И скажут, что “мы не хотели, нас заставили”. А мы сделаем вид, что поверили, потому, что так полагается империям.

“А завтра новый рейс, и я опять его возьму...”.

Если поступить иначе, станешь удельным княжеством. И тебя сотрут в порошок. Величия не прощают.

Но надо намотать опыт на ус и не валить уж так-то всем вокруг от своих щедрот... Своих сперва накормить и приодеть. Вон англичане совсем не так вели себя в Индии, как русские в своих “колониях”. И ничего, индийцы эшелонами едут в Британию и Канаду — зла не держат. И уважают богатство и силу Британской империи. Хотя им британские сахибы ногу выставляли — ботинки чистить. Американцы японцев ядерными бомбами убивали, после чего жители Страны восходящего солнца своим убийцам сапоги лизнут.

А русские сына грузинского сапожника на трон усадили. Не пренебрегли. И нате вам... Сожрано и забыто.

Но всё ж смешно, как похожи судьбы Грузии и её отдельных представителей — Шоты и Тенгиза, думала Лидия. Не в красоте счастье, хохотнула уже почти сквозь сон. Ну и ладно, не наше дело. Бог зря испытаний не посылает ни людям, ни странам.

Что касается русских, то в физике есть понятие не только усталости металла, но и его выносливости. Усталость — это когда постоянные напряжения меняют свойства металла, и он разрушается. А русские, они разве меняются? Нет. Выходит, этой стали свойственна выносливость металла.

А значит, “ино еще побредем”...

АНАТОЛИЙ САЛУЦКИЙ

ОТ ВОЙНЫ ДО ВОЙНЫ

РОМАН

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Наступили смутные времена.

После крушения страны и разгрома КПСС в одночасье обнулились десятки чиновных контор союзного ранга — от скромных монтажных трестов до аппаратных монстров. Легионы столоначальников разного пошиба и зарплатного веса остались не у дел. В апокалипсисе 91-го года особенно пострадала номенклатура, “дьяки, в приказах поседелье”, вчерашние отраслевые шишки и партийные бонзы, те, кто привык кататься на персональных “Волгах” и прохладжаться на казённых дачах. Кляня эпоху перемен, они, считавшие себя солью земли, лихорадочно метались в поисках нового пристанища, не зная, как и чем жить, происходящее казалось им нелепым сном, который вот-вот закончится, и пробуждение возродит правила прежнего начальственного распорядка. Но когда прояснилось, что лихолетье — это непробудная явь, по клану бывших обитателей верхних этажей власти прокатилась волна схожих самоубийств. Потеряв себя, охваченные трагическим чувством непригодности, слабые духом в роковую минуту безысходного отчаяния выкидывались из окон. Неимоверно возросло число инфарктов, инсультов. Былые деловые и ведомственные связи разом потеряли смысл, зато резко скакнули в цене связи личностные, завязанные на взаимный интерес. Те, кому ещё вчера звонили только через секретаря или по прямому проводу, лихорадочно листали свои записные книжки и сами авралью обзванивали старых знакомых, с кем пересекались на разных этапах карьеры. Вошли в моду часовые телефонные разговоры-переговоры на чиновничьем “санскрите” о возможном трудоустройстве. Карманных денег для ресторанных встреч уже не хватало, и в тихих скверах, на малолюдных бульварах можно было заметить беседующие пары тех, кого раньше видели только по телевизору. Старая чиновная гвардия начала приспособление к новому способу существования. Виртуозы аппаратного жанра, податливые на соблазны, алчущие нового

Окончание. Начало в №5, 6 за 2023 год.

поприща, психопатически срочно подчищали биографии, маскировали историю своих отношений с сильными мира былого, предательски отреклись от старых друзей, близость с которыми могла скомпрометировать в глазах новых властелинов жизни и властителей дум, наперебой предлагали себя в обличители, в лжесвидетели недавнего прошлого. До того обострились жизненные коллизии, что лысые стали завидовать плешивым.

Между тем государева прослойка бывшей номенклатуры, не успевшая или не пожелавшая переметнуться в стан сокрушителей, пребывавшая в шоке от гибели великой державы, не только сменившая конверты с персональной доплатой на мизерную пенсию, но и втайне опасавшаяся, как бы не пришлось поменять паёк из спецраспределителя на тюремную пайку, эти могикане ещё не знали, что истинные хозяева новой эпохи уже положили на них глаз. Те, кто в то же трагическое одночасье заката СССР хватил бешеных денег, кто уже пересел в поражающие воображение иностранные лимузины, кто напоказ ходил и ездил с частной охраной, эти нувориши понимали, сколь полезны для них будут опыт, связи и рабочий стиль той части бывшей номенклатурной элиты, которая осталась в стороне от политической схватки за власть и с достойным уважением стоицизмом ждала своей участи.

Впрочем, что касается Кондрата Егоровича Кедрова, то его жизнь наполнилась новым содержанием, ни с мучительными раздумьями о завтрашнем дне, ни с поисками нового служебного поприща не связанными. Будущее, о котором он мечтал, для него уже наступило: молодой отец, он пребывал в каждодневных и ежечасных счастливых заботах о Никитке. Каждое утро, скинув десяток лет, со списком расхожих продуктов — Зина требовала только свежее, только сегодняшнее! — скакал по магазинчикам старого Арбата, а порой выпрыгивал и на Новый. Потом за руку гулял с Никиткой в соседнем сквере. А после дневного сна начинались воспитательные процедуры, деду доставлявшие гораздо больше удовольствия, чем внуку. Читал сказки, лишь позже догадавшись, что малыши пока не понимают их смысла. Показывал бесчисленное множество картинок из книг. Но главное, сызмальства склонял к самодисциплине — поощрениями отучал от слезливости, увещевал не плакать при ушибах. На сон грядущий никаких баю-бай, сказано спать — значит, спать. И уж само собой, упаси Бог капризничать, — это грех смертный.

Душевное равновесие не нарушил даже государственный грабёж — стариковские накопления Гайдар аннулировал подчистую. Но неожиданная радость не оставляла времени на сокрушения и озлобление. Жить на две пенсии? Что ж, они с Зиной нашли выход — без лишних терзаний зажались на мертво, вот и всё. Ни единой лишней траты, ничего, кроме коммуналки и расходов на Никитку, сами уж как-нибудь. Что им надо-то? Этот житейский сор, эти тяготы повседневности душу не тревожили. Вдобавок кое-чем подсобляли Дмитрий, он и его Ульяна, которую Кондрат не спешил привечать, вкалывали в четыре руки.

И что закуска стала дороже вышивки, его не касалось. Рюмочку малую из старых запасов, из давней винной каптёрки они с Зиной иногда поднимали, без повода, по семейной традиции. И однажды Кедров произнёс памятный тост:

— Никуда не уезжая, оставаясь в родных стенах, мы из своей страны переехали в чужую. Никогда не думал, что доведётся стать эмигрантами. И предстоит нам, дорогая жёнушка, что поделаешь, обжиться на невольной чужбине. Но Господь нас не покинул, принёс в дом радость, внука, за которого мы теперь в полном ответе. Ради него должны и обязаны. Померкло наше великое прошлое, но не погасло. А стены-то родные! В родных стенах вторую жизнь начинать легче. Глядишь, что-то как-то и образуется. Давай-ка, Зина, за родные стены! Пусть и с другой мебелью.

Жизнь вошла в тихое, спокойное русло, без порогов, без перекатов, день катился за днём, и герой войны Кондрат Кедров, отстранясь от злобы дней, не угодив в лишнюю паутину тяжких мыслей о невозвратном, превратился в трогательного дедулю, который таял от счастья, наблюдая, как по неделям-месяцам всё осмысленнее становятся глаза внука, как чутко начинает он отзываться на зовы жизни.

Жизнебоязнь, охватившая его после катастрофы 91-го года, отступила. Но вдруг однообразную рутину дней нарушил странный телефонный звонок.

— Здравствуйте, Кондрат Егорович. Это Глаголев Владимир Сергеевич, бывший помощник члена Политбюро Слюнькова. Может быть, вы меня помните?

Помощники секретарей ЦК и членов ПБ “шли” непосредственно через Кедрова, и он помнил каждого из них. Однако Глаголев врезался в память особым случаем. На рубеже 70-х отдел планово-финансовых органов ЦК задумал направить экономиста Глаголева, который вёл экономическую тему в “Коммунисте”, в пражский журнал “Проблемы мира и социализма”, ибо там гуляла ставка обозревателя. Но ситуация по понятным причинам была щекотливая, и замзав, не зная о его сложных отношениях с Черняем, пришёл к Кондрату за советом. А чем мог подсказать Кедров? Он лишь руками развёл, сказал, что Прага идёт только через международный отдел, на них и надо выходить. Видимо, плановики очень хотели послать Глаголева в “Проблемы”, потому что Черный пригласил его на беседу. На этом история с Глаголевым заглохла, и Кондрат забыл бы о ней, если бы через полгода на ту самую “гулявшую” ставку Черняев не подал документы по Лацису.

— Слушаю вас, Владимир Сергеевич.

— Кондрат Егорович, если это возможно, я хотел бы минут на десять встретиться с вами.

Как положено среди серьёзных людей, Кедров не стал форсировать встречу, отложив её на неделю. Но прогуливались они по старому Арбату не десять минут, а больше часа. За это время отставший от жизни, а вернее, выпавший из деловой жизни Кондрат Кедров узнал много интересного. Глаголев на пальцах объяснил ему, что возникшие в чистом экономическом поле частные структуры, разные там банки, акционерные общества, холдинги, корпорации хотят ставить дело на широкую ногу. Их хозяева, новое бизнес-сословие, сняв финансовые пенки, вполне освоились в рыночной стихии, однако глубинного понимания происходящего им не хватает, а главное, нет опытных на сей счёт людей. Хлестаков-то гоголевский жив-здоров, много их ныне развелось. А где настоящих спецов взять? И нувориши начали присматриваться к бывшим советским кадрам — из тех, кто не лез на острие публичной политики, но обладал широкими связями. Неожиданно спросил:

— Кондрат Егорович, вы знаете Филиппа Денисовича Бобкова? — И увидев удивлённо вскинутые брови Кедрова, пояснил: — Он иногда заглядывал в отдел соцстран, где я работал консультантом, ещё до Слюнькова, и у меня был повод с ним познакомиться.

Да, Кедров удивился до крайности. Знает ли он Филиппа Бобкова!

С Филиппом у Кондрата были отношения особые. И по вертушке, и очно они не раз общались в ту пору, когда Бобков рулил знаменитым 5-м управлением КГБ, занимавшимся, среди прочего, диссидентами. Диссида Кедрова не интересовала, но через Бобкова шло так много кадровой информации, что бывали случаи, когда с ним приходилось консультироваться. Был и случай исключительный, о котором Кондрат в прежние годы предпочёл забыть сразу после телефонного отбоя. Но теперь-то чего ж не вспомнить? Звонил, звонил он Филиппу с осторожным вопросом по кое-кому из пражских “Проблем”, было такое. Филипп понял с полуслова и намекнул, что для Кедрова вмешиваться в это дело — “не по Сеньке шапка”.

А когда в чине генерала армии стал заместителем председателя КГБ, однажды позвонил на “ты”:

— Кондрат Егорыч, я каждый год езжу на Гнездиловские высоты, Спас-Деменск Калужской области. Бои там были страшные, 42-й год. Теперь там памятник, могила братская, в которой и я должен был лежать. На носу очередная дата. Может быть, съездим вместе? В той округе фронтовиков не осталось, как перст, одному торчат, всё внимание на себя брать не с руки. Ты про свою Звезду слово скажешь... Но имей в виду, одним днём не обойдёмся, с ночлегом. Жена отпустит?

В ту поездку они сблизились до Филиппа-Кондрата. Но события 91-го их разметали. Хотя Бобкова по части ГКЧП не тягали — ещё в январе

Горбачёв снял его с должности, и он канул в неизвестности. Так же, как сам Кедров после разгрома на Старой площади. И вдруг: знает ли он Филиппа?

Ответил неопределённо:

— Думаю, Бобкова в ЦК все знали.

Глаголев остановился, снял очки, достал из бокового кармана мягкую фланельку и принялся неторопливо протирать стёкла. Как бы между делом говорил:

— Сейчас много шума вокруг банка МОСТ, который учредил некий Гусинский. Реклама большая, структура крупная, аппарат управления солидный. Это, собственно, не банк, а холдинг, там много сфер деятельности. Так вот, этот Гусинский позвал Бобкова руководить аналитическим управлением МОСТА, а Филипп Денисыч меня взял референтом. И вам, Кондрат Егорович, я звонил по его указанию. Нам нужен опытный консультант.

Надел очки, выжидательно посмотрел на Кедрова.

Кондрат вмиг понял много больше, чем ждал от него Глаголев. Бывшая советская номенклатура, ушедшая в глубокое подполье после разгрома державы, не желавшая плясать на развалинах великого прошлого, пошла на службу к новым хозяевам жизни не только ради выживания. Время расшифровало генетические коды. Так же после революции 17-го года царские спещы, в душе и в сознании не приняв советскую власть, перепряглись и “влили свой труд в труд республики”, чтобы тащить страну из разрухи, чтобы Россия воспряла из нетей. Снова вспыхнула мысль, посетившая при рождении внука: Никитка успел родиться в СССР! Так и они, — Филипп Бобков, Кондрат Кедров, сотни, пусть не тысячи, всего лишь сотни бывших фронтовиков, ещё способных держать строй, взяв из прошлого огонь, а не пепел, готовы очеловечивать рыночную стихию, не позволяя разрушить связь времён, возрождая державу пусть в ином обличье, но — потомком могучего СССР.

— Понимаете ли, Владимир Сергеевич, по домашним обстоятельствам я не имею возможности вседневно трудиться в аппарате.

Глаголев всё понял и утвердительно кивнул головой.

— Да, да, да... Но вы же знаете Филиппа Денисовича, он человек очень предусмотрительный, он учёл разные варианты. В частности, заранее спланировал, что должность консультанта не обязательно должна быть сопряжена с каждодневным пребыванием в конторе. Это в ЦК консультанты сидели от и до, я сам через эту сладкую каторгу прошёл. Аналитикам акционерного холдинга день-деньской протирать штаны незачем. — Широко улыбнулся, сказал, как о деле решённом: — Кондрат Егорович, лично я очень рад, что мы с вами будем работать в одной упряжке. Коллективчик подбирается ничего себе...

Кедров подал руку.

— Свадьба!

Они дружески попрощались до скорой установочной встречи на девятом этаже малорослого небоскрёба-небосклепа бывшего СЭВ, у Москвы-реки, — этаж арендовал мозговой штаб МОСТА. Ни предвидение, ни провидение не подсказало ни Кедрову, ни Глаголеву, что именно этому “коллективчику”, в смутное время сплотившему осколки партийно-гэбэшной номенклатуры прошлой эпохи, предстоит разгадать одну из самых трагических исторических загадок послесталинского СССР. Разумеется, они не занимались архивными исследованиями, журналистскими расследованиями или служебными проверками. Они просто свели воедино багаж секретных знаний на этот счёт, которыми по долгу прежней службы владели порознь, которые раньше составляли государственную тайну и которыми теперь, после распада страны, можно было делиться в кругу единомышленников.

2

В отличие от советских теневиков и цеховиков, вынужденных таиться и лицемерно скромничать, новая денежная элита России, наоборот, страстно жаждала звонко заявить о себе. Первые шальные деньги она потратила на вояжи за кордон, где по паре бутылок заказывала голубое шампанское

с перламутром, а “Вдову Клико” и вовсе требовала дюжинами, приводя в замешательство персонал пятизвёздочных отелей. Получив прозвище “новых русских” и обзаведясь репутацией “ослов, грузённых деньгами”, насладившись безбрежной финансовой свободой, накурившись кальянов и хлебнув западных безумств для избранных, а заодно нюхнув веществ, расширяющих сознание, денежная элита в победном угаре возжелала круто показать себя и в родных пенатах.

Жили с азартом.

В Москве один за другим открывались шикарные рестораны с шумными увеселениями, пустословным флудом и невиданными ранее изысками знаменитых кухонь мира. Клиенты роскошных заведений тягались друг с другом дороговизной шикарных лимузинов, на которых их привозили, а также браслетами “Картье” и каратниками танцующих бриллиантов на пальцах и в ушах своих женщин, ощущавших себя великосветскими львицами в интерьерах, украшенных состаренными зеркалами, канделябрами и жирандолями с хрустальным убором. Реками лилось не вино, а плескались марочные коньяки, меню предлагали блюда на любой изысканный вкус, официанты, преуспевавшие на щедром “чае”, словно в купеческих ресторанах царских времён, доставляли тяжёлые подносы одной рукой и на отлёте. Граждан, которые напившись, развелили по домам за счёт заведения.

Первый из таких элитных и угарных ресторанов открылся по знаменательному адресу — Большая Коммунистическая, Таганка. Пребывавшую в запустении бывшую усадьбу Крестовниковых мигом осовременили, и под её крышей закипели гастрономические страсти модного бизнес-клуба, где кутили самые яркие персонажи переломной эпохи, цвет нового истеблишмента. Девизом заведения “люкс-плюс” сделали крылатый слоган того времени “Ротшильды семечками не торгуют”.

Владелец клуба Владимир Семаго был личностью незаурядной. Родился в Харбине, играл в команде КВН вместе с Хазановым, в Академии внешней торговли учился вместе с Фрадковым, в суматохе перестройки не растерялся и занял стартовую позицию в “Интуристе”. А когда пошла горбачёвская суэта вокруг общечеловеческих ценностей, отряхнув с ног своих прах прошлого, вызвал обогатить советский ресторанный сервис мишленовскими звёздами — вот они, истинные ценности, вот они, великие цели наконец наставшего демократического века. Изучать клубный опыт его послали в Англию. В Англию и только в Англию! У запевал новой эпохи замах был предельный — возродить традиции знаменитого Английского клуба на Тверской, где при царе-батюшке гуляла русская знать. Вдобавок, в политическую моду — именно политическую! — стремительно ворвалась кооперация, и “Интурист”, ходивший в передовиках, выдал Семаге на обустройство миллион долларов — сумма по тем временам необъятная. Под три процента! Три-и-и! Да ещё с трёхлетней отсрочкой платежа. Несомненно, товарищи из “Интуриста”, метившие в господа, проявили недожонную политическую зрелость, ибо кооперация была одной из движущих сил перестройки — это утверждала не кто-нибудь, а прославленный академик Заславская. В результате в бывшей усадьбе Крестовниковых обосновался “Московский коммерческий клуб”. На Аглицкий клуб он, увы, не потянул, однако отчасти всё же возродил гастрономические развлечения вековой давности.

Семаго пребывал на вершине довольства. Бизнес пошёл! Жизнь сделана! Парфюм “Хьюго Босс”! Сплошное фуа-гра! Оставалось лишь рубить капусту с двух рук, и — *спи, Земля, в сиянье голубом.*

Но элитная гонка шла на бешеных скоростях, и уже через год Семаго понял, что миллионный кредит не стал для него пожизненным абонементом на процветание, возникла угроза перебраться на задворки ресторанного бизнеса — пошёл отток клиентов. Новоявленные сливки общества по части роскошных кабаков оказались очень капризными. Но, пардон муа, Семаго не из тех, кто не знает, на каком берегу сесть с дочкой, чтобы выловить жирного леща. Научился кое-чему в Европах, его по диагонали не разложишь. В “Интурист” пристроился загодя и, настало время, стал женихом на кооперативной свадьбе. А в 92-м году, когда конкуренты деньгами и шумовыми эффектами в СМИ

обхаживали великого рыночника Гайдара и выдающегося демократизатора Ельцина, Семаго снова сумел окинуть мыслью политическую круговерть транзитных лет и снова замариновал пашлык вовремя. Он потряс новоиспечённое великосветское “общество”, переметнувшись в стан коммунистов.

Понятно, высокодоходные друзья сочли, что у мужика поехала крыша. А он, со своей стороны, считал их “одноколейниками”, умеющими гонять только по прямой. И следствием его природного нежелания ходить в ногу в общем строю стал неожиданный жизненный зигзаг: Зюганов включил Семаго в состав своей команды на процессе по делу КПСС в Конституционном суде, что сразу сделало ресторатора знаменитым.

И мало того, своевременно прикинув, что к чему, удачливый, но средней руки ресторатор Владимир Семаго попал в Большую историю. На процессе по делу КПСС завязался новый сюжет его жизни, позволивший перелицевать обычное коммерческое заведение, каких много наплодилось к тому времени в Москве, в широко известный “Интеллектуально-деловой клуб”, слава о котором докатилась аж до Белого дома на Пенсильвания-авеню. На этой площадке волею судеб и всплыли интригующие подробности советской драмы. На всё воля Божья.

Впрочем, непосредственно к судебному процессу они никакого отношения не имели. Но в тесных залах и узких коридорах Конституционного суда полгода собиралась такая пёстрая, разнокалиберная и языкатая, изощрённая в словоблудии публика, что в этом коловращении людей и идей не могло не начаться “перекрёстное опыление”. Перерывы между заседаниями были перенасыщены бесконечными дебатами, в которых завязывались взаимовыгодные знакомства. Это было время метаний и прощания с прошлым, время порушенных связей и лихорадочного поиска новых жизненных возможностей. Хватались за каждый шанс, главенствовал метод проб и ошибок. На руинах разорванного в клочья советского общества возникали политические, культурные, деловые, сословные группы и группки интересантов, которые кучковались только в своём кругу, не соприкасаясь с представителями других кругов. В Конституционном суде они случайно пересеклись. И один из остроумцев того места и времени метко уподобил кулуары судебного процесса по делу КПСС миксеру, на пробу смешавшему разрозненные и разнородные частицы первобытного общества новой России.

Микс получился. Без мёртвого осадка.

Именно там Владимир Семаго сошёлся с Михаилом Ивановичем Кодиным — в прошлом зампредом Центральной контрольной комиссии КПСС, заместителем самого Пуго. Ещё недавно солидный партийный чиновник, теперь он стал компанейским, не чуждым дружеских застолий, разговорчивым Михал Ивановичем, который мог зло посмеяться над “марксоедом” Ципко, над академиком Заславской, а при случае без стеснений крыл Зорькина:

— Да не вызовет он Горбачёва никогда! Десять раз клялся, ну, и что? Договорился! Я в ЦКК такие материалы читал, что ой-ёй-ёй! Для Горбачёва выступить свидетелем — первый шаг в тюрьгу. Мы ему таких вопросов накидаем... Руку на отсечение, он звонил Ельцину, угрожал: если вызовут, повешу на тебя глухой компромат. Из Кремля Зорькину и моргнули. Вот он и тянет время, отказать в нашем требовании не вправе, на обещаниях едет. Ссылки “на потом” — это же его авторский судейский стиль. Не вызовет он пятнистого ни в жисть, вот те крест. Забыл евангельскую заповедь “не криви судом”. Я коммунист, а “Благуя весть” от Матфея изучал. Зорькин репутационных потерь не гнушается.

В другой раз Миша с громким смехом рассказывал про свои “переговоры” с Буковским:

— Ишь, какой демонический персонаж! По галоперидолу соскучился, прилетел старые счёты сводить, чужой задницей гвозди дёргать. Не диссидент, а Божья ошибка. Никого не знает, ничего в теперешней жизни не понимает. Сел на стороне истца, не зная, кто рядом, балагурит с соседом от души. Аж пристав их урезонивал, чтобы утихли. Ну, я в перерыве подхожу, спрашиваю: а вы знаете, кто рядом с вами, с кем вы лясы точите? Он: “С кем?” Да ведь это милицейский генерал из Питера, раньше особо отличался гонениями

на диссидентов, перевертыш из перевертышей. Буковский глаза вылупил и от меня брысь. После перерыва смотрю, он на пять рядов отсел.

Семаго тоже был личностью затейливой, как говорят психологи, демонстративного типа. Порой он стрелял у знакомых по несколько рублей, показывая, что его бумажник набит исключительно долларами, которые он не успел поменять. Кроме того, он любил внушать окружающим, что лет через пятнадцать станет президентом России. И однажды, когда Семаго и Козин сообрали копалась в куче секретных документов ЦК КПСС, которые вываливали для просмотра на большой стол в одной из совещательных комнат, они разговорились на темы, от повестки судебного процесса весьма далёкие.

Ресторатор поведал о своих планах преобразовать сугубо коммерческое заведение в интеллектуально-деловой клуб, во главе которого встала бы крупная научная или политическая фигура с громким именем. Но планы есть, а идей нет — кого позвать на княжение, в голову неидёт, к тому же время такое, что не каждый и согласится. Пробросы кое-кому он уже делал, и ясно, что нечто прокоммунистическое, да вдобавок на Коммунистической улице, сейчас не катит.

Отставной партийный функционер, который раньше контролировал “честь, ум и совесть эпохи” и в чьё поле зрения попадали даже иные небожители из Политбюро, ни засором, ни запором мыслей не страдал, как он сам потом говорил, “включил Штирлица” и, задумчиво вращая зрачками, поинтересничал относительно интеллектуально-делового замысла, попросив подробностей о клубе-ресторане. Причём желательно получить разъяснения непосредственно на месте, как он пошутил, будущих застольных преступлений против собственной личности. Разумеется, не затягивая, — на часах у живущих секунду нет минутной стрелки. Можно и в субботу, поскольку он не относит себя к соблюдающим иудеям.

И на собеседовании за хорошо накрытым столом после серии зазданных тостов Михал Иванович, активно трудясь над стейком рибай, — новинка тех лет! — как бы между прочим сказал:

— Володя, а если я предложу стать президентом клуба Николаю Ивановичу Рыжкову, как ты на это посмотришь?

— Что значит “предложу”?

— Да вот то и значит: достучусь до него и предложу.

По кандидатуре в недавнем прошлом Председателя Совмина СССР Семаго поморщился; играя лицом, скорчил лёгкую гримасу. Но вовсе не потому, что Рыжков его не устраивал, а по той причине, что не счёл разговор серьёзным, он не любил иллюзорные псевдоидеи после пятой рюмки. О Рыжкове Семаго мог только мечтать, его реальные запросы не достигали столь высокого уровня.

Но с Козиным он чокался впервые и не знал, на какие подвиги, не теряя ясности мысли, способен этот крупный мужчина. Между тем Михал Иванович не оплошал и на сей раз. Он проникательно засёк, что при фамилии “Рыжков” Семаго поморщился не в отказной форме, а скорее недоверчиво. И мудро не посчитал нужным вполпьяна кичиться своими возможностями на сей счёт, зато для себя твёрдо решил, что берётся за это интересное дело.

Разыскать телефон Рыжкова и дозвониться до него было нетрудно. Николай Иванович, став изгоем ельцинского режима, почти безвылазно жил на даче в Петрово-Дальнем, в политическом забвении, не участвуя в общественных дискуссиях и тихо радуясь тому, что на процессе по делу КПСС его не упоминают. И когда Козин вкратце изложил суть дела, без лишних оговорок пригласил его на дачу, чтобы выяснить подробности.

Со стороны Рублёвки к двум бревенчатым госдачам послевоенной постройки, спрятанным в глубине леса, вела узкая и длинная асфальтовая лента. Кто обитал в соседнем особняке, Михал Иванович не знал, но с первого взгляда было видно, что этот кто-то, в отличие от Рыжкова, сегодня состоит на службе, ибо участок особо ухожен. Досталась ли госдача Николаю Ивановичу в наследство от советских времён, или же его сюда переселили, Козин тоже не знал. Но дом производил приятное впечатление. Из просторной двухсветной горницы вела лестница на балкон второго этажа, заполненный

книжными шкапами. Солидная домашняя библиотека была гордостью Рыжкова, и он показал гостю несколько интересных изданий.

Потом пили чай, и Николай Иванович с усмешкой кивнул на мелочность Ельцина. Дал интервью какой-то газете, позволив себе кое-что покритиковать, так на следующий же день начались осложнения с персональной машиной. А без машины в этой лесной глуши невозможно.

“Не в лесную глушь его заточили, а в политическую, — думал Козин, выслушивая житейские жалобы Рыжкова. — Согласится, как пить дать, согласится на Семагу! В бескормицу и горбушка лакомка”.

И верно, у Николая Ивановича и Людмилы Сергеевны вопросов почти не было. Только — где, когда, кто рулит и вообще, что за публика будет собираться? Михал Иванович толком ответить не мог, сам в этом деле плавал. Но получив принципиальное согласие, на свой страх и риск сообщил, что хозяин заведения приглашает будущего президента Интеллектуально-делового клуба на ознакомительную беседу за бокальчиком шампанского в кругу организаторов клуба, где и расставят все точки над “i”. Дата встречи будет согласована позднее.

Возвращаясь в Москву, Козин с удовольствием гадал, какой эффект он произведёт на Семагу, сообщив о согласии Рыжкова. Но, конечно, не предполагал, что ресторатора постигнет минутное онемение. Володя, вытаращив глаза, слова не мог вымолвить от удивления и восторга. Рад был без памяти. А когда пришёл в себя, завопил:

— Какая беседа под бокальчик шампанского! Михал Иванович, ты спятил! У меня не бакалейная лавка и не трактир с плясунами, а хит-ресторан. Договаривайся на любой день, хоть на завтра. Я такой обед закачу, какой даже Рыжков с его Политбюром никогда не выдывали.

Обед действительно вышел знатный. В сторонке от ресторанный зала, в уютном кабинете для застольных переговоров Семага накрыл стол на десяти-терых, собрав, говоря его словами, концептуалистов, способных оплодотворить идею Интеллектуально-делового клуба. Рыжкову предстояло стать знаменем, клуб будет носить его имя. Михал Иванович Козин становился главным организатором регулярных заседаний, которые, само собой, должны завершаться обильными чревоугодиями. Членов Клуба тоже будет подбирать Козин, процесс это непростой, спешка не нужна, главное, по мнению Рыжкова, — “качественный состав”.

На четвёртой смене блюд без споров и разногласий обговорили конкретные детали и базовые правила “интересной задумки” — это снова Рыжков. Решили, что не будет ни входивших в моду шоу фриков, ни заумных танцев эрудитов. Философов и вовсе окрестили “интеллектуальным спецназом”, вызывать который преждевременно. Само собой, никаких семечек и никаких Ротшильдов. С пятой перемены тосты пошли заздравные и вдохновительные, полные надежд на процветание только что рождённого детища. И по ходу душевных возлияний выяснилось, что в этом благородном занятии Николай Иванович почти не отстаёт от Михал Ивановича, хотя к концу длительного заседания всё-таки изрядно захмелел и с опаской, заплетаясь, жаловался, как бы за свои вольности не получить изрядную взбучку от Людмилы Сергеевны.

Когда Рыжкова увезли, Козин, пребывавший в прекрасном расположении духа, конечно, напомнил Семаге свои слова о застольных преступлениях против собственной личности и подначил:

— А шутка-то в руку вышла, Володя!

3

Странный человек Алексей Семёнович Журба продолжал удивлять соседей по Дачному проезду. Его сенсационный отъезд в Прагу и трёхлетнее пребывание в райских западных кушах были восприняты “на раёне” как исцеление от юношеских странностей. Никто не сомневался, что дом, подновлённый, даже обновлённый на щедрые заграничные харчи, Журба оставит за матерью, а сам двинет в Москву, — малаховские всегда выходили

в люди этим извечным маршрутом. Однако странный Журба вместо столичной карьеры не только предпочёл застрять в люберецкой провинции, но и работёнку подобрал так себе. Мог бы, в конце концов, пойти по административной линии, заграничника взяли бы на любой отдел, а там, глядишь, и в замы к председателю райисполкома шагнёт. А он, чудик, выбрал занюханый бесперспективный Институт физкультуры.

Никто не знал, что за скромный жизненный выбор Алексею Журбе пришлось изрядно повоевать.

После возвращения из Праги его позвали на Старую площадь и на выбор предложили работу в одном из двух институтов — “Мировой экономики” или “США и Канады”, который в просторечье называли “Арбатовским”, по имени его директора академика Арбатова. Расчёт был такой: два-три года на защиту кандидатской, затем дальнейшее продвижение как минимум на научном поприще, а возможно, и с выходом в общественную сферу. Замзав Международным отделом Черняев говорил с ним по-свойски:

— Пока будете корпеть над диссертацией, жизнь продвинется вперёд, и станет ясно, где вас полезнее использовать. Если ясности не будет, не исключён второй срок в Праге.

Куусинен давно умер, но его изначальное покровительство оставалось за роком благонадёжности.

Журба, который после трёхлетнего общения с пражскими коллегами чётко усвоил, в какую компанию угодил и к чему его готовят, взял несколько дней на обдумывание, хотя заранее знал, что откажется от карьерного варианта. Известно: если ты в стае, придётся вилять хвостом. И ещё в Праге они с Зоей решили не лезть в бурную политическую стремнину, куда рвались карбонарии, которых пестовали в журнале “Проблемы мира и социализма”. От тех лет остался у Алексея на память только удобный портфельчик “Атгаше”.

Зоя тоже была в некотором роде не без странностей. Люди негромкие, они оба чурались жажды преуспевания и при иной комбинации жизненных обстоятельств каждый из них, возможно, предпочёл бы монашеский постриг. Но их судьбы сложились так, что, встретившись в предвесье эпохи бурь и перемен, они нашли себя в тихом, надбытовом семейном счастье, которое зиждилось на взаимной любви, общих ценностях, первой из которых была святость семьи, и на отсутствии потребности доказывать что-то самим себе или кому-то. К тому же их духовное единство крепло на обоюдном стремлении и умении, избегая суеты, углубляясь в суть вещей. После дня, полного праведных трудов и житейских забот, их традиционным отдохновением было лёгкое вечернее чаепитие в покое домашнего уюта, когда две странности, нашедшие друг друга, отстраняясь от грехов русской жизни и перипетий ушедшего в вечность дня, пытались осмыслить время, в которое Всевышний послал их в мир.

Не шибко подкованные житейски, они считали свою жизнь благочестивой и удачливой. Благодаря ниспосланной свыше Праге, полагали, что маломальски увидели мир, и остальная незнаемая копенгагенщина их не интересовала. Вдобавок капитально обновили малаховский дом. Ещё в “огородной” форме была Анастасия Сергеевна, которая восторженно взяла на себя обязанности бабушки, — Коленька рос на её руках. Алексей обучал азам мировой и родной истории студентов здешнего Института физкультуры с уклоном на Олимпиады и гимнастику Мюллера, древние брошюрки которого откопал в книжном антикваре на Арбате. Зоя, окончившая медучилище, тоже работала в шаге от дома, в родной школе. Мир их повседневной жизни, как она дотошно высчитала, ограничивался окружностью с радиусом полкилометра. В этом микро-микропространстве они чувствовали себя вольготно и уютно, здесь, по словам Зои, и зимние выюги, и синусоида яблочных урожаев были родными. Но они не считали, что живут на обывательских задворках, ибо на домашних чаепитиях порой касались причин, влияющих на колебания малаховских умов, а также сокровенных тем Большой жизни. Причём Зоя, казалось бы, без “высшего”, порой глядела в суть времени глубже, пронизательнее мужа. Женщины, они вообще... По пустячкам балаболки, но в час трагедии — *Родина-мать зовёт!*

Потому, наверное, они и сошлись, что совпали их странности по части неприятия искания выгод и избыточных мирских благ. Но спроста ли ещё с отцовских времён хранилась в их доме икона Божьей Матери “Умягчение злых сердец”?

Но и бранный мир устроен странно. История не раз доказывала, что именно таким отстранённым от мирской суеты и стяжаний чудакам открываются истины, мимо которых в бесконечной жизненной гонке, на событийном галопе проскакивают ловцы момента. Порой именно таким наивцам, живущим замкнуто, сторонящимся деловых связей, промыслительно дозволяются необъяснимые житейской логикой встречи с незаурядными людьми.

Впервые жизнь Алексея Журбы подтвердила это написанное правило в тот день, когда на пороге их обветшалого дома возник пожилой, с залысью Константин Константинович, который принёс с собой не только последнюю весточку отца, но и открыл перед Лёшей дверь в будущее. А в наследство, как выяснилось позже, оставил ключ к разгадке больших смыслов.

Второй промыслительной неожиданностью стало появление в его жизни Георгия Щедровицкого.

В январе 1975 года на учёном совете малаховского Института диссертант Валерий Андреевич Дёмин поднял вечно острую тему о различиях между спортом и физической культурой. Дискуссия вышла горячей, и одним из решающих стало выступление старшего преподавателя кафедры педагогических дисциплин Щедровицкого, чья азартная речь резко контрастировала с предыдущим нудливым словом Шабаровой, стопудовой рыхлой тётки, которую студенты за глаза называли “центнером живой массы”. О Щедровицком ходило немало разноречивых слухов в пражской редакции, да и Дёмин, с которым Алексей знался, говорил о нём. После громкого диссидентского процесса Гинзбурга-Галанскова Щедровицкий подписал “Письмо 170” в их защиту, его вышибли из партии, и немало бывших друзей “свели узы с ним на ноль”. Для прокормления опальному философу не без проблем удалось пристроиться в Подмоскowie, где слухи о нём были скорее злоречивыми.

После защиты народ, как положено, повалил в ресторан на Рельсовой. Загула не было, после дежурных тостов общий стол распался, и Дёмин подвёл Щедровицкого к Журбе, который одиноко сидел на дальнем конце.

— Георгий Петрович, сей скромный субъект по имени Алексей — малаховская достопримечательность. Три года отбарабанил в журнале “Проблемы мира и социализма”. Что-то мне подсказывает, вам с ним будет интересно.

— В Праге! — воскликнул Щедровицкий. — Вы, наверное, знали Грушина?

— А как же.

— И Мамардашвили?

— Конечно.

— Это мои близкие друзья, вместе затевали философские разговоры-переговоры. Знаменитая четвёрка! С нами был ещё Зиновьев. Чёрт побери, доброй памяти дела! — Присел рядом. — Валерий Андреевич, где бы мне раздобыть чистый бокал? За такое знакомство не грех и выпить. — Показал на ближайшую бутылку. — Но ради бога, не портвейн “Три топора”.

Так началось их знакомство.

Щедровицкий мог говорить бесконечно, и ему было, что сказать. Однажды, не переставая вещать, предложил Журбе проводить его до платформы “Малаховка”. А в какой-то другой день Алексей после аудиторных занятий пригласил Георгия Петровича на домашнее чаепитие: живу рядом, пять минут не иносказательно, а буквально.

Те разговоры за душистым краснодарским чаем, какой предпочитала заваривать Зоя, были любопытными.

Припожаловав в гости, Георгий Петрович в домашнем уюте раскрепостился. Осмотрев дом, участок, порадовался за Журбу, и с гонором отпетоного горожанина наשמеливо позавидовал его садово-огородным развлечениям. А особенно понравилось ему, что задняя калитка выходит в сторону малаховского озера. Посмеялся:

— Удобно. В случае чего, можно уйти огородами.

Быстрый, с рысьими, широко расставленными глазами, он о предмете своего увлечения говорил размашисто:

— Методологическая практика ставит целью принудить людей к диалогу. При-ну-дить! У людей помойка в головах. Сон разума! Только через принуждение к диалогу можно промыть мозги, вычистить авгиевы конюшни заблуждений и непониманий. Большинство людей пребывают в гипнозе, подчас глубоко. Страдают от нигилизма. А что вырастает из нигилизма? Ещё Ницше писал, что из нигилизма прорастает пессимизм. А я от себя добавлю: идиотизм Швейка и всякие там садо-мазо. Методологи, используя варианты игротехники, через искусственные кризисы в мозгах способны корректировать сознание. Игра! Прямой связи с текущей жизнью нет, можно экспериментировать, чудачить, ставить любые вопросы. — Воскликнул: — Людей можно и нужно программировать! А у нас только пульс у покойников щупают.

— И меня тоже можете запрограммировать? — ахнула поражённая Зоя.

— А приходите-ка на заседание нашего методологического кружка, поучаствуйте-ка в наших организационно-деятельных играх. Увлекательнейшее, между прочими, дело! И занятие душеполезное. Перед людьми ставятся задачи, которые инициируют, активизируют их сознание. Экстраверты, заткнитесь, слово интровертам.

Безусловно, Щедровицкий понимал, что методология, ставшая делом его жизни, не слишком вписывается в нынешнюю ситуацию. Журбе было известно, что попытки каким-то образом задействовать игротехнику в учебном процессе поддержки в институте не нашли. Сокрушаясь по этому поводу, Георгий Петрович воскликнул:

— Всё без толку! Я им объясняю, а они, куцые мозги, глядят пустыми глазами и твердят: “Не надо, это лишнее”. Пекутся о нравах в борделе. Шутовская артель. Когда вышли, Дёмин шепчет: “Георгий Петрович, джентльмены с хамами не разговаривают. Ну их! У них закулисные подстрекатели”. Марина Цветаева писала: “Мои стихи — как драгоценное вино, настанет мой черёд!” Кстати, верёвку-то в Елабуге Цветаевой подарил Пастернак... Настанет и черёд методологии. Настанет, настанет пиковое время, когда саддукеи меня хватятся и на пьедесталы вознесут. Я с ними за шахматными часами сижу: у кого раньше время истечёт.

Разумеется, та домашняя встреча не была беседой. Сопровождая речь резкими жестами, активно солировал Щедровицкий, а притихшие супруги Журба напряжённо внимали новым для них понятиям и зауми терминам, которые считали непременным атрибутом высокой научности. Однажды, впрочем, Алексей попытался что-то вякнуть, но Георгий Петрович сразу перебил, образно уподобив методологические практики зальфикару — мечу пророка Мухаммеда, нетерпимому к неверным.

Но так или иначе, тот день запомнился Алексею и Зое неизгладимо. А Щедровицкий нашёл в них благодарных слушателей и примерно раз в семестр с удовольствием заглядывал на Зоин краснодарский чаёк. Тесной дружбы между ними не возникло, ибо методологические забавы душу Журбы не тронули, однако телефонно-поздравительные отношения продолжались и после того, как Георгий Петрович распрощался с малаховским институтом. И в 81-м году, выбравшись, наконец, из долгого и злостного научного небытия, он всё-таки уговорил Алексея приехать на заседание его кружка, чтобы слегка промыть мозги и на ощупь попробовать, что такое методология.

— Общайтесь и с некоторыми бывшими приятелями по Праге, заседанием в здании Института философии, будет бомонд! — энергично кричал он в трубку.

Журба, разумеется, не предполагавший, что в этот день его ждёт сильнейшее душевное потрясение, приехал на Волхонку, 14 загодя: с расписанием электричек не угадаешь. Внизу подсказали ему подняться на шестой этаж, в актальный зал, где на сей раз будет заседать Щедровицкий, и Алексей занял место рядом в десятом, со стороны входа. Заполнялся зал хило, в итоге лишь на четверть, знакомых лиц среди щедрологов Журба не примечал и, откровенно говоря, скучал, не предвидя особых восторгов от “сеанса” Георгия Петровича. Но вдруг в дверях возник Отто Лацис. Увидев Журбу, подсел к нему:

— Давненько не виделись, какими судьбами?

Пришлось накоротке объяснить, что знаком с Георгием Петровичем и приглашён лично. Отто принялся расспрашивать о жизни, но тут в зал вошёл художавый человек в очках, который спикировал на Лациса:

— Кого я вижу! Тысяча лет! Ну-ка, передвинься на кресло.

Поручались, и Лацис представил:

— Глаголев Владимир, ответственный работник ЦК КПСС. — Произнёс с многозначительной расстановкой: — Кон-суль-тант! А это Алексей Журба, историк. Мы с ним в “Проблемах” работали. Какими судьбами, Володя? Честно скажу, я здесь не по делу, по приглашению. А ты? Вроде бы не твой профиль.

— Зато у нас с тобой профиль общий. Друг о друге мы периодически слышим, на телеэкране иногда тебя вижу, а живьём не встречались Бог знает сколько. Погоди... — Обратился к Журбе. — Меня ведь тоже когда-то сватали в “Проблемы мира и социализма”, но не срослось. А в 72-м прилетаю в Прагу, и встречает меня кто?

— Помню, помню, — досказал Отто. — Мне было велено встретить главного редактора журнала “Плановое хозяйство”. В больших шишках ты в ту пору ходил.

— Я, кстати, предполагаю, что меня в то время уже на журнал запланировали, я же в “Коммунисте” экономику вёл. Потому и в Прагу не отпустили.

— Возможно.

Журба остался как бы в стороне от разговора старых знакомых и не вслушивался, пока его не привлекли слова Глаголева:

— Господи, как в жизни всё закольцовано! В 59-м вот в этом самом зале... В ту пору институты философии и экономики были здесь, под одной крышей, это потом нам своё здание дали, а меня как раз в тот год в институт экономики и распределили. И вдруг по комнатам зашелестело: в актовом зале — актовый-то был общий — выступит американский экономист Василий Леонтьев. Оттепель! Пошли международные контакты! И вот он, знаменитый Леонтьев. Помню, лифты переполнены, я через три ступеньки сюда мчался, чудом местечко отыскал. Он же по-русски говорит, всё понятно...

— Ну-у, кому что. Леонтьев, он сейчас фигура, после Нобелевской премии. А в ту пору...

— Не скажи, не скажи. Мы его капитально изучали, уже студентами знали о его межотраслевых балансах.

— Володя, это же не циклы великого Кондратьева. Известный экономист, не более. Ну, обер-экономист. Американский учёный русского происхождения, отсюда и романтический флёр его имени. Он авторитетом Нобелевки давит, как говорится, на басах работает. А очень низкую ноту нормальное человеческое ухо не слышит. В переводе на обиходную жизнь это означает, что его концепция не сопряжена с экономической практикой. Копя за рога берёт. И считает, что все по свистку должны присягать его идеям.

Тут в зал вошёл Щедровицкий. Внимательным взглядом окинул аудиторию, некоторых, в том числе Лациса, удостоил персональным кивком. И после его запевного тамбур-мажора о важности игры в действительность для формирования полезных обществу личностных установок посыпались выступления, некоторые с выкрутасами, с риторическими визгом. Краткие по смыслу, но длинноватые, потому что Георгий Петрович перебивал ораторов на каждом десятом слове. Минут через сорок Лацис не выдержал, шепнул:

— Ну, я свой номер отбыл. Володя, рад был тебя видеть.

И пригнувшись, юркнул к слегка приоткрытой двери.

Журбе тоже было скучно; нет, методология ему не с руки, незачем лезть туда, где ему делать нечего. Но уважение к Георгию Петровичу требовало, по Лацису, отбыть номер до конца. Впрочем, к этому природному нравственному чувству примешивался какой-то непонятный, интуитивный волевой импульс: надо бы порасспросить этого Глаголева о 59-м годе. И сразу острая мысль: а вдруг он, подобно Лацису, уйдёт раньше: что делать? И мгновенный, помимо сознания, ответ: выйти вместе с ним, только так.

Но Глаголев дождался окончания любопытного по форме заседания, и они вместе подошли к Георгию Петровичу, чтобы выразить своё восхищение услышанным, которое каждого из них заставит о многом задуматься.

Когда в солидной очереди ожидали лифт, Журба спросил:

— Владимир, вы упомянули, что когда-то слушали в этом зале лекцию Василия Леонтьева...

Глаголев разговорчиво откликнулся:

— А как же! Было дело! Но в длинной очереди к тихходному лифту не стоял. Молодой был, прыгал по лестнице, словно горный козёл, а ступени-то здесь — ой-ой, здание давнее, сейчас так не строят.

— Мне показалось, что в отношении к Леонтьеву у вас с Ладисом существуют, как бы точнее сказать...

Глаголев рассмеялся:

— Вы по профилю историк и ничего не знаете о наших экономических усобицах и подковёрках. Кстати, жаль, что не знаете, но, увы, для непричастных они незримы, они мало кому известны. Мы с Ладисом в научном смысле антиподы, потому и Леонтьева оцениваем по-разному. А Леонтьев... Кстати, удивительная судьба!.. Давайте отойдём чуть в сторонку, в этой очереди толкаться бессмысленно, со всех сторон лезут. Я вам расскажу кое-что интересное. — Они отошли к боковой стене большой лестничной площадки, и Глаголев с явным удовольствием стал рассказывать: — Так вот, закончилась лекция, и пошли вопросы из зала. Кто-то спрашивает: вы русский человек, а вообще-то, как вы оказались в Америке? А предварял лекцию и дирижировал директор института. Он и отвечает за Леонтьева:

— Василий Васильевич работал в первом российском Госплане, выдвинул здесь свою концепцию — это для нас главное. А потом судьба сложилась так, что уехал в Америку. Не думаю, что сейчас нам имеет смысл углубляться в этот отнюдь не экономический вопрос.

И вдруг Леонтьев говорит:

— Нет, я не работал в Госплане, я был ещё молод. Я закончил Санкт-Петербургский, простите, в то время Петроградский университет и только-только приступил к самостоятельным исследованиям. Но... Видите ли, случилась беда: я заболел, и врачи поставили страшный диагноз — лицевая саркома... Что с вами, Алексей?

Журбу действительно повело, от внезапного удара чувств он даже слегка пошатнулся. “Константин Константинович, саркома, Лаврентьев! Но он же не помнил фамилию точно, а Лаврентьева и Леонтьева немудрено спутать. Неужели? Боже мой!”

— Извините, извините. Со мной такое бывает. И что сказал Леонтьев?

— Он сказал, что в Питере ему сделали сложную челюстную операцию, которая облегчила его страдания, однако не могла излечить болезнь. И врачи дали справку о необходимости выехать в Германию, где, согласно медицинской литературе того времени, его могли спасти. Шёл 1925 год, политические нравы, по его словам, несколько смягчились, и ему разрешили выезд. А в Германии выяснилось, что диагноз ошибочный, не было у него саркомы, а было какое-то воспаление, снять которое как раз и помогла операция.

Глаголев внимательно посмотрел на Журбу.

— Мне кажется, вам дурно. Давление?

— Нет, нет, — выдавил Алексей. — Понимаете ли... Понимаете ли, я знал хирурга, который делал ему операцию, хотя он говорил, что фамилия пациента Лаврентьев. Но не может же быть две челюстные саркомы в 1925 году в Петрограде, обе у молодых людей, и оба уехали лечиться в Германию. Да! И звали их Василиями! Нет сомнений, что Леонтьев — это и есть тот самый Лаврентьев.

Глаголев поднял очки на лоб, близоруко посмотрел на Журбу. Видимо, услышанное показалось ему фантазией на уровне болезненного бреда, и он добродушно сказал:

— Чего только на белом свете не бывает. Ну что, толпа поредела, будем протискиваться в лифт?

Когда прощались на высоком крыльце у входа в Институт философии, Алексей заставил себя обратиться с просьбой:

— Владимир, извините за назойливость, но не дадите ли вы мне ваш телефон? Знакомство наше случайное, но мало ли... Действительно, чего только на белом свете не бывает.

Глаголев пожал плечами.

— Запишите.

Продиктовал номер, после чего они распрощались.

В электричке Алексей постепенно приходил в себя от эмоционального потрясения, выстраивая длинную и причудливую цепь случайных событий, которые привели его к разгадке, как он сам для себя определил, тайны Василия Леонтьева. Известный столичный философ Щедровицкий каким-то боком попал в затрапезную Малаховку, и случай свёл с ним местного аборигена Журбу. Через много лет после череды приглашений Журба впервые приехал на заседание кружка Щедровицкого. Именно на то, на которое “не по делу” явился Лацис, с которым они не виделись со времён Праги. К Лацису подсел незнакомый человек, который тоже десять лет с ним не виделся. Незнакомец поведал историю, двадцать лет назад услышанную из уст Василия Леонтьева, и она в деталях совпала с рассказом Константина Константиновича о челюстной операции в Обуховской больнице... Минуточку, а как в жизни Журбы возник Константин Константинович? Он встретил отца в его последние дни и взял у него малаховский адрес. Не слишком ли много случайностей, результатом которых стало фантастическое открытие: Василий Лаврентьев 1925 года — это нынешний лауреат Нобелевской премии Василий Леонтьев! Увы, Константина Константиновича уже нет, сообщить ему, кого он спас на самом деле, невозможно... К этому навороту случайностей почему-то примешивалась мысль о том, что Лацис и Глаголев по-разному воспринимают идеи Леонтьева, а за этим крылось что-то весьма важное, потому что Лацис работал в “Проблемах” — за три года Журба отлично понял подспудную суть журнала, — а Глаголев был главным редактором официального “Планового хозяйства”. Мешанина невероятных совпадений и случайностей не давала покоя. Но, как ни странно, обнадеживала какой-то неясной, завораживающей перспективой. Алексей любил думать, раздумья были радостью жизни этого странного человека, и он чувствовал, что здесь есть, над чем подумать. Что лежит в основе всей этой невероятной кутерьмы фактов? Словно узелок с фокусом, и надо поймать хвостик, чтобы разом всё распуталось... Да вот же он, этот хвостик! Сработал профессиональный инстинкт, и Журба вдруг понял, что именно в русской истории лауреата Нобелевской премии Леонтьева спрятаны ответы на какие-то очень важные и отнюдь не частные вопросы, которые подспудно и невятно копошатся в его сознании. А увлечёсь настоящим историческим исследованием он мечтал всю жизнь...

На платформу “Малаховка” странный человек Алексей Журба вышел с твёрдым намерением “разобраться” с Василием Леонтьевым.

В тот момент он, разумеется, не мог предположить, что заниматься этой историей с большим шлейфом странных загадок ему предстоит ближайšie двадцать лет.

4

В небольшом кабинете Бобкова с видом на уходящую вдаль двойную ленту Кутузовского проспекта, полную торопливых машин, было уютно. После скудных эмоций, неизбежных при встрече давних и добрых знакомых, которые порознь совершили тяжкий марш-бросок из одной эпохи в другую, началась лёгкая воркотня на темы, не относящиеся к предмету взаимного интереса. Серьёзные люди не приступают к деловому разговору без нейтральной разминки, позволяющей настроиться на общую волну.

— А ведь я в этом кабинете не был, — сказал Кедров, воспоминательно прищурившись, — дай Бог памяти... Да, без малого годков тридцать.

— Кондрат Егорович, тридцать лет назад этого закутка не существовало, — откликнулся Глаголев. — Здесь было просторно, руководящий этаж. Потом перепланировали перегородками.

Кедров усмехнулся:

— На руководящем этаже сидел главный в этом здании — Генеральный секретарь СЭВ Николай Фаддеев, который однажды меня к себе и звал. Он раньше в ЦК работал, я его оформлял, и мы знали. Интересный был человек, начальником Комсомольского участка канал Москва-Волга строил. Вольнонаёмным. Помню, рассказывал, как в дни пик у него на дамбе народ вкалывал под духовые оркестры. Между прочим, стихи писал. И удивительную историю мне рассказал. Он — редчайшее дело! — увлекался соловьиным пением. Говорил, что у него дома есть ручные соловьи и что по весне он клетки накрывает накидками. Оказывается, соловьи лучше поют, когда друг друга не видят. Чудеса!.. А на стройку канала однажды Сталин приезжал.

— Мне о том случае говорил Александр Николаевич Комаровский, — кивнул Бобков. — Генерал армии, он первые шахты для ракет обустроивал, их называли “Щит Родины”. На канале был начальником работ Центрального участка, и вдруг, без оповещения, без сигнала подъезжает вереница машин. Выходят Сталин, Молотов, Ворошилов, Ежов. На стройке журнал издавали, и там фотография, как Комаровский, не растерявшись, под козырёк докладывает Сталину. Александр Николаевич тот журнал мне и показал.

— Потому почти до маршала и дорос, — весело кинул Глаголев.

— Володу, он и основу под “Атомный проект” создавал, сам площадку для комбината “Маяк” выбирал, первый Атомград “Челябинск-40” возвёл. Да и Приволжскую контору закладывал, вы и не знаете, что поначалу так Арзамас называли. У Берии, который атомный проект курировал, был главным строителем.

— А здесь, в этом пространстве, — верно вы говорите, Владимир Сергеевич, — кабинет занимал чуть ли не четверть этажа. Я к Фаддееву захожу, а у него в гостях Георгиевский Пётр Константинович, зам Славского, атомного министра, он тоже с канала. Николай, видимо, решил нас познакомиться. Подняли по рюмочке, Георгиевский и рассказал, как ему поручили водружать последний блок скульптуры Сталина на входе в канал с Волги. Кранов в ту пору не было, по деревянным мосткам вкатывали, высота двадцать метров, вес блока три тонны. А урони-ка голову Сталина... С такого недоразумения и свою голову потерять можно. Кстати, интересную мысль он высказал, которая мне, фронтовику, в голову не приходила: при Сталине нужно было быть очень смелым, чтобы проявить трусость. Вроде бы парадоксально, однако же верно.

Сдержанно посмеялись, и Бобков перешёл к делу:

— Ну что, Кондрат, честь и место! Будем в одной упряжке. — Улыбнулся, а Глаголев и вовсе расплылся. — Видишь, здесь тесновато, свободных кабинетов нет, придётся тебе консультировать нас дистанционно, присутствовать по мере надобности. Не обидишься? По рукам? — Добавил с подтекстом: — Как говорит Гайдар, будем без страха и надежды изживать советское прошлое. Запад готов раскрыть объятия для России без прошлого и без приданого. Спроста ли, если помните, с Новым 92-м годом всех нас поздравлял по телевизору не глава государства, а сатирик Задорнов. С ума сойти, государственное новогоднее поздравление от сатирика...

— Вот и имеем что-то вроде хрущёвской кукурузы, — усмехнулся Глаголев. — Метёлку выкинули, а початка нет.

Потом пошёл профессиональный разговор, соль которого заключалась в том, что Кондрат, по долгу прежней службы знавший сотни нужных людей, при случае может обеспечить выход на ту или иную персону, которая заинтересует МОСТ. Холдинг стремительно развивался, по всей Москве арендовали помещения для его служб. Бобков неторопливо перечислял их, обозначая сферы МОСТовских интересов, пока не споткнулся на той, где готовили ежедневные дайджесты СМИ — с экономическим уклоном.

— Они утром звонили, жаловались на сложности с международной информацией. Думаю, мы вопрос решим, у нас на обществённых связях сидит специальный человек, а у неё муж в Институте мировой экономики, пусть-ка его шефелюёт, узнает, в чём дело. Кстати, Кондрат, надо тебе с ней познакомиться, твоя линия пойдёт через неё. — Позвонил секретарю. — Галя, позови Пименову.

Через минуту в комнату вошла статная женщина в тёмной блузе с яркими розами, и Бобков указал рукой на Кедрова:

— Знакомься...

Она протянула руку:

— Ульяна.

Бывают в жизни стеснения, которые ставят человека перед необходимостью принять решение в считанные секунды. Но каждый ли способен из возможных вариантов взять безошибочный? Кондрат Кедров был из тех, кого природа-мать наградила редким даром мгновенно, со скоростью, недоступной искусственному интеллекту, сопоставлять прежние, текущие и вытекающие обстоятельства момента, чтобы выбрать верное решение. Он доказал это ещё на Висло-Одерском плацдарме, когда вызвал огонь на себя. Да и по жизни бывали случаи, когда Кедров, внезапно зажатый в ловушку вольной или невольной интриги, вмиг находил выход из сложной ситуации. Протянутая рука Ульяны была именно таким случаем, и Кондрат, сразу сообразив, кто перед ним, понял, что обязан достойно ответить на вызов секунды. А вариантов было несколько. В растерянности мог малодушно сделать вид, будто не знает Ульяну, и принять рукопожатие. Но родство неизбежно вскрыется, и это аукнется скрытым недоумением Бобкова. А выйти из своего образа Кондрат позволить себе не мог. Или: почему бы не сказать с милой улыбкой, что впервые видит новую жену своего сына? Ничего зазорного, люди собрались взрослые, жизнь есть жизнь. Но как этот “ход” отразится на семейных отношениях в клане Кедровых? Можно вслух удивиться встрече с Ульяной, пошутив по поводу своей семейной ситуации, — это тоже поймут. Наконец, не исключён и жёсткий ответ, ледяной тон, но как не учесть, что Ульяна тоже не знает, кому по-деловому протянула руку, и холодок Кедрова станет для неё жестоким ударом, да и на служебном реноме скажется. Знал бы Кондрат заранее об этой встрече, сел бы в кресло в домашнем кабинете, уставился бы на смешную фотографию Эйнштейна в затрапезных штанах, на которую любил глядеть в раздумьях, — словно мудрости набирался, — и, спокойно всё обмыслив, выбрал бы наилучший вариант. А тут — решай мгновенно!

И он вызвал огонь на себя.

Демонстративно заложил руки за спину, обратился к Бобкову:

— Филипп, вот она какая, нынешняя молодёжь. Невестка, оказывает-ся, работает в твоей конторе, я об этом знать не знаю, а она перед вами скрытничает. — Воскликнул наигранно: — Муж её в Институте мировой экономики! Да я сыну и без неё команду дам. — Повернулся к Ульяне, зорко отметив, что держится она стойко, ошарашенности не кажет, и, указав рукой на свободный стул, по-своейски кинул, почти скомандовал: — Садись, обсудим, как будем сотрудничать.

Откровенно говоря, Кондрат искренне и одобрительно удивился тому, как смело и умело Ульяна вошла в игру, хотя для неё ситуация была, пожалуй, ещё более острой и неожиданной, чем для него. И в общем деловом разговоре умудрилась ни разу не обратиться к нему по имени-отчеству, видимо, посчитав, что это будет недопустимой наглостью. Когда ушла, Бобков и Глаголев добродушно усмехнулись по поводу незадачливого свёкра, отметив, что родство в данном случае очень даже полезно для дела.

— Чего только на белом свете не бывает, — отшутился Кондрат.

Глаголев вдруг рассмеялся:

— Филипп Денисыч, всё-таки чудно́ мир устроен. Эту же фразу я слышал утром от одного странного человека, которого видел всего один раз, причём без малого десять лет назад. Правда, памятная была встреча.

— Чем же памятная?

— Я заглянул в Институт философии на кружок Щедровицкого, там Ладис, а с ним этот парень, они вместе в “Проблемах мира” были. Говорю, что в этом зале слушал знаменитого экономиста Василия Леонтьева, а он: я знал хирурга, который Леонтьева от смерти спас. Фантазии у человека, ясное дело. Я его и вразумил: чего на белом свете не бывает. На том и расстались, конфет ему в дорогу. А сегодня, через десять лет, вдруг звонит и напоминает ту фразу. Как пароль. Я его и вспомнил. Надо же, домашний телефон раскопал...

Бобков с Кедровым усмехнулись, но у Филиппа Денисовича была привычка разговор на полуслове не обрывать. Спросил:

— Звонил-то он зачем? Через десять лет...

— А-а, статью в “Правде” нашёл от 73-го года по “Плановому хозяйству”. Я был главредом, и мы из номера в номер долбали СОФЭ, отбивали атаку на косыгинскую реформу. И вдруг “Правда” ка-ак жажнет! Вредный журнал, не понимает линию партии. Один заголовок чего стоил — “Странная позиция”. Скандал превеликий, вы же знаете, что значила такая статья в “Правде”... Байбаков, Председатель Госплана, в тот же день вызвал меня для объяснений.

— Помню ту историю, — задумчиво сказал Бобков. — Громкая была научная дискуссия, эпохальная. Умы кипели, речиспусканий с избытком. Мы в те возбуждения и борения духа, в их горние премудрости не вмешивались. Какие там были помыслы и смыслы, кто из них относительно девственный, а кто абсолютно беременный, не домогались. И слава Богу. Дело сложное, была угроза не попасть в ноты и дать петуха. Нас по СОФЭ не задействовали. Но по некоторым персоналиям потом встал вопрос о государственной тайне.

— Я тоже помню. В ЦК большая суета шла по этому поводу, пафоса было много. Нашлись люди, которые вопрос о СОФЭ подняли на уровень подспудной борьбы за власть. Реформа шла успешно, и Брежневу шепнули, будто Косыгин, начинает с ним конкурировать. По этой части особенно Арбатов старался, а он человек серьёзный, руководил группой консультантов, и должность позволяла выходить на Леонида Ильича. Возможно, он и надул в уши Генерального об угрозе для его авторитета. А отдел науки выступил детонатором конфликта, размахивал мнением Академии наук.

Глаголев взбодрился:

— Очень интересно, Кондрат Егорыч! Дело в том, что статья в “Правде” вышла под псевдонимом, а на деле — в чистом виде позиция отделения экономики Академии наук. Когда на коллегии Госплана стали разбираться, этот след и всплыл. — Засмеялся. — Мне даже выговора не объявили, наоборот, в доверие вошёл. И статью в “Правде” замяли. А вообще-то, Кондрат Егорыч, как говорится, чтобы два раза не вставать, скажу ещё, что вы в моей памяти та-а-аке всколыхнули. Аз грешный в перестройку был членом редколлегии “Правды”, и Афанасьев... Он же академик, знал, какие щи в Академии варятся. Вот и рассказал мне про кукловодов за ширмой: что к той статье руку приложили академик-секретарь отделения экономики Федоренко, его зам по ЦЭМИ Шаталин и Арбатов, международник, который почему-то шёл по отделению экономики, он в ту пору членком был. Всё сходится. Как любил говорить мой шеф в Госплане, слону не притаиться.

— Владимир Сергеевич, я помню, из “Правды” вас помощником Слонькова брали, а вы сопротивлялись. Дело через меня шло, я, откровенно говоря, удивился.

— А вы знаете, кто меня сватал? Никогда не угадаете. Яковлев! Он напрямую Афанасьеву звонил. Виктор в войну был боевым лётчиком, мужик честный, открытый, позвал меня и говорит... Мы же с ним в паре работали: он главред, а я парторг “Правды”. Ну, и говорит: “Володя, на меня пошла охота, сначала решили из-под меня тебя выдернуть, знают нашу дружбу. Опасаются, как бы коллектив не взбрыкнул”. А что? Мы могли, время было самое-самое — 89-й год... Вот светочи перестройки и разыграли комбинацию: меня на повышение взяли, а через два месяца Афанасьева скинули. Наверное, Яковлев и подсказал сталинский приём: Сталин в “Правду” своего помощника Мехлиса посадил. А Горбачёв на место Афанасьева сунул своего помощника Фролова. — Весело рассмеялся. — Стоящие у кормила власти своё дело знают.

Долго молчавший Бобков вернул разговор в прежнее русло:

— По Арбатову я ничего не знал, нас цэковские дела не касались. А к СОФЭ мы подклучились уже после бала, после того Мамаева побоища. Косвенно, на этапе скандала с отказниками. Эмигрантские визы оформляло МВД, а с нашей стороны пошла проверка по гостайне, по этой линии без

пригляду, без караульной будки нельзя. И я был в курсе. Знал, что в основном они рвутся в Америку, но ещё и в Израиль. Знал, что на ПМЖ они подавали раздельно, а МВД их условно сгруппировало, чтобы не путать с колбасной эмиграцией. Не исключено, кто-то подсказал. Но не мы. Дело было такое шумное, что интересантов с лихвой хватало. И кто был первым голосом на клиросе, мне неизвестно. А секретчиков, насколько помню, мы не выявили. Нет, кажется, одного всё-таки не выпустили. МВД с разрешениями тянуло, потому они и считались отказниками. Года через два мы посчитали, и вышло, что за это время софистов человек тридцать уехали. Кстати, Володя, ты должен помнить, мы с Рыбасом Святославом о СОФЭ говорили, я и ему называл эту цифру.

— Ну как же, Филипп Денисыч, конечно, помню!

Кедров мельком глянул на часы, и Бобков начал закругляться:

— А этот, который статью в “Правде” нашёл, он зачем звонил? Кто в “Проблемах мира” работал, тот просто так не звонит.

— Встретиться хочет, какие-то у него вопросы. Я помню, он историк и, говорит, увлёкся историей СОФЭ. Но, видимо, копает основательно, если газету двадцатилетней давности отыскал. Что ж, художник ищет вдохновенья. Посмотрим...

Внизу, на выходе, Кедрова ждала Ульяна. Сказала сдержанно, но по глазам видно, с душевным жаром:

— Спасибо, Кондрат Егорович... Можно я вас до троллейбуса провожу?

Пока шли к подземному переходу через Новый Арбат, говорила:

— Меня в МОСТ Егор Яковлев устроил, через Малашенко. Думала, будет мутрно, но, что поделаешь, зато платят по нынешним временам терпимо. А оказалось, не скучно, люди кругом интересные.

Кондрат слушал вполуха, потому что решал в уме свою задачу. Когда прощались, сказал:

— Ты вот что... Когда получу первую зарплату, дам Дмитрию деньги, и ты купи чего надо. Как следует купи, теперь всё есть. Поняла? Надо нам это дело отметить.

5

После того как Заславская поставила крест на “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”, а на заводах начали избирать нужных перестройке директоров, вопрос о роли рабочего класса был решён окончательно, как и вопрос о судьбе колхозного крестьянства. Россия неумолимо вкатывалась в новую эпоху.

И вдруг на новостном горизонте возникли странности: красные директора, особенно в пристоличных регионах, вопреки властному состоянию умов, начали проявлять трогательную заботу о трудовых коллективах. Для нужд рабочих, техников, инженеров крупными партиями закупали ходовые товары — импортные кроссовки, пуховики, блузки, джинсы, видеомагнитофоны. Львиная доля налички, полученной от внеплановых, по сути левых, продаж продукции шла теперь, — разумеется, по настоятельной просьбе профсоюзов! — на покупку западных шмоток и бытовой техники.

Палыч, который со времён выставочного павильона стал для Рябоволов не только постоянным клиентом, но и близким другом, частенько заезжал на Лесную, где Виктор арендовал офис для своей новой фирмы “Гарант”. Павильон в Вешняках давно продали, да и выставка была уже не нужна: покупатели, оформляя сделку на Лесной, знали, что берут, и за товаром гнали на склады — да, да, склады, во множестве! — которые “Гарант” обустроил на вылетных магистралях, — с транспортом удобнее, — забирали груз без центровых пробок. В каждом из них была своя номенклатура продаж, что экономило время, давая быстрый рост оборотов. Да и зарубежные поставки шли почти без сбоя.

Для Рябовола Палыч оказался удачной находкой. Он не только горячо заботился о подчинённых на вверенном ему заводе, но и обратил в свою

веру чуть ли не дожины подмосковных коллег-директоров. Святое беспокойство о трудовых коллективах стало, на новомодном жаргоне, трендом времени.

Виктор уже давно не звал Палыча отобедать для делового разговора: в этом нужды не было, бизнес шёл сам собой. А холостые беседы Рябовол не уважал. Зато Палыч, усидчивый по части кабаков, давно набивший бумажник, ввавший в кабацкую удаль и от чумовой радости напропалую сорвавший деньгами, надоедал приглашениями поужинать. Ему, как он блял в телефонную трубку, очень интересно скучать в обществе такого умняги, как Рябовол. Виктору было недосуг, он отнекивался, ссылаясь на занятость. Но однажды Палыч позвонил с необычным предложением:

— Виктор, я такую едальню раскопал, что твои генацвале из “Арагви” в подмётки не годятся. Шампанское в серебряной подаче. Закрытый клубный ресторан! А клуб, клуб-то интеллектуально-деловой. В какой день тебя ждать на ужин? Потом спасибо Палычу скажешь. Записывай адрес.

Рябовол не ожидал от встречи ничего интересного и решил убить двух зайцев: и Палыча ублажить, и провести вечер с женой, которая начала поскрипывать о недостатке внимания. Приехали они на Таганку часов в семь, сказали, что ждёт господин Княжнин, и их провели к богато сервированному столу, за которым вальяжно расположился Палыч. Интерьером ресторан впечатления не произвёл, в Москве было уже немало шикарных заведений, которые основательно обследовал Виктор. Однако, денежно забронзовев, он обзавёлся благородной привычкой любые новшества воспринимать с осторожностью, — словно перед морским купанием, на ощупь пробовал воду ногой, не холодна ли, — и сразу учуял некий неуловимый, но привлекательный аромат этого с виду в общем-то заурядного местечка. И лишь внешне с безразличием отнёсся к обещанию Палыча познакомить его с хозяином ресторана.

Между тем, Княжнин, заказавший ужин на свой вкус, — знаю, чем потчевать! — как выяснилось, добивался встречи с Рябоволом не просто так. Дельце у него было маленькое, совсем, ну, совсем маленькое, о чём он извещил сразу после дружеских объятий. Но сначала поднял рюмку за Виктора, который указал ему ясную и широкую дорогу в новую жизнь, по которой он топает семимильными шагами.

— Давно мы с тобой, дорогой Витя, застольных бесед не вели, а время ныне стремительное, столько на этот шпindel наматалось, — постукал пальцем по лбу, — что тесно становится. Бытие директора завода ноне не такое, как раньше. Был у нас план, было финансирование, забота моя — производство ладить и только. Чем я пятнадцать лет нудно и занимался. А что теперь? Шапито! Плана нет, финансирования нет, никому моя мелкая оснастка для подводных лодок не нужна. Как выживать? В контексте обстоятельств штампуя мелочёвку на потребу дня, да разве на ней уцелеешь? Чтобы резьбу не сорвать, пришлось один цех сдать под автосервис, под складик галантерейный, а ещё выгородил в нём пару комнатушек для какой-то фирмочки. На следующий цех клиентов пока нет. Остаётся одно: с твоей драгоценной помощью заботиться о трудовом коллективе. Опрокинем? Полная рюмка пальцы жжёт.

Выпив, смачно крякнув и закусив морепродуктами в тыквенном соусе, продолжил:

— Сам понимаешь, сполна твои шмотки на заводе не расходятся, мужикам мелочь перепадает, денег у них мало. Окладами нынче только святые довольны — у икон-то оклады богатые. Вот и приходится твои тряпки по коммерческим магазинчикам рассовывать, а в основном-то по рынкам. Есть у меня люди, которые торгуют с рук, у них всё идёт с колёс. Сейчас ведь как? Челноков пруд пруди, народ за бугор бросился не глаза на ихние красоты пялить, не комфортом услаждаться, — вояжёры ходовой товар ищут. Из Польши утварь хозяйственную везут, из Турции — тряпьё, куртки кожаные, польта. А где продавать? Вот стихийно, на пустыре у нас вещевой базарчик и расцвёл, словно мак весенний. Власть не мешала, ей главное, чтоб лохи не проснулись, чтоб народ в политику не лез. Ну, я своих людей туда и выставил, вдобавок божар нищих поднанял, и всё вроде бы тип-топ. Но мак-то весенний, он увядчивый. Вдруг говорят: Игорь Палыч, к нам люди

подходили, требуют денег, что мы здесь торгуем, на поместные талоны им плевать. Спрашиваю: милиция в штатском? угрозыск? Не-ет, не милиция, лихие ребята, бестормозные, грязноротые, грозят товар сжечь, моргалы выколоть, коли не заплатим. Женщинам вообще пугающим размером грозят. Извини, Альбина, за прямоту. Я думаю: ну, ничего, уж я-то на них управу найду, с городским начальством в дружбе, с милицией — тоже. Они же часто обращаются: одно им сваривыточка, другое. Но решил заглянуть на базарчик, глянуть. А там — ма-ать честная! Дела-то пошли извратные — бандиты! Всех оброком обложили, с этим гоп-стопом, ну, никак не сладить, это я сразу понял. Честной жизни учат воры. А начнёшь противиться — это крик в пропасть. Да вдобавок: руки вверх, ноги в шпагат! Глядишь, как Аль Капоне встречу с Богом организуют. — Освежил рюмку. — Альбина, уважаемая, извини за скучный спич и позволь поднять этот бокал за тебя, достойную подругу жизни глубоко мною уважаемого Виктора Георгиевича.

— Игорь Палыч, а вы, оказывается, расшаркиваться умеете распрекрасно, — хохотнула Альбина. — Но ошибаетесь, речи ваши мне не скучны, а более того, весьма. Давайте-ка пригубим, и жду продолжения.

— А продолжение, уважаемая Альбина Дормидонтовна, прозаическое. Я всю жизнь с людьми работаю, знаю, как с кем разговаривать. Ну, быстро и попросил этих ребяташек о встрече с главным-вождяком-старшаком, объяснил, что мои люди — не лохи с рынка. Не только договорился с ним об аккордной плате за всех своих, но и в доверие к нему вошёл. А когда вошёл в доверие... Тут, дорогой мой Виктор, настоящая сказочка и начинается. До этого всё было присказкой.

— Погодите, погодите, Игорь Палыч, мы ведь за встречу ещё не выпили, — заверещала Альбина, предвкушая интересную историю. — Да и закусь надо покрепче, а то, глядишь, вы такое загниёте, что не до аппетита будет.

— Умная у тебя жена, Витя, — улыбнулся Княжнин. — Знает, как подбодрить. Ну вот... Значит, вошёл я к этим бандитостям, к этим конкретным путёвым пацанам с бейсбольными битами в доверие, избежал их жестов злой воли и мигом во всё разобрался. Ребятунки сообразили обложить данью не только базарчик, а всё, до чего руки дотянутся. Говорят, твой завод у наших расстановщиков в графике, ты автосервис к себе пустил, а его охранять надо, чтобы не сгорел. Время лихое, не ровён час, тать в ночи керосинчику плеснёт да спичку бросит, тебя от бесов корчить станет. А у наших клиентов, говорят, синдром пациентов венеролога — кого вылечили, никогда больше не появляется. И вообще, когда доктор сыт, больному легче. А тон угрозный. Короче говоря, Витя, чую, дармовых денег у ребятуншек немерено, все не пропьёшь. Я и вбросил: а куда же вы их вложите? В сберкассу понесёте? Они сперва — гы-гы-гы, и мне: “Вас тут не нужно”. Мозги-то у них, как у курицы гузка, только на гыканье и хватает. Пришлось посоветовать: а лучшее бы соорудить вам, ребятуншки, в нашей округе какой-нить заводик по выпуску лимонадов. Народ, он прохлаждаться любит. “Какой заводик? Ты что, спятил? На кой? Да и кто позволит? На базарчике мы хозяйева, милиция в кармане. А если заводик, надо к власти на поклон идти”. В общем, послали меня по известному адресу. А через неделю приезжает этот главный, грива поколень, черепаха полосатая, и жирным баском: Игорь Палыч, посоветовались мы кой с кем, ваша правда — надо копейку в дело пустить. Но, может, для начала какой ресторанчик? Оно попроще. — Палыч перевёл дух. — А я ему: заводик, ресторанчик — какая разница? Всё равно на местную власть выходит, а у нас такой коммунака сидит, что каши не сварить. В затылке чешет, что же делать, спрашивает... — Воскликнул со смехом: — Альбина Митрофановна, обрати внимание, какая светлая голова у твоего доброго знакомого Княжнина Игоря Палыча! Какие светлые мысли ждут залпов в его ракетных погребах! Какой демонический ум! Я ему — барабанная дробь! — с ходу и выдаю: через два месяца выборы местной власти, надо бы вам своего человечка главой администрации заиметь, тогда все вопросы решите экспресс-методом. Он глаза выпучил и снова: надо кой с кем посоветоваться. Я ему: ну, советуйтесь, советуйтесь... Короче

говоря, уважаемая Альбина Никодимовна, эти ортопеды из кожи вылезли, денег на выборы вагон с большой тележкой отпустили, а мэром кого избрали? — Раскатисто хохотнул. — Своего зама я им подсунул!

— Ну-ка, ну-ка, подробнее, — заволновалась Альбина.

— А что подробнее? Хо-орошую песню принёс ветерок. Каждый месяц они ему конвертик заносят, а он им нужные бумажки подписывает. Участок под заводик уже оформили, строителей подбирают. И я не в накладе — мошенник на доверии. От оброка освобождён — раз. Свой, можно сказать, родной человек во власти — два. А главное, у ребятшек я теперь в бо-ольшом авторитете, жить стало легко.

— А тебе-то они подбрасывают? — вступил Рябовол.

— Месяц от месяца всё больше заносят! А я не беру. Зачем мне их конверты? Портной всегда в лохмотьях.

— Как зачем? Ты нас на какие шиши потчуеть?

— Э-э, Витя, недооцениваешь ты своего приятеля Княжнина, как пить дать, недооцениваешь. Я не фефел, в зле не живу, в несообразностях не уличён, воздержанием от разума и психрасстройством не страдаю, виагру не принимаю. На хлеб-соль, на шашлычок-коньячок, на плошку с осетровой икоркой, на эспрессо с круассанами да на дружеское застолье я себе сам заработаю. Кормовая база в порядке, только не мешайте. А прилипать к тем ребятюшкам мне не с руки. Таких друзей за нос да в музей. У них свои тёрки, не они одни жаждут дармовые деньги с базарчиков, словно нефть, качать, конкуренты есть. А в их деле конкуренция кровью пахнет, на них кирпичи с неба падают. Мне-то зачем в бандитские разборки соваться? Лучше за углом буду дежурить. У меня другие гусли-мысли есть.

— Синонимы у тебя сегодня много. Давай, излагай.

— Нет, Витя, сначала мы ещё по рюмочке пропустим и закусим основательно. Верно я говорю, Альбина Варфоломеевна? А потом временно сменим тему. Витя! Чтобы у нас всё было и за это нам ничего не было! Пью стоя! — Но остался сидеть и воскликнул: — О-о! Императорскую ушницу с имбирной водочкой да растегаями несут. Ребята, хватит болтологий! Приканчиваем поскорее фаршированную щуку и — за уху. У нас сегодня рыбный день. Впереди тунец с авокадо.

Палыч с показательной страстью принялся за трапезу, неразборчиво, с набитым ртом нахваливая своё сегодняшнее гастрономическое меню и вдохновляя Рябоволов на чревоугодие. Поглощая уху, причмокивал, вертел головой, демонстрируя высшую степень наслаждения, потом тщательно вытер салфеткой губы, приосанился и сказал:

— Та-ак, други мои, мы с вами обо всём переговорили, кроме главного. И введу вас в курс дела. Мы с вами имеем честь пребывать в замечательном питейном заведении, на базе коего заседает Интеллектуально-деловой клуб Николая Ивановича Рыжкова.

— Того самого? — воскликнула Альбина.

— Вот именно! — в тон ей на эмоциях откликнулся Палыч. — Здоровья его роду! — И уже в спокойной манере принялся разъяснять ситуацию.

Оказалось, примерно раз в три недели этот ресторанный зал преобразуется. Столы ставят прямоугольником вдоль стен и окон, и за ними восседают знатные люди, которых Палыч и мечтать не мечтал увидеть живьём, а тем более услышать. Ибо речи звучат потрясающие. Кто только здесь не бывает! Министры, в основном бывшие, учёные, депутаты, дипломаты, бизнесмены. Такие люди, что он, Палыч, только на ботинок может им плюнуть. Бездна премудрости! Но текучка, вот в чём сказка! Заседания тематические, приглашают на них по списку, а потому столько проходит через клуб знаменитостей, что не счесть. Хоровод имён, карнавал высокознатцев. С пузырями на коленках брюки сюда не ходят. Но есть и костяк. После серьёзных разговоров столы вмиг накрывают, богато, достойно. И идёт застольный обмен мнениями — ну, это вообще! А за чей счёт банкет? О! Для того костяк и нужен. Гости-то, они именитые, их приглашают. Заслужить надо, чтобы в их компанию прорваться. А как заслужить? Взносы, взносы, дорогие мои ребятки.

Рябовол поморщился:

— Обычная история. Билеты, чтобы на цирк с конями поглазеть.

И тут же получил чувствительный удар каблуком под столом.

— Игорь Палыч, а смысл-то этих заседаний в чём? Ну, интересно, ну, поговорили — и разошлись? А дальше-то что?

Княжнин долгим взглядом посмотрел на Альбину, потом сказал Виктору:

— Твоя светлая голова без жены гроша ломаного не стоит. Она лучше тебя знает, куда твои мозги повернуть, в корень смотрит. Глубокий ты вопрос задала, Альбина Батьковна. Слушать здешние речи интересно, даже очень, я такого никогда не слыхивал. Но не цирк это, не концерт, не театр с дорогими ложами... — Сделал короткую паузу. — Самое-самое, Виктор Георгиевич, в том, что здесь деловые знакомства заводят, вот в чём фишка. Тыфу на меня, коли не прав, но нигде ты с такими людьми не сможешь пообщаться, кроме как в этом клубе. Тем более в застольном варианте. А что такое застольный вариант — не тебе объяснять. Понял, дорогой мой?

Рябовол снова скептически прищурился одним глазом и снова получил подстольный удар каблуком.

— Игорь Палыч, а можно подробнее.

— Не только можно, но и нужно, дорогая Альбина. Как человек технического звания обобщённо скажу главное. Через этот Интеллектуально-деловой клуб ваш замечательный муж приобщится к высшему обществу, к элите, к сливкам-пеночкам нынешним. А там, уважаемая... там иные возможности открываются. Я человек полёта невысокого. Что такое директор среднего заводика, застрявший на должности к пятидесяти годкам? Залежалый товар, таких пучок за пятачок. Но знаю, как преуспевают те, кто успел вовремя прислониться к высоким людям. А сейчас и вовсе время такое, что не зевай. Ваше время, Виктор Георгиевич!

Подозвал официанта, что-то шепнул, и через несколько минут к их столу подошёл среднего роста приятной наружности человек с гладко зачёсанными каштановыми волосами. На пальце — мужской статусный перстень с золотым охватом.

— Игорь Палыч, привет!

— Владимир Владимирович Семаго, хозяин заведения, — представил Княжнин и показал ему на свободный стул. — А это мои друзья, о которых я вам говорил. Они в восторге от вашего ресторана.

Махнул рукой официанту, чтобы принёс ещё одну рюмку.

— Нет, нет, — небрежно откrestился Семаго, разглядывая Виктора и Альбину. — С гостями не пью, это закон... Рад, что вам здесь уютно. И, добавлю от себя, спокойно. Залётную публику мы не принимаем, загульные компании не жалует, папарацци не пускаем, чтобы без компромат-фото. Клуб создавали ещё на кредит советского “Интуриста”, да так и остался он под опекой власти. Это известно, потому никто к нам с крышеванием не лезет. — Засмеялся. — Теперь ведь как? Бандиты охраняют честных граждан. Был, правда, один случай. Пришёл некий деятель с ковбойским менталитетом и через слово с матерным подтекстом, между прочим, в известных кругах известный, знающий, как правильно входить в тюремную камеру, чтобы тебя уважали. И давай меня трамбовать. Дал неделю на размышление. Ну, я, когда его провожал, под корень и подсёк: на выходе вручил кассету с записью нашего с ним приватного разговора. Он всё понял и больше не совался.

Посмеялись, и Палыч перешёл к делу:

— Владимир, ладно баешь, но мы с Виктором хотели с тобой о клубе поговорить.

Семаго, видимо, был готов к такому разговору и сразу ответил:

— У нас практика такая. Пусть Игорь Палыч даст ваши координаты, и мы пригласим вас на очередное заседание. Осмотритесь, почву прощупаете, увидите-услышите, что к чему, и если сочтёте для себя полезным бывать у нас регулярно, обо всём и договоримся.

Разговор исчерпал себя, но как раз в этот момент в дверях появились импозантная женщина в леопардовом платье, выше среднего роста, да ещё и на шпильках, — всё при ней, только шляпы и летних перчаток не хватает! — и мужчина в просторном пуловере с напуском. Семаго извинился:

— Простите, я должен их встретить. Званный ужин, мои гости. Дама, приятная во всех отношениях, — пресс-секретарь МОСТА, у меня с ней переговоры.

— Гусинского зовёте? — с придыханием не выдержала Альбина.

— Не прокатит, для Гусинского мы птица мелкая, да и не нужен он нам. — Понизил голос: — Договариваемся пригласить генерала армии Бобкова, он у Гуся главный аналитик. Вот это интересно. Извините, до встречи.

Когда остались одни, Виктор недовольно попенял Княжнину:

— Без меня меня женили? А если я не приду на этот твой клуб?

— Игорь Пальч, — вмешалась Альбина, — не надо, дома я всё ему объясню. Придёт как миленький.

Княжнин умолк, добросовестно расправляясь с тунцом и авакадо, потом вдруг отложил в сторону вилку, задумчиво, невидящим взором уставился на высокий переносной торшер в конец зала. И Рябоволы увидели перед собой совсем другого Княжнина, вовсе не развесёлого простака Пальча с грубоватыми шутками-прибаутками, не балагура с вечной полуулыбкой и похотатыванием по любому поводу, а кондового, матёрого мужика, на лице которого проступала твёрдая решимость добиваться своих целей. Перестав валять ваньку, посмотрел в глаза Альбине:

— Нет, уважаемая, всё вы этому субъекту объяснить не сможете, потому что пока вам не ясен мой замысел... Я человек, к великим общественным свершениям не приспособленный, с этим у меня не задалось. Но в силу директорской изворотливости вписался в рынок и хорошо знаю, что мне нужно. А нужна мне спокойная сытая жизнь, полная вот таких чревоугодий и некоторых иных волшебных прелестей, само собой, с перспективным обеспечением домочадцев и наследников. Такую жизнь я ещё на заре святых девяностых себе обустроил, научился, не сея, урожаи собирать. Теперь, как говорится, только кутить да шутить. Но на баню надейся, а вишей-то прибирай. Для увековечения достойного статуса требуется надёжная страховка, потому что нынешний шабаш мародёров скоро прикроют. Снизу я себя подстраховал: местный начальник — свой человек, а сейчас это куда как важно. Но хочу подстраховаться и сверху. Вот и подумал: если по моему совету лихие ребята потратили мульоны на то, чтобы в городе избрали нужного мне — мне! — человека, почему бы не посоветовать моему другу голубых кровей Вите Рябоволу потратить каплю своих капиталов на то, чтобы... — нагнетая интригу, сделал затяжную паузу, — стать депутатом Государственной Думы? Свой человек в Думе — это как раз то, что мне надо. Страховка сверху. Дружба, Витя, теперь предприятие коммерческое.

Виктор и Альбина, тоже отложив в сторону вилки, молча смотрели на Княжнина выпученными глазами, переваривая услышанное. И он, что называется, вбил гвоздь по шляпку:

— Витя, ты пока не понимаешь, что означает в бизнесе вторая тяга, особенно политическая. А когда войдёшь в этот круг, — обвёл руками зал, — даю палец на отсечение, встретишь человека, который поможет в этом благородном деле. Да, за деньги. Которые у тебя есть. Я же кумекаю, что западное тряпье ты хорошо под нашу лейбломанию угадываешь, берёшь его дешевле некуда, а нам скидываешь с наценкой двести процентов. Но без жлобства, чтобы мы ещё сто могли добавить и свои миллиарды триллионов до последней молекулы взять. Бум лёгких денег! Хотя деньги решают не всё. Но то, что не могут решить деньги, в состоянии решить большие деньги. А вопрос, который даже за большие деньги решить нельзя, наверняка решат очень большие деньги. Ты меня хорошо понял, Витя? Вот это и есть моё маленькое, совсем маленькое к тебе дельце.

6

11 октября 1994 года разразилась катастрофа.

Крах Московской валютной биржи был внезапным и обвальным. Рубль рухнул почти на треть, “чёрный вторник” вошёл в историю.

Как испокон веку повелось на Руси, сразу раздался вопль: “Кто виноват?” И в трогательном согласии с теорией первой информации, на людей,

и без того озабоченных вздорожанием жизни, прекрасно знающих, что за прыжком доллара неминуем скачок цен, обрушилась лавина версий. Вице-премьер Шохин первым косвенно намекнул на “банковский след”, заявив о “спекулятивном характере” биржевой паники. Лидер “Выбора России” финансовый гуру Гайдар, под лозунгом “Всё купим!” сокрушивший экономику, причмокивая чаще обычного, обвинил в развале валютного рынка коммунистов, а пресс-секретарь Ельцина Костиков, изощрённый в обличении недругов, в тон ему напомнил о “гуляющих” где-то “триллионах КПСС”, способных разрушить биржу. Кое-кто из особо рьяных журфакеров даже Сталина начал дёргать за усы.

Оголтелая информационная истерика, оргия бичевания зашкаливала, полуправда смешалась с полукривдой, новостные сводки переросли в новостной бум. Медийный шторм грозил задымлением мозгов. В итоге туман домыслов, слухов и сплетен сгустился настолько, что погрузил страну в мутную атмосферу страха.

Но уже на следующий день разноголосица, словно по команде, разом стихла, и звонко, мощно, скандально, с интригующими обертонами зазвучала одна-единственная тема — “Заговор банков”! Медийная свора, десятки разнокалиберных газет, используя широкий набор пиаровских ухищрений, подхватили её, о том же завопили радио, ТВ. Галдёр обличителей был необычно громким, а “фастфудное” поведение прессы, призывавшей гнев Господень на банки, явно носило заказной характер. Журналистка Московского телеканала задала вопрос Председателю думского комитета по экономике Глазьеву: “Есть информация, что паника на валютной бирже организована “Группой МОСТ”, так ли это?” Глазьев уклонился от ответа, но дело было сделано, слух запущен, и оставалось только гадать, кто и сколько заплатил той пустой бабёнке за расчётливый вброс дезы. “Новая ежедневная газета” тоже намекнула, что за “чёрный вторник” ответственны банки, в том числе МОСТ. “Банковский след” активно разрабатывала “Общая газета”. А газета “Завтра” сослалась на директора Федеральной службы контрразведки Степашина, который якобы в этой гнусной истории особо выделил роль “МОСТ-банка”. Но всех переплюнул знаменитый своим ритуальным словоблудием роковой провидец спикер верхней палаты Шумейко. В марафонском спиче на каком-то совещании, жертвуя своей репутацией, он громогласно заявил, что “чёрный вторник” учинили банки, а наибольшие барыши 11 октября получил “МОСТ-банк”, заработавший на обвальном падении рубля 14 миллионов долларов.

Множились опасения, что над Гусинским сгущаются тучи. Писали, что Аннушка уже пролила подсолнечное масло, и это служит символом неотвратимости наказания.

Что до других банков первой линии, на которых пало подозрение, то Ульяне Пименовой на них было плевать. Но МОСТ! Она отчаянно, помогай Бог, металась по газетно-телевизионным редакциям, организуя интервью с Гусинским и его партнёрами, которые опровергали наветы и наговоры. А одновременно пыталась прощупать, от кого исходит атакующий импульс, кто продвигает версию “банковского следа”, с чьего голоса поют отходную МОСТу. Примчалась в “Общую газету” к своему давнему патрону Егору Яковлеву и обомлела: вопреки ожиданиям, с ней разговаривал какой-то совсем-совсем другой, незнакомый человек.

Хотя внешне Яковлев не изменился, перипетии последних лет, видимо, не прошли для него даром. После развала СССР Ельцин поставил его на Центральное телевидение, а через год бесцеремонно “попросил на выход” — нормальный ельцинский стиль. Егор рванул назад, в “Московские новости”, но здесь его поджидало унижительное фиаско. Вышел конфуз: коллектив категорически, наотрез отказался от услуг прославленного сокрушителя прежних партийных основ. Это был нокдаун, Яковлев озлобился, пустил в ход последний, неприкосновенный запас былых связей и отхватил у новых властей хороший финансовый куш на создание “Общей газеты”, чтобы соперничать со своей альма-матер, которую тогдашние медийные остролслы уже начали называть “помесью осла и кобылицы”, потому что в газете орудовал Лошак.

Этим Яковлев и жил.

Ульяна впустую пыталась объяснить ему, что в данном случае финансисты не виновны, что МОСТ 11 октября не продал, не купил ни одного своего доллара, он лишь выполнял биржевые заказы клиентов, и в тот день его выручка на процентах за сделки составила 42 тысячи долларов — всё! Вот выписки с торгов. Но Егор ни о чём и слышать не хотел, он с восторгом обличителя говорил о “заговоре банков”, который в тренде. На этой волне “Общая” должна всем “вставить фитиль”, а лично он, Яковлев, намерен набрать на этом вистов. Так и сказал азартно: “Набрать вистов”. Преферансом увлётся, что ли?

— Шумите с Шумейко сами, я-то знаю, что у банков физиономия в пушку, — решительно отнёс он просьбы Ульяны. — А что касается твоих предложений, мы, конечно, люди свои, но это не тот случай. Я пас. Пойми, меня не поймут.

— Кто не поймёт, Егор Александрович?

— Ульяна, не лукавь. Лучше скажи Гусинскому, пусть не рвёт на груди тельняшку. Ты не хуже меня знаешь, что у Шумейко обе руки левые, что он всегда держит нос по ветру, нюх у него, как у породистого спаниеля. Непроста он вас застрасал. Назвать сумму барышей МОСТА! Ты понимаешь, что значит конкретно виноватить? С высоты Совета Федерации сделал вброс, и сейчас в вас вцепятся ТАСС, Интерфакс. А я вылезу в роли вашего адвоката?... Ульяна, очнись. “Общая газета” — взыскательный созерцатель жизни. А уж что мы насозерцаем, прочитаешь в свежем номере.

О непривычных, банальных, вовсе не задиристых, как было в “Московских новостях”, редакторских нравах “нового” Егора Яковлева Ульяна, конечно, рассказала в застольном разговоре на Староконюшенном.

Кондрат Егорович пригласил их, говоря его словами, для закрепления родственного знакомства, и воскресный, надо сказать, весьма обильный обед получился на славу. Ульяна с Димкой долго судили-рядили, брать ли с собой сына, но в итоге сошлись на том, что Данила и Никитка — братья, хотя и сводные, а потому пусть сызмальства растут в тесной дружбе. И вышло всё наилучшим образом: Данила на правах старшего возился с Никиткой, а взрослые спокойно беседовали за столом. К тому же Ульяна мудро взялась помочь Зинаиде Валентиновне в кухонных хлопотах, отведя свекрови роль командующего, отдающего приказания по части взять-принести, — у каждой хозяйки своя швабра! — и гостевая атмосфера превратилась в домашнюю.

По молчаливому взаимопониманию, о внезапной встрече у Бобкова не вспоминали, ибо пришлось бы друг друга нахваливать. И разговор почти сразу вошёл в обыденное русло: Кондрат Егорович спросил о роли “МОСТ-банка” в биржевой панике “чёрного вторника”, — понятное дело, вопрос интересовал его не со стороны, не обывательски, а предметно. Зарплата неплохая, что да как с МОСТом — теперь коренной интерес. И Ульяна подробно растолковала про “заговор банков”, про наезд на Гусинского. О встрече с Яковлевым вспомнила. Кондрат Егорович, его не жаловавший, уточнил:

— Я правильно понял, что Яковлев, который в перестройку проказил и играл первую скрипку, сейчас как бы ушёл в тень?

— Абсолютно точно. И знаете, Кондрат Егорович, мне показалось, что он... Как бы вернее сказать... Не то, что побаиваться стал или осторожничать, но вроде как заигрывает с новой властью. Похоже, раздемкратился наш Егор Александрович. И настроение у него, я бы сказала, ожесточённое. Но знаете, Кондрат Егорович... У Егора всегда был вид человека очень независимого — высокий, прямой, с гордой посадкой головы. А сейчас что-то в нём неуловимо изменилось, голову уже не так держит. И где его перестроенное воодушевление? Он же победил! Кстати, я ему крупную сумму предлагала, весьма крупную. Вижу, очень хочет взять, поначалу даже подумала, что он для порядка мнётся, а взять — возьмёт. Это же при открытом разговоре сразу чувствуется, тем более у меня на сей счёт опыт есть, мы часто заказные публикации практикуем. Все газеты сейчас промышляют “джинсой”. — Вдруг рассмеялась. — Кондрат Егорович, хотите, расскажу, почему Филипп Денисович мне благоволит?

Дмитрий тоже рассмеялся:

— Отец, сейчас услышишь, какая у тебя невестка. Давай, Уля, излагай, чего стесняться? Знай наших!

Случай действительно был особый. Ульяну послали в одну из “вражких” газет договариваться о небольшой заметке, но срочной заметке, как ни странно, против МОСТА: это была хитрая игра Гусинского, который хотел показать Ельцину, что его трамбует оппозиция. В той редакции у Ульяны была своя рука, и она быстро согласовала параметры “джинсы” — 500 долларов. Позвонила Бобкову, кратко отчиталась: “Ставят в номер. Пять. Привезти надо сегодня. Еду в контору”. Быстро поднялась на девятый этаж, взяла приготовленный конверт и — снова в редакцию. Но в такси полезла в сумочку за помадой, наткнулась пальцами на конверт и с удивлением подумала: “Что-то он не в меру толстоват”. Приоткрыла — мать честная, там не пятьсот долларов, а скорее всего, пять тысяч. Вышла из такси на квартал раньше, пересчитала деньги — верно, пять тысяч! Мысленно усмеялась: в МОСТе доллары считают не сотнями, а тысячами. Понятное дело, отдала пятьсот, а остаток вернула.

Опять засмеялась:

— Кондрат Егорович, можете спросить у Глаголева, он в курсе. После того случая я для Филипп Денисыча стала своей.

— Дурочка с переулочка! Четыре с половиной тысячи долларов упустила, а! — с наигранной строгостью воскликнул Дмитрий. — Мы за каждый рубль с ней бьёмся, а она миллионнами швыряется. Отец, я же тебе говорил про её облик морале, это особа особая. Всё в порядке, отец!.. А Яковлеву ты сколько сулила, Уля?

— Во-первых, не я, условия мы в конторе обговорили заранее, с вилкой, если пойдёт торг. А во-вторых, там речь в принципе шла об иных деньгах, очень уж была ситуация острая. Но Яковлев испугался. Не брать испугался: он и мне лично, и МОСТу полностью доверяет. Испугался дать статью против мейнстрима. “Московские-то новости” наш корифей именно на таких противоречиях поднял, всегда наперекор норовил. А сейчас опасается, прицел у него сбился, сейчас у него папперсы поверх брюк. У меня впечатление, он уже не в игре, боится, как бы не потерять то, что есть.

Дмитрий почесал в затылке:

— Поди ж ты, каким стал, видимо, устал воинствовать, поджал хвост. А знаешь, отец, ведь и Карякин куда-то подевался. Он, конечно, есть, изредка мелькает, но поблэк, стушевался, раньше-то в первачах ходил, дня не было, чтобы телевидение или какая газета ему массаж не устроили. А сейчас присмирел наш Юрий Фёдорович, прямо коровка божия. И не звонит, чувствуется, что-то у него пресеклось, не на стремнине он, как раньше. Да и по поводу его книги о Достоевском шум утих.

Ульяна поддакнула:

— А Заславская твоя ещё в 92-м году, сразу после развала СССР, сама ушла из ВЦИОМа. Сама-а! Никто не неволил, никто на неё не наезжал. Не слышно, не видно теперь звезду перестройки. Академик, занята научной работой в кабинетной тиши. А уж как гремела! Уж как вциомия Заславской славила! Сколько, по Яковлеву, вистов главному Яковлеву принесла!

— Да-а, лихая ей досталась доля, — ухмыльнулся Дмитрий. — Душу леденит. Была ведь главным лейб-академиком по части общественных наук.

Кедрова, оторванного от закулисных политических новостей, неожиданный и быстрый закат перестроечной гвардии удивил изрядно. Он понимал, что во властной сфере разношёрстные, разночинные ельцинские нукеры неизбежно должны были потеснить горбачёвскую плеяду, возвращённую в “Проблемах мира”, — *мавр сделал своё дело, мавр должен уйти*. Но предполагал, что герои перестройки останутся полновластными лидерами общественного мнения, очень уж они раскручены. Ан нет, новые заправили жизни в них не нуждаются, сами с усами. Но Заславская-то сама подала в отставку и сразу после их победы...

— Ульяна, ты всех их знаешь, и если прикинуть на круг, что с ними сейчас?

— Сходу и не вычислишь, надо, Кондрат Егорович, на бумаге вспоминать. А если навскидку, кое-кто всё ещё на плаву, но раньше-то они вместе держались — прорабы! А теперь бредут врозь, каждый за себя. Известно, некоторые сразу после краха СССР махнули за рубеж — и поминай как звали.

— Да-а, интересно, интересно... Понимаешь, Ульяна, вся эта дистиллированная публика, которой хрущёвская оттепель слишком уж ударила в голову, она на девяносто, ну, пусть на восемьдесят процентов в своё время прошла через меня, я их в Прагу оформлял. Лично знаю лишь некоторых, но представление имею о каждом. Кое-кого пометил бы сапожной ваксой. О них кулуарной болтовни было много, на виду они были. И мне любопытно, как у них сегодня складывается... Ну, да Бог с ними, растолкуй-ка мне лучше, что с твоим “заговором банков”.

— Неясно всё и странно. Я в курсе в том смысле, что банки по “чёрному вторнику” ни при чём. Накат явно идёт для отвода глаз, вы же знаете, кто первым кричит: “Держи вора!” Кстати, я вам вот что ещё подброшу. Кто сразу подхватил версию о банковском следе? Вице-президент “Чейз Манхеттен”, женщина, не помню, как звать, которая завопила, что виноваты банки-спекулянты и для нормализации финансов надо широко пустить на российский рынок иностранных банки.

— Которые вмиг приберут наши к рукам и проглотят, — усмехнулся Дмитрий. — МОСТ — это же малявка по сравнению с акулой “Чейзом”.

— Извините, Кондрат Егорович, вы у нас сотрудник, так сказать, молодой, новый и не знаете, что полгода назад случилось. “Уолл-стрит джорнэл” дал статью, в которой обвинил “группу МОСТ” в связях с оргпреступностью да вдобавок назвал её “симптомом нового влияния чекистов”. Сами понимаете, на Филипп Денисыча намекнули. Мы сразу подали иск в Королевский суд Великобритании, и надо же, как ни удивительно, иск удовлетворили. “Джорнэл” извинился за публикацию порочащих фактов.

— Да ну-у! А Филипп ни слова.

— Да, да. Я вам больше скажу. “Вашингтон таймс”, так та прямо написала о трёх ведущих российских банках, которые якобы приняли участие в масштабной валютной спекуляции. Мы ведь всё отслеживаем. Газетка, конечно, вшивенькая, но вброс был заметным. Так что, как знать! Может быть, из-за рубежа подбрасывали.

— Мы в институте тоже следим за отзвуками “чёрного вторника”. На Западе, конечно, подогревают, хотят под шумок захватить наш финансовый рынок. Но для меня, Уля, обвал рубля всё-таки остаётся загадкой. Сама посуди, во вторник рухнул, а в четверг, считай, полностью восстановился.

— Дима, рубль-то восстановился, а цены как на треть прыгнули, так наверху и остались, — досадливо покачала головой Зинаида Валентиновна.

— В том-то и секрет, мама. Если банки, как утверждает Уля, на “чёрном вторнике” не наварили миллионов, а цены подскочили, что это было?

— Политика это была, вот что, мои хорошие, — вздохнул, подводя итог, Кедров и полушутя добавил: — Дмитрий, даём тебе партийное задание: разберись. Ты в экономическом институте, у тебя под рукой вся информация, займись этим делом. Доложишь на таком же семейном обеде.

То гостевание в Староконюшенном стало для Ульяны рубежным. Она не только спокойно, легко вошла в семью Кедровых полноправной невесткой, но ясно теперь старикам, что сын сделал достойный выбор. То, о чём она фантазировала с первого дня жизни с Димкой, о чём чуть ли не каждодневно молилась, чего ждала с нетерпением и одновременно с тревогой, случилось буднично и просто. Надо же, встретились с Кондратом Егорычем в МОСТе. Судьба!

Но вместо радости её придавили тяжёлые думы, тревога сменилась страхом.

Это душевное состояние было ей знакомо. Когда-то лет пять она мучилась ужасными опасениями остаться не только безмужней, но и бездетной и, в конце концов, оказавшись в “пике тушика” — так ей мерещилась ситуация, — в три недели выскочила замуж за благополучного Краснопевцева, к которому не испытывала никаких чувств, кроме заурядного уважения.

А потом встретила того, кого сто лет ждала, и материальная сторона брака утратила для неё ценность. Сегодня история повторяется, но ситуация много сложнее, и тревожений куда больше. Да, квартирная проблема, по счастью, разрешилась лучше некуда: они живут в трёхкомнатной на Люсиновской. Но круто изменился их жизненный статус, бывших Димкиных заработков нет и в помине, приходится с напрягом пахать в четыре руки, жить рачительно, спасает приличная зарплата в МОСТе, хотя в гуччи она, конечно, не ходит. А нервы опять на пределе.

На Данилку, синь порох в глазу, она надыхаться не может. Но страстно хочет родить от Димки, до одури мечтает о втором ребёнке. И неустроенность отношений со свёком служила для неё как бы самооправданием затыжки с этим святым делом, хотя, откровенно говоря, она просто боялась уйти в декрет, ибо в нынешних реалиях это почти наверняка означало потерю хлебного места. И как жить дальше с двумя детьми на руках? Грошовыми уроками? Вдобавок Господь сулит гнилые годы. Теперь отношения с Кондрат Егорычем наладились, а потому вопрос о втором ребёнке напрямую, лбом упёрся именно в меркантильную сторону жизни, которая обещает стать зыбкой. Но затыгивать с каждым годом всё опаснее — девушка-то на возрасте!

“Заговор банков”, суета вокруг МОСТА, загадка “чёрного вторника” — всё это стало теперь лишь внешним антуражем её жизни. Душа была наполнена прежними мучительными переживаниями, на уме только одно: родить, родить, родить! И в то же время в мозгу тревожно сигнализировал опыт прошлого: как бы не ошибиться в расчётах снова? Со свойственной ей самоиронией злилась на себя: “Чёрт возьми, не дама, а сплошная драма”. А однажды остро резануло сердце воспоминание о тамбовской бабушке Неониле. Она всегда ходила в повседневном платье, а два праздничных льняных сарафана хранила “на потом”, объясняя внучке, что нарядная одежда сама подскажет, когда придёт пора её надеть. Через много лет Ульяна приехала на похороны бабушки, и Неонила лежала в гробу в одном из тех ненашенных сарафанов. Вот какое вышло у неё “на потом”. А ведь она, Ульяна, тоже откладывает “на потом” то, чем надо жить сегодня.

Она чувствовала, что снова угодила в “пик тупика”.

7

Когда привычную домашнюю повседневность внезапно взрывает какое-то бытовое ЧП — свет пропал, воды в кране не стало или, не приведи Господь, потоп от верхних соседей, — люди впадают в панику, а то и в ступор. Хорошо, если в доме есть мужик, умеющий гвозди забивать. А если безмужная женщина, да ещё с ребёнком?

Обычно эти рукотворные домашние беды, которые почему-то всегда случаются в самый неподходящий, самый неудобный момент, не угрожают жизни, а потому обходятся без роковых последствий. И когда после первых испугов-недоумений, после взрыва возмущённых эмоций шок проходит, начинается аврал “освоения” временных неудобств.

Такого рода бытовая передряга обрушилась и на Варвару Кедрову. На верхнем этаже соседи продали квартиру, а новые жильцы затеяли большой ремонт, наняв левую бригаду молдаван. Те начали мудрить с какой-то импортной душевой кабиной, в своих видах заблокировали водопроводный стояк, и все квартиры под ними без предупреждения, без полных вёдер остались без воды. Да ладно бы на весь рабочий день — эту передрягу можно и перетерпеть. Но беда в том, что бродяги-строители поздно вечером заперли пустую квартиру и ушли. Утром подъезд всполошился — воды нет! И строителей нет: то ли запили, то ли на другой объект ускакали. Примчались сантехники, ремонтники, аварийщики, а в квартире никого нет, новые жильцы ещё не въехали. Собрание учинили — что делать? Взламывать двери нельзя, это целая процедура с милицией. Открыть блокированный стояк в подвале? Оно, конечно, можно, но кто поручится, что в ремонтной квартире надёжно перекрыты краны? А если из них начнёт хлестать и весь подъезд затопит? И так плохо, и так нехорошо.

Три дня искали владельцев пустующего жилья, три дня жильцы сидели без воды, оставаясь “на иждивении” соседей по лестничной клетке, у которых наполняли ведра, — нормальный русский стандарт. Варваре тоже пришлось обратиться за помощью. Она дала Алёнке большой бидон и сказала позвонить в дверь квартиры рядом. Кто там живёт, Варя понятия не имела. Это раньше все друг к другу за солью-спичками бегали, семьями дружили, а теперь-то соседи порой и не общаются, нередко даже не видят друг друга. В общем, никто Алёнке не открыл, и она по нужде, — а нужда, понятное дело, поторапливала, — каждые полчаса стучалась к соседям.

Наконец, дверь открыл здоровенный мужик. Узнав, в чём дело, до краёв наполнил бидон и сам принёс его Варваре, да вдобавок с полным своим ведром. Поздоровавшись, извинился:

— Вы уж простите, что вломился без спросу. Девочке такую тяжесть не поднять.

Мужчина был приятной наружности, вежливый, и после того раза ещё два дня, уже по своей доброте обеспечивал Варвару водопроводной водой. Уходя на работу, заносил два полнёхоньких ведра, а вечером “освежал” их. Разговоров никаких не затевал, молча делал дело, здоровался, только и всего.

Когда разыскали жильцов девятого этажа и выяснилось, что бродяги-строители даже не поставили новые краны, а значит, открой вентиль в подвале, всех затопило бы напрочь, в подъезде устроили праздник в честь избежания, считай, неминуемой катастрофы. Редкий случай — с рюмкой-бутылкой энтузиасты по этой части ходили из квартиры в квартиру и чокались-знакомились.

К Варваре позвонил в дверь средних лет мужчина с пятого этажа, явно навеселе. Малорослый, лысоватый, похожий на Ролана Быкова, даже по виду он был смешным, а уж когда заговорил, то и вовсе стал забавным. Потрясая бутылкой кагора “Монастырский амулет”, изъяснялся затейливо:

— Извините, гражданин слегка в подпитии. Но как сегодня на радостях не поднять рюмку? Без всяких изощрений и фантазмагорий. — Увидев смущение Варвары, польстил: — Нефертити, не вертите. Если вы со мной рюмочку не возвысите, я удалюсь в глубокой горести и повешусь на собачьем поводке. Как писал наш незабвенный классик Фёдор Абрамов, на Руси жить либо страшно, либо скучно. А сегодня нет, не скучно... А с этим, с девятого этажа, хлопот с усиками, такой шкандаль был, что ужас. Чуть ли не с угрозой насилия по лицу. Трамвайный хам без ретуши, деградант, ни ума ни совести, из плохих худший. Если что, вы с ним осторожнее, от таких девкам проходу нет.

Хлопотливо доставая посуду, Варя рассказала, как помог ей сосед из 37-й квартиры, и незнакомец воскликнул:

— А ну-ка, зовите его в гости! Белиссимо! Как же так! Он вам ведрами воду таскал, а вы для него рюмочку отменного вина жалеете?

Пришлось отправить за соседом Алёнку, и через несколько минут в комнату ввалился здоровяк в просторной фланелевой ковбойке, от чего он казался ещё громаднее. Ни мужчина с пятого этажа, ни сосед не присаживались, наскоро опрокинули по рюмке, дружно крякнув, что такими огромными дозами они вино отродясь не пили, и который “с пятого”, пожелав “вкусного дня”, двинул на выход. За ним шагнул здоровяк. Варя чувствовала себя неловко, сказала на прощанье:

— Ещё раз спасибо за помощь. — Пошутила: — На всякий случай, вдруг снова воды не будет, давайте познакомимся. Меня зовут Варвара Кедрова.

Сосед на полушаге замер как вкопанный.

— Кедрова?

— А что вас так удивило?

Мужчина смешно почесал в затылке, ответил смущённо:

— Видите ли, фамилия “Кедров” весьма распространённая. Я знаю одного очень уважаемого мною Кедрова, его зовут Кондрат Егорович.

Настала очередь удивляться Варваре:

— Кондрата Егоровича? Это мой бывший свёкор.

Со здоровяком что-то случилось. Он затряс головой и заморгал, словно стряхивая наваждение, потом снова стал чесать в затылке. Наконец, сдавленным голосом выдохнул:

— Простите, Варвара, за растерянность... Я, пожалуй, пойду.

И ушёл, не представившись.

Матвей Лещеня уже несколько лет работал серым клерком в Минсельхозе. После обвала 91-го года он помывкался снабженцем в каких-то странных кооперативных структурах, но потом снова с помощью Кедрова пристроился в красно-коричневом здании советского авангарда 20-х годов на Садовом кольце. Перебравшись в Москву в смутные времена, он не обзавёлся друзьями и тоскливо влачил свои дни, наполненные лишь двумя составляющими — работой и бесконечным созерцанием отголосков новой жизни в телевизионном исполнении.

Неожиданное знакомство с соседкой, которая оказалась бывшей невесткой Кедрова, Лещеню смутило донельзя. Таёжный парень, который сызмальства привык косолапать, потому что каждый косолапый шаг в сравнении с “носки врозь” на четыре-пять сантиметров шире, а при долгой ходьбе это оборачивается выигрышем дистанции, Матвей уже давно мучился неустroенностью личной жизни и даже мысленно, даже в мечтаниях не представлял себе, каким может быть выход из глухого тупика одиночества. Надежда была только на чудо. И вдруг обнаружилось, что небеса всё-таки творят чудеса, что вот здесь, за стеной, в квартире 36 живёт красивая, очень приятная в общении одинокая женщина, с которой его свёл нелепый случай, — в комнате не было воды. Да он готов каждый день наполнять в её квартире хоть сорокаведёрную бочку, лишь бы, лишь бы... Как ни странно, то, что Варвара — родственница Кондрата Егоровича, пусть бывшая, отступало на второй план, это просто не имело значения. И никакого внезапного взрыва чувств он не испытывал, не был он от Варвары без памяти, любовные томления его не мучили — Матвей просто не думал в эту сторону. Потому что весь, целиком, полностью был зациклен на одной мысли: судьба предоставила ему единственный шанс устроить семейную жизнь, и он не вправе этот шанс упустить.

Неделю он пребывал в тяжёлых раздумьях о вариантах более тесного знакомства с соседкой, но в голову ничего не шло, кроме ахинеи вроде идиотских мыслей о том, что хорошо бы квартиру 36 попытались обнести грабители, а он вмиг скрутит их к чёртовой матери, в порошок сотрёт, и тогда можно будет хотя бы представиться Варваре. О том, чтобы просто позвонить в дверь и... Он даже не знал, что “и”, что он должен сказать, как вести себя. Пригласить к себе, придумав какой-нибудь праздничный повод? Дёрнуть для храбрости винца и — напрямки? Ну, это уж совсем ни в какие ворота, нет, нет, нет, помидуй Бог... В долгих метро-автобусах на работу и обратно он без конца прокручивал в голове новую тему, внезапно возникшую в его жизни, вечерами, уставившись в телевизор, слабо врбался в новостные выпуски. А в итоге, с отворачиванием к собственным мыслям, понял, что в делах любви он абсолютный ноль, почётный недоросль, что напрасно канителится, самостоятельно решить свою судьбу ему не по силам, пал духом и поставил на себе крест: не петь курице петухом. Он чувствовал себя бесконечно усталым путником, в стильную погоду не ведающим дороги к дому. Не страдавший русскими недомоганиями, он не мог забыть даже на день, на вечер. Вспоминалось где-то читанное: душа, лишённая надежды, летит в бездну.

И вдруг как-то сразу, импульсивно пришло решение. Позвонил Кедрову:

— Кондрат Егорович, пришло время снова пасть вам в ноги.

На Староконюшенный его пригласили уже через три дня, вечерком после работы. Для порядка попили чайку, поговорили о бардаке, в который погрузилось аграрное дело. Потом уединились в кабинете.

— Ну?

— Кондрат Егорович, во-первых, вам ещё и ещё тысячекратное спасибо за квартиру, без жилья в этом молохе я бы не прижился, укатил бы

назад. А что там теперь делать, тоже не знаю. Премного вам благодарен, что успели меня в Москве пригнездить.

Замолчал.

— Ну?

— Понимаете, Кондрат Егорович, я живу в квартире 37, в той секции, какую за ЦК закрепили... — И снова умолк.

— Чего язык прикусил? Ты вот что, парень, либо говори, что хочешь сказать, либо... Я человек старорежимный.

Лешня выдохнул:

— А в квартире 36 живёт Варвара.

Кондрат Кедров с полуслова не только всё понял, всё в мозгу моментально общёлкал, но и сразу осознал, что впредь обязан делать. На то он и Кондрат Кедров, чтобы принимать мгновенные решения.

— Ты с ней знаком?

— Один раз видел. У них воду отключили, я принёс. А она представилась.

Кедров закричал громко:

— Никита! А ну-ка сюда! Бы-ыстро! Ещё быстрее!

В кабинет ворвался Никита.

— А ну-ка, представься.

Мальш серьёзно, по-взрослому протянул руку:

— Никита Кедров. — Когда его ладошка утонула в громадной лапе Матвея, добавил удивлённо: — У-у, деда, вот это ручища.

Выпроводив внука, Кондрат сказал:

— Это Варин сын. Вернее, так: по её согласию я его усыновил. Но она — мать, как была, так и есть, никаких сложностей. Она к нам часто заезжает... Что там у них с Дмитрием случилось, какие меж ними недо-разумения пошли, на что мне знать. С вашим поколением нынешние стаи психологов не могут разобраться. Но Варя — женщина расчудесная, умная, глубоко порядочная, как говорится, с голой плечью не ходит. Вдобавок под причёской семь пядей. Между прочим, мы с нашим огольцом в квартире 36 однажды были, но я не знал, что ты живёшь рядом, а то зашли бы в гости.

Лешня сразу схватился:

— Кондрат Егорович, может быть, снова приедете, меня тоже навестите?

Кедров усмехнулся:

— А сам не можешь? Ворожея нужна? Или у тебя острый йододефицит?

— Я человек таёжный, не умею. Вот если бы вы приехали...

— Погоди, Матвей. Варя года четыре безмужняя, мало ли, как она свою жизнь устроивает. Может, к ней уже во всякий час не суйся. Может, уже есть у неё какая прохладная история. Тут всё неочевидно, надо прозондировать, с поправкой на ветер целить. Ей уже сколько? Примерно тридцать пять, человек взрослый... Вот что, таёжный парень, печь нетопленая, задачу я понял и до второго пришествия ждать не буду. Возьмусь за неё завтра же. Дай пятерню.

Громко хлопнул по широкой ладони Матвея.

А ещё через два дня, в воскресенье, Кедровы принимали невестку с внучкой. Снова традиционный чай, разговоры о детях, о житье-бытье. Варя, как обычно, хорошо выглядела, настроение у неё было в норме, хотя кто знает, что у неё на душе? Кондрат привык к скрытности её чувств. Поэтому на передний край, на линию соприкосновения выставил Зину, а сам в нужный момент ушёл к детям.

Женские разговоры тет-а-тет о жизни, они всегда откровеннее, а уж когда обе стороны уверены во взаимной доброжелательности, как тут не распахнуться душе? Зина по-стариковски да по-свойски пожаловалась, что каждый Божий день у неё что-то болит, да, к счастью, в разных местах, а это значит, что она боль-мень здорова. А выйдя на доверительный тон, потихонечку и выведала, что на личном фронте у Вари затишье. С Мичуринского до Красносельской чуть ли не полтора часа, рано утром из дома выходит, только к восьми вечера возвращается, Алёнка уже самостоятельная, в школу-из школы сама, там и обедает. Да ведь и по хозяйству дел хватает. В общем,

не до развлечений, все теперь выживальщики, все “врастают в рынок”. Дима периодически подбрасывает денюжат, так что с глаза-хлада не рыдаем, не стенаем. Скромненько, но достойно и без головной боли. А что до женского, то на него и времени нет, да и вообще, сейчас одной лучше.

Когда в залу вернулся Кедров, Зина аккуратно кивнула ему головой и сама начала разговор:

— Кондрат, надо бы Варе подсобить. Понимаешь, Варя, Кондрат Егорыча пригласили на солидную работу в банк МОСТ, слышала о таком? Зарплата приличная, мы, откровенно говоря, вздохнули, в теперешнее бездержавье уже и не чаяли. И появилась возможность слегка тебе помочь, твоя жизнь как бы ни сложилась, а всё равно ты нам невестка, нашу внучку растишь.

— О чём речь, Зина? — поддержал Кондрат и снова взглянул на жену. Та опять кивнула, и он продолжил: — Значит, так, Варвара, я теперь вправе ездить на такси, и мы с Никиткой будем раз в месяц тебя навещать. Согласна? Кстати, где-то в твоём подъезде живёт мой знакомый, которому я тоже успел выбить квартиру на Мичуринском. Я и его заодно как-нибудь навещу. Зина, я запомню, какая у него квартира?

— Тоже не помню, Кондрат. Но ты, Варя, его, наверное, видела, если в одном подъезде. Мужчина увесистый, ростом в три сажени, шевелюра буйная, непричёсанный, как взъерошенное сено.

Варя, подметил Кондрат, напряглась. Но молчала.

— Отличный мужик, добра молодца по соплям видно, — вступил Кедров. — Не сбоку припёка, мы с ним земляки, я его отца хорошо знал, и после развала колхозов — он же не вахлак, председателем колхоза был, — приехал в Москву. Вот я ему и благоволил, принял в нём участие, в цэковское хозу пристроил. Оттуда и квартира на Мичуринском. Да-а... Давненько я его не видел, ума не приложу, как он теперь. Раньше-то холостяковал, но, может, уже женился, может, уже детишки пошли. Надо, надо мне его навестить. Мы с Никиткой к тебе через недельку заглянем, это будет оказией, чтобы и с Матвеем пообщаться.

Варя, насторожившись в его сторону, продолжала отмалчиваться, но Кондрат уже точно знал, что попал в точку. Добавил под “эндшпиль”:

— Придётся в своих записных книжках порыться, телефон его отыскать. А мужик золотой, видный, а главное, высоко порядочный, честный. Как он сейчас поживает? Очень ин-те-рес-но.

Чтобы не терять темп, уже через два дня позвонил Варваре:

— У тебя какая квартира? Тридцать шесть? Господи, а Матвей, я его разыскал, знаешь, в какой живёт? В тридцать седьмой! Вы же соседи! Вот что, Варя, дай мне недельку на то, чтобы всё сообразить, и мы с Никиткой у тебя пир горой устроим. Дастархан учиним! А ты уж, будь добра, соседа позови. Экспромтом! Поняла? Экспромто-ом! Он один живёт. Вот для него сюрприз-то будет! Меня увидит — с ума сойдёт! Мы деликатесы привезём, а ты уж, как хозяйка, тоже лицом в грязь не ударь. Ты Кедрова.

8

“В 1966 году в СССР темп роста национального дохода был близок к японскому и вдвое превысил американский”.

Журба написал эту фразу на левой стороне листа, разделённого жирной чертой сверху донизу, и копался в своих записях, раздумывая, чем дополнить её справа. “Фактаж”, собранный им за много лет, был очень большим, и после долгих раздумий систематизировать его Алексей решил по принципу сценария: слева — прямая речь героев, справа — действия актёров, декорации, музыка и прочее, мало ли, какие ещё пояснения потребуются. Профессиональный историк, он умел работать в архивно-библиотечных фондах и обобщать добытые данные. Однако материал оказался не просто обширным, а жуть каким разнородным, порой противоречивым, и потому “сплошняком” выложить его не удавалось. Журба чувствовал, что соприкоснулся с уникальной исторической ситуацией — да нет, это же настоящая загадка истории! Но прежде всего надо широкий разброс фактов переформатить

в логические цепочки, которые позволят понять смысл происшедшего. И тут же ловил себя на мысли: “Да почему же только происшедшего? И происходящего! Прямо сейчас! Та запутанная история продолжается”. Эта странная слитность исторических “раскопок” с сегодняшним днём — не перекличка, а именно слитность, — заставляла напряжённо думать.

А думать-раздумывать странный человек Алексей Журба любил. В этом состоял его жизненный интерес, смысл его земного бытия.

Впрочем, идея упорядочить материал через форму сценарной записи родилась не с потолка. История была столь драматическая, что сама просилась “на сцену”, её интригующие пассажи и подсказали Алексею разгresti завалы фактов через их “игру”. Сразу вспомнились игротехники Щедровицкого, и он с невольной улыбкой подумал: “Нет, совсем-совсем не то. Георгий Петрович играл придуманными ситуациями, а здесь — сплошь правда жизни”.

После долгих раздумий на правой стороне листа написал: “В 1967 году заведующий отделом комплексных систем ЦЭМИ Арон Каценэленбоген (пришёл в ЦЭМИ в 66-м) выдвинул идею СОФЭ”.

Снова переворотив свои бумаги, Журба сделал важную поправку: вместо СОФЭ написал СОФСЭ — изначально речь шла о Системе оптимального функционирования социалистической экономики. Но когда идею подхватили директор ЦЭМИ академик Федоренко, а особенно его зам Шаталин, когда по Москве прокатилась волна семинаров, на которых пропагандировали СОФСЭ, эту экономическую модель активно поддержал Арбатов, первый директор новосозданного Института США и Канады. Там и предложили — разумеется, исключительно в целях благозвучия! — избавиться от “социалистической” буквы, закрепить за идеей название СОФЭ.

Подумал и вставил ещё приписку, которая могла пригодиться, на сей раз к фамилии Каценэленбоген: “Дальний родственник Карла Маркса”.

Но что-то его беспокоило, и несколько раз перечитав “слева-справа”, Алексей, наконец, понял, что именно: на простом сопоставлении фактов в этом запутанном деле далеко не уедешь. Вспомнил о давнем, изначальном замысле найти хвостик хитрого узелка и мыслью сразу перекинулся в тот памятный день, когда встретился с Глаголевым и услышал о Василии Леонтьеве. Ну, конечно же, именно с 59-го года, когда по настоянию академика Немчинова в Москву впервые пригласили Леонтьева — задо-олго до его Нобелевки! — начали по-новому шевелиться мозги советских экономистов. В итоге в 62-м газета “Правда” дала сенсационную статью Евсея Либермана из Харькова “План, прибыль, премия”, которая звала к самостоятельности предприятий. Это был “пробный шар”, который три года попусту колотился о борта бюрократического биллиарда, но в 65-м, уже без Хрущёва, наконец, упал в лузу и стал отправной точкой косыгинской реформы.

Но едва Журба нырнул в “доисторические” для СОФЭ времена, как возникла необходимость вспомнить о первом масштабном хозяйственном плане — знаменитом ГОЭЛРО, который дал стране электричество. А вслед за ним — о послевоенном подъёме СССР. В мире принято считать образцом экономического возрождения план Эрхарда, позволивший Германии подняться из руин. Но почему-то забывают, что по плану советских экономистов Косыгина и Вознесенского, получившему название Сталинского, СССР быстрее Германии достиг предвоенного уровня. Да, немцы опередили технологически, ибо их поднимали с заокеанской подмогой, но “плану Маршалла”, а у нас были только репарации в виде устаревших заводов — первый “Москвич” был сколком устаревшего “Опеля”. Однако по части экономической науки, корнями уходившей в план ГОЭЛРО, советское масштабное планирование отвечало высочайшему мировому уровню.

Журба торопливо, с промахами в цитатах делал пометки на левой стороне листа и, поставив точку, сразу перекинулся на правую: “В США Леонтьев работал в Гарварде, в годы войны консультировал Рузвельта, предложил матрицу “затраты-выпуск”, на основе которой, кроме прочего, ВВС США, как ни странно, выбирали цели для бомбёжки Германии”.

Перестал строчить, но через несколько секунд приписал: “Леонтьев корректировал поставки по ленд-лизу, определяя самые нужные для СССР

товары и машины”. И сразу ещё одно добавление, не имеющее отношения к этому пункту, — просто чтобы не забыть: “Есть портрет маленького Васи Леонтьева кисти Петрова-Водкина”.

Потом снова перекинулся на левую сторону: “Советские традиции масштабного планирования, похороненные хрущёвской централизацией...”

Ми-нуточку! Вспомнил, что где-то есть в его записях нечто важное для уяснения ситуации тех лет, и принялся в очередной раз листать одну из тетрадей. Вот! Зачеркнул написанное, начал иначе:

“В 1952 г. в ЦК ВКП(б) создали три новых отдела: философии и истории, экономики и права, а также естественных и технических наук. В школах ввели основы психологии и логики. Сразу после смерти Сталина Хрущёв ликвидировал эти отделы ЦК и упростил школьную программу”.

Откинулся на стуле. Да-а, как же бездумно дорогой Никита Сергеевич опримиитивил страну! До сих пор хлебаем. Всех избавил от чуждых лично ему гуманитарных умностей, с головой погрузил в пучину кукурузных злободневностей, чтоб нигде и никаким философским глянцем не отсвечивало. Экономическую науку тоже низвёл до сугубо прикладной роли.

Хотелось выкинуть из башки эту мерзкую историческую лепоту, сплунуть её, словно шелуху от семечек. Разозлившись, вскопал, вышел в сад. Чтобы отвлечься, стал в бешеном темпе, остервенело тыпать пошедшие в буйный рост лопухи у дальнего забора и поймал себя на мысли, что дурака валяет, словно Дон Кихот, с ветряками воюет. Но пар всё-таки выпустил, злость унял. Устав, вернулся в дом и дополнил запись на левой стороне: “Но к середине 60-х советские традиции масштабного планирования начали возрождаться”. И справа: “Они отчётливо перекликались с методом Леонтьева, который дал математический аппарат для межотраслевых балансов, создав систему “затраты-выпуск”.

Уф-ф! Наконец-то догнал время, можно переходить к главному — почему после триумфального старта начала буксовать, а затем заглохла косыгинская реформа, уже в 66-м давшая рост вдвое против американского?.. Но нет, об этом не сегодня, надо отдохнуть, снова покопаться в записях.

Журба вспоминал отправную точку своего интереса к истории с Леонтьевым. Конечно, его поразило случайное открытие: именно Константин Константинович, который помог ему выйти в люди, этот Фералонт номер два, спас и Леонтьева, сделав ему сложнейшую челпостную операцию. И всё же то изумление было всего лишь эмоциональным откликом, не более. Настоящей интригой стало для Алексея непонимание между Глаголевым и Лацисом — почему вокруг такого громкого и, казалось, бесспорного имени, как Василий Леонтьев, возникла разногласица? Почему два советских экономиста — один “всего-навсего” работал в ЦК КПСС, а другой по разнарядке того же ЦК КПСС “отбыл срок” в пражских “Проблемах мира” — столь непримиримы в оценке Нобелевского лауреата, пусть американца, но нашего соотечественника?

Ещё на пороге восьмидесятых, едва зацепившись интересом за эту проблему, Алексей Журба, человек думающий, интуитивно “схватил”, что этот вопрос упирался именно в статус соотечественника, — разумеется, не в примитивном смысле разных оценок эмиграции Леонтьева. Но сейчас, полностью войдя в курс дела, он понимал главное: кое для кого “вина” Леонтьева заключалась в том, что этот русский по рождению слишком уж настырно лезет со своими идеями в наш экономический огород. К тому же, отбарабанив свой срок в “Проблемах”, где ощущал себя чужим среди чужих, Алексей неплохо разобрался в настроениях обитателей “Румянцевской деревни”, а Лацис — тамошний овощ.

Постепенно раскладывая по полочкам свои записи, сделанные в разные годы, Журба беспорядочный разброд разнородных сведений начинал выстраивать в осмысленную цепь фактов. Следующая страница “сценария” началась с фразы на левой стороне листа:

“С одобрения Косыгина Госплан приступил к разработке автоматизированной системы плановых расчётов (АСПР). С помощью главного вычислительного центра Госплана”.

Справа появилась запись: “ЦЭМИ, экономико-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ институт не участвовал. Там продвигали СОФЭ на иных методах расчётов. Отделение экономики АН СССР (академик-секретарь Федоренко плюс Арбатов) активно за СОФЭ”.

По “сценарию” борьба между косыгинской реформой и СОФЭ нарастала. Слева Журба написал:

“Вице-президент АН СССР Островитянов, академик Хачатуров, д. э. н. Кронрод и ряд других учёных подвергли идею СОФЭ серьёзной критике. Ответработник ЦК Белик (отдел планово-финансовых органов) назвал Федоренко вдохновителем СОФЭ”.

Справа: “Судя по валу статей в прессе о “волшебных” саморегулирующих свойствах СОФЭ, Агитпроп её поддерживает активно. Наёмные восторги внедряют мнение, что СОФЭ быстро и “автоматически” поднимет экономику. Детище Косыгина АСПР ставится под сомнение”.

Вставка “Разное” справа: “Активный оппонент СОФЭ Кронрод в начале 50-х математически обеспечивал атомный проект Курчатова, очень уважаем”.

И тут же ещё пометка, на память: “Волшебные”, саморегуляторные свойства СОФЭ в переводе на язык Гайдара — это же и есть “рука Адама Смита”, невидимая рука рынка, которая автоматом гарантирует изобилие”.

Следующую запись Журба сделал на весь лист, без “право-лево”, как бы подводя черту под предыдущими записями:

“4.06.73-го в “Правде” статья “Странная позиция” с резкой критикой журнала “Плановое хозяйство” за то, что он “стремится опорочить творческий поиск советских учёных” и “ставит под вопрос важные положения партийных документов”.

Когда Журба в своих исторических изысканиях наткнулся на эту статью, то в первый момент был ошарашен. Но вспомнил, что главным редактором “Планового хозяйства” в ту пору был Глаголев, и принялся его разыскивать. Ни журнала, ни самого Госплана давно не существовало, в каком жизненном статусе пребывает бывший ответработник ЦК, было неизвестно. Конечно пенсионерствует? Где-то пристроился? Уединившись в малаховской тиши, на отшибе, Алексей давно оторвался от немногочисленных московских знакомых, и если бы не Дёмин, никогда не сыскать бы ему канувшего в безвестность Глаголева. Но у Валерия, далёкого от тех кругов, где могли знать о Глаголеве, нашёлся хороший знакомый в кругах милицейских, который по фамилии и И. О., даже без адреса проживания, сумел добыть его домашний телефон. Повезло так повезло!

Встречу назначили в пивном баре “Жигули” на углу Нового Арбата, и пока ехал в электричке, Алексей снова и снова перечитывал старую статью в “Правде”. Сегодня, когда не было ни той “Правды”, ни КПСС, она выглядела диковиной. Истовые поклоны в адрес съезда партии, лично Брежнев и мудрости ЦК КПСС предвараля мысль о том, что “научные дискуссии просто необходимы”. Однако “под видом научной дискуссии журнал...” И пошло-поехало: “обвиняет учёных, призывающих усилить внимание к прогнозированию”, “обрушивается на советских учёных, обвиняя их” и так далее в том же духе. Вишенка на торте: на основе тех концепций, какие критикует журнал, “выработана комплексная программа подъёма сельского хозяйства, принятая июльским (1970 г.) Пленумом ЦК КПСС, а также разрабатываемый сейчас перспективный план развития народного хозяйства СССР на 1976–1990 годы”.

Журба прикинул: о том, каким провалом аукнулась сельская программа, хорошо известно, а “перспективный план” так и вовсе обернулся застоём. Но вот что удивительно: в “Правде” нет аббревиатуры СОФЭ! Кого конкретно бросилась защищать газета, не сказано. Зато перечислены статьи из “Планового хозяйства”, подвергнутые критике. Готовясь к встрече с Глаголевым, Алексей примчался в научную библиотеку, — кстати, рядом с ЦЭМИ, — полистал подшивку журнала и, наконец, по-простому, без научных умствований, под покровом которых “Правда”, словно “шумом прибора”, прятала суть полемики, понял, в чём корень разногласий. СОФЭ делала крен в сторону прожектёрского прогнозирования, а госплановский журнал

отстаивал долгосрочное межотраслевое — ГОЭЛРО! — леонтьевское планирование.

Война двух привластных элит оказалась исторической схваткой между плановиками-реалистами леонтьевского толка и вдруг невесть откуда явившимися “софистами” с их благими намерениями, которые прямиком вели в застойный ад. Безответственные “софисты”-прогнозисты, державшие в уме присказку “либо ишак сдохнет, либо падишах умрёт”, судя по злой реплике в “Правде”, возобладали над сторонниками косыгинской реформы. Набивавший ход советский экспресс пустили по тупиковому пути.

По итогам библиотечной поездки в Москву в “сценарии” Журба сделал запись справа: “Главными редакторами “Планового хозяйства” были Мартов, Кржижановский. В 73-м — Глаголев”.

Они не торопясь потягивали пивко часа два, и Глаголев, удивлённый бессребреническим научным усердием Журбы, пошёл на глубину, рассказал, что сразу после правдинской статьи его вызвал председатель Госплана Байбаков.

— Николай Константинович, это же человек-эпоха. При мне позвонил секретарю ЦК по идеологии Демичеву, потом главному редактору “Правды” Зимянину. В ту пору ведь как было? “Правда” распушила — немедленно принимай меры. Уволь главного редактора, и все довольны, в пять минут вопрос закрыт. Живи себе спокойненько дальше. Но Байбаков — нет. Твёрдое “нет!” Сказал, что соберёт коллеггию Госплана и будет разбираться. — Засмеялся. — Неизвестно, кого он тащил на коллеггию, чтобы пропесочить, — меня или софистов? Я ведь ему объяснил, что статья в “Правде” — это, по сути, перепечатка решения Отделения экономики Академии наук. Он их на коллеггию и дёрнул.

Несколько дней ушло у Журбы на то, чтобы переварить и осмыслить услышанное. Та коллеггия Госплана стала генеральным сражением между косыгинской реформой и СОФЭ, сражением, которое “по понятным причинам”, — это мнение Глаголева, — не вошло в официальную историю СССР, хотя на нём подспудно решалась... да, да, всего-навсего судьба СССР. Зампред Госплана Лебединский в тот раз громогласно заявил: “Появилась концепция, которая не может быть использована в практике нашего планирования, — это СОФЭ. СОФЭ и АСПР — понятия несоместные, они базируются на разных научных принципах и практически исключают друг друга”.

— Не фраза речи, а приговор, — задумчиво говорил Глаголев. — Этим приговором СОФЭ Лебединский останется в истории Госплана. И не только Госплана... Но, увы, приговор не был исполнен по тем же “понятным причинам”, о которых я упоминал. Об этом как-нибудь в другой раз, тема особая. Игры-то были не потешные, кругом груды лжи. Кстати, знаешь, что забавно? После твоего звонка мы на работе основательно прошлись по СОФЭ воспоминаниями. У нас такая подобралась компания, что, поверь, каждому есть что вспомнить.

Взяли ещё по кружке, Глаголев втянул длинный глоток, потом засмеялся:

— Ладно! Раз уж ты так Леонтьевым увлёкся, да вдобавок, как говоришь, знал хирурга, который его спас, я тебе сейчас такую сенсацию подброшу, что держись. Никто не знает, что самая первая научная работа лауреата Нобелевской премии Василия Леонтьева бы опубликована... Где?.. В журнале “Плановое хозяйство”! Когда?.. В декабре 1925 года! — Журба в буквальном смысле вылушил глаза, а Глаголев продолжал удивлять: — Жизнь на весах, а он передал статью в журнал и уехал умирать в Германию. Но у Бога на него свои планы были... А называлась та статья, знаешь как? — Торжествующе воскликнул: — “Баланс народного хозяйства СССР”!

Поражённый Журба слова не мог вымолвить, а Глаголев, разволновавшись, с лёгкой запинкой объяснял:

— Представляешь, Алексей, как оно было? А главное-то, главное... Позже он сказал, что та статья стала его первым шагом к методу “затраты-выпуск”, что в те годы он уловил дух эпохи великих замыслов ГОЭЛРО. Дух эпохи, Алексей! Вот она, калиточка в его прошлое, в лета его юности. Вот как оно было! Вот оно, русское первородство. Дома, в России идея зародилась!

После взрыва эмоций пиво допивали молча. Журба почему-то вспомнил инженера Лося из толстовской “Аэлиты”, который в жуткой разрухе своего времени мечтал о полёте на Марс и фантазийно побывал там. Леонтьев в тогдашнем экономическом хаосе, в стратегической неопределённости эпохи тоже думал, казалось, о несбыточном, о завтрашнем дне, когда потребуется надёжный метод планирования масштабного возрождения. Да, он сформулировал свою нобелевскую концепцию далеко от дома, но теперь, когда у нас сменилась эпоха... Потому так часто и прилетает на историческую Родину, и не в экспедиции к туземцам, как иные американские визитёры, для которых СССР — диковина, а с поклоном родной земле. Русский из русских, он радеет о благе России. Ленд-лиз под наши заботы планировал.

Молча допили пиво, возбуждение спало, и Глаголев закончил рассказ о знаменательной коллегии Госплана.

Приглашённый на коллегию вице-президент АН Федосеев в основном отмалчивался, зато чародей мысли директор Института экономики членкор Капустин, как говорится, с божбой стоял за СОФЭ, порой вызывая ироничные реплики. Разговор шёл по существу, ибо в том открытом столкновении экономических идей, внешне далёких от политики, судьбоносно решалось будущее страны.

Дискуссия завершилась однозначно в пользу АСПР — все понимали, что за этой аббревиатурой стоит косыгинская реформа. Никакого ответа газете “Правда” Байбаков не дал. А вскоре журнал “Плановое хозяйство”, первым из отраслевых, был награждён “Трудовым Красным Знаменем”. Глаголеву дали “Мальчика и девочку”, как называли в обиходе орден “Знак Почёта”, велели редактировать “Избранное” Предсовмина Косыгина и — с Богом по всем карьерным дорогам.

Поздно вечером, почти ночью, вкратце пометив всё это на левой стороне листа, на правой стороне Алексей черкнул:

“В кулуарах гранд-заседания применительно к СОФЭ звучало слово “порча”.

Но особенно поразило Журбу то, о чём он в “сценарии” писать не стал. После той исторической коллегии Госплана в западной прессе поднялся великий шум о борьбе либералов и консерваторов в советском правительстве. Семьдесят третий год! Ни Горбачёва, ни Лигачёва, ни Яковлева, ни прорабов-перестройщиков — никого ещё и в помине не было. А драка уже пошла. Господи, как же глубоки корни распада СССР!

Впрочем, нет, кое-кто уже был.

9

С Мартыном Кондрат перезванивался раз в месяц наверняка, чуть ли не по часу висели на проводе, хотя бывали и долгие паузы. “Прагу” они давно не брали, по молчаливой унии соглашаясь, что она им теперь не по карману. Но когда Кедрова пригрели в МОСТе, он начал нажимать по части очной беседы.

Мартын отнекивался: то бронхитит, то дочь подбросила внука, то на работе хлопоты, то снова кости ломит. А Кондрат не спешил сказать про новую службу, разговор нетелефонный, при таких новостях нужно друг другу в глаза смотреть. Он понимал, что причина отговорок — в стыдной малодепенденности давнего приятеля, а Глеб, в свою очередь, недоумевал, чего это Кондрат вдруг расхрабрился. Но ни тот, ни другой о своих гаданиях ни слова.

Наконец, Мартын не выдержал:

— Слушай, Герой! Меня Наташа поездом ест, так по тебе соскучилась. Давай выберем воскресенье, и закатайся к нам в гости. Оно и правда, мы с тобой по срокам, считай, целую войну не виделись, 1418 дней... Нет, не считал, но чуюствую. Значит так, назначаем дату — и в бой.

Жил Мартын в Бескудниках, в небольшой двухкомнатной квартирке, куда перебрался с женой, уступив свои сталинские хоромы дочери, — у неё двое разнополых детей подрастают. И Глеб счёл нужным предупредить:

— В воскресенье за тобой машину прислать не могу. А такси за мой счёт, без такси в нашу даль не доберёшься. — Прикрикнул: — И не ерепенься. Знаю тебя!

Кондрат заранее попросил Ульяну купить в хорошем магазине хороших продуктов, да чтобы упаковали в нарядную корзину, и Дмитрий отвёз его по нужному адресу. Среди лета явился к Мартыну, словно Дед Мороз, с подарками и скомандовал:

— Вот что, Герой, меня взяли на солидную службу, всё скажу за столом. Пусть Наташа займётся этой снедью. — Передразнил: — И не ерепенься, знаю я тебя... Ну-ка, давай обнимемся по-солдатски, целую войну, говоришь, не виделась. Чего остолбенел?

Молча Глеб слушал лишь первые три минуты, потом стал перебивать:

— Я Бобкова недавно видел! Раньше с ним пересекаться не приходилось, нами другое управление занималось. Но слышать, конечно, слышал. Помню, ты сказывал, что куда-то под Ельню с ним ездил, где мы с Наташей войну начинали.

— Не под Ельню, а в саму Ельню, из Спас-Деменска мы с ним крутила, через Смоленскую землю возвращались.

— А я уже года три там не был...

— Не три, а четыре, — поправила Наташа. — Целую войну. Он до сих пор время войной мерит. Да и сейчас — как на войне. Иной раз придет вечером хмур-зол, и давай какую-то компанию авантюристов по матери крыть, да так, что хоть святых выноси. Аж трясёт его, кусок хлеба в рот нейдет. А третьего дня от “Апокрифа” Ерофеева весь вечер плевался.

— Я этого антисемита не смотрю, — поджал губы Кондрат. — Он мне не интересен. А вот кого ты материшь, мне знать важно. Это я в частной лавочке работаю, вроде бы на покое. А твои дела как были государственными, такими и остались. Завхоза за промахи крыть не будешь, не твой уровень. Из мухи мамонта не раздуешь. Кто у тебя на верхах в недругах? Какая компания авантюристов? О чём скрип?

— Э-эх, Кондрат, враги засели в хате, тут двумя словами не обойдёшься, история длинная. Ты лучше вот что скажи... Мой Краснопевцев до сих пор мается, что жена бросила. Если б знал, что она с сыном моего ближайшего друга спуталась...

— Аккуратнее, Глеб. Не спуталась.

— О-о, ты иначе запел. Что, приличная женщина оказалась? Я тебе говорил, дама неглупая, себе цену знает. Помню, про таких в Ростове баяли: у хорошей бабы самовар блестит.

— Не поверишь, но я её первый раз увидел у Бобкова, она у него работает.

— Да ну-у?.. Тогда всё ясно. Кстати, Краснопевцев однажды ко мне на Клязьму с сынишкой прикатил, она их общением не препятствует. Выходит, я с твоим сводным внуком знаком, хотя не помню, как звать.

— Понимаешь, Мартын, жизнь потихоньку устаканилась. С Варей, бывшей невесткой, после усыновления Никитки никаких боестолкновений. Бабушка Зина без ума от счастья. По работе мне в государственные дела лезть не приходится, по этой части мы с Филиппом — словно пикейные жилеты, обсуждаем недавние назначения, газетно-телевизионные сплетни, кости кое-кому перемываем, только и всего. Кучность боя низкая. Какой с нас спрос! Но душа-то саднит, я же чувствую общий беспорядок. Заряди-ка мне, Глеб, твою длинную историю. Раньше я тебя внутренними смыслами потчевал, теперь ты меня на этот счёт просвети. Что со сдерживанием? На сколько можно продлить регламенты?

— Давай сначала выпьем, ещё нальём и снова выпьем. Без этого я про наш экономический бардак говорить не могу. Дело не в том, что полигон Тюра-Там от нас ушёл, ракетный арсенал, он же не сам по себе. Мужики на заводах обороны держат, засели в окопах, на засечной черте приватизацию оборонки тормозят. Но мне-то известно, что на них вот-вот танки пустят. А уж мы-то с тобой, прокопчённые окопники, знаем, что значит пустить на окопы танки. Я под танком лежал. Страшно, Кондрат. Грохот,

земля дрожит, света белого не видно. Ни о чём не думаешь, ни мать, ни Бога не поминаешь, словно башку уже отшибло. — Вдруг хмыкнул. — Извини, по ассоциации вспомнил, как в Чернобыле спецтанк для Горбачёва соорудили, броня чуть ли не из свинца. А этот поц всё равно испугался, не приехал... Да-а, а мы под танками лежали. А когда из окопа вылез, сразу связку ему в зад. И что? Дали “За отвагу”, но ведь всё кругом выжжено, немец хоть и захлебнулся, да окопы так проутюжил, что потом другую линию пришлось рыть. Так и нас сейчас. Утюжат, Кондрат, утюжат. — Поднял рюмку. — За Родину! За Сталина!

Закусили. На второй раз Мартын провозгласил:

— Ганбей!

— Чего, чего?

— Дочь научила. Так китайцы под свою байцзю тостуют. В Китае язык толком не освоила, а теперь доучивает.

Снова закусили. Кондрат понимал, что мужик раздумывает над длинной историей, и терпеливо ждал, не понукал. Наконец Мартын отложил в сторону нож-вилку, отодвинул тарелку, приосанился на стуле, распрямив уже слегка округлую стариковскую спину, сложил в замок пальцы, облокотился двумя руками на стол.

— Теперь слушай. Когда был директором, меня часто звали на экономические сборища судить-рядить от имени оборонки. Между нами говоря, сучища жуткая, из пустого в порожнее переливали. Но суть в том, что я ещё со времён косыгинской реформы был в курсе наших экономических драк. В институте как зам по связям с заводами тоже с этой темы глаз не спускаю. Скажем, Краснопевцеву она по уху, по боку, он её не понимает, в новомодной цифре погряз. А я за экономической наукой всегда приглядывал, а уж когда рынком запахло, когда меня с завода попросили... И вдруг читаю: русский американец, лауреат Нобелевской премии Василий Леонтьев то ли сказал, то ли написал Горбачёву — не в этом суть, — что переход к рынку может быть только поэтапным и только при очень жёстком контроле цен. — Увидев, что Кондрат приоткрыл рот, стукнул ребром сжатых ладоней по столу. — погоди. Проходит год-два, Союз уже распался, и вдруг опять читаю про этого Леонтьева: в СССР экономика была мощной, нельзя бездумно раздавать направо-налево её остатки, нужно сохранить сильный госсектор. — Воскликнул: — Кондрат! Это говорит лауреат Нобеля, американец, которого в США называли “апостолом планирования”! Почему наша нечисть перестроенная сделала ровно наоборот? Почему цены в одночасье отпустили, а мошенник на доверии Чубайс, этот карлик с длинной тенью, этот икс, игрек “и” краткое собачий, которого нам в Пиночеты суют, за бесценку отдал приватизаторам лучшие заводы, державную немощ учинил? Па-ча-му, Кондрат?

— Ну, всё, завёлся, — улыбнулась Наташа. — Теперь не удержишь.

Мартын и вправду пошёл в разнос:

— Ты Алхимова Владимира Сергеевича знал?

— Слышал о нём, член ЦК, через нас шёл.

— Алхимов твой двойник, Героя дали за огонь на себя. Командир батареи 261-го пушечного артиллерийского полка, попал в танковое кольцо, ну, и вызвал. В Литве мы с ним близко воевали, о том полку на фронте слава шла. Так вот, он же в Штатах торгпредом был, потом во Внешторге, потом десять лет Председатель Госбанка. Это он у итальянцев кредит выбил, на который ВАЗ построили. Недавно умер, под Смоленском, где родился, там и ушёл. Его подкосило, что дочь с мужем в 87-м в Англии остались, специалисты из Лэнгли постарались. Он пианист, зять. Видать, с чёрными клавишами перебрал. Владимир Сергеевич заболел, от дел отошёл. Звонил мне, возмущался, что на похороны Мелитона Кантария в Москве ни один официальный чин не явился. Нарочно игнорировали, чтобы засоветчики не вспоминали о знамени Победы над Рейхстагом... А про этого Леонтьева он мне лет тридцать назад рассказывал. Он с ним в Америке общался. Говорил, что Леонтьев всегда за Россию радел, в годы войны командовал в нашу пользу ленд-лизом. Так что же получается, Кондрат? Апостол американского планирования раз за разом подсказывает нам, как перейти к рынку, а наши

деятели его на три буквы шлют и по-своему разбойно шаманят? Па-ча-му, Кондрат? Ты, ядрит твою, политик, а ну, ответь!

Но снова не дал сказать. Снова ударил по столу ребром ладоней:

— Я тебе больше скажу. Слег Дмитриевич Бакланов, бывший ракетный министр, ГКЧП, я у него дома на Спиридоновке иногда бываю. Смяшно, в одном подъезде два гэкачеписта живут — Бакланов и Павлов. Но чаще на Рублёвку к нему заезжаю, у него там далеко-о, за шестьдесят кмэ, небольшой дом. Так вот, Бакланов мне говорил, что в 92-м Леонтьев написал обращение Ельцину о нэпе, чтобы с помощью государства инвестиции из спекулятивных финансов перебросить в производство. А у Бакланова связи, он знает, главный ракетчик бывшим не бывает. И что? Опять мимо! Налетели на Леонтьева придворные эксперты да медийные гикальщики, вроде “Эха”, оболгали, и эти гайдари-чубайсы монетарное бешенство учинили, всё наоборот, вопреки умному американскому совету сделали. Американскому! — Взревел: — Па-ча-му, Кондрат? Фантасмагория! Пачаму мы платим за музыку, которую не заказывали?

Понятно, Мартын после нескольких рюмок изливал душу. Никакие ответы ему были не нужны, он всё знал и понимал, спорить, дискутировать им было не о чем. Потому Кондрат не стал развивать тему, аккуратно переведя разговор в спокойное русло:

— Алхимов, если не ошибаюсь, был замом Патолочева во Внешторге?

— Не ошибаешься.

— А ты читал про скандал с квартирой Патолочева? Тоже на Спиридоновке. Он умер, а его дочь в буквальном смысле вышвырнули из квартиры, мебель — в грузовик, и увезли на склад.

— Это уж давно было да быльём не поросло, слишком безобразие. Оттого и запомнилось, — кивнула Наташа. — Мы с Глебом читали, возмущались. Наглец этот Станкевич, его же зампредом Моссовета сделали, она, дочь Патолочева, к нему за помощью пришла, а он вместо помощи квартиру у неё оттяпал, сам в неё въехал. Помню, в “Правде” статья была с издёвкой — “Новые люди в Моссовете”. Потом писали, будто этот Станкевич в Польшу сбежал, а квартиру сдавал задорого. Ещё бы, на Спиридоновке! Каинова печать на нём.

— Новые люди, они и есть гайдари-чубайсы, крысиное царство. О чём говорить! Спор воров, кто честнее. Врут, себя не помнят, — снова вспыхнул Мартын.

— А Патолочев — личность незаурядная, он ведь до Внешторга был первым секретарём ЦК Белоруссии, я первичные документы готовил. Его отец, полный Георгиевский кавалер, в гражданскую — комбриг Первой конной, вроде Чапая. Погиб, оставив семерых сирот. Семерых! Их советская власть вырастила, один аж до министра дорос. Когда его документы смотрел, удивлялся: где только его братья-сёстры ни жили, от Горького до Комсомольска-на-Амуре и Казахстана, никого министр в Москву не перетащил. Редкий случай.

— Станкевичу-то какое дело! — не унималась Наташа.

Успокоение наступило лишь за чаем со вкусоностями, привезёнными Кондратом. Глеб рассказал, что ему однажды позвонили от Рыжкова Николая Ивановича, бывшего Предсовмина — “он меня хорошо знал, много раз к себе дёргал”, — и пригласили на заседание какого-то Интеллектуально-делового клуба, что возглавляет Рыжков. Там Мартын и Бобкова живьём видел.

— Между прочим, для наших смутных времён дело похвальное. Свои люди собираются, уши от разговоров не вянут, душа отдыхает. Попечителей и потворщиков наших бед лихом поминают. Идёт разбор полётов этих гайдари-чубайсов. Их там, знаешь, как окрестили? Были большевики, а эти — фальшевики, врут напрадую. Если возникнет интерес, скажу о тебе Николай Ивановичу.

— Мне Филипп про этот клуб говорил, тоже звал. Но я отказался, мне в собраниях делать уже нечего. Если просто глазеть, так я за свою жизнь столько повидал, что больше уж и незачем. А что до фальшевиков, это другое. Так теперь зовут то ли вместолевых, то ли псевдолевых, в общем, розовых

красных. Господи, сколько же швали политической откуда-то набежало! Ну их к чертям, Глеб. Мне с тобой сверить часы приятнее, чем умные речи у Рыжкова слушать. Ферштейн? Знаешь, о чём думаю?

Чтобы сменить тему, Кедров хотел напомнить об их ночном бдении на Клязьме, когда умер Брежнев. Боже, как давно это было! Но едва прикоснулся памятью к тому историческому для них разговору, как ощутил сильнейший взрыв чувств, аж кровь ударила в голову, наверное, давление скакнуло. Не в счёте годков дело! Случилось то, чего они в страшном сне представить не могли. Сталин, Хрущёв, Брежнев — они эпохи считали, в которых жили, а на деле-то сама жизнь рухнула. Снова мелькнула мысль о двух странах, в которых, не покидая отчего дома, довелось ему быть на этом свете. Не сравнимы, не сопоставимы! Две галактики. Но столбовая-то дорога у них одна. В подсознании прочно, незыблемо сидело, что обе страны — одного корня, что набор хромосом, таящий в себе наследственность, у них общий. Рухнула держава в красной обёртке, но генетика-то, она должна быть в норме. И остатки сталинской элиты, старичьё, за ненадобностью выброшенное со стремнины жизни, догнивающее на отмели, — это старичьё и хранит хромосомы, ответственные за передачу генетической памяти. Как передать потомкам духовную силу, доставшуюся нам от предков? “Мы сберегли державу в страшном бою, — высокопарно воскликнул в мыслях Кондрат, — мы возродили её. Наши дети тоже должны творить великую историю”.

Вдруг осёкся мыслью, да так резко, что даже голова невольно дёрнулась.

— Ты чего, Кондрат? — удивился Мартын.

— Погоди, дай додумать.

Дума навалилась тяжёлая, невидящими глазами упёрся в хрустальный графинчик посреди стола. Дети... Великая история... Что за чушь? Какого чёрта? Дети сталинской элиты напрочь просрали страну, отдали её на поток и разграбление историческим недругам, на посмешище выставили, сами на пошлость, на радужный блуд подсели. Сговорчивыми ребята оказались. Вместо удалой русской плясовой в падучей бьются под чужую музыку. Кругом иноземный щебет. Жуткую чужеземную заразу подхватили, изводят бывшую великую державу. Э-эх, взять бы их за нежное... И снова — горькая мысль о самом себе: какое лихо на старости лет выпало, а! Опустошённая душа! В голове закружились разорванные строки чьих-то стихов. Попались они Кондрату на глаза случайно, года два назад, и запали в душу. “Что было родиной, того сегодня нет... С родины не уезжал, за что меня её лишили?... В той отчизне я родился, которой больше нет... Просвистали!” Это “просвистали” резануло больше всего — именно что просвистали великую державу. Про-сви-стали!

Никогда, — ни-ког-да! — его не охватывала паника, даже в миг смертельной опасности, это был его, кедровский характер. Но сейчас... Что может быть страшнее предательства детей? Оно делает ничтожной собственную жизнь — всё курам на смех! — в ключья рвёт надежды на будущее. “Как же так? — застучало в мозгу. — Как же так?” Дети сталинской элиты, провозгласив себя новой, интеллектуальной элитой, — какая они элита? илитка! — лакействуют перед хозяином в высоком цилиндре, унижают русскую гордость, услужливо подхрюкивая зарубежным вольникам. Юридизмами прозападными загон для России огородили и дрессируют, доллару осанну поют, с протянутой рукой перед МВФ кланяются. Дмитрий тоже хорош, не из первачей, но тоже подхрюкивал... Народ раздавлен нищетой, отравлен развратной попой, духовно повержен потоками пошлости, народное самосознание угасает, разобщён, кругом апатия, в душах пустоши да гари. Национальную мысль загнали в подполье, бал правит шобла политических лилипутов, и некому сегодня противостоять внутренней болезни, разъедающей страну. Балаган!

Наверное, он выпил лишнюю рюмку, потому что горькая обида очень уж сжала сердце. Он не видел и не слышал сидящего напротив Глеба, весь ушёл в себя. Хромосомы... В детях случилась мутация, у них лишняя хромосома, отсюда и дауны...

Чувство горечи жгло нестерпимо. Потянулся к графинчику освежить рюмку.

Мартын повторил:

— Эй, Герой, на тебе лица нет. Не слышишь, что ли? Тебе, пожалуй, хватит. Хотел что-то сказать, да умолк намертво, словно отрезился. Даже лапти не плетёшь. Пластинку заело?

У Кондрата вдруг горло одеревенело. Сказал силпо:

— Клязьму вспомнил. Мы с тобой эпохи считали, в которых жили, — Сталин, Хрущёв, Брежнев, а теперь ни страны, ни эпохи. Гнилые времена... Пусто в душе, Глеб.

— А-а-а! — торжествующе взревел Мартын. — Несладко в изгоях режима? Помню, помню, как ты про свой клан Кедровых божился, а я сомневался, потому что уже при хрущёвской слякоти гниль пошла.

У Кондрата голос снова прорезался:

— Уймись! Лучше скажи, что делать. Ты же у нас самый умный.

— Чего это вдруг? Самым умным у нас всегда ты был. Фабрика мысли!

— Отставить разговорчики в строю! — вмешалась Наташа. — Кондрат, тебе и вправду хватит.

Кедров тряхнул головой, словно сбрасывая внезапно налетевшие страшные мысли. Минутная растерянность, даже небывалая паника, отступили.

— А ежели серьёзно, Глеб, что делать? Вот так сидеть за столом, и Бог с ней, с державой? Или флаг в руки и на митинг?

— Проповедовать на площадях? Рассердясь на вши, да шубу в печь? Государевы псы нас на митингах только и ждут... Чтобы скорее по гробам заколотить. Не мели чушь. Или какое тайное общество задумал на манер зюганата? Смотри, из медиапушек расстреляют, как индийских сипаев.

— Мутация в элитах случилась, вот что я тебе, Глеб, скажу. А мутация — дело наследственное, от нынешних даунов политических семени доброго уже не жди. Сам кричал: “Па-ача-му?” А вот потому, что генетический сбой. Всё! Теперь пиши пропало, тушите свет.

Мартын молча потянулся к графинчику, наполнил обе рюмки.

— Ну, за упокой мы пить не будем, нам с тобой это не пристало. Но ты меня сегодня удивил. Раньше всегда на свой плацдарм ссылался, говорил, что на краю смерти духом не пал, на себя огонь вызвал. А теперь — пиши пропало. Караул! Духовная катастрофа! Гляди, сколько ты мне снеди разухабистой привёз, я красной икры уже тыщу лет не видел, как без неё не пропал, ума не приложу. А у тебя от неё, наверное, изжога. Выходит, ты сыто зажил, праздно, на тёплой печи пригрелся, на паях и при паях пристроился и сразу — в панику. Прижали к стенке, поэтому — адью, не поминайте лихом. Вот оно, Кондрат, как бывает! Основоположники, они верно про бытие-сознание писали, про мышление сословное. А ну-ка, пресыщенный, держать шаг! Пьём без тоста. Антракт!

В антракте Наташа сменила посуду, обновила чайные приготовления. А они молчали, думая каждый о своём.

Наконец Мартын сказал:

— Ты спрашиваешь, что делать? А почём я знаю? Я же тебе сказал, мужики сидят в окопах, в глухой обороне. Подмоги не ждут, надежд не питают, но стоят насмерть. Да, их танками могут закатать, я не исключаю, сегодня сила у твоих мутантов. Что с ними будет, что с нами будет, — показал рукой на Кондрата и своей груди коснулся, — мне неизвестно, я и думать об этом не хочу. Возможно, всё-таки пропишут ижицу. Однако же, Кондрат, живу с твёрдой верой, что Россия воспрянет. Ты хорошо с хромо-сомами придумал, с мутацией элиты. Но ведь в природе оно как? От кого-то пошёл кривой род, и он до скончания веков, это верно. Но кривой род, да с гордыней на лбу, он имеет склонность к вырождению, вопрос лишь в том, когда это случится. И гадать, скоро ли, незачем, лично я на своём веку добра не жду. Думаешь, я не понимаю, что твой Дмитрий тоже окривел, отчего ты маешься? Думаешь, мой зять-мидовец на Россию косо не глядит? Ещё как! Они там все прозападные. Не хочу я об этих пакостях думать, Кондрат, не хо-чу, потому что ничего исправить не могу. У нас с тобой другая должна быть забота. — Сделал долгую паузу, придавая значимость тому, о чём собирался сказать. — Мы должны оставить в потомках

свой, непорченный набор хромосом, должны успеть. Вот наше место силы. Ты меня хорошо понял, Кондрат?

Видимо, в семье Мартыновых на эту тему разговоров было немало, потому что Наташа сразу откликнулась:

— Уж как он с зятем за внука воюет, как воюет! Тебе, Кондрат, жгучей завистью завидует, ты внука сам пестуешь.

Глеб наклонился через стол, в упор глядя на Кедрова, заговорил медленно, внятно, будто и не было нескольких рюмок:

— Мы с тобой войну прошли, всегда друг друга с полуслова понимали. Вот и сейчас пойми, что скажу. Я внучкой мало занимаюсь, я с внука глаз не спускаю. Россия возродится. Но возродиться такая громадина, такая машина историческая может только... — Сделал паузу. — Может только через войну. Этот чёртов Жапад, который элиту нашу приватизировал, миром нам подняться не даст. Закованных гигантов из цепей не освобождают, гиганты сами рвут цепи. Ты меня понял, Кондрат? России мальчики понадобятся. Такие, какими мы были. Мы, герои той войны, сталинская элита Победы, детей упустили, потеряли. Перестроечная элита, верно сказал, это мутация. Но мы обязаны во внуках наши гены, русский код сохранить. Им предстоит новые дороги торить. Ты меня хорошо понял, Кондрат? Придёт время, наши мальчики, как мы в сорок пятом, будут пить трофейное баварское.

Пока в лёгком подпитии добирался на Староконюшенный в такси, Кедров снова и снова дивился тому, что Никитка успел родиться в СССР. Сама по себе эта случайная семейная частность, конечно, значения не имела, но для Кондрата стала символом. Да, две страны, в которых ему суждено провести отмеренные Богом дни, они очень разные. Однако исторический корень общий, да вдобавок вот же она, прямая преемственность — внука он на произвол мутантов не отдаст, никаких вам мажоров.

А Мартын прав: без войны Жапад — да, да, именно Жапад! — России подняться не даст. Корыстно объявили, что она “несправедливо большая” и ресурсами богатая, с длинными рукавами рубаху накиннули, да так спеленали, что смиренiem и покорностью никогда правды с западными эскулапами не сыскать. Как бывало, рано или поздно снова начнёт Россия собираться силами.

На славное будущее, на славный путь и подрастают её мальчики.

10

Дмитрий Кедров так и не успел распутать загадку “чёрного вторника” — она разрешилась сама собой. Когда стих информационный ураган и начались осмысления, замелькали в прессе такие подробности первой российской финансовой катастрофы, что у людей, не знакомых с тайными поползновениями власти, глаза на лоб полезли.

Обнаружилось, что премьер Черномырдин в это время находился в Сочи, и в воскресенье, за два дня до биржевого краха, к нему в полном составе прилетала экономическая головка правительства плюс председатель ЦБ Геращенко. Ситуация стала поразительно напоминать историю с ГКЧП, её окрестили “Форосом в Сочи”, и по аналогии с событиями августа 91-го пресс-секретарь президента Костиков назвал внезапный обвал рубля попыткой “финансового путча”.

Потом и вовсе пошли непонятки. После краха валютной биржи Ельцин срочно собрал Совет Безопасности, однако премьера на нём не было, хотя на пару часов он в столицу всё же прилетал (цель блиц-визита покрыта тайной, стенограмм не сохранилось). Более того, Черномырдин, известный особой заботой о мировом имидже, отказался от свидания с королевой Великобритании Елизаветой, которая прибыла в Москву на следующий день (встреча с премьером была в протоколе).

Первая декада октября вообще выдалась сумасшедшей. Ельцин вернулся из США, причём финиш того памятного визита был столь бурным, что он проспал встречу с ирландским премьером в Шенноне, а потом двое суток приходил в себя. В те же дни в Мадриде гудела ежегодная Ассамблея МВФ,

на которой вице-премьер Шохин умолял отсрочить платежи по кредиту в 24 миллиарда долларов и вымалывал ещё 16. Власти лихорадочно готовились к церемониям с королевой Елизаветой и к судьбоносной международной конференции по нефти и газу, намеченной в Москве на 14-е число. Оппозиция яростно отмечала годовщину событий 93-го года. На носу была Всероссийская стачка профсоюзов, требовавших погасить долги по зарплате. Наконец, Дума назначила на 19-е число отчёт правительства по бюджету.

Были и обстоятельства иного рода. Летний визит Черномырдина в Америку стал триумфальным, а расширенное заседание правительства 15 августа объявили “Съездом победителей”. У Ельцина иначе. Месяц назад, зело пьян, он дирижировал “Калинкой-малинкой” при выводе войск из Германии, да и в Штаты слетал неудачно. Под таким давлением оппозиции был, что заявил о готовности дать ей министерские посты. “Коммерсантъ” писал: “Вопрос о преемнике стал ощущаться не как схоластический, а как сугубо практический. 4 октября по Москве ползли слухи о срочной поездке Филатова и Ерина в Сочи к премьеру”.

Слова Костикова о “финансовом путче” обретали новый смысл. Оголтелое общественное мнение, разъярённое “Храни Бог Америку!” Ельцина и его публичным пьянством в Германии, склонялось в пользу Черномырдина.

Между тем сам Черномырдин надувал щёки из последних сил. Как судачили в близких правительству кругах жуликов на доверии, обшак на нуле, братва поиздержалась. Положение в экономике было плачевным, а главное, катастрофически росли долги по зарплате, в том числе силовикам, — их недовольством в скользкий политический момент премьер пренебречь не мог. Не мог он с этими долгами и подняться на трибуну оппозиционной Думы. Там люди сидят начитанные.

И в воскресенье в Сочи, на срочной сходке финансовой верхушки было принято решение сыграть ва-банк. Девальвация рубля в ходе одной биржевой сессии позволяла рывком выйти из бюджетного тупика: Минфин мог выкинуть на рынок два из четырёх “нажитых” им миллиардов долларов и заработать на обвале национальной валюты 8,5 триллиона рублей, разом закрыв долги по зарплате. Доход, конечно, мутный, однако игра стоила свеч! На кону — высшая власть...

Позднее, когда улеглись страсти вокруг “чёрного вторника”, финансовое сообщество пришло к мнению, что технически девальвация рубля была проведена блестяще, а её информационное прикрытие, которое намёком на банковский след вбросил вице-премьер Шохин, оказалось очень удачным, отведя подозрения от истинных вдохновителей биржевого краха.

“Чёрный вторник” 11 октября 1994 года, когда курс рубля подскочил на треть, удался правительству сполна. Черномырдин через финансовые перипетии уверенно вёл свою политическую игру. Всем мозги заканифолил.

Но у Ельцина была своя игра.

12 октября президент созвал Совет Безопасности, цикнул-чикнул, выразительно поиграл лицом, да так ударил в набат, что речь пошла о диверсии и заговоре. Полыхнул гранд-скандал: немедленно “выправить ситуацию”! Финансовый манёвр на бирже обернулся грандиозной политической мистификацией и созданием комиссии по его расследованию.

13 октября курс доллара “силой” вернули к прежним значениям, и тарантас Черномырдина застрял, словно бричка Чичикова: правительство не погасило долги по зарплатам, Герашенко в тот же день подал в отставку.

Но цены, моментально скакнувшие в “чёрный вторник” почти на треть, так и остались на заоблачном уровне.

За финансово-политическую драку верхов расплатился народ.

Алексея Журбу “чёрный вторник” сначала потревожил причитаниями мамы о заметном вздорожании в магазине рыбного филе, а на малаховском рынке — требухи и говядины, даже вялой. Зоя говорила, что учителя стонут: уже и продуктовая просрочка, на которой многие жили, стала не по карману. Рассказывала, что злые анекдоты про власть, про Ельцина вывелись. “Анекдот — это же иносказание. А сейчас народ напрямую рубит, до остервенения, не стесняется. Зачем ему хитрые выдумки в обход?”

За медийным расследованием валютного краха Алексей следил вполуха, вполглаза, считая, что “Финансист” Драйзера, читанный в беззаботные пражские дни, тему исчерпал, и новая Россия повторяет биржевой опыт молодого капитализма. Но когда пошли разговоры о “блефе” Центробанка и фарсе “Фороса в Сочи”, когда резкое подорожание продуктов по времени сошлось с невыплатой зарплат, Алексей, говоря по-крестьянски, начал чесать репу. Правда, и в институте, и в Зоинной школе с авансами и получками был порядок, но Журба не о себе думал, его, как повелось, зацепили исторические переключки.

Президент и премьер не поделили власть, случилось глубинное, незримое народом противостояние Кремля и правительства, вспыхнула исподняя политическая возня-вражда, в которой интерес государства — побочку. В итоге Россия глубже увязла в долгах, в трясине безысходности, подспудно тяготей к внешнему управлению. Но разве не то же самое случилось в СССР на переломе 70-х? Разве не аукнулась потаённая политическая распря между Генсеком и председателем правительства торможением косыгинской реформы, застоём, а затем прозападным курсом Горбачёва?

Конечно, “чёрный вторник” — семечки рядом с трагедией советских лет, когда страну, шедшую в гору, вдвое обгонявшую Америку по темпам роста, вдруг схватили под уздцы — и тпру-у-у! Кто коварно раздул внутрипартийную смуту между Брежневым и Косыгиным? Кто ловко вытащил из рукава пражскую весну 68-го года, чтобы придушить наши реформы, — вот, мол, к чему ведёт хозяйственная самостоятельность. Кто жаждал перевести стрелки, убрать СССР с магистрального хода и затолкать державу в тупики застоя?

Журба удивлялся: сегодняшняя жизнь то и дело возвращает его к истории с СОФЭ, а через неё — к Василию Леонтьеву. Столько странных, случайных совпадений накопилось в его “сценарии”, что оторопь берёт. До фантастики, до бреда доходит, до помышлений о высших силах. Арон Каценэленбоген, который вбросил СОФЭ в научный обиход, он же до ЦЭМИ занимался экономикой на заводе “Фрезер”. И кто может объяснить ему, Алексею Журбе, почему через тридцать лет, в 89-м году Василия Леонтьева повезли “смотреть” экономику именно на “Фрезер”? В Москве сотни заводов! Почему “Фрезер”? Ясно же, никакие прямых связей здесь нет и быть не может, это какая-то мистика. Но мистика мистикой, а вспомнить про Каценэленбогена пришлось. И едва Журба стал разыскивать его следы, как без труда выяснил: Арон Каценэленбоген эмигрировал в Америку. Давным-давно, аж в 73-м году, сразу после того, как СОФЭ, похоронив косыгинскую реформу, сама испустила дух.

Вот тебе и мистика с “Фрезером”! Не будь её, забыл бы о Каценэленбогене. А его история — загадка СОФЭ. Кстати, в Штатах он общался с Леонтьевым?

Пришлось снова созваниваться с Глаголевым.

На этот раз они решили встретиться на Тверском бульваре. Не торопясь двинулись от Пушкинской к Никитским, и Глаголев для разминки рассказал, что в начале 70-х дважды видел здесь знаменитую в ту пору Долорес Ибаррури, главу испанской компартии, — она жила где-то рядом и совершала на бульваре дневные променады.

Навстречу с громким неразборчивым хихиканьем шли две вёрткие пародийные девицы в мини-юбках с разрезом: одна — грудастая, другая — губастая. Словно углём нарисованные брови толщиной с палец, накладные ресницы торчат, как щетина на посудном ёршике, тёмно-коричневая помада чуть ли не от уха до уха. Глаголев уловил невольную оторопь Алексея, сказал со смешком:

— Бунина помнишь? Рать бесноватых... Примитивная бульварщина, мы же на бульваре. Сгусток пошлости, стиль гранж, хотя они такого слова и не знают. Безвозвратные потери поколения, тотально оболваненные... Косметика из подземного перехода, шик новых неимущих. Разве в малаховской пасторали таких нет?

Журба не прогуливался по малаховским бродвеем и не знал, что ответить. Подумал: “Наверное, и у нас есть такие шары местного разлива”.

Когда разминутись с модницами на выпасе, Глаголев вышел на главную тему. Засмеялся:

— Вообще говоря, Алексей, я должен предупредить, что умные люди за историю СОФЭ не берутся. Риск немалый...

О “жизнедеятельности” Каценэленбогена в Америке Глаголеву ничего не было известно. Ядовито отшутился:

— Я Арона хорошо знал, не за колбасой же он рванул за океан. Думаю, боковая родня Карла Маркса живёт на проценты с “Капитала”. Кажется, “Эхо Москвы” вякнуло, что он в Штатах прилично устроился. А “Эхо”, сами знаете, — снова засмеялся, — никогда не лжёт.

Зато прочитал историку Журбе лекцию о Нобелевском лауреате, “чикагском гуру” Мильтоне Фридмане, на счету которого банкротство двух стран, которые взяли его идеи, — Аргентины и Израиля. Безрассудно свободный рынок и биржевые игры в обоих случаях привели к тому, что люди бросились делать деньги, деньги и деньги, пренебрегая производством товаров. Вместо изобилия — кукиш с маслом, пока не указали Мильтону на дверь. Случайно ли в Америке, в отличие от Леонтьева, чьи идеи широко применяли на практике, Фридмана за версту не подпускали к управлению экономикой, чувствуя как экзотическую сладкоголосую “сирену” свободного рынка, предназначенную коварно соблазнять и губить простодушье из других государств.

На эту удочку попался и горячий приверженец чикагской школы Мильтона Фридмана чмокающий “мальчик в коротких штанишках”, примитивный доктринёр Гайдар, в чьи кривые руки Ельцин отдал российскую экономику.

А Гайдар, этот бездарный экономический штурмовик, опереточный властелин рыночной истины, в двадцать раз сокративший бюджет науки, сидевший “на подосе” у чикагской школы Мильтона Фридмана, был учеником Шаталина, главного пропагандиста СОФЭ. Именно Шаталин подсунул Гайдару в “Коммунист” и Лациса. И именно Шаталин пригласил в СССР небезызвестного Джеффри Сакса, лично встречал его в Шереметьево.

Журба поражался тому, как красиво всё было разыграно. Сакса представили самым авторитетным американским советником, и после краха СССР Гайдар устраивал его встречи с Ельциным. Само собой, Сакс пел осанну молодому российским реформаторам. Но не только. Была в его сладкой песне ещё одна любопытная нота, которая привлекла особое внимание Алексея. По сообщениям прессы, Сакс, прогнозируя быстрое развитие новой российской экономики, как говорится, на пальцах объяснил Ельцину, что при переходе к рынку необходимо прежде всего организовать “исход бюрократов из сферы планирования”.

Но ведь это прямое указание покончить с Госпланом!

Что и было сделано немедленно.

А прогнозирование Сакса обернулось полным крахом, ещё хуже, чем советский застой, который организовали “софисты”-прогнозисты.

Круг замкнулся.

Как обещал при первой встрече, поведал Глаголев и о факультативных “прениях” по поводу СОФЭ, которые состоялись однажды в его маленьком “трудовом коллективчике”. Для Журбы они стали откровением, придали мыслям новое направление. И этот странный, въедливый человек полез глубже, выстроил ещё одну логическую цепь фактов.

Идеолог масштабного сталинского планирования Косыгин, который в ранге министра финансов успешно провёл денежную реформу 47-го года, взял в реформаторскую команду Абалкина и Ситоряна, однако на дух не подпускал к себе ни Шаталина, ни Гавриила Попова, считая их не учёными, а популяризаторами науки да вдобавок с карьерными претензиями. И оставшийся на бобах Шаталин вцепился в идею, подброшенную Каценэленбогеном, стал её мотором. Не исключено, поначалу он верил в эту “кустистую пшеницу”, как назвали СОФЭ, поминая трюк Трофима Лысенко, соблазнившего Хрущёва клятвой досья накормить страну. Но когда к делу подключился Арбатов, возглавлявший группу консультантов ЦК КПСС и имевший доступ к Брежневу, научная сторона вопроса отошла на задний план. Брежнев,

“придерживая Косыгина”, негласно поддержал СОФЭ, и её остро противопоставили косыгинской реформе, Совмину пришлось “врукопашную” схватиться с ЦК. И Агитпроп, через газету “Правда” ударив по журналу “Плановое хозяйство”, показал, кто в доме хозяин.

И хотя на знаменитой коллегии Госплана верх безусловно взяли реформаторы, а СОФЭ признали неприемлемой химерой, она своё грязное дело сделала: обескровила, парализовала реформу, и в основу “генеральной линии” легла заезженная догма о неизбежной победе социализма, швырнувшая СССР в губительный застой. Сразу после этой диверсии “софисты”, выпустив десятилетний отчёт, закрыли тему. СОФЭ ушла из сферы общественного внимания по-английски, не прощаясь. Немало её адептов тут же эмигрировали в США, а те, кто остался, постарались напрочь забыть аббревиатуру СОФЭ, словно её и не было.

Это яснознание открылось Алексею Журбе, когда он выстроил факты в стройный логический ряд. Как историк он мог торжествовать. Но поставив жирную точку в “сценарии”, в порыве негодования вскочил и выбежал в сад, принялся быстро, в нервном возбуждении метаться по гравийной дорожке к задней калитке и обратно. Он был потрясён.

Идут 90-е годы. Советское прошлое истлело. Россия отчаянно бьётся в экономических конвульсиях, всё чаще звучат голоса о распаде страны на манер СССР. И Журба теперь ясно понимал, что события в точности повторяют эпопею конца 60-х годов: вместо реформирования, к чему призывал Василий Леонтьев, снова началось разрушение, верх взяли те, кто требовал свободно-рыночного пути а-ля Мильтон Фридман. И — о, Боже! — оседлали вороного коня Апокалипсиса всё те же, всё те же. Продувная бестия Шаталин, ставший президентским экономистом, привнёсший в науку особую степень политизированности, чуть ли не плакавший у микрофона, когда его прокатили в члены ЦК, а потом одним из первых выскочивший из КПСС. Главный сподвижник “архитектора” Яковлева Арбатова, нашептавший Брежневу об излишнем росте влияния Косыгина, — чёрную кошку меж ними вбросил. А в стремянных — скушники советского краденого Лацис и компания. Это же перестроечный ренессанс софистов!

Нет, не распалась связь времён: выстрелили западные закладки советских лет. Логика Журбы была железная, вот она, махровая правда: те, кто на рубеже 70-х не позволил Госплану заняться масштабным планированием, загнав экономику в застой, именно они на рубеже 90-х, когда Леонтьев предложил России вариант нобелевского метода “затраты-выпуск”, — да, та же публика, даже поимённо! — поспешили с восторгом сокрушителей ликвидировать Госплан. Этим занялся ещё в 91-м изучавший в Чили опыт Пиночета Чубайс, прыщавая рыночная школоты с ампутированной совестью. Вот уж верно: некто, возмнивший себя вершителем российских судеб.

Быстрыми шагами с крутыми разворотами отмеряя туда-сюда короткую садовую дистанцию, Алексей отрывочно вспоминал горечи, которые переживал в последние годы. Особенно жгла танковая расправа с Белым домом на Краснопресненской. В тот погожий день в Малаховке было тепло, по-осеннему прозрачно, и этот контраст с взрывными телевизионными репортажами не давал покоя. Для историка Журбы 93-й год был символичным, он читал роман Гюго — через двести лет, год в год! Сюжет он уже не помнил, но в памяти жил образ: в шторм на корабле с креплений сорвалась тяжёлая мортира, её швыряло по палубе, и она крушила борта, угрожая потопить корабль. Это был мощный образ государства, которое не под вражеским огнём, а из-за слабости внутренних креплений может пойти ко дну. Подумал: “О нашем 93-м правду не напишут, но наверняка какой-нибудь пустосвят возьмётся на этой трагедии спекулировать”.

Странная повторяемость драматических событий взламывала разум, и Журба снова вернулся мыслью к СОФЭ, к гайдаровской шоковой терапии. Одно и то же, одни и те же! Распался, его охватило тихое бешенство. Господи, да что же это такое! Ума помрачение. Бога не боятся! Демонология... Только об одном сожалел он в тот момент: что дал себе зарок не сквернословить. Вот она, известная из истории пагуба разрытия старых могил!..

Постепенно взрыв эмоций улёгся. Выплеснув негатив, скомандовал себе: слышь-ка, парень, хватит стрессовать да руки заламывать, отставить плач израилев, давай-ка за дело. Вернулся в дом, принялся листать тетради с записями, делая выписки. За много лет тетрадей накопилась толстая пачка, на их просмотр ушло часа три.

Завершив подготовительную работу, взял чистую тетрадь, написал на обложке крупную цифру “2”. Теперь ему всё было ясно, и сценарная запись “слева-справа” не нужна. Начал писать во всю ширину листа:

“Отношение Леонтьева к СССР. Он писал: “В эпоху Сталина коммунистические руководители были заняты выполнением беспрецедентной задачи по превращению с головокружительной быстротой технически отсталой страны в индустриально-военную державу, нацеленную на дальнейший экономический рост”.

Следующая запись:

“Отношение Леонтьева к перестройке. “Леонтьев упорно бубнил одно и то же: “Вы не должны допустить роста розничных цен, это опасно для перестройки”. Ещё цитата: “Не спешить, нужен баланс между планом и рынком. Не дерегуляция, а сильное правительство баланса”. Ещё: “Жёсткое планирование позволило СССР вырасти в мощную державу, соревноваться в гонке вооружений с США. Главная беда России — плохое качество менеджмента. Назначенных миллиардеров не приняли бы в руководство ни одной крупной американской корпорации. Они сняли пенки”.

Конечно же, эти люди, которых Леонтьев не признал за капитанов бизнеса, яростно отторгали его, продолжая гробить российскую экономику. Журба сделал ещё несколько записей:

“1996. Обращение Леонтьева к Ельцину о НЭП. Он писал: “Только с помощью государства можно инвестиции из спекулятивных финансов перенаправить в производство”. Ельцин это обращение проигнорировал. Ясно, с чьей подачи.

“1997. В Москве намечена экономическая конференция с участием Леонтьева и ещё четырёх лауреатов Нобелевской премии по экономике. Леонтьев хочет внедрить в России принципы развитой рыночной экономики. В самый последний момент конференцию вероломно отменили. Гайдаровская шайка, захватившая власть, не хочет, чтобы в стране узнали о губительности её монетаристских инструментов”.

Далее сделал выписку из интервью Василия Леонтьева “Комсомольской правде”:

“В приватизацию нельзя было бездумно раздавать остатки мощной советской экономики. Цивилизованное предпринимательство возможно только через государство”.

Как тут было не вспомнить Журбе громкое заявление Чубайса, который кричал, что заводы надо бесплатно раздать кому попало, чтобы угробить идола коммунизма? Боже, в какие сволочные, равнодушные к судьбам России руки швырнула страну кучка горбачёвских элитариев, развалившая СССР! По логической цепочке сразу вспомнил и Чернышева, который откровенно написал, что в журнале “Проблемы мира и социализма” были подготовлены люди “передовой мысли”, путившие новые побег на одряхлевшем дереве марксизма. О-о, кого и как готовили в Праге, Журба знал по личному опыту... Он делал записи быстро, не останавливаясь, чувствуя, что подобрался к разгадке рокового феномена: теперь ему были предельно ясны удивившие двадцать лет назад крутые расхождения по Леонтьеву между Лацисом и Глаголевым. Историческая цепочка фактов и имён приобрела строгую логику. Теперь Журба понимал, кто и почему противился идеям русского американца лауреата Нобелевской премии Василия Леонтьева, который пытался уберечь Россию от экономических бед. Это был какой-то бред! Российская либеральная свора, молившаяся на Америку, отвергала советы крупнейшего американского экономиста! И ненавидела его за то, что он русский, ибо смертельно боялась, что Россия прислушается к его мнению.

Но почему, почему? Только ли из своей корысти, или же смысловая цепь, начавшаяся с заката косыгинской реформы, продолжается и сегодня? Ответа на этот вопрос у Алексея Журбы не было. Пока не было.

Шёл второй акт русской экономической драмы.

II

На сей раз Михал Иванович позвонил за неделю до очередного заседания Интеллектуально-делового клуба. Оповестил в телеграфном стиле:

— Готовится важная встреча. Будет аншлаг. Вынуждены сжать список гостей. Ждём тебя без супруги.

Виктор принял инфу к сведению, сделал пометку в недельном графике и забыл о звонке Кудина.

В бизнесе шёл самый гон.

Из Нижнего мчал очередной караван — десять “буханок”! — на которые уже стояла очередь из покупателей. Машины выбили через какого-то местного жучка, чьё имя Рябовол не помнил, но которого взял в партнёры. В первозданном рыночном хаосе понятия “взятка” не существовало. Удобнее временно зачислить в штат нужного человека и платить ему по договорённости. “Буханки” продавали в три раза дороже, деньги были дармовые, халявные. На днях сообщили, что на Алтае загружен контейнер с пантами, и предстояло договориться об их продаже китайцам, которым молодые олени рога с плюшевым ворсом Виктор отдавал втридорога. Вагонами шли закупки мочевины, главного на сегодня удобрения, за которым гонялись тоже китайцы. Налоговая система оставалась в зачаточном виде, и прибыль хлестала ливнем, лилась водопадом. К тому же Рябовол переманил из Морбанка бухгалтеря с подходящей фамилией Прибыткин, и это означало, что его кореша, оставшиеся в банке, выделяют любой кредит. Под этот вариант Прибыткина и взяли.

В оборотах и номенклатуре взрывной рост. Пошла жара. А тут ещё и Княжнин подсутился.

Палыч, этот кот в мешке, которого бывалый фотокор Хрупов притащил когда-то в “Арагви”, пошутив про “своё веленье, щучье хотенье”, оказался не просто находкой, а “джекпотом”, ценность которого возрастала после каждой сделки. Как выяснилось, он уже на выставочке импортных шмоток в Вешняках сообразил, что затевают Рябоволы, и с тех пор, словно искомая пчела, мчался впереди их бизнеса, извлекая для себя прибыль сначала из махинаций с перепродажей ходовых зарубежных тряпок, потом через деловую дружбу с “реальными пацанами”, затем благодаря своему человеку во главе местной власти и далее — *везде*. У него был фантастический нюх на деньги, вернее, как он говорил, на “передовые технологии добычи полезных ископаемых”. По его изощённому суждению, в годы первоначального накопления залежи денежных купюр под ногами, и каждый новый день рождает новые способы разработки этих богатых месторождений.

Неизвестно, где и при каких обстоятельствах Палыч познакомился с мужиками, жившими от кладбищенских надгробий, вернее, едва выживавших. По случаю да по-простецки раздавив с этой кустарной мелюзгой пару бутылцов и наслушавшись похоронных историй, он обогатился сведениями о мраморных карьерах в Карелии, которые погибают от катастрофического падения спроса: в скучные времена многим ли до могильных памятников? Не поленился смотаться в Петрозаводск, всё разведать и выложил данные Рябоволу. Дело было выгодным. Виктор поручил нарисовать бизнес-план, рассчитать срок окупаемости, подготовить прочие бумаги, а сам через знакомых знакомых нащупал итальянцев, которые взялись поставить линию по обработке мраморной плитки. Разумеется, кладбищенские камнетёсы остались побоку: мгновенно возникла фирма по облицовке разноцветными мраморами наружных стен, полов и придомовых площадок — Подмосковье обуюла мода на богатые особняки. Прибыль пошла сумасшедшая, а Палыч в награду стал номинальным гендиректором фирмы. И хотя проект уже в стадии реализации, не всё пока отлажено, Виктор лично вёл это дело.

Но едва сунули нос в природный камень, как обнаружилось, что под Челябинском “дымится” знаменитый, крупнейший в России карьер белого мрамора Коелга. У вошедшего во вкус Рябовола шевельнулась мысль: не стать ли мраморным монополистом? И он бросился искать связи в Челябинской области администрации. Белоснежный мрамор — не чета пепельно-серому карельскому, высший класс! И Рябовол вторично собирался на Урал, намереваясь для солидности захватить с собой доктора экономических наук Анкудинова, о котором ему сказали на Долгопрудненском камнеперерабатывающем заводе: он умеет надувать щёки и корчить умные рожи. Экспертов теперь арендуют наподобие эскортниц: любую прихоть обеснюют, только плати.

Виктор разрывался на части. Он понимал, что в России безнаказанный период криминального хапка на пике, и те, кто первыми успели сказочно обогатиться, вот-вот взвоют от беспредела крысятников и нищелюбов, требуют от власти ужесточения правил, чтобы избавиться от бандитской вольницы, угрожающей благополучию новых хозяев жизни. Настал момент, когда матёрому спекулянту Рябоволу надлежит переродиться в дельца, в предпринимателя.

Но текучка не отпускала. Неожиданно вновь проклонился Палыч. Он приволок двух развязных парней в малиновых пиджаках, которые заявили полпредами старшего с кликухой Фунтик и повели речь о строительстве завода прохладительных напитков. По ходу разговора изворотливый Палыч без согласования с Виктором вбросил, что Рябовол — слишком крутой бизнесмен, чтобы западать на примитивные лимонады. Вот если речь пойдёт о перспективе чего-то вино-водочного... Но для этого необходимы серьёзные соглашения с местной властью, которые должен взять на себя Фунтик.

Согласования были получены в неделю, и стройка развернулась немедленно. В войну после эвакуации заводов на Урал первые танки там начали собирать чуть ли не под открытым небом. Отчего бы не приступить к выпуску напитков в недостроенных цехах, пока даже на налоговый учёт не встали? А уж договариваться с надзорщиками и лицензёрами Рябовол умел.

При тайном благоволении властей рынок недвижимости полностью, тотально оказался под криминалом, что было на руку Рябоволу. На всех “точках” сидели свои люди. Башлялось шикарно, приток дутых денег захлёстывал. Первые крупные дельцы поднимались на отмывании денег, “отмывка” и “откат” в эпоху обогащения стали самыми популярными экономическими терминами. Свободные деньги были только у криминала, который правил экономический бал.

Офис на Лесной уже был тесным. И снова с подачи Палыча Виктор задёшево взял участок на окраине Подольска, быстро отгрохал на нём трёхэтажные конторские апартаменты. Рядом — особняк с подземным гаражом, для личных нужд.

Не зажились Рябоволы и на Октябрьском поле. Через шустрых риелторов Виктор расселил пятикомнатную коммуналку в самом центре, близ храма Воскресения Словущего, и Альбина занялась евроремонтом клоповника, в который полунищие советские жильцы превратили за семьдесят лет некогда шикарную адвокатскую квартиру царских времён в доходном доме “Россия”, — высокие потолки, дубовый паркет, закуток для прислуги, из окон виден только что поднявшийся купол храма Христа Спасителя.

Всё возвращалось на круги своя.

Для людей с большими деньгами время настало изумрудно-изобильное. Наплодившиеся всюду административные службы мигом воздвигли монбланы запретов всего и вся, без преодоления которых шагу не ступить. Главным товаром на бизнес-рынке стали “разрешения”, которые превращали запретное в легальное по негласной таксе, установленной на рынке криминала. Щедро вложенный в подкуп рубль давал стократную прибыль и отсекал прижимистых конкурентов. Рябовол, размахнувшийся широко, качавший прибыль из разных бизнесов, всё чаще подумывал о том, не настала ли пора объединить их в холдинг.

В душе молился на Ходорковского — вот пример! Сунувшись в нефтянку, прошёл полный курс молодого бойца: работал рядовым бурильщиком,

мастером на вышке, затем у итээров стажировался. А в итоге первым создал нефтяную вертикаль ЮКОСа — добыча, переработка, продажа. Вот они где, настоящие деньги. Нет, уже не деньги — капиталы! Сначала в долларовые миллиарды выбился, а через несколько лет через покушку месторождений раскачал ЮКОС до 24 миллиардов. Недавно Виктор прочитал интервью Ходорковского о планах компании: разогнать стоимость до 80 миллиардов долларов, снять пенки и продать, чтобы перекинуть капитал в перспективную сферу электроники. Масштаб! Рябовол прикидывал на себя: конечно, такого размаха ему не достичь, но ведь и он все ступени с нуля прошёл, начиная с кочегарного шиномонтажа, все секреты-фокусы бизнеса освоил, от меновой торговли до притворных сделок... Почему бы не замахнуться на миллиардное дело?

Правда, Перегудин, из журналистов по заказу, с которым Рябовол познакомился в клубе Рыжкова, рассказывал про какую-то мутную историю с Ходорковским. В ЮКОСе его наняли подготовить агитацию для выборов нефтеюганского мэра Петухова — сделали о нём добротный ролик, избирательную кампанию прописали, группу консультантов зарядили, уже билеты на самолёт выдали, хороший бюджет в Нефтеюганск отправили. И вдруг — словно ножом отрезало: отставить, никакой агитухи! А Петухова и без ЮКОСа избрали. Перегудин огорчался: хороший заработок упустил, но почему, неясно. А через несколько месяцев мэра Петухова среди бела дня прямо на улице Нефтеюганска грохнули из автомата, и пошёл большой шум, что за этой расправой стоит Ходор, от которого Петухов требовал платить налоги сполна.

Вот и думай.

В Интеллектуально-деловом клубе Рябовол стал завсегдатаем. Всё вышло по накатанной схеме: они с Семагой договорились о регулярных взносах, — этот жук своего не упустит, ошкурил капитально, — и Козин исправно оповещал о заседаниях. Сами по себе словопрения, конечно, были занимательными, позволяя Виктору лучше понять, что творится в большой политической жизни, за стенами его разношёрстного бизнеса. Однако самой привлекательной “процедурой” стали всё же антракты и, разумеется, финальный ужин, когда можно поговорить тет-а-тет с тем, кого Виктор приглашал подсесть к нему, или с тем, к кому он подсаживался по своему интересу. Дальнейший протачок Палыч, как всегда, оказался прав: Рябовола познакомили с одним из солидных думцев — между прочим, коммунистом, — который проявил интерес к тандему на предвыборной почве и обещал свести с теми, кто этот вопрос решает. Княжнин, неустанно опекавший Виктора по части депутатских замыслов, осторожно, шаг за шагом вёл его к цели, и знакомство было уже столь плотным, что позволяло пригласить нужную персону на обед в продвинутом кабаке вне рамок клуба, чтобы в сытой благодати побеседовать на “посторонние” темы. Кстати, хозяин клубного заведения был в курсе и при случае умело подыгрывал Рябоволу, представляя его солидным бизнесменом. Сам Семага вознамерился “взять Думу” тем же макаром, тоже через коммунистов, исправно посещавших заседания рыжковского клуба.

Но помимо депутатского замысла, которым соблазнил его Палыч, Интеллектуально-деловой клуб привлёк Рябовола ещё одной отградой.

Безалаберный студент, никудышный инженер, “колёсный мастер”, ворочавший тяжёлые покрывки в грязной зловонной тесноте шиномонтажки, а потом мелкий делец первого, пацанского призыва, раньше он крутился в низовой среде, где жрачка, жвачка и ржачка, где царили матерщина, выпивка, шkodливые подначки, пошлые увеселения прискорбного содержания и похабные анекдоты. Жить было весело, в башке только одно — башлять бабки, взять марочное бухалово, по полной оторваться в кабаке, иной раз начудить с передоза сахарной пудры, ибо задуть дорожку кокса считалось рядовым и безопасным делом. А ещё купить крутую “тачку”, чтобы корешей корёжило от зависти. В этом хаосе первобытных развлечений Виктор чувствовал себя распрекрасно.

Конечно, норма жизни с годами менялась, компрадорская рента возвышалась. Мужья уже приглядывались к зарубежной недвижке, жёны всегда были

в тренде, порой, благоухая “шанелью”, качали попой на набережной Лазурки, а уж каталки в Турцию для них стали обыденностью. Эпатажничали теперь изощрённее, “тачки” дорожали, кореша обновлялись, кабацкие взрыды и оргии становились круче, мериться начали часами “Ролекс”, туфлями крокодила от Бордини или ручной работы от Миглиори. А вдобавок брюликами плавной огранки кушон, пудовыми золотыми цепями и “гуччами-версачами” жён: чья шикарнее, чья одета по последнему писку моды. Сам Виктор тоже жил теперь в мире брендов: ключница с молнией и картхолдер от Луи Виттона, узорчатый портмоне с монограммой, буйволового кожи. Массивный статусный перстень, само собой. Да, ещё походка! Раньше ходил вразвалочку, а теперь держится прямо, носки слегка врозь, — слава богу, ноги в струнку. Пиджаки индиошва, только по итальянским лекалам, сидят, как влитые; брюки с низкой посадкой и в нужных случаях с экстремальным облеганием. А уж домашний быт! Постельное бельё Лоро Пиано с инициалами — этим всё сказано. Кругом только премиальные бренды. Бьют-выбивают барабаны! Время банкетов и фуршетов, эпоха ресторанов и метрдотелей. Рябовол жил — не тужил на двойных щах.

А среда всё равно оставалась прежней. На сходках женщины сплетничали о чужих нарядах, бриллиантах и вчерашнем сейшене, мужчины обсуждали суперновые марки кроссоверов и хэтчбеков, грядущие валютные курсы, цены, обороты, прибыли.

А всё равно — низы общества, пусть и высшего.

А здесь, в заседаниях Интеллектуально-делового клуба всё иное.

Николай Иванович Рыжков! Мог ли полукриминальный спекулянт Виктор Рябовол, выбивавший копейку из мелких сделок, мечтать, что будет сидеть за одним дискуссионным, а затем богато накрытым столом с Председателем Совмина, неважно, что бывшим? А рядом — отставные министры, многозвёздные генералы, — да, в штатском, но генерал, он и без погон виден! — академики, депутаты. Сенаторы! И он, прежнее ничто, заурядный делец, удачно оседлавший время большого хапка и разбогатевший на незаконных махинациях, он, Виктор Рябовол, с этими знаменитыми людьми на равных! Отныне он полноправный “гражданин” новой интеллектуальной элиты — само название клуба тешило самолюбие.

Более того, он же чувствовал, с каким уважением встретили его, когда он пришёл в клубном пиджаке с гербовыми пуговицами (эмаль!). А уж когда подкатил к особняку на Большой Коммунистической в только что купленном “Бентли” и шофёр, выскочив из-за руля, подобострастно открыл ему дверцу, тут и вовсе. Сменил обычного “японца” на роскошный лимузин! Паркинга у Семаги не было, зато у Виктора уже был портативный кнопочный радиотелефон, и все видели, как под шапочный разбор он вызывал машину.

Флёр элитарности туманил голову. Он никогда не думал, что чувство принадлежности к элите может быть таким трепетным, таким возвышающим. И таким полезным! Нет, речь не шла о том, что в интеллектуально-деловом клубе завязывались какие-то интересные деловые связи, как раз по этой части здесь было слабовато. Но пребывая в непривычной атмосфере политико-экономических суждений, Рябовол, соразмеряя день сегодняшний с завтрашним, по-новому осмыслял свои грядущие пути-дороги, корректировал планы. И всё яснее осознавал, что на следующем этапе жизненной гонки без депутатского чина ему не обойтись.

Впрочем, быстро крепло в нём и другое чувство. На заседаниях клуба он с душевным восторгом воспринимал большие смыслы, через которые открывались ему новые горизонты мышления. Однако отнюдь не всегда разделял мнение элитарной патриотки, этих пламенных, а возможно, и показных отчизнолюбцев, — кто их знает? Административно-научная элита советского возраста, она, конечно, глубокомысленна, но начинает отставать от экспресса современной жизни. Такие, как он, Рябовол, молодой владельческий класс, люди больших денег, дельцы новой формации, на многое смотрят иначе, у них свои смыслы. Разумеется, Виктор не считал нужным “умственность свою показать”, вступать в дискуссию, в этом не было надобности,

здесь вопросы всего лишь обсуждали, а не решали. Но начинал осознавать новое триединство — имя, слава, деньги, — понимая, что завтра, когда укрепит свой элитарный статус, он предназначен сказать элите своё слово, и к нему прислушаются. Он сорвёт банк, начнёт влиять на настроение этой изощрённой публики, поведёт её за собой. Царь горы! Как-то мелькнула мысль: “А для авторитету не присовокупить ли к будущему депутатству учёную степень в какой-нибудь из престижных дисциплин? Какие проблемы? Теперь это просто”. Живи сильнее, парень!

Однажды при клубном разъезде позвал Палыча в свой “Бентли”, приобнял за плечи, сказал:

— Ты, как обычно, оказался прав. Думу мы возьмём, в этом я уверен. Крыша сверху у тебя будет. Теперь думай дальше, ищи, рыскай умом. Настают новые времена. С проституцией покончено, пришла эпоха секс-работниц и ударниц эротического труда... Кстати, ты давно ездил по Поварской?

— А что?

— Там дома появились интересные, крышами они не заканчиваются. На крышах шикарные надстройки, зелёные насаждения.

Ну, Палычу разжёвывать намёки не надо. Он понимающе хмыкнул.

12

В тот раз Дмитрий заглянул на Старокопищенский случайно. Ехал мимо по Пречистенке, вот и приспичило нырнуть в глубь арбатских переулков. В угловой кондитерской взял какие-то сдобы для чаепития, ягодную “корзиночку” для Никитки и завалился в отчий дом сюрпризом.

Пока мама накрывала стол, по обыкновению устроились в кабинете с окном на мидовский шпиль, разрешив Никитке катать по ковру пожарную машину. Было тихо, спокойно.

А говорить не хотелось.

Настроение у Дмитрия было не то, чтобы смутное, а скорее — без подъёма, скучная душевная вялость. И не сегодня это началось, не вчера, не неделю и не месяц назад — апатия одолевала давно. Он, конечно, понимал, в чём дело, и с нежностью думал об Уле, если бы не она, он совсем был скис, скуксился. Не исключено, мог и запить. А что? Добротные мужики именно от таких душевных передряг и спиваются. Или начинают ускоряться порошком.

Впрочем, передряг как таковых не было. Была долгая, нудная, тягучая мысль о том, что всё идёт совсем-совсем не так, как он чаял, что его ставка на прорабов перестройки попросту бита. Дело даже не в экономической катастрофе, угрожающей стране, это огромная общая беда, которую Дмитрию не избыть. Но он, в отличие от Ульяны, которая пахала на перестроечную гвардию, однако изначально знала ей цену, “продал душу” нечестивцам, громко голосившим о демократии. Он не умел двоиться, не умел делать одно, а думать другое, и вот результат — разочарование в жизни, в бывших друзьях и в самом себе. Тоска пала на сердце. Да-а, если бы не Уля, если бы не прочный семейный тыл, дело было бы совсем швах.

Тяжёлые мысли, как теперь говорят, о своей неактуальности, своей тщетности тяготили. Уже несколько лет он страдал “аглицким сплином”, и хорошо помнил тот день, когда что-то в его душе словно оборвалось, и наступила эта неотступная мерзкая вялость, убивающая радость бытия. Жизнь на задворках. Полный тухляк. Клиника. Вроде бы дверь в будущее распахнута, шагай. Да окно в прошлое не закрыто. Вот он и торчит на сквозняке, от которого и простыть раз плюнуть, да и воспаление лёгких схватить немудрено. Как шутила Уля, чердак у него запылвился. Услышал:

— Что-то ты не весел, нос повесил.

Кисло улыбнулся:

— Тяготят воспоминания.

— Ну-ка...

— Это, отец, песня долгая. Но если о том, на чём меня поймал твой вопрос, то, сдаётся, и тебе будет любопытно. Могу поведать.

Откинулся в гостевом кресле, положил ногу на ногу.

— Ты ведь помнишь эпопею со съездами народных депутатов. Уж такая кутерьма была, что не продохнуть, минуты свободной не было.

— Ну, положим, ты, насколько я потом понял, ещё кое для чего время находил, — подколот Кондрат.

На этот раз Дмитрий улыбался широко, долго.

— Кабы тогда время не нашёл, не знаю, что со мной ныне было бы. От разочарований только семейный уют и спасает... Так вот, в той кутерьме вокруг нас крутилось много журналистов, с одним из них, Перегудиным Вячеславом, я потом не раз пересекался — среда-то общая. Знаю, что после краха СССР он работал в “Общей газете” у Егора Яковлева. А как-то встретил его в Доме кино, на презентации книги другого, главного Яковлева, и вижу, Перегудин этот смурной, злой, глаза погасшие, не поздоровался, а что-то буркнул. Я его за рукав: “Ты чего?” Тут его и прорвало. Рассказал, что на “Общую газету” Егору отвалили сверху денег немерено, а он её на себя зарегистрировал. И недавно продал за миллионы. Ну, об этом писали, я это знал. Но подробности, подробности, отец, ты же знаешь, *дьявол в деталях*. А детали сумасшедшие. Оказывается, Егор деньги положил в карман, до журналистов ему и дела нет. Да и новому хозяину они не нужны, он газету вот-вот закроет, видать, покупка была с фокусом. Перегудин жаловался: “На улице я. На подножном корме. В потолок не плюю, язык на плече, а всё равно порой фуфлыжничать приходится. Как жить, не знаю”. Вот тебе, отец, и Егор Яковлев, светоч демократии. С каким блеском начинал и как паскудно закончил. Кладбищенская жуть.

— И ты в нём разочарован? — усмехнулся Кондрат.

— Не в нём, в себе! Я же на них по совести вкалывал, от души. Хотя Уля предупреждала, она с ними демократическое танго из нужды танцевала, но им не доверяла, говорила, в любой момент на ногу наступят, публика ненадёжная. А сейчас мои душевные раны врачует. — Вдруг снова улыбнулся. — А я помню, как ты, не зная, рисовал её облик, мол, вдоволь повидал таких охотниц за чужими мужьями, не пара она тебе. Я тебя слушал и дивился: всё верно отец говорит, и фигуристая, и боевая раскраска, и модница, и говорунья, и подать себя умеет. — Рассмеялся. — И прикидывал: надо же, внешние приметы полностью сходятся, можно брать!

Кондрат задумался. Он уже неплохо знал Ульяну и по домашним общениям, и по работе. Две невестки, Варя и Ульяна — из разных миров, настолько не схожи, что их нельзя сравнивать. И в то же время обе незаурядные. Уля — он впервые мысленно назвал её Улей — разрушила его давний стереотип о модной стерве, оказалась она женщиной душевной, вдобавок умницей, каких поискать. А Варя... Вспомнил о Варе и невольно губы дрогнули. Очень уж удачно он свёл её с Матвеем. А Матвей-то, Матвей... Примерно через полгода напросился в гости и, сидя вот в этом кресле, совсем другой, непохожий на себя, переполненный чувствами, “падал в ноги” уже не за помощью, а с благодарностью безмерной. Не стесняясь своей восторженности, какая за ним никогда не водилась, — сдержанный на эмоции сибиряк, — сбивчиво объяснял, что мечтал жениться, и когда с Варей познакомился, ни о чём другом думать не думал. Но потом что-то случилось, вспыхнул душевный пожар, и уж так они оба счастливы, так счастливы, что словами передать невозможно. Не чаял, не гадал он о таком великом счастье. Чуть ли не со слезой восторга объяснял: “Кондрат Егорыч, Кондрат Егорыч, я же её на руках ношу, на руках! Буквально! Буквально, Кондрат Егорыч!” К тому же Варя решила родить, и они поторопились, потому что возраст поджимает. С жильём проблем нет, объединят квартиры...

— Ты чему улыбаешься, отец?

Кедров ответил не сразу:

— Ты лучше скажи вот что... — Сделал паузу, кивнул в сторону Никитки. — Сводный брат у него есть. А родной?

Дмитрий понял, нахмурился:

— Это самый тяжёлый вопрос, Уля страдает неимоверно, извелась. На эту тему у нас наложено табу. Меня только Тютчев согревает. Помнишь? *Чему бы жизнь нас не учила, сердце верит в чудеса...*

Кондрат не помнил, ибо слышал эти строки впервые. Но в душе они отозвались волной тёплых воспоминаний. Разве мог он мечтать, что усыновит Никитку, будет сам его воспитывать? А сердце верило в чудеса — именно так!

Сменил тему:

— Филипп зовёт в Интеллектуально-деловой клуб Рыжкова, завтра у них гость особо знатный. Но я откажусь, давно на людях не был, отвык.

— Что за гость?

— Официальных сообщений нет, а он, выходит, в Москве. Странно. Госсекретарь США, бывший, Джеймс Бейкер. Который клялся, что НАТО ни на дюйм не продвинется на Восток.

— Ин-те-ресно. Принимал капитуляцию СССР.

— В моём понимании СССР не капитулировал, а покончил с собой самоубийством. Не оставив завещания... Кстати, недавно на Арбате Метлока видел, посла американского. В одиночестве прогуливался, его же в лицо не знают. Мелькнула шальная мысль сказать ему пару ласковых...

— По части судьбы СССР разговоров на целый век хватит. А помнишь, ты мне цитировал Черчилля, который сказал, что если сегодняшнее увлечётся спорами с прошлым, то у него не будет будущего. Или что-то в этом роде. Но смысл понятен.

— Ну, в том, что ваше поколение ещё восплачет об СССР, я не сомневаюсь. Но у истории заднего хода нет. Надо, дорогой мой, учиться жить по своим болезням. Это для каждого человека важно — уж какие изъяны у людей бывают, а они счастливы! — да и для стран. Смотри, Швейцария, отлучённая от моря, как научилась! Россия без Союза тоже научится, на этот счёт, кстати, нам не привыкать.

— Что-то тебя, отец, на философию потянуло.

— Мама это тоже заметила. В том, наверное, дело, что в 91-м меня сильно потрянуло, а теперь потихоньку всё наладилось, да и новое дело в жизни появилось. — Кивнул на Никитку. — Вот и смышляю, как у него судьба сложится. Моя на большую эпоху вышла, твоя — на нынешнее безвременье. Но хочу верить, не доломать нас метлокам.

— Ты не исправим, снова грозишь светлым завтра.

Кондрат рассмеялся:

— Что ж, по партийным документам мы семьдесят лет пытались растить нравственную личность — не вышло, что поделаешь. Зато вы мигом взрастили нового русского, который весь мир потрясает своим разгулом. Поздравляю.

— Ну, положим, этот новый русский далеко не всегда русский.

Кондрат внимательно посмотрел на сына.

— А ты глубоко начал смотреть, раньше за тобой такого не значилось. Похоже, Ульяна с тобой основательно поработала, узнаю её интонацию.

Дмитрий поднялся с кресла, обнял отца за плечи.

— Она, отец, она. Шутки шутками, а она большими смыслами живёт, лучше меня жизнь понимает. Помнишь, я тебе говорил, что она карякиным-яковлевым изначально не доверяла, хотя и работала на них? А на днях, в субботу судили-рядили у телевизора — шла забойная программа Познера, — что с нами со всеми происходит, а она вдруг предъявила мне Бунина: народные беды — это хлеб нашей интеллигенции. Это же когда было сказано! В иную историческую эпоху, совсем иную. А как точно, как верно! Непреходяще... Смотри, сколько деятелей смачно зажили на сегодняшних нескладухах, телевизионные познеры просто расцвели.

— Ну, Познер с его советским прошлым и тремя гражданствами, с его “пишл схаваает” — это не личность. Это профессия. Он и осуждения не достоин, навозник. Хотя-а... И среди насекомых попадают слоны.

— Уля его иначе как благомыслом не называет — по Оруэллу, матёрым приспособленцем. Я с ней согласен, лицемерие — грех нашей интеллигенции.

— Много их, этих незаконнорожденных деятелей 91-го года, целая популяция... — Улыбнулся. — А я, знаешь, о чём сейчас подумал? В девяносто

первом мы окончательно избавились от железного занавеса, а вместо него получили железные двери в квартирах. Такое время настало, что в оба смотреть приходится, даже на Староконошенином. Я тоже заказал, должны через пару недель поставить.

Дмитрий вернулся к прежней теме:

— А вот ты про Джеймса Бейкера говорил... Я тут подумал...

— Мне любопытно, как Рыжков до него докопался. Возможно, раньше общались, были знакомы.

— Слушай, отец, я вот что подумал. А ты не можешь вместо себя меня туда пропихнуть? У нас в институте к этому деятелю внимание повышенное, за ним много чего числится.

— Филипп сказал, что на Бейкере будет аншлаг, обо мне собирался лично с Рыжковым говорить. Поэтому обещать не стану... А ты почаще к нам заезжай, интересный сегодня разговор вышел.

13

Оказалось, Рябовол — единственный, кто не знал о Бейкере. По обыкновению приехав на Таганку за полчаса до начала клубного вечера, он попал в гудящий улей, в кулуарах ресторана толпились народ. Заглянув в главный зал, Виктор увидел, что на столах, расставленных большим прямоугольником вдоль стен, поблескивают двусторонние кувертные карточки — золотом на синем фоне — с именами тех, кому предстоит участвовать в дискуссии. Табличек штук сорок, возможно, пятьдесят. Кроме шустрых официантов, в зале пока никого. Зато второй ярус, длинные балконы с четырёх сторон, уже забит до отказа и гудит. Столов там сегодня нет, только стулья для зрителей.

В душе Виктора прыгнул зайчик. Полный аншлаг! Вдруг для него не припасли почётное место? Кто его знает, этого Семагу? Быстро обошёл прямоугольник, отыскал своё имя на короткой стороне и успокоился. Вернулся в кулуары, затем вышел в уютный внутренний дворик.

Из небольшой группы мужчин тотчас выскочил Перегудин с сигаретой в руке:

— Приветствую, Виктор... — и замялся.

Рябовол понял его затруднение. При первом знакомстве Палыч представил его как Виктора, но после “Бентли” кое-что изменилось, и невольно сработал рефлекс почтительности: позволит ли крутой бизнесмен панибратствовать? Сомнения были оправданы, Рябовол стал другим и не позволил:

— Георгиевич...

— Я ещё три дня назад знал, что здесь будет Бейкер.

— Бейкер? Это кто?

— Вы не в курсе? Ну как же, сегодня почётный гость — бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер, уникальная встреча. Но вот что странно: я сунулся в “Новую газету”, а там рожу кривят. Я так думаю, что в Рыжкове дело. Если бы Гайдар с ним встречался или Явлинский, взяли бы материал на ура. — Засмеялся. — Зато журналистов было бы пруд пруди, а здесь — я один, и ни одной телекамеры.

Призывно помахал рукой мужчине, вышедшему во внутренний дворик. Когда тот подошёл, протянул руку:

— Первый раз вас здесь вижу. Что, потянуло на бывших? Или только на Бейкера? — Повернулся к Рябоволу. — Знакомьтесь, Дмитрий Кедров, предводитель гуманитарного дворянства, Институт мировой экономики. А это Виктор Георгиевич Рябовол, крупный бизнес, который, как известно, любит тишину. Надеюсь, не нефть, Виктор Георгиевич? Это было бы слишком банально, моветон, не комильфо.

Все трое улыбнулись, оценив шутку.

Прошли годы с тех пор, когда в гости к Рябоволам закатилась студенческая подруга Варя Губина с мужем. Виктор помнил ту встречу смутно, но всё же узнал Дмитрия. Хотел спросить о жене, но тут же раздумал: он молчит, не узнаёт, чего я буду суетиться? Не пристало...

А Перегудин принялся фонтанировать информацией по Бейкеру. Оказывается, бывший госсекретарь после отставки вернулся в прежнюю профессию и хочет открыть в Москве контору крупной адвокатской фирмы с классическим западным брендом “Бейкер энд кто-то там ещё”. Офис арендовал в престижном месте, в самом центре, на углу Большой Дмитровки и Дмитровского переулка, сделал евроремонт. Мужик крепкий, песок из него не сыпется, и самолично прибыл в Россию, чтобы официально открыть своё юридическое заведение.

— Рассчитывает грести прибыль лопатами. Ясен пень, здесь он будет, как щука на жоре. Кто на Бейкера не клонет? Могикан политической сцены!

Когда покончили с госсекретарём, Перегудин, рта не закрывавший, начал костерить коммунистов, которых слишком много набежало в рыжковский клуб, где эти рассерженные патриоты на содержании оппонируют “нормальной власти”. Советским перегаром в нос бьёт. Дмитрию стало скучно, он прервал:

— Лучше скажи, как Егор Яковлев поживает. Помнишь, рассказывал про “Общую газету”?

— Откуда я знаю, как поживает сей недоброй памяти поц? Наверняка не тужит. Ему что? Забил заряд я в тушку Пуго и — в кусты, вернее, в райские кущи. С мейнстрима исчез, это да, слинял. Может, где за границей гужуется. Егор всегда себе на уме, у этого политического импотяги всё за семью печатями, у него свой склад ума. Но сдаётся, на этом складе сейчас пусто. — Глубоко затянулся, выпустил дым, чуть кашлянул. — А вообще-то, мужики, вот что я вам скажу. Горбачёвская шобла, которая пять лет с экрана не слезала, она после развала Союза сразу враспыльную. Они есть, конечно, должностей разных понахватали. Но в перестройку-то эти бармалеи единым строем шли, помните, кто-то писал — танки идут ромбом? А сейчас россыпью, каждый сам по себе и никаких громких заявлений, будто не они всё сокрушили. Как пить дать, общаются меж собой, но втихую, без шума. Раньше-то каждое их слово стократно тиражировали, а теперь где они, акционисты чёртовы? — Громко расхохотался. — По народу инфа проскочила, будто Карякин рвался послем в Ватикан, с Папой хотел ручкаться. Чем, мол, я хуже ельцинского пресс-секретаря Костикова? Сатира в сортире! И со своим Достоевским пролетел. Сначала накорми, а потом спрашивай! Что ж не накормил?

Кедров удивился тому, что Перегудин оценивает нынешнюю судьбу прорабов точь-в-точь, как Уля, хотел уточнить кое-что по Карякину, однако остановить Перегудина было невозможно.

— Нет, что-то тут не так, мужики. Мне “Новая” поручила взять большое интервью у академика Заславской. Я думал, раз плюнуть, в перестройку у неё столько интервью брал, что не счесть, как блины пекла. — Ухмыльнулся. — Она в ту пору всем давала исправно, на каждом перекрёстке её крик стоял. А теперь сунулся, а она ни в какую. Вот и попал впросак, опять пилястры упустил. Забилась в нору, чёртова перечница, о том, чем занята, ни звука, из пушки не прошибёшь. При Брежнев, при Горбачёве она же намбер уан была, а сейчас её и не слышно.

Рябовол с интересом слушал журналистский трёп Перегудина, хотя понимал далеко не всё, ибо не знал предыстории вопроса. Но цепкий ум бизнесмена схватывал главное — политическую подоплёку сказанного, и он ловил себя на мысли, что именно она привлекает его. Грядущее и уже обязательное депутатство становилось не просто прикладной функцией его завтрашнего большого бизнеса, но превращалось в самостоятельную ценность — хотелось не только решать частные вопросы личного интереса, но и влиять вообще. Да, да, влиять! На что, зачем, почему? Это потом, потом... Главное — завладеть возможностями влияния. Покупка “Бентли”, как говорится, автоматом превратила его из Виктора в Виктора Георгиевича, а за этим перевоплощением кроется именно рост влияния. И не трудно представить, как аукнется в этом смысле личный вертолёт, Суперджет “Бомбардь” и так далее, — разумеется, не по части подобострастия со стороны мелких перегудинных, а в плане

равного общения с такими, как Рыжков. Но не бывшими, а сегодняшними и завтрашними, которые будут знать, что вертолёт с суперджетом — это лишь внешние, сугубо технические атрибуты экономической и финансовой мощи олигарха Рябова.

В дверях появился Козин.

— Гости прибыли, приступаем к рассадке.

Не все, подобно Рябову, заранее присмотрели свои места, возникла суета, небольшая заминка, и дабы избежать суеты в дверях, Виктор вошёл в зал одним из последних. Противоположная, президиумная сторона уже была в полном составе. В центре — Рыжков и Бейкер, затем Бессмертных, предпоследний министр иностранных дел СССР, академик Абалкин, ещё трое незнакомых людей, а рядом с американцем — некто без кувертной карточки, оказалось, переводчик.

Как положено, Николай Иванович напомнил о роли Джеймса Бейкера в новой истории, в том числе на финальном этапе немецкого объединения, не нажимая, впрочем, на его знаменитые “дюймы”, и предложил формат как бы пресс-конференции по текущим событиям: вопросы-ответы. Понятно, никто не ждал сенсаций, “по улицам слона водили”, только и всего. Где ещё оппозиционная российская элита могла поглазеть на бывшего вершителя советских судеб, который решил лихо подзаработать на адвокатских услугах в поверженной Москве? Интерес состоял в самом факте прямого общения со всемирно известным политиком, не более.

Кто из сидевших за столом или на балконной галёрке мог подумать, что их ждёт сенсация?

А сенсация случилась сразу, на первом же вопросе, в котором рефреном проскочила мысль о том, что развал СССР — это глобальное поражение исторической России в холодной войне. Рябовол даже не понял, кто задал этот скучный, банальный вопрос, суть которого сводилась к нынешним отношениям Америки с Россией. Про поражение было упомянуто мимоходом, как говорится, для порядка. Известно, без этого горестного припева теперь никакую песню не сложишь.

Но известно, на дурацкий вопрос порой идёт сумасшедший ответ. Бейкер вцепился именно в припев, сказал чётко, как отрезал:

— А мы не считаем распад Советского Союза вашим поражением. Наоборот, мы убеждены, что от распада СССР проиграла Америка.

Шок длился секунд десять. После чего гробовое молчание взорвалось хором восклицаний, с галёрки покатылся неясный гул. А Бейкер, видимо, ожидавший непонимания, продолжил как ни в чём не бывало:

— Вы плохо понимаете, что случилось. Россия, избавившись от излишних трат на раздутую социальную сферу в своём окружении, после распада СССР усилилась. У нас была совершенно иная цель: мы хотели, чтобы Советский Союз оставался большим, голодным и немощным, а мы кормили бы его с руки и приручали, дрессировали, как комнатную собачку.

Эта откровенность и вовсе шокировала. Рыжков безуспешно пытался заблокировать возмущённые реплики, и на помощь пришёл переводчик. Он рывкнул в микрофон:

— Господа! Позвольте господину Бейкеру высказать свою точку зрения.

Стало тихо, и Николай Иванович, подхватив тему, спросил у Бейкера:

— Джеймс, это ваша личная точка зрения?

Ответ всех поверг в растерянность:

— Нет, это не моя точка зрения. Это мнение президента США Джорджа Буша-старшего. Я дословно — подчёркиваю, дословно! — воспроизвёл тезисы его знаменитого интервью газете “Нью-Йорк таймс” в декабре 1992 года. Джордж Буш проиграл выборы Клинтону, но до 20 января оставался в Белом доме и счёл необходимым высказаться по русскому вопросу.

Переждав очередную волну шума, добавил:

— Я слышал, что в СССР было много издевательств над куриными окопками, которые в период голода вам присылали из Америки. Их, насколько мне известно, даже называли “ножками Буша”. Но вам неизвестно, что

поставки этих окорочков президент Буш оплачивал из личных средств, на них не было потрачено ни цента из федеральной казны. Об этом президент тоже сказал в знаменитом интервью “Нью-Йорк таймс”. Он старался избежать распада СССР. Главный вывод интервью заключался в том, что президент Джордж Буш-старший опасался распада СССР.

Снова неразборчивый шум, снова Николаю Ивановичу пришлось успокаивать разбушевавшийся народ, уговаривая раёк унять эмоции. Наконец, утомившись, и он сказал Бейкеру:

— Джеймс, вы слышите, как бурно реагируют на ваши слова. Многим непонятно, какие опасения от развала СССР могли возникнуть у президента США. В этом зале собрались люди мыслящие, мы убеждены, что сейчас в России чужие во власти, и они ведут дело к окончательному упадку страны. Давайте не играть в прятки: это выгодно Америке.

Бейкер ответил сразу, не задумываясь. Чувствовалось, для него эта тема не новая, не требующая размышлений.

— Понимаете ли, Николай, в интервью президента Буша, на которое я ссылаюсь, он в русской традиции уподобил Советский Союз матрёшке, и внутри этой матрёшки — Россия. Не забудьте, в своё время Джордж Буш-старший был директором ЦРУ и хорошо изучил особенности нашего главного стратегического противника. Президент считал, что для Америки будет лучше, если Россия останется как бы спрятанной внутри СССР, тратящей свои ресурсы на поддержание союзного статуса. — Наморщил лоб, сделал паузу, видимо, прикидывая, как завершить ответ. Потом сказал веско: — Время покажет, прав ли был президент Буш, но он мыслит историческими категориями, а чутьё историческое у него очень тонкое. И в том интервью он высказался предельно ясно. Прочитирую дословно, потому что в этой фразе, если вдуматься, каждое слово имеет свой смысл, своё особое значение. А поскольку интервью было не эфирное, а для газеты, президент Буш при необходимости мог внести правку. Может быть, он её и внёс, это мне неизвестно, я всего лишь цитирую. Он сказал: “После распада СССР Россия усилилась. Рано или поздно Россия пришлёт нам отдельный счёт”. Хочу повторить, что это мнение зафиксировала “Нью-Йорк таймс”.

Слушая бывшего госсекретаря, Рябовол сидел, не шелохнувшись, в отличие от других рта не раскрыл. Он был потрясён вдвойне. Разумеется, сутью услышанного, хотя в мозгу матёрого дельца сразу созрели сомнения по части благородного бескорыстия Буша, за свой счёт славшего в СССР куриные окорочка. Но больше всего в очередной раз поразил сам уровень разговора. Раньше бизнесмен Рябовол и представить себе не мог столь глубоких глобальных обобщений, а они, оказывается, особо для него притягательны... Когда объявили перерыв перед трапезой, он заметил, что Рыжков с Бейкером и их окружение двинулись во внутренний дворик, и поспешил оказать ся в патио раньше, сообразив, что вход туда вот-вот перекроют.

И не пожалел.

В тесной кучке людей, сгрудившихся вокруг Бейкера, разговор шёл всё о том же — об интервью Джорджа Буша-старшего. Абалкин, стоявший рядом с Виктором и, видимо, принявший его за человека из своего круга, удивлённо пожимая плечами, сказал ему:

— Не исключаю, что особая степень откровенности продиктована обидой за провал на выборах. Писали, будто там не всё было чисто, в тот раз там кандидаты от трёх партий схлестнулись, видимо, третий лишний и отнял голоса у Буша. А кто этого третьего лишнего спонсировал, Бушу известно, вот он на них и спустил собак.

То, о чём говорил Бейкер, вернее, его переводчик, Виктор в деталях слышать не мог, но до него отчётливо доносились реплики, которые приводили в смятение. “Шайка Бжезинского через свои медиа...”, “Бжезинский со своим кагалом...”, “Пять частных банков, учредивших МВФ...”, “Аферы с резаной бумагой...” Несколькo раз одно и то же: “Да, да, цитирую. То памятное интервью знаю наизусть...” И, наконец, отчётливо произнесённое переводчиком: “Да, президент так и сказал: развал СССР — моё главное поражение. Это зафиксировано в газете”.

На Люсиновскую Дмитрий Кедров добрался довольно поздно, было около десяти. И с удивлением увидел, что стол на кухне накрыт празднично. Правда, без спиртного, однако с пирожными, а главное, посуда не повседневная, нарядная, не из кухонного шкафа, а из комнатного серванта. Весело потирая руки, воскликнул:

— Та-ак, что празднуем?

— Садись и сначала расскажи про Бейкера. Мне Филипп Денисович сказал, что договорился с Семагой о твоей высокой персоне, потому и не волновалась, что тебя долго нет. А вообще-то мог бы и позвонить.

— Ну, извини, извини, моя дорогая. Сейчас всё изложу, хотя сам до сих пор не могу очухаться от услышанного.

Ульяна налила чай, села напротив в классической бабьей позе — подперев голову ладонью одной руки. Слушала внимательно, не перебивая, не переспрашивая, только брови иногда играли, выдавая удивление. Когда Дмитрий иссяк, заговорила не сразу, оно и правда, было, над чем подумать. Наконец, сказала:

— Да-а, неожиданно, очень неожиданно... Буш повторил судьбу Черчилля. Черчилль выиграл войну, а его прокатили на выборах. Так же и Буш. Выиграл холодную войну, а его не избрали на второй срок. Обидно! Вот он сгоряча и мстил своим оппонентам. Сейчас-то ничего подобного не говорит. Чтобы разобраться, не лукавил ли он, надо с головой в те годы нырнуть, вспомнить, как он Горбачёва соблазнял. А с другой стороны... Как бы то ни было, а точка зрения потрясающая, никому в голову не приходила. Если бы Бейкер не сыздался на “Нью-Йорк таймс”, я бы решила, что это просто полемический приём, задним числом. А одна фраза, на мой взгляд, может... нет, не может, а должна стать пророческой. Никто сегодня в это не поверит, а я верю!

— Знаю, знаю, — рассмеялся Дмитрий. — Как же не обратить на неё внимание! Россия рано или поздно пришлёт Америке отдельный счёт!

Ульяна в знак согласия хлопнула его по ладони, озорно воскликнула:

— Умора! Не вынес ли Буш приговор Америке? Завтра снова мне всё перескажешь, тут есть над чем поразмыслить. А ещё что было интересного? Знакомых встретил?

— Ты Перегудина знаешь?

— Кто же его не знает!

— Так вот, он снова ноет. И лютует, у него язык-то не на привязи. Гневается, что Заславская, которая в перестройку всем давала, сейчас не дала ему интервью. Забилась в научную нору, пожизненно спряталась. А сам он теперь, как дрыщ.

— Ну, Заславская — это твоя старая любовь.

— Не в ней дело. Перегудин говорит, что вся перестроечная гвардия как бы в воздухе благорастворилась. Вроде бы и есть они, а не на виду. Твоего Егора Яковлева клянёт за продажу “Общей газеты”, тот же Лацис угас. А кто сделал карьеру, типа Лукина, те особняком держатся, о своих перестроечных подвигах говорить не любят. Кто-то эмигрировал.

Ульяна задумалась, приложила к пирожному, хлебнула остывающий чай. Потом сказала:

— Понимаешь, Димка, странные на белом свете вещи происходят, сплошное дежавю. Я тебе говорила, что у нас в МОСТе работает такой Глаголев, из бывших цэковцев, как Кондрат Егорович. Он экономист, когда-то занимался косыгинской реформой. И вот этот Глаголев приносит несколько дней назад рукописную тетрадь, которую ему передал какой-то знакомый. А в тетради подробно изложено, как группа неких деятелей торпедировала косыгинскую реформу, шепнув Брежневу, что Косыгин становится его конкурентом. Ну, я деталей не знаю, но Глаголев рассказывал, что эти люди, похоронив реформу экономики, сразу куда-то исчезли. А Филипп Денисович сказал, что они почти все эмигрировали в Америку. И вот прикинь, Дима: получается один в один. На переломе семидесятых тесная когорта каких-то деятелей сорвала экономический рыбок страны и, как ты говоришь, благорастворилась в воздухах. И на переломе девяностых случилось то же самое:

тесная когорта прорабов развалила страну и тоже благорастворилась в воздухе.

Дмитрий тяжело вздохнул:

— Ты, как всегда, в корень смотришь. Мне отец об этом говорил, и что удивительно, и по косыгинской реформе, и по перестройке мелькают одни и те же фамилии.

— Этого я не знаю, но сам факт меня потрясает. На переломных этапах дважды появляется на политической сцене тесная группа людей, которой удаётся помешать развитию страны. И дважды эти люди, сделав своё чёрное дело, сразу куда-то исчезают. Даже не важно, разные это люди или одни и те же. Главное в том, что очень уж оба случая похожи. А случаи-то по-настоящему исторические. Подумай, Димка. Разве нет в этом странном совпадении чего-то такого, над чем надо бы поразмыслить особо? Разве это суемудрие, Димка?

— Но не сейчас, Уля, взгляни на часы. Кстати, ты мне так и не сказала, что мы сервизными чашками празднуем?

Ульяна улыбнулась:

— Слава Богу, вспомнил... Дай руку. — Взяла его руку, протянутую через стол, погладила пальцы. — Димка, я тебе не говорила, что сдала анализ. А сегодня пришли результаты... Я беременна.

И из её глаза выкатилась слеза.

— Сама не знаю, от чего слёзы, от счастья или от новых тревог. Надо ведь ещё выносить. И вообще, неизвестно, как дальше будет.

Дмитрий сжал её пальцы, и они долго сидели молча, держась за руки, понимая, что начинается новый этап их жизни.

Наконец Ульяна отняла свою руку, утёрла салфеткой слезу.

— Поверь, Димка, твой сегодняшний рассказ про клуб Рыжкова, про этого Бейкера удивительно совпал с моим настроением. Знаешь, о чём я сейчас думаю?

— Конечно, знаю.

— Нет, не знаешь и не угадаешь. А думаю я вот о чём. Абсолютно уверена, без всяких обследований, что у нас родится мальчик. Сейчас у всех, кого я знаю, рождаются мальчики. А по народному поверью это означает, что через двадцать лет... — Дмитрий вопросительно поднял брови, и Ульяна в своей неотразимо убедительной манере, без пафоса, но твёрдо сказала: — Димка, ты же знаешь, я неискоренимая оптимистка. И как бы сейчас ни было тяжело, как бы ни грозили России судьбой СССР, верю, что русские мальчики оправдают опасения Буша, выставят Америке исторический счёт.

ВАЛЕРИЙ ПЕТКОВ



ПОЧЕМУ Я НЕ ПОЮ

РАССКАЗ

Их двое. Они стоят под высоченными соснами и молчат.

Пронзительно тихо и сумеречно среди редких деревьев. Лёгкий морозец, снег ещё не выпал, но земля уже пристыла в ожидании и готова его принять.

Мужчина невидяще смотрит вверх. Как дальтоник, который времена года определяет по перепадам температуры, осадкам и чёрно-белому вокруг.

Мужчине чуть-чуть за тридцать, рядом мальчик. Папа и сын. У мальчика светлое пальто в клетку, с фиолетовой полоской, странного фасона и пуговицами слегка вперекос, навсегда пришитыми папой. Воротник и шапка коричневые, линиялый мутон. Шапка похожа по форме на спичечную головку, и чёрные, покусанные шнурки разной длины, крепкие на холоде, свисают обрывками проводов. Мягкие сапоги на вырост улыбаются белыми, истёртыми носами навстречу выпирающим коленкам брюк.

У папы поношенное зауженное пальто с просинью и робкой претензией на фасон, мягко принявший фигуру владельца. Толстый шарф, суицидально скрученный на шее хозяина. Глядя на его причёску, вдруг задаёшься

ПЕТКОВ Валерий Васильевич родился в 1950 году в Киеве. Окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации. Работал на предприятиях Риги. С мая по июль 1986 года призван из запаса и работал на ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в качестве заместителя командира роты радиационно-химической разведки. Публиковался в изданиях: "Юность", "Урал", "Нижний Новгород", "Сибирские огни", "Северная Аврора", "Традиция & Авангард", "Ковчег" и др. Автор книг "Скользкая рыба детства", "Мокрая вода", "1000 + 1 день", "Бегал заяц по болоту...", "Старая ветошь", "Камертон", "Оккупанты", "Хибакуша", "Предсказать прошлое". Переводился на латышский, польский, сербский языки. Живёт в Риге.

вопросом — почему столько романтических восторгов по поводу пуха, а морщинистая лысинка облетевшего одуванчика — неинтересна.

— Какая тишина, — молча удивляется отец, — вечность состоит из тишины. Она питается шумом. Перетекают одно в другое, словно прозрачная вода в стеклянных колбах, но не до конца, а что-то остаётся на донце и в каждом — по-разному. И всё повторяется вновь.

Мужчина переводит взгляд на тупые носы чёрных ботинок, вспоминает нехстати, что у него протёртая до прозрачности пятка на правом носке. Он пытается примириться с этим, но досада цепляет и раздражает, словно заусенец по краю ногтя.

Про носок и пятку знают сын и — Неприкаянность.

Она давно прижилась вместе с ними. Её легко приметить со стороны. Достаточно беглого взгляда. Вы можете долго не замечать дырку в собственном кармане, но окружающие её видят сразу. Трудно сформулировать точно — на что похожа неприякайность. Это как укол — его ждёшь, он уже сделан, а ты и не успел заметить, когда, но такая инъекция сразу всё меняет. Подъём духа или глубина падения ничего не значат.

Люди при встрече с ней отрешаются от внешнего, и у них внутри возникает сосредоточенность. Каждый пытается ответить: почему? А вдруг и со мной такое возможно? И ещё: разве так справедливо?

Потом это проходит, но не у всех бесследно.

— Если бы люди пели, как птицы, и совсем разучились говорить? Им стало бы легче? Они отвыкли бы ходить и стали летать. — Мальчик пожал плечами, поправил шапку.

Мелькнул бледный след на руке от зелёного фломастера.

— Не у всех есть слух — вот в чём проблема. Одни поют, как дышат, красиво и естественно. Другие — орут, третьи скрипят. По-всякому.

— Главное — чтобы все понимали?

— Легко сказать, а как это превратить в знаки?

— Ноты-то уже придуманы. Я сам видел.

— Они удобны для музыки, пения.

— Зачем птицам ноты? Они и так летают себе, радуются, — сказал мальчик.

Мужчина хотел его поправить, но передумал:

— Представь — все поют, а не летают, толкаются и пока научатся, пропадёт желание петь. Всемирный тарарам начнётся.

— А тебе никогда не хотелось петь?

— Очень хотелось. Я всегда завидовал... твоей маме. А летал только во сне, пока рос, рос... вырос. Вот такой вот, как теперь, — сказал с лёгкой обидой папа, раскланялся и глянул себе под ноги.

— Может, люди летали когда-то совсем давно-давно. Ужасно давно, а теперь даже вот — не могут вспомнить? Стали толстые в пальто, — пожал ватными плечами мальчик.

Громко звонит мобильник. Папа быстро смотрит на сына, отворачивается:

— Да. Извини, можно чуть позже? — Что-то ещё бормочет, телефон скользнул в широкую лузу кармана пальто. — Так вот. — Разводит в стороны руки. Поднимает голову. Над ним верхушки сосен, и сейчас он словно бы глянул на себя с высоты.

Так естественно получается у женщин и отлетающих душ.

Впервые за много дней он увидел краски вокруг, удивился и пожалел, что сейчас октябрь, а не яркий, пёстрый июль, когда тепло и лёгкая одежда.

Он скинул с себя сутулость, распрямился, стал выше, и оказалось, что небо совсем близко, оно сплошь белое от снега внутри, как большая пуховая перина, а сумрак — от сосен. Они машут ветками, будто провожающие с перрона в окно, что-то беззвучно говорят, и надо напрячься, чтобы слово ожило и согрело смыслом.

— Скорее, всего, они говорят: “Счастливого пути!” — Он глубоко вдохнул: — Орлы высоко летают, красиво, а не поют, только клёкот издают. Гордые такие. Видишь ли! Орлы!

— Там холодно и мало воздуха. Помнишь, ты рассказывал мне в самолёте? — нахмурил светлые бровки сын.

— Да.

— А можно так запеть, что не почувствуешь себя... Станешь сплошным звуком. Когда закричишь громко — оглохнешь, ни рук, ни ног не осталось. Всё звенит, и ты звенишь. Или ветер навстречу, бежишь, летишь, ничего не слышишь. Дышать трудно, а ветер лезет в рот, в нос, в уши. Это тоже полёт?

— Ощущения... возможно. В каком-то смысле — да.

— В каком?

— В самом главном. Есть у человека такой внутри... кусочек свободного пространства.

— У всех?

— Думаю — да, только не все знают, где он. Сплошное беспокойство. И у всех по-разному. Душа это называется.

— Что ли — без своего места? Где попало у всех?

— Это такое состояние.

— Как гланды?

— Нет, они совсем... не так.

— А камень, вот — мрамор? Он же молчит.

— Он тоже говорит. Смотришь на него и пытаешься понять. Очень трудно понять тех, кто молчит. Красивый, а молчит! Даже обидно бывает.

Мальчик вздыхает, пожимает плечами. Шапка приподнимается, и выражение лица становится озадаченным. Лицо бледное даже на свежем воздухе, от этого глаза ещё больше — синей лазурью, нос заострённый, птичий.

На куст присела синица, заглянула снизу им в глаза чёрными бусинами, попыталась узнать, повертела головой, едва приметно, словно ресницы соприкоснулись — тихо и загадочно. Ничего для себя не обнаружила.

Отец вздрогнул, искоса глянул на сына.

Птичка качнулась обиженно, отпружинила на ветке и упорхнула так же бесшумно, как и появилась, словно и не было её вовсе. Отец с сыном замерли. Постояли. Ветка тихо двигалась, словно прощаясь. Они посмотрели вслед синице, подождали немного. Отец уютно спрятал в своей большой горсти шершавую ладоньку сына, она быстро согрелась и стала мягкой.

Сын сунул вторую руку в карман, вздохнул. Белое облачко мгновенно унеслось ввысь и пропало. Они пошли между оградок. Сын чуть впереди, как поводырь. Фиолетовая полоска и квадратики пальто исказились, хлястик и рука сына, протянутая отцу, стали похожи на гипотенузу.

“Как мама — никто не сможет спеть”, — подумал сын.

НАТАЛЬЯ ЛАТЫШЕВА



УЧИЛКИНЫ СЛЁЗКИ

РАССКАЗЫ

ДОКТОР ЖИВАГОВ

Я читала и осуждаю. Читала в студенчестве. Без удовольствия. Натянутые картонные диалоги и как-то искусственно сводимые персонажи. Но я не критик и не литературовед, я учитель. Научить любить то, что мне не нравится самой, я не могу. Туманное авторское объяснение, что герои любили друг друга, потому что так хотела земля и всё крутом, весьма сомнительно. От безысходности сошлись, но это объяснение не для урока. Это я всё о “Докторе Живаго”, нобеленосном, но нечитаемом.

Читаю ученические конспекты статьи учебника: “В финале Живагов умирает от своей пассивности”. Спрашиваю: как, как умирает? Никто не знает, даже не пытается посмотреть в телефоне. Зачем? Господи, помилуй!

Поэтому за “доктора Живагова” ставлю не “два”, а “три”. Господи, помилуй!

ПАНДЕМИЯ

Прекрасно, просто прекрасно. Я работаю на удалёнке.... Скачав Zoom, рассылаю приглашения на конференции, с обязательным уведомлением руководства. Это называется “дистанционное обучение”.

ЛАТЫШЕВА Наталья Владимировна родилась в Москве в 1971 году. Окончила Московский государственный областной университет по специальности “Русский язык и литература”, квалификация “Учитель русского языка и литературы”. Работает учителем русского языка и литературы в ГБОУ Школа № 953 Департамента образования и науки города Москвы. Живёт в Москве.

Учащиеся восьмого класса “Ж” Старкевич Алексей и Круглик Валерия слушали урок литературы по рассказу Андрея Платонова “Возвращение”, лёжа вдвоём на разложенном диване и укрывшись одним двуспальным одеялом. Остальные были скромнее: кто-то пилил ногти на ногах, кто-то тупо грыз яблоко перед камерой, на заднем плане — мама в трусах в поисках зарядного устройства... Поэтому в одиннадцатом классе камеры я прошу не включать. Боюсь, что увиденное не состыкуется с моей картиной мира. В пятых и шестых классах проще: они продолжают играть в GTA, чесаться, зевать, ковырять в носу, есть козьяки и ласково называть друг друга дебилами.

При этом я должна использовать электронные ресурсы обучения, которые либо висят, либо обновляются.

О личной жизни: к нам приехал сын с семьёй, то есть детьми и собаками. Традиционная формула “один дедушка, один ребёнок, одна собака” не работает. Один плюс два плюс три... Они все орут и дерутся одновременно, поэтому, хотя я и понимаю, что коронавирус направлен на истребление пожилого населения, но иногда думаю, что его изобрели не зря...

Ещё планирую пригласить лошадь, чтобы она фыркала в монитор при проведении конференций, то есть дистанционного обучения, а также не исключая сидеть перед камерой голой, но в короне. Хотя, конечно, корону могут счесть некорректной в условиях эпидемии коронавируса.

Внучок гуляет, как нравится: ест землю под деревьями, из своего поильника может налить компот на плитку, тут же с плитки пьёт — я молчу. Мила не умеет себя занимать, я про суффиксы что-нибудь и только боюсь, что заорёт: “Бабушка, какать!”

А родители в телефоне тюкают.

Я сначала думала, что из карантина перееду в тюрьму за умышленное убийство, потом думала, что за непредумышленное... А теперь я думаю, если я в своём собственном доме так мучаюсь, то в тюрьме ещё за место надо будет побороться...

АНЖЕЛА ДЕНИСОВНА И РОССИЯ

Анжела Денисовна была не склонна замечать изменения мира. И не потому, что не любила Макаревича за его “изменчивый мир”, а потому, что во всем ценила стабильность и неизменность. Даже покойный отец, не последний московский партийный босс, говорил Анжеле, что нельзя быть такой бескомпромиссной, и приводил в пример Давыдова и Нагульнова. Но непреклонная Анжела любила шолоховских героев по-своему. “Пил кровь рабочего класса — становись, гад, к стенке”, — мерно звучало в её аккуратно причёсанной голове. Грамматические ошибки своих учеников Анжела Денисовна воспринимала как плевок в прекрасную бесконечность русского языка, а предикативные функции модально-персуазивных частиц могла объяснить на примере приглашения в кино:

— Ты пойдёшь?

— Вряд ли.

Утром мир не изменился, но как-то тревожно качнулся, когда в своём расписании Анжела Денисовна увидела “З “Б””: Литературное чтение”.

Учителя старшей школы на замену в началку? Такого раньше не было... А уж учителя 11-го класса на замену в З “Б”... Размышляя над тем, чего раньше не было, Анжела Денисовна вспомнила слова собственной бабушки, которая во всех затруднительных случаях рекомендовала заглядывать в паспорт и утверждала, что там всё написано. Свой давно и в последний раз обменный паспорт Анжела Денисовна знала наизусть, и никаких сведений о замене литературного чтения в З “Б” он не содержал.

“Я толстая, старая и работаю учительницей в Бибирево”, — оптимистично настраивала себя Анжела, спускаясь на второй этаж в начальную школу.

Третий “Б” встретил Анжелу Денисовну настроенным гулом, тихим и не совсем доброжелательным. Ритуал приветствия, поиски нужной страницы в хрестоматии, размеренное журчание слогового чтения по цепочке, —

казалось бы, мир установлен... Но не тут-то было: некто Рома Тухлаченко (Господи, и фамилия-то какая говорящая!) с начала урока не присел. С лазерной указкой в руке и словами “кошечка — собачка” он кругами ходил вокруг учительского стола. Терпение Анжелы Денисовны истончалось, и на семнадцатом круге она вырвала указку из рук негодяя, быстро сунула её в ящик стола и придвинулась вплотную к ящичку. Открыть ящик, прижатый тучной Анжелой, тщедушный Тухлаченко не смог и противно закончил: “Моя указка-а-а!” Анжела оставалась недвижимой и величественной.

— Это Россия зажала Украину, — произнёс кто-то из третьего “Б”, — Россия большая и толстая, Украине не вырваться...

Анжела Денисовна державно расправила плечи, стряхнула невидимые пылинки с возложенной на императорские плечи горностаевой мантии, из последних сил стараясь банально не заржать, бескомпромиссно произнесла:

— Со звонком отдам!

ДВОЙКА

Двойку я поставила с удовольствием! Если бы был бумажный журнал, то поставила бы жирную, с крутым изгибом надменной шеи и симметричным волнообразным хвостом. Непременно фиолетовыми чернилами! Чтобы ни стереть, ни исправить!

Я ждала семь минут. Призывала к вниманию, к тишине, взывала к совести. И поставила двойку. За чтение. Вслух. Потому что вслух не было! В ответ была тишина, к которой я так долго призывала.

А потом обладательница двойки стала появляться на каждой перемене. Просто подходила к дверям кабинета, в котором была я, и долго пристально смотрела. Но от её взгляда я не падала на пол замертво, не разверзались небесные хляби, и вообще ничего не...

Но за этим “не” все силы семейные уже были мобилизованы. Сначала была предпринята попытка поговорить со мной, держа телефон с мамой “на проводе”. Но попытка оказалась жалкой, мама “на проводе” громкой, а шоу в коридоре глупым.

Поэтому пришлось взять маму, то есть телефон, в свои руки.

Мама сразу дала понять, что она пережила девяностые, причём по час-то повторяемой фразе: “Я подъеду!” — и так было ясно, девяностые она пережила хорошо. Ей было, на чём подхехать, и главное, для кого подхехать. “Подхехать” и “наехать” слились в её яжематеринском сознании в сладостное предчувствие скорой победы над жалкой тварью, посмевавшей поставить “два” её почти божественной, толстой, глуповатой, прыщавой и базарной принцессе.

Переспрошенное трижды: “Мы договорились, или я подъеду к директору?” — не предполагало ответа “Подъезжайте!”

Пусть принцесса почитает вслух директору!

Я взяла учебник 5-го класса и спустилась к кабинету директора. Победоносная ягода прибыла одновременно со мной, держа вывернутую наизнанку куртку, чтобы каждый неудачник мог видеть, а то и прочесть золотыми нитками вышитую этикетку всемирно известного бренда для нищих и безработных.

В глаза мне ягода не смотрела, хотя собиралась подхехать именно с этой целью. Из короткой и продуктивной беседы с директором, в которой говорила исключительно директор, стороны вышли даже не сильно помятыми, и каждая с чувством глубокого удовлетворения. Вот что значит настоящий профессионализм! Директора, я имею в виду.

Но я всё думаю над словами яжематери о том, что её принцесса ходит в библиотеку. Она ходит в библиотеку каждую неделю. Она ходит в библиотеку каждую неделю и каждый раз обменивает книги!

И именно поэтому у неё никак не может быть двойки за чтение вслух.

Почему эти слова заставили меня задуматься? Потому что я хожу в бассейн. Я каждую неделю хожу в бассейн. И зачастую не один раз в неделю,

а несколько. И почти всегда по воскресеньям. То есть если спросить меня о свободном времени, то я его провожу в бассейне! И знаете, что? Я не могу сказать, что я прекрасно плаваю. Я вообще не могу сказать, что плаваю. Я купаюсь. Отшучиваюсь: у мужчин плавки — они плавают, у меня купальник — я купаюсь. Да и купаюсь я так себе — по-собачьи.

Если завсегдатай библиотеки читает по слогам, потеет, водит пальцем по строчкам, говорит “ихний” и не может получить двойку по чтению, то почему у меня, завсегдатая бассейна, обладательницы мешка купальников и резиновых шапочек, толстой, старой учительницы из Бибирево, нет разряда по плаванию, ну, хотя бы кандидата в мастера? Или я всё-таки мастер?

ДОМАШКА КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Если хочешь отдыхать в выходные — не задавай домашку. Никому не задавай. Никакую не задавай, ни устную, ни письменную. Потому что домашка возвращается...

Шестой класс меня просто выбесил: две недели разучивали изобразительно-выразительные средства языка. Причём не во всей красоте и разнообразии, а скудно так, по минимуму: эпитет, метафора, олицетворение, сравнение и гипербола. Ирония судьбы в том, что выучить их раз и навсегда надо в пятом классе, а спрашиваются они в 26-м задании ЕГЭ, то есть в предпоследнем экзаменационном задании итоговой аттестации.

Вот в шестом классе подробно, с определением и примерами. Нет, не выучили. Так, запомнили кое-как кое-что. Из примера “в сто сорок солнц закат пылал” запомнили “сорок солнц закат”. Именно “солнц”! И когда ты в четвёртый раз читаешь эту несусветную чушь, руки сами тянутся к клавиатуре, чтобы вместо божественного светлого “не задано” записать домашку: “Выучить определения понятий”.

И вот домашка возвращается: я как бабушка делаю домашку для второго класса. По русскому языку.

Надо переписать стихотворение:

*От удивленья охнул кок
И почесал затылок:
Капустный бросился вилок
Вскачь от ножей и вилок.*

Ответить на вопросы, выделить корень в однокоренном слове...

И Миля переписывает стихотворение, медленно, отвлекаясь, с поисками карандаша по всему дому, с ошибкой в слове “вскачь”.

На строчке написано “вскочь”. Спрашиваю: что такое “вскочь”? Пожимает плечами.

“Вскочь”... Прямо чувствую, как домашка со своей силой наваливается на меня...

— Вскочь, спустись вниз и плюнь своему деду в скоч, — говорю я вслух.

Если нас не выпустят, я напишу книгу “Домашка как национальная идея”.

Захотелось посмотреть научные труды, посвящённые домашней работе. Кто и когда придумал это универсальное средство несвободы? Эту невидимую нить, прочно связывающую все поколения?

“Она домашнюю работу делает?” — спрашивает моя свекровь про прилежание моей внучки. Свекрови семьдесят восемь, а внучке восемь. Свекровь тоже учитель. Семидесятилетняя дистанция никак не влияет на неотвратимость домашки. И семьдесят лет назад домашка также неотвратимо нависала над свекровью, а у той была своя бабушка.

Антоний Погорельский своей “Чёрной курицей” хотел показать, что нельзя без труда добиться успеха. Алёшины одноклассники с возмущением говорили, что он не учил уроки, а утром отвечал без запинки.

Наказание Алёши — это месть за неделание домашки.

А что он попросил у Чёрной курицы? Каково было его желание?

В каких произведениях упоминается домашняя работа? Как выполнение домашней работы влияет на героя? Задания сказочному герою могут быть рассмотрены как домашка?

Сегодня домашку делают все: бабушки, дедушки, тёти, дяди, няни, родители. Все, но не дети!

Собираю тетради: восемь одинаковых упражнений.

Смысл проверки? Каждому после упражнения пишу ссылку на сайт и списанное упражнение.

Ругаюсь, в ответ одна девочка говорит, что это не она, а мама сама нашла ГДЗ.

ПЕРЕСКАЗ

Слушаю пересказ той же статьи о Лермонтове. “Лермонтов умер, как Пушкин: в шлеме и с палкой”. Я встала со стула и, крепясь из последних сил, чтобы не ржать, спросила:

— А разве Пушкин умер в шлеме и с палкой?

Девочка пожала плечами и два раза выбросила правую руку вперёд. Так она изобразила дуэль....

Ещё я узнала, что Лермонтов полетел учиться в Петербург. А родился Лермонтов больным ребёнком, которого бабушка возила лечиться в Кавказ, где он написал “Бородино”.

Я даже не могу представить, что я узнаю из пересказа “Бородино”, поэтому задала выучить наизусть.

Сегодня пятый класс читал в учебнике статью о Лермонтове. В статью сказано, что детстве Лермонтов жил в усадьбе Тарханы, где слышал народные песни о Разине, Пугачёве и войне 1812 года (всё к стихотворению “Бородино” и теме патриотизма и героизма ведёт). Спрашиваю пересказ.

— В детстве Лермонтов слушал песни Пугачёвой.

Даже не смешно.

ГОГОЛЬ

(по посмертной описи имущества)

Я проживаю сотни жизней. Реальных и выдуманных. Примеряю на себя широкие салоны или тесноватые душегрейки, трясусь в кибитке или задыхаюсь в корсете, слушаю украинскую ночь в бесконечной степи, и мне открывается “бездна, звезд полна”.

И так каждый год, каждый учебный год. “Да неинтересно это всё, — скажет на бегу коллега-скептик, — каждый год одно и то же. Слышали, знаем, “мадам Бовари тоже вы”. А я не спорю: мадам Бовари — я, и Кабаниха — тоже я, и Пульхерия Александровна Раскольникова — тоже я. А ещё я Пульхерия Ивановна Коробочка. Надеюсь, что не “дубиноголовая”, а крепкая и запасавшая хозяйка, у которой и блины, и пироги отменные, у которой хочется оставаться в гостях, вкусно есть, сладко спать, долго жить...

Долго жить... Гоголь умер молодым, именно так бы сказали сегодня о смерти писателя в сорок два года. Я чуть старше, немного, ненамного. Оглядываюсь на знакомых, приятелей, соседей, коллег: мужчина сорока двух лет — это муж и отец, а иногда уже и дед, это опыт и хорошая должность, а может быть, большой бизнес и большие деньги. Мужчина в сорок два года — это ответственность и уважение, статус и его атрибуты. Невозможно представить 42-летнего современного мужчину без автомобиля и смартфона. А сколько всякой сопутствующей ерунды: часы, очки, бумажник, кожаные туфли!

У Гоголя в сорок два не было ничего. Ничего, что делало бы его успешным и состоявшимся в нашем современном понимании. Нет в посмертной

описи имущества ни кареты, ни дрожek, даже нет сундука, хотя всем известно, что Гоголь путешествовал. Нет ни трости, ни фуражки. Для владельца золотых часов, шубы и фрака не подходит слово “бедность”, что же это — “скудность”, “скромность”, “аскетизм”? Говоря словами Петровича из “Шинели” — “худой гардероб!”

Вещественные знаки мировоззрения, — наверное, именно это определение отлично подходит для описанных вещей покойного. Сколько общего в гардеробе усопшего с одеждой его персонажей! “Шинель чёрного сукна с бархатным воротником на люстрине, тёплая” — не это ли мечта Акакия Акакиевича Башмачкина? Но постоитe, шинель автора гораздо скромнее: даже воротник бархатный, а не из куницы, ой, не из кошки, которую выбрали вместо куницы. Да и оценена она в пять рублей, а Петрович запрашивал с Башмачкина три по полта.

Да, “худой гардероб”! Слово “старый” встречается в описи девятнадцать раз: жилеты, фуфайки, подштанники — всё старое. Вот и Акакий Акакиевич сэкономил на старых рубахах и подштанниках, чтобы реже чинить и стирать бельё, старался, “приходя домой, скинуть его и оставаться в одном только демикотоновом халате, очень давнем и щадимом даже самим временем”.

Позвольте, а где же тогда халат, так любимый гоголевскими героями Башмачкиным и Плюшкиным? Ведь, по свидетельству очевидцев, последние дни перед смертью Гоголь был в халате и сапогах. Мне представляется халат Плюшкина, “такой халат, на который глядеть не только было совестно, но даже стыдно”. И ещё одно плюшкинское сочетание: “пять белых старых салфеток” и “салфеточного белого полотна двенадцать аршин”, то есть восемь с половиной метров. И вновь невольно вспомнилось, что “наготовлено было про запас всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшегося”.

А вот и фрак. Но совсем скромный, синего цвета, отнюдь не чичиковский “брусничного цвета с искрой” или “наваринского дыму с пламенем”. Скромнее, гораздо скромнее своих героев Гоголь.

Гоголь умер в феврале. Московский февраль промозглый и пробирающий до костей. Мне кажется, что писателю было холодно, он мёрз в доме на Никитском бульваре: три пары шерстяных носков, семь старых шерстяных фуфаяк. Одинокий, беспокойный человек, мёрзнувший и истязавший себя голодом, с длинными холодными пальцами, которые он прячет в карманы плюшкинского халата, которого нет в описи...

Я проживаю сотни жизней. Каждый учебный год. И никогда не примеряю на себя халат, старый халат, на который глядеть не только совестно, но даже стыдно. Я боюсь.

МИХАИЛ КУЛИЖНИКОВ



ГВОЗДИ

ДВА РАССКАЗА

РУССКОЕ БИСТРО

Я устал. Ноги промокли. Идти никуда неохота, а до поезда ещё целый час. Я захожу в вокзал. Курский вокзал. Что ж, на командировке можно поставить точку. Всё, что надо, сделано, куда хотел, зашёл, что хотел, посмотрел, только кроме усталости, противной сырости в туфлях и мутности, на душе никаких ощущений, разве что чувство исполненного служебного долга. У меня есть билет, потому беспрепятственно прохожу в зал ожидания. Свободных мест много, не то, что раньше, оно и понятно, сейчас не разъедись, да к тому ж пропускают только по билетам. Сажусь на ближайшее место, оглядываюсь. Ни одного подходящего лица, а компания не помешала бы: у меня в портфеле чекушка и вчерашние бутерброды с сыром и колбасой. Колбаса сырокопчёная, я за неё не боюсь, да и с сыром ничего не случилось, так, подплавился чуток. Нет, положительно, ни одной подходящей личности. Либо слишком интеллигентен, либо... Целый час сидеть без какого-либо занятия, голодным, с промокшими ногами, с чекушкой и закуской в портфеле!.. Ну и перспектива... Я, кисло улыбаясь, ещё раз оглядываюсь по сторонам. По всему периметру зала натканы всяческие кафушки, буфетки, ларёчки. Ага, “Русское бистро”. Это уже что-то. За весь день я съел пару беляшей и выпил кружку пива — Москва гостеприимна! Рядом со мной сидится подходящий, как мне кажется, мужичок. Я ненавязчиво, спрашиваю:

КУЛИЖНИКОВ Михаил Анатольевич — член Союза писателей России. Он родился в Белгороде, где живёт и поныне. Окончил Белгородский педагогический институт, а также Воронежское музыкальное училище. Автор ряда поэтических сборников и книг прозы. Лауреат международного поэтического конкурса “Звезда полей 2010”, лауреат литературной премии “Прохоровское поле”.

— Далеко ехать?

— До Курска, — устало отвечает он.

Лихорадочно перебираю в уме возможные темы дальнейшего разговора. Пауза затягивается. Я боюсь, что разговор оборвётся, путаюсь ещё больше и рублю сплеча:

— Может, выпьем? У меня и закусить есть.

Мужичок заинтересованно смотрит на меня и кивком указывает на стену. Надпись категорична.

— Жаль, — мямлю я.

Разговор умирал в зародыше.

— Что ж, пойду в кафе, а то ноги промокли, простужусь, не ровён час. Я поднимаюсь, теряя последнюю надежду на компанию.

— Там водки нет, — отрезает мужичок, — только пиво, и дорого, а своё нельзя, — и достаёт газету.

— Тогда пойду закушу.

Я даже рад, что ушёл. Мужичка можно понять: какой-то тип с портфелем, в очках, в костюме, в галстучке, предлагает выпить незнакомому человеку прямо напротив запрещающей надписи — это слишком.

Захожу в “Русское бистро”. Обычная забегаловка — пиво, сигареты, сосиски в булке, плов, котлеты, картошка... Всего три стола, у каждого по два стула, и один стол высокий, без стульев, для любителей закусьевать на стояка. За одним из столов сидит лицо кавказской национальности, на столе нарды. Буфетчица русская, официантка похожа на армянку, больше никого. Над прилавком угрожающая надпись — категорически запрещено курить и распивать спиртные напитки. Я беру бутылку пива, сосиску в булке, сажусь за свободный стол.

Говорят, “бистро” — слово русское. Когда наши казаки заняли Париж, они подгоняли гарсонов в кафе: “Быстро, быстро!” Так и пошло на французский манер: бистро. Представляю, залетает в кафе русский бородач с нагайкой и с порога: “Водки, закуски на стол! Быстро!” И щёлк нагайкой по сапогу... Перепуганный хозяин прогоняет ещё более перепуганного гарсона, тащит на стол лучшую еду, лучшие вина, а бородач опять нагайкой по сапогу щёлк: “А водки?” Хозяин глядит непонимающе, что-то лопочет себе в оправдание и тащит бутылку самого лучшего вина...

А интересно, была тогда у французов водка или что-нибудь крепкое?.. Да что я всё о водке... Всё-таки здорово ноги промокли. Осень началась. Дожди. А я целый день по лужам в летних туфельках щеголял. Нет, московская осень неправильная. Ни тебе листьев на улицах, а откуда им взяться, деревьев-то нет, ни тебе...

О!.. Вот и развлечение, есть за что глазу зацепиться. Какие красавицы, а сумки какие прут, такие сумки на тележках возить надо! Ага, есть и на тележках, в уголок поставили, чтоб никто не уволок. Посмотрим, что они делать будут. Так, поленьевая в обтягивающих досинах, полногрудая, в облегающей кофточке, коса рыжая, глазки востренькие, носик вздёрнут — симпатяга какая! — идёт к прилавку. Ну, ну, что же она возьмёт? Так, бутылка пива, два стакана, плов, чипсы. Неплохой набор. А вторая?.. Понятно. Заняла столик, роется в сумках, волосы русые, стрижка, тоже в облегающих джинсах, в свитере... Да хороша, и всё тут! Таким девахам не сумки по вокзалам таскать, а жить в хорамах, детишек растить, мужей улаживать, за домом следить...

Рыженькая села за стол, поставила пиво, открыла чипсы, налила по полстакана. Отпили по глотку, огляделись. Я для них не интересен, хотя на мой счёт они как бы переглянулись, и на том спасибо, не пустое место всё же, кавказец их совсем не заинтересовал, да и он ими не очень-то интересуется или делает вид...

Эх, сейчас бы разуться. Нельзя, место почти присутственное, как говорили в старину. Кстати о старине, как там мой бородач поживает? Зашёл он, значит, в кафе, ему принесли всё необходимое: вино (наверное, не было тогда у французишки-хозяина ничего покрепче), баранину тушёную (я где-то читал, что тушёную баранину казаки жаловали), рябчика жареного, судачка заливного...

А это ещё что такое?! Что это мои красавицы из сумки достают? Водка! Так они уже и разуться успели! Хо-хо! Поглядим, поглядим, Ух, как они, даже не поморщились. То ли к ним подсесть? А ловко они с пловом управляют, и бутерброды достали свои, и не стесняются вовсе, и никто на них внимания не обращает. Нет, я к ним подсаживаться не буду, как-то не с руки, как говорится — стрёмно...

А что ж мой бородач? Выпил, закусил — это понятно, а вот заплатил ли он? Наверное, полез за пазуху за полновесным царским рублём, а хозяин ему на своём французском наречии: что вы, сир-мусьё, что вы, победителей кормим бесплатно, рады стараться...

А вот и победитель идёт. Костюм не с иголки, обувь потёрта, да и сам изрядно помят. Зато орден Красной Звезды на груди, в руках две бутылки, наверное, с зажигательной смесью. Сейчас как фуганёт по прилавку, по девицам, по мне, по всей нашей непутёвой действительности, и займётся “Русское быстро” красным пламенем. Тут-то мои туфли и просохнут... Нет, это всего лишь бутылки из-под пива, он сдавать пришёл. А благородный дядечка! Вон как изящно волосы пригладил... был благородный. Так... взял бутылку пива, идёт к лицу кавказской национальности.

— Иди, иди, тут занято, мы играть будем.

Не очень-то почтительно. Старик идёт к высокому столу. Достает из кармана бутерброд, завернутый в салфетку.

А теперь и мои бутербродики пригодятся.

— Идите сюда, здесь свободно, — приглашаю я.

Как красиво улыбается, догадывается, поди, про чекушечку в портфеле. Вот и компания, как отлично всё складывается, и профилактику от простуды проведём, и закусим, и поговорим, и старика уважим...

А вот и страж порядка.

— Что ты всё шляешься здесь? Иди домой!

— Квартира не есть дом, — бормочет старик, съёт бутерброд в карман и шаркает к выходу.

ГВОЗДИ

Они мне сразу не понравились, какие-то длинные, тонкие, тупые, в смазке, шляпка маленькая, одним словом, глисты в масле. Но делать нечего, надо брать, обошёл весь рынок, были только эти и то в одном месте. А в магазинах шаром покати — перестройка. Только что можно построить, если гвоздя не купишь? Взял я этих “глистов” и поехал домой.

После обеда занялся подвалом, надо было закромок под картошку соорудить. Уж я бил-колотил эти “глисты”, поминая непечатным словом и нашу промышленность, и свою нерадивость, по три штуки в одно место, ну, не лезут они, мерзкие, в доску, гнутся! Нервы мои поднатянулись, но закромок кое-как соорудил. Теперь на очереди окно в зале, решил утеплить, пока сухо. Проложил поролон по пазам, стал закрывать — дудки! Хоть убей, не закрывается окно, и всё тут. Эхма! Как саданул со всей дури! Оба стекла так и вылетели на балкон. А всё из-за этих “глистов”, будь они неладны, завели они меня крепко. Занавесил я окно одеялом, поужинал и сел смотреть телевизор. На выходные план был выполнен.

Была передача о Японии. Корреспонденты-телевизионщики, тамошнее начальство — мэры-губернаторы — толпились в магазине, где продавались камни для заточки инструмента. Камни эти жутко дорогие, добывают их только в Японии. Взяли они у хозяина под расписку самый дорогой камень и покатали всей толпой в японскую глубинку. Там, оказывается, живёт плотник, который умеет на этом камне железки для рубанков затачивать. Приехали все эти мэры-губернаторы, журналисты и прочие зеваки в захудалое селеньице. Вышел плотник, старый, важный, увидел этот камень, руки затряслись, языком зацокал, камень водой поливает, ставит железку под углом и начинает

точить. И железка прилипла! Так и стояла под наклоном! “Ну вот, — говорит диктор, — это значит, что заточка произведена правильно, а возможно такое только на этом камне и если железка сделана из специального металла”. А плотник уже железку в рубанок вставил, кладёт на верстак брус деревянный, какой-то породы редкой, и рубанок одним пальцем двигает. “Ага, — говорит диктор, — видите, стружка нигде не прервалась, и толщина её сотые доли миллиметра, а может быть, и меньше!” Японские мэры-губернаторы от восхищения хлопают в ладоши, вручают плотнику грамоту, премию, вешают на шею ленту. Все пьют sake из фарфоровых чашечек и удовлетворённо улыбаются. Вся Япония ликует у своих японских телевизоров, а плотник тот — прямо национальный герой!..

Утром полез в шифоньер, там у меня три бутылки водки хранилось. Одна к ноябрьским, одна на Новый год и одна “дежурная”. Взял я бутылочку, вспомнил недобрым словом “сухой закон” и пошёл на работу, я тогда во дворце культуры работал.

Ближе к обеду спустился в подвал к плотнику Михаилу Иванычу. Сантехник Андреич и Михаил Иваныч играли в домино. Играли как-то кисло и мне не очень-то обрадовались.

— Что ж вы на сухую-то, труженики культуры? — спрашиваю.

Андреич сдвинул на нос очки и, глянув поверх них на меня, пробасил:

— А нам сырость ни к чему. Я, стало быть, сорок семь лет в воде вожусь. Вон!

Андреич кивнул на свои скрюченные пальцы.

— Так то ж от воды. А от водки и не такое бывает. — Михаил Иваныч тихонько положил доминошку. — Рыба!

Андреича игра уже не интересовала. Он ощупывал взглядом свёрток у меня под мышкой.

— А ты, Мишаня, стало быть, по делу или так, проведать? — ласково спросил он.

— По делу, Андреич, по делу. Вот пришёл к Михаилу Иванычу стекло просить.

Михаил Иваныч перестал переворачивать домино:

— А зачем тебе стекло?

— Да... Решил окно утеплить, а оно закрываться перестало. Ну, я и психанул. Оба стекла вдребезги.

Михаил Иваныч заинтересованно глядел на меня:

— А зачем же ты, Мишаня, психанул?

— Да всё из-за гвоздей.

И я рассказал про свои труды тяжкие в подвале. Михаил Иваныч порылся в ящике.

— Гвозди, говоришь, виноваты. Такие что ли? — он показал гвоздь.

— Во-во. Они самые.

— Хм... Гвоздь как гвоздь.

Михаил Иваныч взял молоток и с двух ударов загнал гвоздь в доску. Я, видимо, покраснел, потому Андреич начал меня успокаивать:

— Ты, Мишаня, здорово не горюй. Михаил Иваныч, стало быть, слово знает, вот гвозди его и слушаются, так, Михаил Иваныч?

— Я это слово с четырнадцати лет на стройках учил, — улыбнулся Михаил Иваныч. — А хотите, я этот гвоздь так забью, что он возле своей шляпки вылезет?

— Так это ж на бутылку спорить надо! — оживился Андреич и покопился на мой свёрток.

— Да ладно тебе, Василий Андреич, — Михаил Иваныч взял молоток поменьше, — где ж её нынче возьмёшь? Перестройка, сухой закон.

Слегка согнув гвоздь, Михаил Иваныч приставил его под небольшим наклоном к доске и начал легонько бить. Гвоздь вылез возле своей шляпки! Андреич довольно покряхтел и победно глянул на меня.

— А ты, Мишаня, рот-то прикрой!

Михаил Иваныч бросил молоток в ящик:

— Я в своё время не одну бутылку за это дело выиграл. А гвозди эти и вправду дрянные. Пришёл бы ко мне, я б тебе хороших дал, доперестроечных.

Я положил свёрток на стол:

— Михаил Иванович, а как же стекло, дашь?

— А ты размеры снял?

Я протянул бумажку.

— Точные?

— Да вроде бы.

Михаил Иванович ещё раз поглядел в бумажку:

— Это у тебя финские рамы что ли, двойные?.. Барахло.

— А шуг его знает, я ж не понимаю.

— Ладно, в обед приходи, нарежем тебе стёкол.

Андреич потыкал пальцем свёрток:

— А это у тебя что?

— Магарыч! — вышалил я.

Андреич глянул на часы:

— Михаил Иванович, так уж и обедать пора.

— Обедать, так обедать. — Михаил Иванович придвинул к столу ящик. — Садись, Мишаня.

Я замялся:

— Сейчас приду, пойду свой класс закрою.

— Ага, походи, походи, а мы тут пока закусточку сочиним. — Андреич сгрёб домино в картонную коробку.

Когда я вернулся, в углу уже стояли два стекла. Михаил Иванович раскладывал на столе яблоки, сало, хлеб. Андреич стоял у верстака, на котором валялись гнутые гвозди. Он смущённо посмотрел на меня и пробормотал:

— И вправду гнутся, леший их задери. Стало быть, поганые гвозди.

Налили по первой.

— Ну, с прощанием. — Михаил Иванович единым махом выпил добрые полстакана водки.

Андреич не отстал, да и я тоже.

— Мишань, ты, стало быть, закусывай. Вот салыца возьми, это своё. Кабанчик захромал, так я его... — Андреич пододвинул ножом кусок сала. — А мы, стало быть, последний день сегодня. Выгоняют нас на пенсию. Наверно, некультурные мы, так, Михаил Иванович?

— Как выгоняют? — удивился я.

— А так! — Андреич скрюченными артритом пальцами старательно сворачивал самокрутку. — Пришла указивка — сократить управленческий аппарат.

— Так вы ж техническая служба?! — недоумевал я.

— А начальство, что этот гвоздь. — Михаил Иванович кивнул на верстак. — Всё к своей шляпке поближе вылазит.

— Угу, — выпустил едкий махорочный дым Андреич. — Или что тот гвоздь в сапоге. Ты работаешь, а он тебе ногу до крови дырявит.

По второй выпили молча. Пора было уходить. Я встал.

— Ну, что ж, тёзка, бывай здоров. — Михаил Иванович протянул руку.

Встал и Андреич:

— Ты, Мишаня, со стеклом поаккуратнее, завтра нас уже здесь не будет, а в магазинах сам знаешь — одна гласность осталась. Ну, прощай, может, когда и свидимся. А то в гости заходи, яблок дам. У меня этот год яблоки сильные...

ОЛЕГ РОМЕНКО



ФИЛАТЕЛИСТЫ

РАССКАЗ

— Ир-р-ина! Наташа! Вставайте! В школу по-р-р-а! — бодрый и зычный голос с улицы прогремел, как труба перихонская.

Человек не только картавил, но и пробуксовывал на букве “эр” так, что мне показалось, будто за стеной завизжал перфоратор, вгрызаясь рывками в бетон: “Р-р-р-р-р”. Раздражённый этими звуками, я подошёл к окну и увидел внизу карлика с ранцем, нетерпеливо расхаживающего вдоль узкого тротуара во дворе. Через минуту из нашего подъезда выскочила девочка с портфелем, а следом за ней ещё одна, из соседнего подъезда. И втроём они двинулись к школе.

Я заболел гриппом, и мне не нужно было рано вставать и куда-то идти. Уже несколько дней бабушка с дедом пребывали в подавленном состоянии, но не из-за моего самочувствия. Скончался очередной генсек Константин Черненко.

— Всё прахом пойдёт! — безнадёжно ворчал дед.

— Не каркай! — крысилась на него бабушка.

Вскоре я поправился, и ко мне зашёл в гости друг с первого этажа Костик Емельянов. Это был мой ровесник, и мы вместе “болели” летом футболом, а зимой — хоккеем. Костик был блондин с выющимися волосами и умными карими глазами и такой же, как я, худощавый мальчик, юркий и выносливый в играх. Мы с ним считались лучшими игроками среди детворы и поэтому постоянно рубились друг против друга в разных командах, чтобы

РОМЕНКО Олег Сергеевич родился в 1977 году в Белгороде. Поэзия и проза публиковались в журналах и альманахах Белгорода, Москвы, Тамбова, Симферополя, Краснодара, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Кирова, Красноярска. Лауреат региональных литературных конкурсов. Автор книги стихотворений “Волны времён” (2020).

уравнять шансы соперников. Но это “противостояние” нисколько не мешало нам быть верными друзьями.

Я рассказал Костику про громогласного карлика, и мой друг, как петарда, взорвался от смеха. Немного успокоившись, он объяснил:

— Это Миша Мезис. Он живёт на девятом этаже в нашем подъезде. В школе все зовут его Рупором. Раз я попросился на уроке выйти. Иду и слышу: в кабинете пения кто-то не поёт, а орёт, как сумасшедший: “Сю-р-р-р-приз! Сю-р-р-р-приз! Да зд-р-р-р-авствует сю-р-р-р-приз!!!” Хочешь, познакомлю с ним?

На следующий день мы пошли к Мезису. Костик сказал, что Рупор на два года старше нас и учится в третьем классе. Дверь нам открыл сам Миша. Он оказался на полголовы ниже нас, но эта голова, на которой топорщились ёжиком волосы пепельного оттенка, размером была, как у взрослого человека, с высоким и выпуклым “профессорским” лбом, нависающим над переносицей. Из-под дикорастущих кустистых бровей смотрели холодные голубые глаза, излучающие настороженный интерес к собеседнику, а ещё ниже на лице выделялся мясистый нос и губы-вареники. Руки, как и ноги, у него были короткие и толстые, но в них чувствовалась недюжинная сила.

— Привет, Миха! — добродушно улыбнулся Костик и протянул ему руку.

Миша, в клетчатой красной рубашке с коротким рукавом и синих трикотажных брюках, быстро сделал два шага навстречу, переваливаясь, как утка, и, отведя правую руку за спину, будто хотел почесать поясницу, резко выбросил её вперёд. Раздался звонкий хлопок ладони об ладонь, и от крепкого рукопожатия с лица Костика слетела улыбка.

— П-р-р-р-ивет, Кастет! — протрубил Рупор.

— Видел у нашего дирека новую “Волгу”?

— К-р-р-р-утая машина!

Костик представил меня:

— Это сосед с пятого этажа.

Миша перевёл наэлектризованный взгляд на меня и закричал, как контуженный:

— Я видел тебя во дво-р-р-р-е! Ты иг-р-р-р-ал в мяч!

Мы познакомились и сразу нашли общий язык.

— Пацаны, а давайте в бу-р-р-р-козла сыг-р-р-р-аем! — радостно воскликнул Миша, приглашая к себе домой.

Я к тому времени уже успел пристраститься к картам через мамину сестру тётю Люду, к которой мы заходили после садика, и она постоянно мне проигрывала несколько рублей мелочью. Я знал, что она поддавалась, но выигрыш забирал.

Мы вошли в его маленькую комнатку-келейку, в которой умещались однопоспальная кровать, шифоньер и письменный стол со стульями. Над кроватью висел ковёр-картина “Нападение волков на тройку”, а на столе стояла небольшая миска с домашним печеньем.

— Угощайтесь! — гостеприимно предложил Миша. — Сам испёк! На ма-р-р-р-га-р-р-ине.

Я вслед за Костиком протянул руку к миске, но, услышав слово “маргарин”, испуганно отдёргнул её назад, как это сделал бы правоверный мусульманин, услышавший, что печенье приготовлено на свином жире. Мама часто напоминала мне, что маргарин очень опасен для здоровья, и этот суррогат стал для меня синонимом яда.

Вскоре мы снова встретились с Мишей возле лифта на первом этаже.

— Хочешь, ма-р-р-р-ки покажу? — спросил он.

Я ровно дышал к скучным и невзрачным маркам стран ОВД, которые продавались во всех киосках “Союзпечати”, но из вежливости согласился. Поднявшись на лифте, мы зашли к Мише. Он вытащил из ящика стола большой и толстый, как энциклопедия, альбом в зелёной обложке и открыл первую страницу.

Это были совсем другие марки, не такие, как в киосках. Не только прямоугольные и квадратные, но ещё и треугольные, ромбические. Кубинские,

монгольские, арабские. Яркие и красивые, переливающиеся на свету сквозь карманы — полоски из глянцевой кальки, эти марки преобразались настолько, что изображённое на них казалось более настоящим и живым, чем окружающая действительность.

Особенное очарование маркам придавала зубцовка. Я читал, что продажи “Кока-Колы” пошли вверх только после того, как один человек предложил разливать её в бутылки. И мне кажется, что не придумай человечество наносить перфорацию на листы почтовых марок для облегчения отделения их друг от друга, то не появились бы и филателисты.

В начале альбома с полупрозрачными листами бумаги, вклеенными между тёмно-серыми страницами, были коллекции с неповоротливыми динозаврами, бродившими среди крупных папоротников и хвощей, и носившимися с криком над бушующим океаном птеродактилями. Миша перевернул страницу, и я увидел невероятно красивые и пышные, в капельках после дождя хризантемы, георгины, розы. За ними следовали резвящиеся в лазурных волнах дельфины, притаившийся на дне скат, патрулирующая свою территорию рыба-меч. Потом показались каравеллы Колумба и Магеллана, а за ними — коллекции с огромными воздушными шарами над зелёными долинами.

Миша переворачивал страницу за страницей, и передо мной мелькали пёстрые попугаи и розовые фламинго, пятнистые жирафы и полосатые тигры, грибы с красными шляпками в белый горошек и с коричневыми шляпками, облепленными вечнозелёными хвоинками. На моих глазах проносились ужасно дымящие паровозы, перевозившие в вагонах переселенцев по прериям Дикого Запада, а завершали коллекцию уже современные поезда метрополитенов в мегаполисах.

Потом появились футболисты, боксёры, метатели копий, хоккеисты, бобслеисты, лыжники. Вот ребята сидят у пионерского костра. А вот монгольские пастухи собрались у телевизора и, разинув рты, наблюдают за нашим “Союзом”, вышедшим на орбиту. Затем следуют коллекции со спутниками, ракетами, космическими кораблями. Лучезарно улыбающиеся люди в скафандрах приветствуют жителей Земли из безвоздушного пространства, а на шлемах у них крупными красными буквами написано “СССР”.

Мне казалось, что Миша вовсе не карлик, а гуманоид с маленьким тельцем, короткими ручками и ножками, необычайно крупной головой и глазами, излучающими нездешний ледяной голубой свет. Гуманоид, раскрывший передо мной Книгу Бытия Вселенной. Меня охватило чувство восхищения перед красотой нашей планеты и трепета перед величием человеческого гения. То ли ещё будет, когда я вырасту и тоже внесу свою лепту в процесс совершенствования мира.

И тут на всю квартиру раздался поющий хрустальный голос:

— “Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь...”

А потом мы услышали сзади сильный и глубокий бас:

— Михаил! Иди фильм смотреть!

Я обернулся и увидел прислонившегося плечом к стене Мишиного отца. На нём был цветастый кухонный фартук. В руках он держал эмалированную миску с тестом и взбивал его ручным миксером. Отец был рыжим, а на носу у него сидели квадратные очки с толстыми линзами. Он близоруко хмурился и застенчиво улыбался.

— Хо-р-р-р-ошо, пап! — пророкотал сын.

Лицом Миша очень походил на отца, а сестра-второклассница так же сильно — на мать. Жили они вчетвером. Все, кроме Миши, были обычными людьми, естественного телосложения. Сестра Ирина уродилась рыжеволосой и веснушчатой красавицей, но была замкнутой, неразговорчивой и ни с кем не дружила. Позднее она завела бульдога и только с ним и гуляла, никого не подпуская к себе. Мне казалось, что она так сильно комплексовала перед сверстниками из-за брата, как будто это она была карлицей, а не он.

Я попросился с Мишей и пулей ринулся домой, чтобы успеть к началу четвёртой серии премьерного показа. “Гостя из будущего” вызвала у зрителей массовую эйфорию, усиленную всеобщей влюблённостью в нового

молодого и энергичного генерального секретаря. Но когда начался фильм, тут меня и накрыло по-настоящему. Я смотрел на экран, а видел перед собой раскрытый альбом.

На следующий день я пошёл на разведку в магазин “Союзпечать” на улице Попова и сразу — в отдел филателии. На подложках из тёмного картона красовались, как ювелирные украшения, марки вроде тех, что я видел у Миши. Под стеклом манили и приковывали взгляд коллекции пёстрых тропических бабочек и экзотических морских рыбок, умытых росой цветов и взмысленных арабских скакунов, трудолюбивых пчёл и сладкоголосых птиц... Стоили такие коллекции из нескольких марок в среднем пять рублей — дневной заработок скромного советского бюджетника. Тут же под стеклом находилось два кляссера. Один — маленький, книжного формата — стоил пять рублей тридцать копеек. Второй — большой, как у Миши, — стоил десять рублей сорок копеек — ровно столько мама вносила каждый месяц нашей классной за моё питание в школьной столовой.

Я подумал, как хорошо, наверное, быть взрослым. Они получают зарплату и могут тратить деньги на всё, что захочется. Но взрослые такие беспотковые!..

Дома просить денег на марки я считал бесполезным и бессовестным делом. Я долго думал, но всякий раз мои мысли возвращались к Мише. Его альбом с марками “весил” рублей двести, а то и триста. Где он взял такие деньги? Неужели родители помогли?

— Нет! Р-р-р-одители мне денег на ма-р-р-р-ки не дают, — немного растерянно, глядя мне в глаза, как подозреваемый следователю, ответил Миша и чистосердечно рассказал о своём источнике доходов.

Он собирал по мусоркам и свалкам выброшенную старую одежду, а потом сдавал её за деньги в какой-то магазин, который назывался “Стимул”. Но я сразу понял, что мне такой вид заработка никак не подходит.

Рассказ Миши поверг меня в уныние. Но я не сдавался. В голове у меня вертелся глагол “собирать”. Миша собирал тряпьё, а что я могу собирать и сдавать за деньги? Иногда меня отправляли сдавать накопившиеся в доме бутылки, но деньги я всегда отдавал маме или бабушке.

Я стал вспоминать, как, гуляя с друзьями, то тут, то там видел валяющиеся под кустами пустые пивные бутылки. А ведь каждая бутылка — это двадцать копеек. Собирай бутылки и соберёшь марки. Возбуждённый, как Архимед, выпрыгнувший из ванны с криком: “Эврика!” — я сидел в кресле перед телевизором, в котором озабоченный Генеральный секретарь говорил ленинградцам: “Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться”.

Солнечным, ласковым майским утром, когда многие горожане собирались на площадь Революции отметить День солидарности трудящихся, я сунул в карман авоську и отправился собирать бутылки. Первая и последняя попалась мне в палисаднике нашего дома под цветущим абрикосом. Мутно-зелёное стекло бутылки преображали жемчужные капельки росы. Позднее я прочитал у одного поэта-единомышленника: “Я не знал, что бутылки, как розы, тоже утром бывают в росе”.

Затем я направился в дубовую посадку 38-й школы, где часто собиралась молодёжь из окрестных многоэтажек выпить и отдохнуть. Я прочесал пришкольную сторону посадки и не нашёл ни одной бутылки. Потом перебрался по тропинке через овраг на другую сторону и, пройдя посадку до середины, увидел впереди бодро шагающую старушку с палкой, которая нужна была ей не для ходьбы, а для облегчения поиска предметов. За спиной у неё, в почти полном рюкзаке, позвякивали бутылки. Если бы я тогда знал героев и мир Достоевского, то ощутил бы себя Раскольниковым, глядя вслед исчезающей старушке в чёрной телогрейке.

Но Достоевского я тогда не читал, поэтому почувствовал себя грибником, встретившим на узкой тропинке в лесу другого грибника, вставшего ещё раньше тебя. Он идёт мимо, весело насвистывая, с двумя вёдрами, полными опят, лисичек, груздей, подосиновиков, а ты стоишь с каменным лицом, стиснув зубы и сжав до боли в кулаке складной нож. Но в это время кто-то незримый и всемогущий взял меня за голову, как шахматист фигуру

на доске, развернул на 180 градусов и ткнул в спину, чтобы я шёл быстрее и не оглядывался.

Снова спустившись по тропинке в овраг, который превратился в свалку непищевых отходов и стремительно уменьшался, как Аральское море, я ничего не нашёл и понял, что собирать бутылки дело безнадёжное. Вездесущие пенсионеры не оставляли мне шансов.

А через пару недель ещё и сухой закон ввели. В июне, когда мама спросила, какой подарок мне хочется на день рождения, я привёл её в “Союзпечать” и показал альбом для марок в витрине. Мы пошли на кассу, мама достала из кошелька синюю пятирублёвку и две белые монетки — новые и блестящие пятнашки, и у меня появился кляссер. Продавщица, передавая мне альбом с лежащим поверх него почтовым конвертом, поздравила нас с покупкой и сказала, что нам полагается в подарок набор марок.

Бутылки я приспособился брать у тётки Люды, которые у неё скапливались после попок с Ереванычем. Я приходил и выгребал сразу всё, что было. Обычно дюжина пивных бутылок. Еревыныч косо смотрел на меня и бурчал:

— Люди за такие деньги целый день работают, а ты сдал — и свободен.

— Не лезь! Пусть сдаёт! — одёргивала его тётя.

Я ехал до “Союзпечати”, возле которой располагался пункт приёма стеклотары из красного кирпича с остроконечной крышей. Там я выстаивал очереди вместе со взрослыми при тусклом освещении, вдыхая воздух, пропитанный алкогольными парами. Тучная и флегматичная приёмщица лет сорока медленно обводила большим пальцем горлышко каждой бутылки на предмет обнаружения сколов стекла.

В очереди я часто мечтал. Однажды представил себя советским хоккеистом, закладывающим виражи и высекающим лезвиями коньков холодные голубые искры изо льда. Я обыграл всю шведскую пятёрку и вышел один на один с вратарём в жёлтом свитере с тремя синими королевскими коронами на груди. Он панически заметался от штанги до штанги в своей вратарской, а я почувствовал сильный толчок в спину:

— Мальчик, ты что, уснул?!

За летние каникулы мне удалось заполнить марками несколько страниц альбома, и я решил похвастаться своими сокровищами. С этого и началось брожение умов ребят из нашего двора. Первым от меня “заразился” Андрей Евтухов — очень живой, любознательный и расчётливый мальчик из неблагополучной семьи, который только пошёл в первый класс.

Мать его работала уборщицей на заводе за 80 рублей, а отец сидел за поножовщину. Андрей был худеньким, с костлявыми плечами и коленками, курчавыми чёрными волосами, как у негритёнка, и такими же чёрными неспокойными глазами, острым маленьким носом, впалыми щеками и грудью. Он ходил в одной одежке, которая обновлялась у него только в зависимости от сезона. Мать с утра оставляла сыну рубль на двоих с младшей сестрой Наташей.

Когда Евтухова впервые спросили: “Как тебя зовут?” — то он, тогда ещё совсем маленький, ответил по слогам под всеобщий смех окруживших его пацанов постарше:

— Ан-ду-ду-ша.

Его стали звать Дудушей. Потом один пятиклассник, услышавший в школе на уроке рассказ Куприна “Ю-ю”, окрестил Андрея этим литературным кошачьим именем. Во дворе сразу подхватили новое прозвище, но вскоре скрестили Дудушу с Ю-ю и получился Ю-юша.

На этом мы не остановились и придумали хлёстко, по-пацански, называть Евтухова Юшман. Воспалённый коллективный разум продолжал креативить, и Юшман превратился в Душмана. Но когда мы обращались к нему: “Э, Душман!” — то прохожие оборачивались, а некоторые вздрагивали и внимательно и серьёзно смотрели на нас. Советский Союз вёл тогда войну в Афганистане. В итоге мы решили остановиться на Юшмане.

Юшмана не любили. Он ничего не делал просто так и за всё обязательно потом предъявлял ростовщический счёт. Однажды он пригласил меня

в гости. Мы сидели на кухне при лунном свете и грызли каждый по горбушке хлеба, натёртой чесноком. В холодильнике у них было “хоть шаром”, а свет мамка велела “не напаливать”.

Мне казалось, что я в жизни не ел ничего вкуснее этой хрустящей горбушки свежего ржаного хлеба, натёртой острым, дразнящим чесноком и посыпанной крупномолотой солью. Вскоре пришла с работы мать Юшмана. Она включила свет, открыла холодильник, и её уставшее и осунувшееся лицо перекосилось.

— Андрей! — истошно закричала она, как будто сын не рядом сидел на табуретке, а заблудился где-то в лесу. — Ты зачем молоко выпил, сволочь! Я хотела нам утром каши сварить!

Потом Юшман осаждал меня просьбами купить ему то мороженое, то стакан фруктового сока, ведь он же угостил меня хлебом с чесноком. И много лет спустя он ничуть не изменился. Мы случайно встретились с ним возле ларька, где пили пиво с товарищем по работе. Юшман попросил и его угостить, а чтобы я не вздумал отказаться, он припомнил, как восемь лет назад я сломал ногу, катаясь на лыжах в овраге, а он на санках отвёз меня домой. Когда я взял ему того же недорогого пива, что и себе, то он разочарованно вздохнул:

— А я думал, что ты мне “Баварию” предложишь.

Вот за такие штучки Юшмана и не любили, и он был первым человеком, которому я набил морду.

Очень скоро Юшман накупил дешёвых гашёных марок в киоске и приобрёл такой же, как у меня, небольшой кляссер, с которым он расхаживал по двору, как талмудист с Торой, окружённый стайкой дошколят. Потом Юшман садился в беседке, спрятавшейся под высокими раскидистыми ивами, раскрывал альбом и, водя пальцем вдоль прозрачных карманов с марками, как по строчкам книги слева направо, демонстрировал ребятам свои сокровища.

Узнав, что у филателистов принято обмениваться марками, Юшман попросил меня вывести его “в свет”, а именно познакомить с самим Мезисом, с которым мы иногда совершали обоюдоприятные сделки. Когда мы зашли к Мише, то Юшман, в чьём лице часто читалась причудливая борьба подлинного с притворным, улыбнулся одновременно заискивающе и хищно. Мезис, немного растерявшись от такой двойственности и выпучив глаза, смотрел на гостя с удивлением и недоверием.

Когда я объяснил Рупору цель нашего визита, то он, всё так же глядя на Юшмана, как на личность, не вызывающую ни малейшего доверия, холодно сказал:

— Хо-р-р-р-ошо. Заходите.

Мы сели за стол в его комнате, и Миша, включив настольную лампу, стал листать альбом Юшмана. Там были только такие невзрачные марки, которые не жалко было бы наклеить на почтовый конверт. Яркое освещённое лампой лицо Мезиса накрыла явственная тень разочарования.

— Х-р-р-р-еновые у тебя ма-р-р-р-ки, — хлопнув альбом, вынес свой вердикт филателист со стажем.

Юшман жалко улыбнулся, с трудом проглотив ком в горле, он безнадежным, готовым сорваться на плач, голосом выдал:

— А марками меняться мы не будем?

Мезис, брезгливо выпятив нижнюю губу, решительно положил конец дальнейшим поползновениям:

— Не инте-р-р-р-есно!

Вскоре у нас во дворе появился ещё один филателист. Однажды я сидел на качелях во дворе, и вдруг налетела огромная чёрная туча. От ветра стало холодно, и крупными хлопьями повалил снег. Это были отголоски Чернобыльской аварии, о масштабе которой в прессе были очень скудные сообщения. Взрослых, как обычно, погнали на первомайскую демонстрацию. Люди шли по площади и удивлялись кружащему над их головами снегу. Только в середине мая по центральному телевидению Генеральный секретарь, которого всё ещё любили, снял табу:

— Нас постигла беда...

Я уже хотел спрыгнуть с качелей, как заметил идущего по тропинке двора мне навстречу мальчика в школьных брючках и белой рубашке с галстук-бабочкой. Когда он приблизился, я увидел перед собой светловолосого, с зачѣсанной набок чѣлкой кренпыша с большими ясными глазами и ангельским лицом.

— Ты из какого подъезда? — спросил он.

— Из четвёртого, — ответил я.

— А я из восьмого. Лѣха! — представился он и протянул руку, — Ты с кем дружишь?

Я, немного подумав, прихвастнул:

— Со всеми.

— А у меня нет друзей, — грустно сказал мальчик, уставившись в землю. — Давай с тобой дружить.

— Давай, — согласился я.

Лѣха Мишенин заканчивал первый класс и жил на девятом этаже в трёхкомнатной квартире с мамой, сестрой Женькой и болонкой Филькой. В зале у них стояло большое чёрное пианино, из-за которого я и зачастил в гости к новому другу. Мне нравилось нажимать пальцем на клавиши поочерѣдно и прислушиваться, как низкие басовые ноты плавно перетекают в высокие, похожие на звон хрустальных колокольчиков.

В такие минуты я ощущал, что во мне есть что-то великое и мощное, рвущееся из тела. Сначала я чувствовал, как это нечто во мне, как огненное дыхание, распирало и обжигало лёгкие, а потом, сжавшись в комок, поднималось вверх по горлу, а дальше в виде воздуха следовало через нос, раздражая его щекоткой, и изливалось наружу слезами восторга. Веки после этого сами опускались, и ресницы тут же промокали. Затаив дыхание, я прислушивался к биению сжимавшегося и разжимавшегося, как кулак, сердца: тук-тук, тук-тук, я-тук.

— Давай покажу, как я умею, — говорил, подсаживаясь рядом, Лѣха.

От его “Собачьего вальса” меня охватывала эйфория, но каждый раз, пытаясь повторить его игру, я извлекал из инструмента только дикую какофонию. Тогда к нам подбегал рассерженный Филька и так яростно ругался, вскидывая голову вверх, что его кудряшки на лбу подпрыгивали и обнажали угрожающе смотрящие на меня чёрные глазки-бусинки, горящие от гнева. Лѣха, топая ногой, кричал на него:

— А ну, цыц!

И обиженный четвероногий меломан отступал, порывивая себе под нос что-то похожее по звучанию на человеческое: “Безобразие!”

Мама Мишенина работала учителем музыки в школе. Она элегантно одевалась, с достоинством держала осанку и имела представительную внешность. В профиль она была похожа на древнегреческую музу с чёрными волосами и идеально прямым носом.

С холодным интеллектом в глазах, она была холодна и в обращении с нами. Но когда сын приходил домой перепачканный, как поросѣнок, мама с трагическим надрывом в грудном голосе восклицала:

— Лѣша, я же просила тебя быть аккуратным! Горе ты моѣ луковое! Иди в ванную!

“Горе луковое” мрачнело лицом и, упервшись пяткой в пол, нервно скидывало туфли, сначала один, а следом и другой, после чего, набычившись и вжав голову в плечи, шло в ванную. Мне подумалось, что таким же, наверное, был и его отец, которого Лѣшина мама, встречая у двери после работы, тоже просила быть аккуратным и отправляла в ванную.

Все мы бегали по теплу в спортивках и футболках, а в жару — в шортах и майках, но Лѣха, как джентльмен, неизменно щеголял в костюмных рубашках и брючках со стрелками. Единственной уступкой, которой он добился от матери своим категорическим отказом, было право не носить галстук-бабочку, из-за которого над ним потешались.

Однажды Серѣжа Доронин по кличке Тридцатик (такого “титула” в нашем городе достаивались все, кто учился в школе для умственно отсталых), белобрый мальчик с лошадиными зубами, так разошёлся, смеясь и тыча

пальцем в Лёхину галстук-бабочку, что не мог остановиться, как заяц, застрявший на каком-нибудь звуке. И тут ему суждено было узнать, что за ангельским личиком мальчика с бабочкой скрывается дьявольский характер.

Недолго думая, Лёха молниеносно вlepил Тридцатику затрецину, от которой тот клацнул зубами, чуть не прикусив язык, а в ушах у него эхом зазвенел залихватский голос Мишенина:

— Тридцать зубастый — хрен волосастый!

Лёха сразу увлёкся через меня марками. Да и сам он был натурой увлекающейся. Но если я подходил к делу основательно, собирая деньги и выбирая лучшее, то он, как и Юшман, быстро накупил всякой всячины за мамины деньги. Таким образом, нас стало трое во дворе, не считая Мезиса, сидевшего в башне из слоеновой кости.

Обида, нанесённая Мишей Юшману, сидела в его сердце занозой. Поэтому, когда Лёха показал Евтухову свой альбом, тот пренебрежительно усмехнулся и процедил:

— Фигня это у тебя, а не марки.

Мишенин нахмурился, и волосы у него на голове как будто зашевелились и приподнялись, а потом он бросил на Юшмана такой убийственный взгляд, которым, как я часто видел, уже ставши взрослым, обменивались литераторы, нелестно отзывавшиеся о творчестве друг друга и ставшие не разлей врагами на всю жизнь.

Настало лето 87-го. В одно солнечное июньское утро мне исполнилось десять лет, и мы с мамой начали обход родственников с тётки Люды.

— Мы за подарками! — бесперемонно и возбуждённо, сразу с порога прокричал я, как будто очень торопился и боялся, что мне дня не хватит собрать со всех подарки.

— А мы зна-аем! — весело глядя на меня и лукаво улыбаясь, пропела тётка.

Мы зашли в комнату, и тётка достала из стенки почти полную бутылку — копилку с белыми монетками в двадцать копеек каждая, которые она весь год собирала для меня со сдачи в магазинах. На кухне сидел разобитый Ереваныч и бурчал под нос:

— Козёл Горбатый! Развёл бардак в стране!

Сухой закон ещё не отменили. С утра пораньше Ереваныч сбегал на центральный рынок и купил у каких-то мошенников, приехавших на грузовой машине якобы с завода, бутылку водки, в которой оказалась обычная вода из-под крана.

— Дари подарок! — приказала Ереванычу тётка, указав пальцем на карман его клетчатой рубашки, который оттопыривали деньги.

Тот, всё ещё находясь на своей волне в расстроенных чувствах, обиженно спросил:

— Сколько тебе исполнилось?

— Десять, — ответил я.

— Ох, ох, ох, ох, — простонал непохмелившийся Ереваныч, — отчего я маленьким не сдох!

Он вытащил из кармана красную десятирублёвку с портретом Ленина и звонко припечатал её ладонью к столу.

— Держи лысого и будь здоров! — напутствовал он, а потом, зажмурив глаза, с отвращением на искривлённых губах залпом выпил полстакана воды, налитой из бутылки с водочной этикеткой.

В то время многие всё ещё пребывали в эйфории, и из каждого утюга лилось: “Гласность — перестройка — ускорение. Больше демократии — больше социализма!” — а такие “вещуны”, как Ереваныч: “Дерьмократы, мать их!” — были первыми вестниками надвигающейся беды.

Посидев немного у тётки, мы с мамой поехали к бабушке. Водитель троллейбуса мчал, как Шумахер, точно знал, что у меня день рождения, и хотел порадовать быстрой ездой. Вымытые окна с приоткрытыми форточками ослепительно сверкали, наполняя салон солнечным светом и ветром. Всю дорогу мы с мамой ехали одни. В троллейбусе на остановках никто почему-то не заходил, да и людей на улицах почти не наблюдалось.

Мне казалось, что мы попали в волшебный троллейбус, который везёт нас в прекрасное далёко, а за рулём сидит спиной к нам и улыбается гость из будущего. Вот сейчас мы выйдем на своей остановке и увидим не мрачный областной военкомат, а гигантский шарообразный космодром, отправляющий и принимающий жителей со всей Галактики. Я побегу к киоску с мороженым, а мне преградят дорогу два туриста с Альфа Центавра и с инопланетным акцентом спросят: “Земляк! Как пройти в Пушкинский музей на Ватутина?” А я отвечу: “А он ещё не построен”...

Когда мы вышли на остановке, то увидели те же серые железные ворота военкомата с прикрученными к ним двумя объёмными красными звёздами из жести. Но я продолжал ощущать себя летящим сквозь пространство и время в солнечном троллейбусе, который когда-то высадит меня на одному ему известной остановке, и там меня встретят, и для меня начнётся другая, настоящая жизнь.

День рождения прошёл, как обычно. Дразнящий, сладкий с кислинкой запах свежей и сочной клубники смешался с рвотным запахом самогона, а наши с мамой трезвые голоса потонули в пучине пьяного ора деда с дядей Сашей и ругани бабушки, закончивших свою попойку уже без нас.

Ближе к вечеру я захотел мороженого. Во дворе мне встретились Юшман с сестрой, уже успевшие загореть, как цыганята, и, услышав про мороженое, тут же увязались следом “просто так”. По дороге я споткнулся и рассёк коленку об острый камень, выступавший из земли на тропинке, ведущей вверх по небольшому склону к “Кулинарии”. Я попробовал подняться, но тупая боль в колене осадил меня. В таких случаях обычно мы прикладывали к ранке подорожник, сначала поплевав на него. Только я хотел попросить Юшмана об этой услуге, как он, оскалившись улыбкой голодной гиены, сказал:

— Отдай мне деньги.

— Как?! — не поверил я.

— Ты же всё равно не можешь идти, — пристально и странно глядя мне в глаза, продолжил Юшман, — а мы с Наташкой мороженого поедим.

Меня охватил такой лютый гнев, что я сразу почувствовал прилив нечеловеческих сил и, как тигр, набросился на Юшмана. Я опрокинул его навзничь и надавил на впающую грудь коленкой, крепко стиснув его руки повыше запястий. Мне не хватало духу ударить человека по лицу, даже если оно было настолько отвратительным, что в него хотелось плюнуть.

Пока я колебался, Наташка, сняв сандалии, колотила меня ими по спине, а я отмахивался от неё головой. Она отскакивала назад и снова нападала. Юшман с ужасом и ненавистью смотрел на меня, ожидая разящего удара. Он поверил в меня, и я, поверив в себя, от души заехал ему в левую скулу. Юшман, припечатанный правой щекой к земле, отчуждённо закрыл глаза и затаил. Я так придавил его грудь коленом, что он мог только хрипеть и сопеть, но когда я встал и пошёл прочь, Юшман зарыдал у меня за спиной во весь голос. Наташка швыряла мне вслед мелкие камешки и нечленораздельно рычала.

Во дворе мне встретился Лёха, который сочувственно меня выслушал, а потом в его небесных ангельских глазах снова заплясали весёлые бесенята, и он воодушевлённо предложил:

— А давай Юшмана грабанём!

Мысль ограбить Евтухова, который при свете вечерней звезды натирает горбушку хлеба чесноком, показалась мне настолько нелепой, что я не удержался от смеха.

— Чего ты ржёшь? — насунился Лёха. — Я всё придумал. Мы придём к нему, и я скажу, что хочу с ним марками меняться. Он выйдет во двор, а мы вырвем у него из рук альбом и убежим.

Юшман надоел всем хуже горькой редьки. Этот “ростовщик наоборот” пробавлялся попрошайничеством. Чем больше мы ему давали, тем больше он просил и даже требовал. Вместе с Костиком и ещё двумя друзьями, подзуживаемые Лёхой, мы сговорились проучить Юшмана, с условием, что вернём ему альбом с марками.

Следующим утром мы все пошли к нему. Евтухов открыл дверь, и Лёха оглушил его своей трелью, как коробейник:

— Выходи меняться марками!

Юшман недоверчиво скользнул взглядом по нашим притворно равнодушным лицам, и мне показалось, что он догадался, зачем мы пришли. Наверное, это почувствовал и Лёха, который, импровизируя на ходу, стал заливать, что мать подарила ему двадцать пять рублей на день рождения, и он накупил в “Союзпечати” много новых и красивых марок.

Благоразумие вылетело из головы Юшмана, как “пгичка” из аппарата фотографа. Глаза его увлажнились и затуманились, как стёкла, запотевшие от пара, а мозг уже всюю кипел, генерируя идеи по честному обману путём неравноценного обмена. Мы вышли и сели на скамейку возле подъезда, а вскоре выскочил и Юшман с альбомом подмышкой.

— А где твои марки? — хищно улыбаясь, вкрадливо спросил Юшман Лёху, облокотившегося на спинку скамейки и вытянувшего скрещенные ноги.

— Ты сначала свои покажи, а я посмотрю, стоит ли с тобой меняться, — наигранно холодно ответил Мишенин, безразлично глядя мимо Юшмана.

— Ладно, — охотно согласился тот.

— Ну-ка, пацаны, двиньтесь! — скомандовал нам Лёха.

Юшман уселся рядом и не спеша начал перелистывать страницы альбома, всячески нахваливая свои марки. Он даже не подозревал, насколько мы все были наэлектризованы. Если бы Юшман случайно прикоснулся к кому-нибудь из нас, то его ударило бы током, как из трансформаторной будки, на которой нарисованы череп и кости. От напряжения я почувствовал, что мои ноги стали, как ватные, а кисти рук похолодели. В желудке засосало так, что закружилась голова. Мне стало страшно от мысли, что сейчас, когда все побегут, мне не хватит сил подняться со скамейки, и Юшман, впившись мне в горло костлявой рукой, гортанно закричит: “Вот кто мне за всё заплатит!”

Лёха нервно и шумно дышал ртом, наполняясь решимостью, и смотрел в альбом неподвижным стеклянным взглядом. Юшман, ни о чём не подозревая, продолжал ломать комедию:

— Вот эти марки у меня самые классные. Ни на что их не поменяю.

— А ну-ка, дай посмотреть, — не своим, дрожащим от волнения голосом сказал Мишенин.

Лёха наклонил голову ближе к маркам, а сам тем временем незаметно просунул левую ладонь между рук Юшмана, ухватившись ею за низ альбома, а правой ладонью за верх, а потом с силой рванул альбом на себя. Мы сорвались со скамейки, будто стайка реактивных воробьёв с куста. Сначала Юшман бросился за нами рефлекторно, как человек, выронивший из рук чашку и пытающийся её поймать на лету. Но, сделав несколько шагов, он почувствовал, что ноги больше не повинуются ему. Шокированный мозг оказался в ступоре, отказываясь воспринимать происходящее. А потом сзади раздался такой леденящий душу вопль, что мне стало жутко, как будто мы кого-то нечаянно убили.

Добежав до угла дома, я в последний раз оглянулся. Юшман сидел на скамейке, закрыв лицо ладонями, и в истерике дрыгал ногами в воздухе. К нему подошла женщина в голубом платье без рукавов и в белой панаме. Она энергично трясла Юшмана за плечо и о чём-то спрашивала звонким, гулким голосом.

Мы были так взбудоражены случившимся, что забыли об уговоре вернуть альбом. Ноги сами несли нас через дворы к 38-й школе. Потом мы ещё долго кружили по дубовой посадке и, выбравшись из неё, присели на лавку возле баскетбольной площадки. Лёха открыл альбом и, закричав, как сумасшедший: “А-а-а!!!” — вырвал тонкий прокладочный лист, вклеенный между картонными листами. И сразу пять пар рук стали быстро вытаскивать из прозрачных кармашков марки, кому какие достанутся. Я подумал, что если бы Юшман мог это видеть, то курчавые волосы на его голове распрямились бы, а потом у него случился бы разрыв сердца.

Когда мы опустошили весь альбом, Лёха разорвал его и выбросил в посадку. После дележа на нас напало уныние. Домой возвращаться страшно и стыдно. Юшман там, наверное, уже поднял всех на ноги. Мне казалось, что по дворам разъезжают милицейские “бобики” и разыскивают нас. Покружив ещё немного по дворам микрорайона, мы снова вернулись к 38-й школе попить воды и наткнулись на Сашу-Толю.

Это были два высоких и худощавых брата близнеца — светловолосые, голубоглазые и длинноногие. С чьей-то лёгкой руки, чтобы не путаться, кто из них Саша, а кто — Толя, к ним стали обращаться: “Саша-Толя”. Но мы легко научились различать близнецов. У Саши лицо было вытянутое, бледное и “холодное”, а у Толи — круглое, розовое и “тёплое”. Саша редко улыбался и имел надменный вид, а Толя сиял, как начищенный самовар. Нам всем больше нравился Толя, но командовал в их тандеме Саша.

Семья Андрусенко, в которой, помимо Саши и Толи, появился их младший брат Максим, была единственной многодетной в нашем большом доме, рассчитанном на тысячу человек. И она же была одной из самых нуждающихся. Саша с Толей на год старше меня и всегда бегали вместе, как две собачонки с высунутыми языками. В сезон они обносили окрестные фруктовые деревья.

Сделав зверское лицо и оскалив зубы, Саша набросился на нас. Схватив двух первых попавшихся за руки, он грозно зарычал:

— Хватай их, Толян!

Но Толя стоял за спиной брата, засунув руки в карманы, и добродушно улыбался. Мы рассмеялись в ответ и расслабились.

— Вам смешно?! — продолжал бушевать Саша. — А вы знаете, что Юшман целый отряд нанял вас искать?!

— Как нанял? — удивился я.

Саша вынул из нагрудного кармана рубашки две синие пятирублёвки:

— Это наш с Толяном гонорар.

Сначала меня поразили такие финансовые возможности попрошайки Юшмана, но вскоре я всё понял. Каждый день, уходя на работу, мать оставляла ему рубль на двоих с сестрой. Он эти деньги копил, а кормился тем, что выпрашивал у нас, — то мороженое, то лепёшку, то стакан сока. И вот теперь на наши деньги Юшман нанял охотников за головами.

— И что ему нужно? — снова спросил я.

— Он сказал, чтобы мы вам накостыляли и привели к нему, — ответил Саша.

— Так вы что?! Против нас, что ли?! — набычился коротышка Лёха, изобразив подобие бойцовской стойки.

— Пацаны, давайте договоримся! Вам повезло, что вы на нас с Толяном нарвались, а не на Димона с Рымычем! — продуманный Саша извлёк из кармана мильницу, в которой оказался кусок мамкиной туши. — Давайте мы вам нарисуем фингалы и приведём во двор, а дальше делайте с Юшманом, что хотите.

Во дворе мы появились, как после пыток в гестапо. Наши лица, руки и ноги украшали фальшивые синяки. Во дворе было тихо и почти безлюдно. Юшман сидел за столом в беседке, которую превратил в подобие Ставки верховного главнокомандующего. Иногда к нему подбегали запыхавшиеся посыльные, дошколята в шортиках и майках с панамками из газеты на головах, и докладывали о ходе поисковых работ.

Заметив нас, Юшман вышел навстречу. Мне казалось, что сейчас он посмотрит на нас глазами, полными укоризны, сокрушённо вздохнёт и скажет: “Эх вы!” Но когда мы приблизились друг к другу вплотную, Юшман приосанился и по его губам скользнула, извиваясь змеей, гаденькая улыбка, а в глазах зажглись огоньки злого торжества.

Коснувшись правой рукой бедра, как ковбой кобуры, я сжал пальцы в кулак и, опустив глаза, готовился молниеносно заехать Юшману в челюсть. Но в этот момент к нему подскочил Костик и врзал кулаком по кумполу, а следом набросился Лёха и надавал Евтухову болезненных подзатыльников. Это было второе за день потрясение для нашего Шейлока, с которого сразу

слетела фельдмаршальская спесь. Он растерянно смотрел на Сашу с Толей, а те ржали, как два сытых жеребца, запрокинув головы и скаля крупные белые зубы. И тут нас всех накрыл оглушительный, будто кричащий в рупор гаишника, голос:

— Вы совсем ду-р-р-р-аки?! Совсем ду-р-р-р-аки?!!

Мезис набросился на Лёху и Костика, потешно размахивая короткими и толстыми руками и ногами. Он словно хотел ударить по невидимому мячу, но каждый раз промахивался, и его от этого болтало, как моряка во время качки. Растолкав нападавших и закрыв Юшмана собой, Миша с огненным негодованием обрушился на всех нас:

— Знаете, как называют таких, как вы?! Ва-р-р-р-ва-р-р-ры!!!

На следующий день я нашёл Юшмана в той же беседке, бывшей недавно его командным пунктом. Он сидел мрачный и сильно задумавшийся. Мне казалось, что он всё глубже погружался в депрессию, как Золушка, у которой карета превратилась в тыкву. Я положил перед ним на стол свою долю его марок.

— Зачем они мне? — нервно, на грани новой истерики, спросил Евтухов.

Я пообещал, что остальные тоже вернут ему всё.

— Дураки вы все! — взвинченно закричал Юшман, вставая, и слёзы брызнули из глаз. — Я больше никогда не буду собирать марки!

Тридцать лет спустя в моей жизни многое изменилось. Я жил в другом месте и потерял связь со своими старыми друзьями. Однажды мама рассказала мне, что видела Мишу Мезиса. Он стал появляться возле нашего дома, рядом с которым находился “Карман”. Это злачное место с утра притягивало к себе спившихся и опустившихся людей, которые приставали к прохожим и кланчили мелочь. Потом они выпивали несколько стаканчиков дешёвого пива и задавали храпака на скамейках в окрестных дворах.

Мама мне рассказала, что родители Миши умерли, а квартиру они с сестрой, вышедшей замуж, разменяли на две отдельные. Теперь Мезис жил недалеко от нас, и однажды, возвращаясь домой тёмным и душным августовским вечером, я увидел его на скамейке во дворе соседнего дома. Он лежал на животе, уткнувшись лицом в согнутую в локте руку, и казалось, что он не спит, а плачет. Волосы у него на затылке щетинились, как иголки у ежа.

Воспоминания с такой силой нахлынули на меня, что я в них погрузился, как в сон... Я вижу, что разбитая, как после бомбёжки, дорога, рытвины которой жители залатали белым строительным кирпичом, на моих глазах зарастает ровным и гладким асфальтом. А в уши вливается, пробирая до самого естества, звонкий и чистый хрустальный звук: “Слышу голос из прекрасного далёка...”

Я чувствую, что лежу на диване под одеялом, и затылок немного покалывает от слежавшейся жёсткой подушки. И тут, как петушинный крик на рассвете, пронзительный и мощный голос тревожит меня: “И-р-р-рина! Наташа! Вставайте! В школу по-р-р-р-а!!!”

Я открываю глаза и вижу, что мы сидим с Мишей за столом в его комнате и рассматриваем альбом с марками. Мне кажется, что вот-вот под палящим светом настольной лампы эта нарисованная божья коровка в сочной траве оживёт, зашевелит лапками, выберется из прозрачного кармашка классера, а потом раскроет крылышки и улетит.

Я слышу, как в соседней комнате штекер воткнули в розетку и серебряный голос из телевизора запел: “Я клянусь, что стану чище и добрее...” И тут же у нас за спиной раздаётся громкий мужской голос: “Михаил! Иди фильм смотреть!” Я оборачиваюсь, и меня ослепляет синяя вспышка. Предо мной раскрытое окно первого этажа, из которого через светящиеся в темноте шторы по всему двору разносится лающий голос диктора, как у собаки, рвущейся с цепи: “Президент принял трудное и непростое решение! Со следующего года на территории Российской Федерации пенсионный возраст повышается...”

Мезис замотал головой и что-то зарычал в пьяном бреду. Мне послышалось, что он сказал: “Не тр-р-рогайте меня!”

ЕВГЕНИЙ ХАРИТОНОВ



ДЕТСКИЙ СМЕХ

РАССКАЗ

Где-то в глубине России, спрятанная от чужих глаз за разросшимися лесами и горбатыми холмами, доживала свой век небольшая деревенька. Здесь осталось в целости порядка пяти домов, построенных ещё в прошлом веке. Да и то огонёк в окнах светился только в двух из них, как неугасимая, но давно изжившая себя эпоха. В одном доме проживал Иван Петрович, работавший когда-то лесником, но те времена давно уже остались в прошлом. Перебраться в город он в своё время не решился. Так и остался здесь, часто успокаивая себя тем, что, кроме этих лесов, которые он знал, как свои пять пальцев, больше у него никого нет. Привык, мол, к этому забытому Богом месту.

Любовь Андреевна, жившая с ним по соседству, в прошлом была почтальоном. После того как почтовое отделение закрылось и у неё появилась уйма свободного времени, она с большим удовольствием занялась своим хозяйством. Сын когда-то звал её переехать жить к нему, в квартиру на окраине города. Однако Любовь Андреевна не согласилась, так как не хотела создавать его семье неудобства, понимая, что молодым надо строить своё тёплое гнёздышко. Тем более что невестка в тот момент была в положении, и её присутствие лишь усложнило бы им жизнь, считала она.

Любовь Андреевна достала из печи румяные пирожки с яблоками и аккуратно положила их в миску, накрыв полотенцем. Так, холодец застыл,

ХАРИТОНОВ Евгений Николаевич родился в 1985 году в Белгороде. Окончил Белгородский юридический институт МВД России им. И. Д. Путилина. Член Союза белгородских литераторов. Лауреат всероссийских и международных литературных конкурсов. Публиковался в журналах "Краснодар литературный", "Берега", "Александръ", "Северо-Муйские огни", "Крым", "Белая скала", "Бийский вестник", "Звезда Востока", "Пять стихий", "Звонница", "Наша молодежь" и других. Живёт в Белгороде.

картошку поставить варить ближе к одиннадцати вечера, чтобы была горячая, сейчас надо приготовить мясо. Открыв холодильник, достала оттуда упитанную тушку петуха и вполголоса произнесла, обращаясь к ней:

— Ну что, Семёныч, вот и настал твой час! Надеюсь, на вкус ты будешь лучше, чем твои вокальные данные.

На самом деле ей было очень жаль Семёныча. Петух был хорош и очень красив, по двору выхаживал, как хозяин, да и пел он звонко. Но что за праздничный стол без мяса? А холодец — это так, вода да кости.

Посолив, поперчив тушку и обмазав майонезом, хозяйка оставила её пропитываться на столе в кастрюле, а сама подошла к окну. Метель завывала, снега намело с самого утра так много, что скамейку под окном почти не было видно. Любовь Андреевна смотрела вдаль. Где-то там, расположившийся за десятки километров от её дома, находился городок, в котором жил её сын с семьёй. Она вспомнила о своей внучке Катеньке, и улыбка появилась на её лице.

— И всё-таки что-то я забыла, — в очередной раз повторила Любовь Андреевна про себя, глядя на мерцающий фонарь за окном, словно подмигивающий ей уже целую неделю. — Гирлянды! — внезапно воскликнула она. — Я же забыла нарядить дом и поставить ёлку! Новый год на носу! Катенька приедёт! Как же я без ёлочки?

Любовь Андреевна быстро накинула на себя первую попавшуюся под руки кофту, повязала на шею шерстяной шарф, надела шапку и фуфайку, вскочила в валенки и, отворив двери, выбежала на улицу. Метель ликовала, но женщина, не обращая на неё внимания, шагала по заснеженной тропе к соседнему дому, где ласково горел свет во всех окнах.

— Петрович, открывай! — крикнула Любовь Андреевна, стуча кулаками в дверь соседа.

Дверь открылась, и на пороге показался небритый сосед в тапочках, спортивных штанах и тельняшке.

— Люба, если ты пришла вместо Снегурочки, то признаюсь сразу, стихок я не выучил. А вот песню спеть — это легко! — сказал сосед, пропуская соседку к себе в дом.

— Петрович, мне твоих песен по горло хватает каждый вечер. Ты смотри, мой петух тоже петь во все горло любил, лежит теперь на кухне в майонезе!

Иван Петрович от неожиданности икнул и удивлённым взглядом посмотрел на соседку.

— Петрович, дорогой, выручай! Я совсем забегалась и забыла дома ёлку поставить, представляешь! Ну, как же я без ёлочки? Ведь дети с внучкой приедут! Вань, сходи сруби, а? — умоляюще произнесла женщина.

— Люб, да ты чё? Темень-то какая в лесу. К тому же я с обеда отмечать начал. Да и снега там по пояс навалило. Я же не пройду. Если, конечно, только ты не приехала ко мне на упряжке с оленями, тогда другой разговор, — ответил Петрович, растекаясь в хмельной улыбке.

Любовь Андреевна прислонилась спиной к стене в коридоре.

— Да как же я? Новый год... Катюша... Ёлочка, — тихо прошептала она, понимая, что своей забывчивостью теперь испортит весь праздник внучке, которую она любила больше всего на свете. Не проходило и дня, чтобы не доставала из шкафа Катины рисунки и не пересматривала их.

— Люб, ну ты чего? Да я... Да ты это, ты не волнуйся. Я уже, слышишь. Сейчас принесу я тебе ёлку, не переживай! Самую лучшую принесу! — трезвея, произнёс сосед. И вдруг заулыбался: — Люб, а помнишь, мы как-то с тобой на рыбалку поехали, ты тогда ещё об меня удочку сломала. Я неделю разогнуться не мог.

Любовь Андреевна усмехнулась горько:

— Петрович, ту рыбалку я запомню на всю жизнь! Особенно когда твоя старая “копейка” не завелась, и мы десять километров топали до дома пешком. До сих пор не понимаю, зачем ты мне дал нести эту удочку из орешника, который у нас на каждом шагу растёт.

— Ты не понимаешь, эта удочка была счастливая. Я ею столько сазанов выловил! Нельзя её было оставлять.

— Вот счастье тебе по горбу и привалило за этот сказочный поход, — немного повеселев от воспоминаний, добавила Любовь Андреевна.

Иван Петрович, надев заячий тулуп и шапку-ушанку, выскочил из дома. Через несколько минут он возвратился с топором в руке и детскими санками, на которых решил привезти срубленное дерево. Соседка бросила взгляд на санки и вспомнила, как однажды на них Петрович катал Катеньку с небольшой горки, недалеко от леса. Как внучка каждый раз смеялась, когда санки переворачивались, и она падала прямо в снег. Казалось, что ей это нравилось больше, чем просто кататься.

— Так, Люб, я в лес за ёлкой и если через час не вернусь, тогда всех своих гусей завещаю тебе!

— Петрович, так у тебя же нет гусей!

— То есть то, что я могу не вернуться, тебя не смутило? — обиженным голосом произнёс Петрович.

Любовь Андреевна, понимая неловкость ситуации, ненавязчиво взяла соседа за руку и, глядя в его голубые, добрые глаза, произнесла как можно ласковее:

— Ванечка, что я тут буду делать одна без тебя? Ты же мой помощник! Возвращайся скорее, а я пока пойду жарить твоего коллегу по пению!

И с этими словами Любовь Андреевна вышла от соседа и направилась к своему дому, где на кухне в кастрюле ждал её Семёныч.

Мясо жарилось, проникая ароматным запахом в каждый уголок дома, а хозяйка в это время достала из тумбочки Катины новогодние рисунки и решила повесить их на стене над диваном, чтобы наполнить свой дом воспоминаниями о прошлых встречах с внучкой. Мгновенно в ушах зазвучал Катин смех. На одном рисунке детская рука изобразила бабушку с ведром на голове.

— Баба, ты снехавик! — сказала тогда трёхлетняя Катенька, показывая свой рисунок, который она рисовала целое утро.

И все засмеялись, а внучка, подойдя к бабушке и обняв её за шею, тихонько прошептала на ушко:

— Я это поналоску, ты же не обидеся?

Любовь Андреевна крепко-крепко прижала к себе девочку и тихонечко произнесла ей в ответ:

— Мне очень нравится быть твоим снеговиком!

Последний рисунок был прикреплен к стене булавкой, и в это же время в дверь кто-то неожиданно постучал.

— Катенька! Приехали! — восторженно воскликнула Любовь Андреевна, посмотрев на часы, где стрелки показывали девять вечера. И, подбежав к двери, с радостным волнением отворила дверь. На пороге она увидела огромную ёлку, а где-то за ней зазвучал напевающий мужской голос:

*Маленькой ёлочке холодно зимой,
Из лесу ёлочку взяли мы домой!*

— Как и обещал, самую лучшую выбрал! — произнёс Иван Петрович, показавшись из-за пушистых веток с восторженной улыбкой.

Вскоре Петрович установил ёлку в треногу и присел на диван. Осмотрел её сверху донизу своим опытным взглядом лесничего, произнёс:

— Удачный трофей! В этом году красивее, да, Люб?

Любовь Андреевна, доставая из шкафа коробку с новогодними игрушками, посмотрела на детские рисунки, висевшие на стене за спиной Петровича, и, взглянув на зелёную хвою, с доброй улыбкой произнесла:

— Катеньке понравится!

Петрович надел на макушку ёлки красную звезду, повесил на пышные лапы все новогодние игрушки из коробки и обернул зелёную красавицу гирляндой. Вставил вилку в розетку, и ёлочка засияла. Любовь Андреевна за это время уже расставила на столе посуду и начала подносить приготовленные

блюда. В воздухе витал запах жареного мяса, варёного картофеля и квашеной капусты. В мисках сиял холодец. Благоухали домашние соленья, а в графине теплился яблочный компот. Главным украшением праздничного меню были конфеты “Птичье молоко”, которые заботливая бабушка каждый год сама готовила для любимой внучки и всегда размещала их по центру стола.

— Так, — сказал Петрович, обводя взглядом угощения и не находя среди всего этого лакомства самого ценного, без чего он не ощущал праздничной эйфории. — А где же “компот для взрослых”?

— Всему своё время, — ответила хозяйка из соседней комнаты, надевая платье в горошек, которое она безумно любила, так как видела себя в нём гораздо моложе.

— Снегурочка, ты чего? Уже полдвенадцатого, и пора бы начать репетировать новогоднюю сценку, — произнёс сосед напыженным голосом.

— Рано, Ваня, рано! Вот сейчас приедет Катенька с родителями, сядем все вместе и отпразднуем.

— Ладно, баба Люба! Тогда я пошёл к себе наряжаться Дедом Морозом, — пробормотал сосед. — Праздничное настроение надо добывать самому.

Любовь Андреевна ещё раз проверила холодильник и, убедившись, что выставила всё угощение, приготовленное ею, включила телевизор и присела за праздничный стол. В телевизоре звучали новогодние песни, артисты поздравляли друг друга с наступающим Новым годом, и кто-то из ведущих радостно произнёс:

— Поднимите свои бокалы, загадайте самое сокровенное желание, и оно обязательно сбудется!

Любовь Андреевна налила себе в стакан компот, подняла его по направлению к ёлочке и закрыла глаза. В телевизоре забили куранты, предвещая наступление праздника.

— Я очень хочу, чтобы сейчас в дверь постучали и на пороге оказались мои самые любимые, самые дорогие — сыночек с невесткой и Катенька! — произнесла она про себя. — Хочу снова услышать её смех...

Не открывая глаз, она сделала глоток яблочного компота. И в то же мгновение услышала за окном чьи-то шаги по хрустящему снегу. Она, не дожидаясь стука в дверь, подбежала к ней. Шаги за дверью слышались всё ближе и ближе. Наконец кто-то поднялся на крыльцо и, точно пританцовывая, стал оббивать обувь. В этот момент Любовь Андреевна снова закрыла глаза в ожидании исполнения загаданного желания и, нащупав дверную ручку, толкнула от себя дверь. В дом залетел зимний воздух, такой лёгкий и свежий, что женщины почувствовали прилив какой-то неописуемой энергии, проникшей в её тело. Она осторожно приоткрыла глаза и увидела на пороге удивлённого соседа, который замер, наблюдая за происходящим.

— Люб, ты чего? — прошептал Петрович, озираясь по сторонам.

— Да то я просто решила вдохнуть зимнюю прохладу, Ванечка. Ты не стой, проходи за стол. Новый год же, — сказала Любовь Андреевна, с печалью осознавая, что желание, которое она загадала, не сбылось.

Они уселись за стол. Петрович принёс с собой бутылку домашней настойки и предложил её отведать соседке.

— Нет, Ванечка, я не буду. Что-то в груди весь день колет. Я лучше компотика. А ты себе наливай, не стесняйся, — промолвила она, не отводя взгляд от стены, где висели рисунки внучки.

Петрович освоил две рюмки, отведал холодец с картофелем и мясом, наслаждаясь приятной теплотой в груди от фирменного напитка.

— Опять не приехали твои, — промолвил он, ловя взглядом снежные хлопья, кружащие за окном.

— Угу, — вздохнула Любовь Андреевна.

— Сколько ты их уже не видела?

— Семь лет, — пытаясь сдержать эмоции, ответила женщина тихим голосом.

— Это Катюшке уже сколько сейчас, лет девять?

— Десять, Ванюша. Уже десять. В феврале будет одиннадцать. Видишь того снеговика на стене, с ведром на голове? Это Катя меня нарисовала в последний день перед отъездом, больше они не приезжали.

— Может, случилось чего? — поинтересовался Петрович, наливая себе очередную порцию горячительного.

— Сплюнь три раза и постучи по дереву, — резко бросила Любовь Андреевна, — всё у них хорошо! Продащица из магазина, в который мы ездим за продуктами, живёт в городе и говорит, что видит их иногда. Я каждый раз ей даю письмо и прошу передать им при встрече. Говорит, что передаёт. Сынок берёт. Но ещё ни разу ничего не передавал в ответ. Ну да ладно, главное, что у них всё хорошо.

— Как же так можно, а? Люб? — возмущаясь, произнёс сосед. — Живой же человек, мать всё-таки и бабушка его дочери. А он... Хорошо, что у меня никого нет, а то, чувствую, тоже хрен бы и меня кто навещал. Вот тебе и спасибочки, что родила!

— Вань, да перестань! Может, не на чем приехать, — попыталась защитить сына Любовь Андреевна.

— Ага, приехать не на чем. Электрички, что ли, все в стране на металлолом сдали? А может, и чернила больше не производят, раз он за семь лет матери даже написать не смог? Скотина он просто!

— Иван, поздно уже. Устала я за сегодня. Ты извини, сил нет. Прилечь хочу.

— Ладно, пошёл тогда я к себе. А к твоему сволочонку съездим как-нибудь. Хочу в глаза его сам посмотреть. Это ж как же так можно?!

— Ваня!

— Ухожу, ухожу, — пробубнил сосед, обуваясь, — до завтра, Люб! Ты, главное, не бери близко к сердцу, всё наладится.

Петрович ушёл. Любовь Андреевна убрала со стола, помыла всю посуду. Подошла к дивану и сняла со стены Катин рисунок, где она изобразила бабушку снеговиком. Потушила в доме свет, оставив включённой гирлянду на ёлочке, и легла на кровать, положив рисунок рядом с собой. Она долго не могла уснуть, вспоминая, как рос в этом доме её сын. Как она после работы, уставшая и измотанная, делала с ним уроки и играла в прятки. Как однажды с трудом выходила его от гриппа, который подкосил и её саму. Как отправляла его на вокзале в армию и ещё долго смотрела вслед убегающему поезду. Как целовала его на пороге дома по возвращении, возмужавшего и подтянутого. Как испытала неописуемое чувство радости, когда получилось купить ему квартиру в городе на сбережения, которые собирала всю свою жизнь. Как он впервые познакомил её с невесткой. Их свадьбу, скромную, но очень тёплую. Как узнала, что она станет бабушкой, и как волновалась, впервые взяв на руки свою крошечную внучку, завернутую в белоснежное одеяльце. А после были игры и детский смех. Этот ни с чем не сравнимый детский смех...

СЕРГЕЙ КАРА-МУРЗА

БОЯЗНЬ...

Британский академик М. Смит написал новую книгу, которую назвал “Боязнь России: как её может излечить история” [1]. Известно, как на Западе рассматривали Восток: конфликты с Византией, со всей сферой Православия непрерывные войны и далее – с Россией. Мы должны понять исток и некоторые парадигмы Запада (вместе с США) и проблемы, образы и основы России. На Западе была дисциплина “Американские исследования русского характера”, и есть у них учёные, занятые этой проблематикой. И “холодная война” подстегнула изучение русских.

У нас есть короткая рецензия П. Робинсона на книгу М. Смита. Приведём из неё несколько цитат:

“Смит описывает эту тревогу как комбинацию страха, презрения и неуважения. Иногда западники боятся России, в иные времена они просто смотрят на неё с презрением (“бензозаправка, маскирующаяся под страну”), а в иные предпочитают её игнорировать. Тревога приобретает форму цикла: страх переходит в презрение, затем неуважение, затем снова возвращение к страху. И так “идёт и идёт” в соответствии с обстоятельствами. И всё же, говорит Смит, “боязнь России исторически является глубоко укоренившейся чертой международных отношений” и оказывает крайне отрицательное воздействие на то, как западные страны относятся к России, что создаёт напряжённость, которой не должно существовать.

В самом центре боязни России, говорит Смит, лежит крайне ошибочное понимание истории России. Смит называет это “чёрной легендой”... “Чёрная легенда” состоит в “представлении о том, что века репрессий создали покорное население, навеки обречённое быть обманутым тираном”. Можно сказать, репрессивное правительство встроено в ДНК России. Близки к этому и другие идеи: что история России намного более жестока, чем у других государств, что Россия наследственно экспансионистская страна, что Россия уникально агрессивна и склонна к войнам и так далее.

Более глубокая проблема связана с тем, что я обсуждал в другом недавнем обзоре книги – вопрос о том, существует ли на самом деле то, что кто-то изучает. Связывая страх, презрение и неуважение, Смит представляет более сложную модель западного отношения к России, чем обычно даёт так называемая “русофобия”. Но стоит задуматься, действительно ли такие вещи, как страх, презрение, неуважение могут быть по праву скомбинированы как единое явление...

“Боязнь России...” очень нужная книга. Она содержит дерзкий и крайне необходимый анализ русской истории, который даёт возможность показать слишком упрощённый характер большей части западного понимания России” [2].

Картина “боязни России” в мире Запада кажется мне и моим друзьям фантастичной. Об этой проблеме раньше знали и в СССР, и в России, и друзья в США, они понимали, что это неаявная манипуляция. Верят в “боязнь России” очень мало людей, в этом они идут за невежеством. Это всё похоже на утверждение, что надо было всё-таки сжечь “сейлемских ведьм” в Массачусетсе (позорный факт истории США). “Боязнь России” – это манипуляция сознанием и грязная политика. Хейзинга говорил, что учение о государстве, которое манипулирует массами, – от Макиавелли и Гоббса до теоретиков нацизма – “открытая рана на теле нашей культуры, через которую входит разрушение”. Но нам-то нельзя верить этим жуликам!

Макиавелли высказал вещь, важную непосредственно для нашей темы: слова политиков всегда нуждаются в истолковании. Он заострил этот вопрос до предела, признавшись в одном письме от 17 мая 1521 года: “Долгое время не говорил я того, во что верю, никогда не верю я и в то, что говорю, и если иногда случается так, что я и в самом деле говорю правду, я окутываю её такой ложью, что её трудно обнаружить”.

В предыдущей истории русский человек не сталкивался с Макиавелли. Власть, конечно, говорила неправду, но это была неправда ритуала, своего рода этикет. Она не деформировала сознание людей и здравого смысла не лишала. В годы перестройки люди столкнулись с незнакомой им ложью – такой, что не распознавалась и в то же время разрушало ориентиры. Это была ложь блуждающих огоньков. Научиться противостоять такой лжи люди быстро не могли (хотя во многих фундаментальных вопросах устояли).

Академик М. Смит говорит: “Боязнь России исторически является глубоко укоренившейся чертой международных отношений”. Как и кем доказано, что эта боязнь “глубоко укоренилась в международных отношениях” с Россией? Это нелепость, почитайте Макиавелли и Гоббса – ведь они создавали парадигмы для организации невежества масс, а не политиков. Похоже, что не получится у М. Смита “дерзкого анализа русской истории”, и надежды, что Запад понял бы Россию, не сбудутся.

Едва ли не главным чувством, которое шире всего эксплуатируется в манипуляциях сознанием, является страх. Есть даже такая формула: “Общество, подверженное влиянию неадекватного страха, утрачивает общий разум”. Поскольку страх – фундаментальный фактор, определяющий поведение человека, он всегда используется как инструмент управления.

Уточним понятия. Есть страх истинный, отвечающий на реальную опасность. Этот страх есть выражение инстинкта самосохранения. Он сигнализирует об опасности, и на основании сигнала делается выбор наиболее целесообразного поведения (бегство, защита, нападение и т. д.). Реальный страх может быть чрезмерным, тогда он вредит – в той мере, в какой он искажает опасность. Но есть страх иллюзорный, “невротический”, который не сигнализирует о реальной опасности, а создаётся в воображении, страх в мире символов, “виртуальной реальности”. Развитие такого страха нецелесообразно, а то и губительно.

Различение реального и невротического страха давно волновало философов. Иллюзорный страх даже считался феноменом не человека, а Природы, и уже у Плутарха был назван паническим (Пан – олицетворение природы). Шопенгауэр пишет, что “панический страх не сознаёт своих причин, в крайнем случае, за причину страха он выдаёт сам страх”. Он приводит слова Роджера Бэкона: “Природа вложила чувство боязни и страха во всё живущее для сохранения жизни и её сущности, для избежания и устранения всего опасного. Однако природа не смогла соблюсти должной меры: к спасительной боязни она всегда примешивает боязнь напрасную и излишнюю”.

Насколько западная “культура страха” необычна для нас, видно даже сегодня. Сейчас, когда мы познаём Запад, нам открывается картина человека поистине несчастного.

Не случайно тема страха с таким успехом обыгрывается в искусстве.

Первое описанное в литературе явление массового страха – охватившее население Западной Европы убеждение в скором приходе Антихриста и наступлении Страшного суда на исходе первого тысячелетия. Папа Сильвестр и император Оттон III встретили новый 1000-й год в Риме в ожидании конца света. В полночь конец света не наступил, и ужас сменился бурным ликованием. Но волна коллективного страха вновь захлестнула Европу: все решили,

что кара Господня состоится в 1033 году, через тысячу лет после распятия Христа. Тема Страшного суда преобладала в мистических учениях XI–XII веков.

В XIV веке Европу охватила новая волна страха – страшная Столетняя война, обеднение людей, эпидемия чумы 1348–1350 годов, от которой полностью вымирали целые провинции. Тяжёлые эпидемии следовали одна за другой вплоть до XVII века. В XV веке “западный страх” достиг своего апогея – это видно уже по тому, что в изобразительном искусстве центральное место занимают смерть и дьявол. Представление о них утрачивает связь с реальностью и становится особым продуктом ума и чувства, продуктом культуры. В язык входят связанные со смертью слова, для которых даже нет аналогов в русском языке.

Воздействие темы смерти и страданий на сознание людей изменилось благодаря книгопечатанию и гравюрам. Печатный станок сделал гравюру доступной всем жителям Европы, и изображение Пляски смерти пришло почти в каждый дом; эти картины гениально выражали страх перед смертью и адскими муками. На этом фоне и произошла Реформация – разрыв “протестантов” с Римской католической церковью (“вавилонской блудницей”).

Культура России корнями уходит в Православие. Но расхождение большой христианской цивилизации началось раньше – разделением в IV веке на Западную и Восточную Римские империи. Россия считала себя наследницей Византийской (Восточной) империи. Но с VII века Западная (католическая) церковь стала отходить от Православия. Так возникла ненависть к Восточному христианству. В 1054 году Римский Папа Лев IX и Константинопольский Патриарх Кируларий предали друг друга анафеме – произошёл формальный раскол (схизма). Анафема – это не размолвка двух королей. В Средние века она проводила духовную границу (эта анафема была “предана забвению” только в 1965 году Папой и Константинопольским Патриархом).

Так возникла и развивалась русофобия. Остановили этот напор Александр Невский на севере и монголы в Венгрии в XIII веке. Важнейшим для русской истории стал IV Крестовый поход в 1204 году против Византии, христианского государства.

Судьба Византии была очень странна – накал ненависти к ней Запада понять трудно. Хроники аббатов сообщают, чем кончился в 1204 год, – IV Крестовый поход против Византии, после того, как штурмом был взят и сожжён Царьград: “Наконец рыцари и солдаты дали выход традиционной ненависти латинского мира к грекам. Грабежи, убийства и изнасилования охватили город. Невозвратны были утраты сокровищ искусства, накопленных в стенах Византии за её почти тысячулетнюю историю. Целиком сжигались библиотеки, из церковных предметов были выломаны драгоценные камни, переплавлено в слитки золото и серебро и разбит мрамор.

Воины, начавшие свой поход как крестоносцы, не уважили религию: монахи были изнасилованы в монастырях; в соборе Святой Софии пьяные солдаты разбили молотками и топорами алтарь и серебряный иконостас; проститутка уселась на трон Патриарха и распевала французские песни, вино пили из священных сосудов” [Всемирная история, т. XIII].

Венецианцы увезли бронзовую квадригу, которую император Константин установил в своей новой столице. Сегодня она украшает вход в собор Св. Марка в Венеции. Хроники отмечают, что когда в 1187 году сарацины захватили Иерусалим, они не тронули христианских храмов и разрешили христианам выйти из города со всем их имуществом.

Всё это знал Александр Невский – многие православные монахи, свидетели дел крестоносцев, ушли на Русь.

В связи с границами, особенно в зонах межцивилизационного контакта, в некоторых случаях возникали устойчивые фобии – страх перед иными народами, якобы представляющими угрозу целостности “своего” пространства. К числу таких укоренённых страхов относится и русофобия Западной Европы, иррациональное представление русских как “варваров на пороге”. Оно сформировалось как большой идеологический миф четыре с лишним века назад, когда складывалось ощущение восточной границы Запада. А. Филюшкин пишет: “Время появления этого пропагандистского мифа в европейской мысли эпохи Возрождения фиксируется очень чётко: середина – вторая половина XVI в. Это время первой войны России и Европы, получившей в историографии название Ливонской войны (1558–1583)... Как мировые войны в конеч-

ном итоге очерчивали границы мира, так и Ливонская война окончательно обозначила для западного человека восточные пределы Европы. Теперь последняя кончалась за рекой Нарвой и Псковским озером” [3].

К середине XVI века Россия уже воспринималась на Западе как большое национальное государство, представляющее угрозу государствам Европы. Тогда возникла целая программа западного национализма в отношении России, которую и следует назвать термином русофобия. С тех пор она развивалась и дополнялась, но главная доктрина осталась той же самой: “русские – это варвары на пороге”. Эта развитая и сложная идеологическая конструкция могла сложиться лишь в рамках зрелого национального сознания в отношении зрелого противника. В Средние века такого концептуального оформления столкновения между народами не получали.

А. Филюшкин пишет: “К изображению русской “восточной угрозы” были привлечены все известные авторам эпохи Возрождения топосы. От библейских, эсхатологических, антихристовых до турецкой агрессии, мирового противостояния христианства и басурманства (под которым понимался не только ислам, но и всё варварское, то есть не католическое и не протестантское). Образ России в сочинениях эпохи Возрождения как бы явился квинтэссенцией всех негативных дискурсов, накопленных за столетия” [3].

Ливония была объявлена “восточным бастионом” цивилизации, русские – дьявольскими силами, наползающими с Востока. Был выдвинут лозунг “Священной войны” Европы против России. Утверждалось, что русские – это легендарный библейский народ Мосох, с нашествием которого связывались предсказания о конце света. Писали: “Нечему удивляться, так как сам народ дик. Ведь моски названы от Месха, что означает: люди, натягивающие луки”. Миф о происхождении славян от Мосоха культивировался даже в конце XVIII века в Императорской Академии наук, где большое влияние имели немецкие историки.

М. В. Ломоносов в осторожной форме оспаривал применение библейского мифа к истории России: “Мосоха, внука Ноева, прародителем славянского народа ни положить, ни отрещи не нахожу основания”. Вторая тема – “азиатская” природа русских. Иван Грозный изображался в платье турецкого султана, при изображении зверств московитов использовались те же эпитеты и метафоры, как и при описании турок, их и рисовали одинаково [3].

Вольтер, желавший написать историю Петра Великого и получивший этот заказ от Елизаветы, писал: “Московиты были менее цивилизованы, чем обитатели Мексики при открытии её Кортесом. Прирождённые рабы таких же варварских, как и сами они, властителей, влачили они в невежестве, не ведая ни искусств, ни ремёсел и не разумея пользы оных. Древний священный закон воспрещал им под страхом смерти покидать свою страну без дозволения патриарха, чтобы не было у них возможности восчувствовать угнетавшее их иго. Закон сей вполне соответствовал духу этой нации, которая во глубине своего невежества и прозябания пренебрегала всяческими сношениями с иностранными державами” [4].

Д. Дидро объяснял, почему русский солдат столь отважен: “Рабство, внушившее ему презрение к жизни, соединено с суеверием, внушившим ему презрение к смерти”. Эта формула XVIII века почти без вариаций действовала двести лет (см. [5]).

Даже официальный идеолог войны цивилизаций Хантингтон проводил “культурную границу Европы, которая в Европе после холодной войны является также политической и экономической границей Европы и Запада”, по линии, “веками отделявшей западно-христианские народы от мусульман и православных” [6].

Точно так же Э. Геллнер – не идеолог, а один из ведущих современных антропологов – устанавливает жёсткие границы существования гражданского общества: “Феномен гражданского общества существует в странах североатлантического региона. . . На востоке и юго-востоке наша либеральная цивилизация граничит с иными обществами, относящимися к двум совершенно различным типам. . . <В них> мы сталкиваемся (или сталкивались) с вопиющим отсутствием гражданского общества” [7].

Россия стала для Запада не просто конкурентом, а экзистенциальным, бытийным оппонентом, как бы ни пытались избежать такого положения. Программные документы США начала холодной войны наполнены ненавистью

к России. Истоки и основания русофобии на Западе совершенно спокойно изучаются историками (см., например, [8]).

Интересно, что при подготовке войны наполеоновской Франции с Россией появилась фальшивка под названием “Завещание Петра Великого”. Говорилось, что якобы французский дипломат д’Эон добыл эти материалы в русских архивах в 1756 году (изучение этого текста историками показало, что он сфабрикован). Для нас интересен смысл “завещания”, в котором излагаются, в частности, такие “планы и рекомендации” Петра:

“Ничем не пренебрегать, чтобы придать русскому народу европейские формы жизни и обычаи, и с этой целью приглашать из Европы различных людей, особенно учёных, или ради их выгод, или из человеколюбивых принципов философии... Втайне приготовить все средства для нанесения сильного удара, действовать обдуманно, предусмотрительно и быстро, чтобы не дать Европе времени прийти в себя... Среди всеобщего ожесточения... послать по Рейну и морям “несметные азиатские орды”. Корабли внезапно появятся для высадки этих кочевых, свирепых и жадных до добычи народов... одну часть жителей они истребят, другую уведут в неволю для заселения сибирских пустынь и отнимут у остальных всякую возможность свержения ига” [9].

Краткий период благосклонности к российской монархии был связан с имперскими амбициями Наполеона. По выражению А. Безансона, “вся Европа поистине теряет рассудок от любви к русскому самодержцу и объявляет его идеальным представителем рода человеческого. Ведь он избавил Европу от тирана Бонапарта, он даровал Польше конституцию. Бентам восхищается Александром, Джефферсон украшает свой кабинет его бюстом, г-жа де Сталь отправляется в Россию, чтобы вдохнуть там “воздух свободы” [10].

Но вскоре после Отечественной войны 1812 года русофобия принципиально обновилась. Казалось бы, русская армия освободила завоёванную и униженную Наполеоном Европу. Более того, русская армия сразу же покинула оккупированную Францию и освобождённые земли Германии, что было необычно. Но тут же в столицах стали шептаться, что Россия планирует создать всемирную монархию и что царь опаснее Наполеона. Стали поминать, что Наполеон перед походом в Россию сказал, что после него “Европа станет или республиканской, или казацкой”.

А. Безансон пишет: “Усомнившись в легитимности российского государственного строя, европейцы внезапно осознали, что Россия принадлежит к иной цивилизации. В Европе либеральное мнение почти повсеместно одерживает победу, во Франции свершается революция 1830 года, в Англии происходит реформа избирательной системы, а Россия в это время самым безжалостным образом подавляет восстание в Польше. В сравнении с XVIII столетием европейцы решительно меняют своё отношение к России. Де Кюстин, Мишле, Уркхарт, Маркс рисуют Россию самыми чёрными красками. Более глубокими размышлениями делится с читающей публикой Гизо; он утверждает, что История – это процесс, который посредством создания и укрепления среднего класса ведёт к установлению конституционной свободы; имя этому процессу – цивилизация. Отсюда следует, что Россия – страна, чуждая этому цивилизирующему процессу” [10].

Справа пугал реакционный философ Доносо Кортес: “Если в Европе нет больше любви к родине, так как социалистическая революция истребила её, значит, пробил час России. Тогда русский может спокойно разгуливать по нашей земле с винтовкой под мышкой”. Слева пугал Энгельс: “Хотите ли вы быть свободными или хотите быть под пятой России?” В ответ на попытки русских демократов воззвать к здравому смыслу неслись ругань и угрозы. Дело было не в идеологии – одинаково ненавистны были и русские монархисты, и русские демократы, а позже русские большевики.

В развитие этой концепции существенный вклад внёс Маркс. Свою неоконченную работу “Разоблачения дипломатической истории XVIII века” (она написана в 1856–1857 годах) он завершает так: “Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Пётр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира” [11].

Прошло десять лет, но этот антироссийский штамп применяется Марксом без изменения. На митинге в Лондоне он произнёс патетическую речь: “Я спрашиваю вас, что же изменилось? Уменьшилась ли опасность со стороны России? Нет. Только умственное ослепление господствующих классов Европы дошло до предела. . . Путеводная звезда этой политики – мировое господство – остаётся неизменной. Только извортливое правительство, господствующее над массами варваров, может в настоящее время замышлять подобные планы. <...> Итак, для Европы существует только одна альтернатива: либо возглавляемое москвитями азиатское варварство обрушится, как лавина, на её голову, либо она должна восстановить Польшу, оградив себя таким образом от Азии двадцатью миллионами героев” [12].

А. Безансон сказал, что “после 1848 года Европа начинает относиться к России с особым ожесточением”. Тогда в Европе и на Западе многие люди ещё верили в парадигмы Макиавелли. А. де Кюстин в своей книге “Россия в 1839 году” писал: “Нужно приехать в Россию, чтобы воочию увидеть результат этого ужасающего соединения европейского ума и науки с духом Азии” (см. [13]).

Цитируя это важное утверждение де Кюстина, В. В. Кожин подчёркивает, что речь идёт о тех особенностях России, в которых де Кюстин усматривает одну из основ её уникальной мощи. Актуальностью этих наблюдений де Кюстина он объясняет и беспрецедентную популярность его книги на Западе. В 1951 году, когда разворачивалась холодная война, книга была издана в США с предисловием директора ЦРУ Б. Смита, в котором было сказано, что “книга может быть названа лучшим произведением, когда-либо написанным о Советском Союзе”. Эту книгу, кстати, цитировал и Энгельс в своей работе о русской армии.

Самосознание русских никогда не включало ненависть к Западу в качестве своего стержня. От такого комплекса русских уберегла история – во всех больших войнах с Западом русские отстояли свою независимость, а в двух Отечественных войнах одержали великие победы. За исключением части интеллигенции, в сознании русских не было комплекса неполноценности по сравнению с Западом. В свою очередь и Россия была для Западного значимым иным.

Национальное и цивилизационное самосознание Европы во многом отталкивалось от образа русских и России. Однако, за исключением коротких исторических периодов, этот образ рисовался чёрными красками. Элита Запада выработала широкий спектр отрицательных чувств и установок по отношению к русским. Они присутствуют как важный элемент в основных идеологических течениях Запада и оказывают влияние на отношение к России и в массовом сознании, и в установках правящей верхушки.

Этот фактор надо изучать, следить за его динамикой, стараться на него воздействовать соответственно нашим национальным интересам, но при этом относиться к нему рационально, как и к другим факторам окружающей среды. Западная русофобия имеет примерно тысячелетнюю историю и глубокие корни. Это большая и сложная идеологическая концепция, лежащая в основе западного мировоззрения.

После I Мировой войны западное общество сдвинулось “влево”, и русофобия отступила перед интересом к русской революции. Русофобию пришлось отложить и вследствие угрозы фашизма. Но после 1945 года (как и после 1812 года) она стала раскручиваться.

Милан Кундера, один из радикальных проповедников русофобии, написал статью “Похищенный Запад”. Л. Вульф объясняет: “Кундера, как и многие его братья-восточноевропейцы, стал жертвой геополитической истины, придуманной на Западе, а именно концепции разделения Европы на Восток и Запад”. Эта живучая концепция точно наложилась на риторику “холодной войны” [14].

6 марта 1946 года в Фултоне Черчилль в присутствии Трумэна объявил нам холодную войну, и сразу начались выступления, которые и сегодня-то читаешь с содроганием. Разрушенная Россия не представляла для Запада никакой опасности. А холодная война вновь потребовала создать образ страшных русских. В 1948 году на собрании промышленных магнатов США формулируется такая установка: “Россия – азиатская деспотия, примитивная, мерзкая и хищная, воздвигнутая на пирамиде из человеческих костей, умелая лишь в своей наглости, предательстве и терроризме” [15].

После краха СССР Запад, который не может существовать без врага, на время оказался в мировоззренческом вакууме. В этот период мы видим небывалый всплеск производства фильмов, в которых на “цивилизацию” наступают самые различные фантастические враги — ящеры, инопланетяне, вампиры, пауки и ...политики. Схема наступления зла “из-за фронта” от фильма к фильму не меняется, но в совокупности вся эта культурная продукция отражает психопатическую потребность общества во враждебном ином.

В декабре 1989 года на Мальте подписали секретный акт, в январе 1990-го в США, как по команде, пресса и ТВ снова сменили пластинку. Мы не верили: как можно изменить направление такой махины, как СМИ и целой цивилизации, за неделю! О нас пошла исключительно негативная информация, как будто куда-то исчезли балет, космос, демократия и даже пейзажи — обычные лубочные картинки. Остались лишь пустые прилавки, преступность, проституция и консерваторы. Пошла волна антирусских фильмов. Поражал динамизм — это были фильмы уже 1990 года. Вот парадокс: после ликвидации социализма отношение к русским на Западе в целом резко ухудшилось. Мол, они побеждённые.

Зимой 1994 года, когда разгорелась война в Чечне, я читал лекции в Испании, в Сарагосе. Ко мне обратились ребята из студенческого общества с просьбой прочесть лекцию с анализом того, как западная пресса освещает эту войну, в чём врет, в чём ошибается и т. д. Лекцию и для студентов гуманитарных факультетов, и для всех, кто захочет послушать. Я ответил, что мне трудно говорить о прессе вообще, я её читаю обрывочно. Оказалось, у них есть полное досье. Представлена вся центральная испанская пресса и те крупные материалы европейских газет, которые готовятся транснациональными агентствами и перепечатываются на всех языках. Принесли мне большую папку — копии этих публикаций. Ценнейшая коллекция! Как жаль, что я не успел её скопировать, — если бы её издали! Много “наших” дали тогда интервью западным журналистам, посчитав, что до русских не дойдёт...

Испанцам легко было объяснить, потому что у них орудовали свои террористы-баски. Я говорил: давайте мысленно подставим ваши проблемы в ту трактовку, которую ваша же пресса даёт проблемам России в Чечне. Получалась дичайшая, с точки зрения испанца, картина. Просто абсурдная, а спорить невозможно, вот они — ваши газеты, сами писали.

Два дня подряд звонил мне знакомый француз из Парижа, переводчик русской литературы. Он просто заболел: западная пресса использовала войну в Чечне для разжигания такой русофобии, какой Европа не знала со времён Крымской войны. “Это невыносимо, — кричал француз. — Что-то надо делать! Только не называй моего имени”. Что же тут поделаешь...

Но главное — не испанские проблемы, а то отношение к России, которое было чётко определено в связи с войной. Был среди прочих замечательно откровенный материал Джона Ле Карре. Это популярный автор политических детективов и видный западный идеолог, близкий к политикам и спецслужбам. Его статья вышла потому, что как раз состоялась презентация его книги... о войне в Чечне: в январе 1994 года в продажу поступила книга об этих событиях. Фантастика предвидения! На деле всё проще: Ле Карре прекрасно знал об этой войне, и его сотрудники загодя собирали материал, местную фактуру, личные истории, шастали по Чечне и по Москве в поисках подробностей. Войну эту готовили около двадцати лет и, как выразился Ле Карре, западные спецслужбы продолжали готовить эту войну.

Он объяснил, что после эйфории “перестройки” среди западных лидеров “возобладал здравый смысл, они сохранили спокойствие и продолжали холодную войну другими средствами... Ещё не сняв комбинезона холодной войны, мы, победители, молили Бога, чтобы вспыхнул новый конфликт, чтобы мы снова могли почувствовать себя уверенно”.

Посмотрите, что это за “здравый смысл” западных лидеров, которые “продолжали холодную войну” с раненой Россией и для этого набрали жестоких террористов! И эти лидеры кричали, что они “боялись России”. Дикая картина (это похоже на то, как Сартр признался, что он добавлял духовные откровения фашизма в свою философию и литературу, “как щепотку соли в пирожное, чтобы оно казалось слаще”!).

И дело не в ругательствах: русский сапог, геноцид малого народа, зверства Красной армии и т. д. Дело в том, что была развёрнута целостная

и убедительная для западного обывателя система доказательств того, что Россия, несмотря на её отчаянную попытку демократизации, так и осталась самым заклятым и, увы, неисправимым врагом человечества. Проклятия в адрес имперской России с её “возрождающимся советизмом” и её армией, “ещё довольно красной”, начались в начале 1994 года именно в связи с “поддержкой сербов”, которые уже были полностью “сатанизированы” в общественном мнении Запада. Что русские тоже слуги дьявола, было видно уже из огромных фото: ликующие толпы сербов встречают русские танки в Сараево 20 февраля, на танках гроздьями сидят дети, грудных младенцев суют в руки солдатам. И заголовок: “Новое возвращение русских”. Почти как крик Форрестала...

Окончательно всё прояснилось 24 марта 1999 года, когда НАТО начало бомбить Сербию. А. С. Линч пишет: “Воздушная война НАТО в Сербии <...> приоткрыла облик мира, каким он может стать после расширения НАТО, – мира, в котором государства – члены Североатлантического альянса, ведомые США, в обход Совета Безопасности ООН (где у России есть право вето) и вопреки букве Устава НАТО (предусматривающего исключительно оборонительный характер альянса, зона ответственности которого не простирается за пределы территории стран-участниц) принимают решения, где, когда и как применить вооружённые силы НАТО, чтобы воздействовать на политическую ситуацию, возможно, даже в районах, граничащих с Россией. В ситуации, когда руководство НАТО не связывает себя обязательствами относительно того, когда альянс прекратит приём новых членов в свои ряды или какие страны (например, государства Балтии или Украину) он будет считать неготовыми к вхождению в него, решение НАТО о начале военных действий в Сербии обнажило фиктивный характер договорённостей между Россией и НАТО, которые в большой степени были символическими”.

За эти 30 лет США и его НАТО разгромили Балканы, Афганистан, Ирак, Сирию и дальше... И теперь США и Западная Европа покрыты группами террористов “мистического иррационального содержания”. А американцы боятся России! Какой примитивный спектакль...

Американский политолог, директор Центра изучения России и стран Восточной Европы Аллен С. Линч подробно перечисляет “неудавшиеся попытки России стать полноправным членом западных экономических, политических и оборонительных сообществ”. Он говорит как об очевидном факте о “быстрой утрате иллюзии относительно возможности скорой интеграции России в международное сообщество “большой семёрки” и о том, как российская дипломатия пыталась достичь взаимоиключающих целей: “поддержания своего великодержавного статуса на международных форумах, не допустив при этом разрыва отношений со странами “большой семёрки”, прежде всего с США, сотрудничество с которыми остаётся важнейшим фактором обеспечения будущего России как во внутривнутриполитическом, так и во внешнеполитическом плане”.

В своей большой статье 2001 года А. С. Линч мимоходом отмечает: “В настоящее время российско-западные, и особенно российско-американские, отношения почти полностью утратили ту сентиментальную ауру, которая объединяла обе страны в антикоммунистическом и прореформистском порыве начала 90-х годов” [16].

Но такие статьи не работают, даже в интеллигентской сфере. Посмотрите, как сказал Джеффри Сакс: “Больно это признавать, но Запад, особенно США, несёт значительную ответственность за создание условий, в которых ИГИЛ расцвёл. <...> Общественности, действительно, никогда не рассказывали истинную историю Усамы бен Ладена, Аль-Каиды или подъёма ИГИЛ в Ираке и Сирии. Начиная с 1979 года, ЦРУ мобилизовало, набирало, готовило и вооружало молодых людей суннитов для борьбы с Советским Союзом в Афганистане. ЦРУ усиленно вербовало молодых людей из мусульманского населения (в том числе Европы)... Ничем не спровоцированная война Америки в Ираке в 2003 году высвободила демонов” [17].

А потом он в 2016 году представил статью “Истинная роль Америки в Сирии”: “Гражданская война в Сирии – это самый опасный и разрушительный кризис на планете. С начала 2011 года здесь погибли сотни тысяч человек; около 10 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть свои дома; Европу начало трясти от террора Исламского государства (ИГИЛ) и политических последствий наплыва беженцев; США и их союзники по НАТО уже не раз оказывались

опасно близки к прямой конфронтации с Россией... В январе газета New York Times наконец-то сообщила, что в 2013 году президент отдал секретный приказ ЦРУ вооружать сирийских повстанцев. Как сообщалось в статье, Саудовская Аравия выделила значительные средства на вооружение, а ЦРУ, действуя по приказу Обамы...

Обама более десятка раз заявлял американскому народу, что не будет на сирийской земле ноги американского солдата. Однако регулярно, раз в несколько месяцев публике сообщают в форме кратких заявлений правительства, что в Сирии размещены специальные оперативные силы США. Мы знаем, что Америка прямо сейчас вовлечена в активную, координируемую ЦРУ войну с целью одновременно свергнуть Асада и победить ИГИЛ...

Секретная война Америки в Сирии является незаконной и с точки зрения Конституции США (наделяющей исключительными полномочиями объявлять войну только Конгресс), и с точки зрения Устава ООН. Американская война на два фронта в Сирии – это циничная и безрассудная азартная игра... Прокси-война США против Ирана и России, в которой Сирия превратилась в поле битвы” [18].

Новый председатель Комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал морской пехоты Джозеф Данфорд (Joseph Dunford) в 2015 году во время слушаний в Сенате заявил: “Россия представляет самую большую угрозу для нашей национальной безопасности”. Что это, для чего?

А неделю спустя генерал Марк Милли (Mark Milley), кандидат на пост начальника штаба армии сухопутных войск США, выступил с предупреждением относительно Кремля: “Я бы сейчас обозначил Россию с военной точки зрения как угрозу номер один”. Генерал-лейтенант морской пехоты Роберт Неллер (Robert Neller) сказал: “Я бы согласился с генералом Данфордом, что Россия... является самой серьёзной потенциальной угрозой... При этом я не думаю, что они хотят с нами воевать. Именно сейчас я не думаю, что они хотят убивать американцев” [19]. Важные генералы в Сенате и должны произносить нелепые фразы – зачем? Ведь они, наверно, опытные военные, рациональные, знающие картину нашего мира.

“Фактически об этом заявила ведущая телеканала MSNBC Джой Рейд (Joy Reid), но более многозначительным было предупреждение, которое убийственным тоном сделал Дэйна Милбэнк (Dana Milbank), ещё один комментатор из Washington Post, заявивший о “красной угрозе, исходящей от путинской России”. Милбэнк при этом добавляет: “На нас напала Россия – в этом нет никаких сомнений”. <...> Даже директор нынешнего ЦРУ Майк Помпео, видимо, верит в эту ерунду <...> или желает, чтобы в неё верили мы. Предупреждая о том, что “мы по-прежнему подвергаемся угрозе со стороны русских”, он объясняет: “Это русские, это „советы”, <...> называйте, как хотите”. Демонизация Путина делает эту угрозу более масштабной” [20].

В Америке есть часть интеллигенции, которая пытается объяснить людям проблемы США и России. Американская интеллигенция – система глубинная. Но иногда эти люди представляют населению своё мировоззрение.

И в дискуссии (Париж) Александр дель Валль сказал: “Любая возможность войны с Россией совершенно исключается. Обратное утверждение лишено всяческого смысла. По одной простой причине: никто не заинтересован в конфликте. Абсолютно никто. Кроме того, несмотря на впечатляющие военные возможности, Россия осознаёт их пределы...”

Запад ведёт себя, как империя-завоеватель, стремится к бесконечному расширению. НАТО пора перестать видеть в России врага и начать рассматривать её как достойного уважения партнёра”.

Но в Америке ещё говорят, что они боятся России! А. Горянин писал: “Мой друг, американский писатель Дик Портер, рассказывал про один из спсобов, каким в годы его молодости, между концом 40-х и концом 60-х, американская пресса боролась с паническими настроениями в стране... Министр обороны США Джеймс Форрестол на почве страха перед танковым вторжением Красной армии повредился умом. Он твердил: “Русские идут, русские идут!” – и, в конце концов, 22 мая 1949 года выбросился из окна 16-го этажа. Фраза “русские идут” на десятилетия стала в Америке крылатой со зловецим, очень долго выветрившимся окрасом” [21].

И ведь говорили, что во времена перестройки в многих городах США прошли концерты детского хора из России, и после каждого концерта к ребятам

из хора подходили американцы и спрашивали, озираясь: “А вы, правда, раздумали нас убивать?”. Вот выступление А. Адамовича в МГУ, наполненное нелепыми рассуждениями: “Один американский фермер как-то сказал Юрию Черниченко: “Мы и вас готовы прокормить, только не воюйте”. Ведь мы и сами-то до конца не осознавали, как Запад опасается нашей военной мощи, не сдержанной никакими демократическими институтами” [22, с. 348]. И у нас в 1990-е годы некоторые журналисты успокоили наших людей утопией: фермер накормит народ (“как в Америке”). Вот такой “здоровый смысл”: понятно, что американские фермеры бесплатно никого не кормили, нам и не нужна была бесплатная кормёжка – мы покупали; и РФ не воевала с США и т. д.

Невежество – могучая сила.

И давайте признаем откровенно, что с концепцией свободы, которую навязывали и навязывают идеологи перестройки, а затем реформ, жёстко сцеплена самая пошлая и примитивная русофобия! Поразительно, как легко была принята трактовка западной свободы! Историк-эмигрант Н. И. Ульянов пишет о западниках: “У нас всегда полагали, что на Западе и цари либеральнее, и полиция добрее, и реакция – не реакция... С давних пор отшлифовался взгляд на сомнительность русского христианства, на варварство и богопротивность его обрядов, на отступничество русских, подлость их натуры, их раболепие и деспотизм, татарщину, азиатчину, и на последнее место, которое занимает в человеческом роде презренный народ москвитов. На начало 30-х годов XIX в. падает небывалый взрыв русофобии в Европе, растущий с тех пор крещендо до самой эпохи франко-русского союза. Немногие из попадавших за границу сумели, подобно Герцену, понять, что “они нас ненавидят от страха” [23].

Вот какая картина с 1990 годов...

Литература

1. Смит А. Теория нравственных чувств. – М.: Республика, 1997. С. 147.
2. Робинсон П. Боязнь России. Рецензия. 27 ноября, 2019. // polismi.ru/kultura/krizis-zhanra/2401-boyazn-rossii.html.
3. Филюшкин А. Когда Россия стала считаться угрозой Западу? Ливонская война глазами европейцев // Россия-XXI, 2004, № 3.
4. Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Петра Великого, императора России. – СПб: Лимбус Пресс, 1999.
5. А. Строев. Россия глазами французов XVIII – начала XIX века. // www.ruthenia.ru/logos/number/1999_08/1999_8_02.htm.
6. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2003. С. 14.
7. Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. – М.: Ad Marginem, 1995. С. 23-24.
8. Люкс Л. О возникновении русофобии на Западе. // ПОЛИС, 1993, № 1.
9. Партаненко Т. В., Ушаков В. А. Образ России в революционной Франции (“Завещание Петра Великого”). // Великая французская революция, империя Наполеона и Европа. – СПб, 2006. // www.history.pu.ru/biblioth/novhist/mono/revun/010.htm/.
10. Безансон А. Россия – европейская страна? Спор с Мартином Малиа. // Commentaire, 1999, № 87. (<http://www.strana-oz.ru/?numid=20&article=953>).
11. Маркс К. Разоблачения дипломатической истории XVIII века. // Вопросы истории, 1989, № 4.
12. Маркс К. Речь на польском митинге в Лондоне 22 января 1867 года. Соч., т. 16. С. 206, 208.
13. Кожин В. В. Победы и беды России. Русская культура как порождение истории. – М.: Алгоритм, 2002. 464 с.
14. Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. – М.: Новое литературное обозрение, 2003.

15. Eastlea B. La liberación social y los objetivos de la ciencia. – Madrid: Siglo XXI Eds, 1977.
16. Линч А. С. Реализм российской внешней политики. // Pro et Contra. 2001. Том 6, № 4.
17. Сакс Дж. Д. Как остановить ответный ход терроризма. // <http://www.project-syndicate.org/2015.19.11>.
18. Сакс Дж. Истинная роль Америки в Сирии. // <https://www.project-syndicate.org/commentary/us-true-role-in-syria-by-jeffrey-d-sachs-2016-08/russian>.
19. Демирчян К. Россия или ИГИЛ? Кто главный враг Америки? // <http://inosmi.ru/world/20150805/229445119.html>, 05.08.2015.
20. Коэн С. Россия – не “угроза № 1”. Она даже не в первой пятёрке угроз. // <http://inosmi.ru/politic/20171128/240865199.html>.
21. Горянин А. Фантомные боли Америки. // <http://inosmi.ru/world/247119.html>.
22. Адамович А. Мы – шестидесятники. – М.: Советский писатель, 1991. 348 с.
23. Ульянов Н. И. Басманный философ. // Вопросы философии, 1990, № 8.

ВЯЧЕСЛАВ ЛЮТЫЙ

“ЭТА ЖАЖДА РАЗГОВОРА СО СВОИМ...”

Собеседник в художественном пространстве Надежды Мирошниченко

*Но ложимся в неё и становимся ею,
Оттого и зовём так свободно — своею.*

Анна Ахматова

*И теперь я могу говорить, как дитя, бестолково...
Но со светом, струящимся искренностью изнутри.*

Надежда Мирошниченко

1

Современная русская поэзия условно может быть разделена на две художественные территории. Одна из них — лирика переживаний и чувствований, созерцаний и творческих свидетельств. Другую охарактеризуем как поэзию мысли.

Художественная мысль предстаёт перед читателем не только в виде рассудительных строк — она бывает эмоциональной, даже страстной, у неё хватает силы проникать в темы, традиционно присущие лирическим стихотворениям, и выходить на такие обобщения, которые часто ускользают от поэзии первого рода. В качестве ближайшего и очевидного примера назовём творческое наследие Юрия Кузнецова. И одновременно подчеркнём, что художественный мир, в котором такая поэтическая мысль “широкого захвата” является главным действующим лицом, встречается довольно редко. К тому же, взаимодействуя с лирической историей героя или героини, она подчас находится в её тени и выражена не столь явно. И закономерно, что подобная поэзия мысли остро нуждается в опознании, в идентификации. Причём такая литературоведческая задача не самодостаточна: её решение позволяет точнее понять нюансы стихотворения и уловить значимые перемены в авторском отношении к событиям, людям и поступкам.

Впрочем, может возникнуть вполне резонный вопрос: к чему, погружаясь в ткань произведения, показывать, как в нём всё устроено? Ведь это предмет изучения филологической науки, а не литературной критики, обличённой доверием читателя. Между тем мы не должны упускать из виду то обстоятельство, что художественный текст всегда содержит в себе дополнительные смыслы, с которыми автор напрямую “не работал”, но они проявились интуитивно

и в виде фона непременно присутствуют в его письме. Это и личностные характеристики писателя, непосредственно влияющие на степень доверия читателя к его словам. И чувственное состояние пишущего, которое углубляет его психологический абрис. А также динамика интонации, которая говорит нам об уверенности автора в только что сказанном, о понимании им того, в каком пространстве звучит его речь и многим ли она слышна и понятна.

Стихи Надежды Мирошниченко обладают отчётливо выраженными особенностями авторской интонации, в них воплощена способность поэтессы соединять явления и предметы взаимно далёкие неожиданными поворотами сюжета... Хотя обаяние поэтических строк от того не только не страдает, но приобретает черты творческого явления, во многом загадочного.

В первую очередь, загадка кроется в разговорности художественного слога Надежды Мирошниченко. Как правило, подобный стиль речи позволяет поэту сократить дистанцию между повествователем и слушателем-читателем, “одомашнить” проблематику и сюжет стихотворения, приблизить лирический рассказ к современности, которая узнаётся в её деталях. У Мирошниченко всё обстоит совершенно по-другому.

Её строка организована таким образом, что диалогизм в ней отчётливо присутствует, однако прямого обозначения собеседника нет. Будто слушатель и потенциальный участник разговора стоит невидимо за плечом автора, и автор об этом знает. И понимает, что речь его обращена к стоящему сзади, к тому, кто не в силах самостоятельно опознать реальность, сформулировать её суть и решить, как ему быть дальше. Здесь повествователь оказывается неким поэтическим разведчиком, который погружается в чащу бытия и разгадывает её почти непостижимое устройство. Выступая в качестве проводника, который этой конкретной тропой и сам ещё не ходил, он тем не менее знает, что может двигаться по ней с уверенностью. И ведёт за собой “условного собеседника”, отвечая за то, чтобы с душой и телом того не случилась беда.

Примечательно, что слушатель (“неактивный”, условный собеседник) практически не подаёт голоса, но его мысли и чувства угадывает автор и озвучивает их, выступая также как толкователь реакций и психологического состояния этого второго неявного героя — гражданина ли, возлюбленного, современника, русского человека... Между тем способность осмысливать происходящее и догадываться о возможном или неминуемом развитии событий всегда остаётся прерогативой лирического рассказчика. То есть диалогизм здесь имеет чёткие художественные границы. И такое обстоятельство не может не влиять на тематический диапазон лирики Надежды Мирошниченко. Вот почему одной из задач исследователя, который погружается в её стихотворения, можно считать “выяснение роли собеседника” в её творческом пространстве.

2

Не будет преувеличением счесть тему любви наиболее весомой в творчестве Надежды Мирошниченко. При этом великое чувство в её стихах переносится на предметы и явления более общие, нежели взаимоотношения мужчины и женщины. Любовью пронизаны её стихи о русской земле и русском народе, о нашей истории и характере здешнего человека, о природе и местах, с которыми связана жизнь автора. Крайне сложно в корпусе её стихотворений найти вещи отвлечённые, погружённые в собственные переживания, созерцательные в классическом понимании такого определения. Примечательно, что одиночество как стержень лирического сюжета у Мирошниченко встречается только в очень слабой концентрации. Поэтесса всегда находится в диалоге с живыми и ушедшими, с памятью и текущим днём. И ещё — в диалоге с высшим Промыслом.

Ты замен не ищи, ни к кому не ходи, кроме Бога.
Нет замены Ему. И хоть как головой ни крути,
Но на верном пути остаётся лишь эта дорога.
А другие, в обход, не дают нам до Бога дойти.
Ни о чём не печалься, мы все в целом свете такие:
Ошибаемся, платим и снова стремимся вперёд.

А вперёд — это к Господу. Но заблудилась Россия,
И наслушалась бесов, и канула в водоворот.
Я сама не другая. И мне эта Родина наша —
Поводырь и попутчик. И кто тут кого заплутал?
И при мне стали звать мою чистую Родину — “Раша”.
И при мне все орлы улетели в равнины со скал.
И любовь пролилась, как сквозь сито, не в землю, а в камни.
Хорошо, что ещё хоть немного осталось на дне.
И меня иссушило такое привычное “кабы”,
Что ни в чём не спасало, но тлело, как уголь, во мгле.

Начиная поэтическую речь с предметов самых разных, личных и общих, житейских и духовных, практических и идеальных, “не от мира сего”, поэтесса сопрягает их с любовью. Причём происходит такое сближение с поразительной неуклонностью, будто некая вещь — материальная, объёмная, осязаемая — испытывает неустрашимое притяжение Земли. Подобное правило, которое можно назвать едва ли не главным в поэтике Надежды Мирошниченко, почти не знает исключений и присутствует в стихах её постоянно. С другой стороны, остаётся лишь удивляться, сколь многолика любовь в её лирике, сколь она универсальна и может быть найдена в любой коллизии, которая воссоздаётся пером автора.

То ль завоешь, как волк,
То ль, как иволга, птицей застонешь,
То ль взорвёшься черёмухой,
То ли стрелой упадёшь,
Лишь как вспомнится мне
Мой любимый, мой русский Воронеж,
С этой Россошью маленькой,
Тоже медовую сплошь.
Лишь как вспомнятся мне все ошибки и все неудачи,
По бескрайнему счастью разученные наизусть,
Я возьмусь за перо и, как девочка, глупо расплачусь,
И бумагу порву, и почувствую слёзы на вкус.

Но лишь вспомнятся мне все курганы мои и долины,
Все озёра и реки с прошитой строкой камышей,
Я возьмусь за перо и над Русскою встану равниной,
Как над русской былиной: взглянуть, что же сделали с ней.

Или так:

Что-то, душа, мне не нравится,
что мы с тобою одни...
Мало ли что там окажется за перевалом,
Сядь на крылечко сердца. Передохни.
Ты же всегда умела обходиться малым...

С собеседником связаны надежды спрятанного за текстом автора, его гнев, грусть, предупреждение о поступке или о неотвратимом течении событий. При этом общение с таким собеседником происходит напрямую, без каких-либо посредников, натуральных или условных. Но когда в стихотворение вторгается по воле его создателя русский миф — деталями или наглядными аллюзиями, кратким пересказом старого сюжета или соединением древности с кровоточащей реальностью, — автор отвлекается от своей роли проводника читателя в художественно отображённой действительности и воспринимает его уже как союзника, по отношению к которому возникает “чувство локтя”.

Понимаете, сердце — оно не устроено всюду,
Потому что подвержено счастью, почти как греху.
И ему неуютно везде до минуты, покуда
Оно ищет родное — такое же, “как на духу”.

Оно ищет-поищет, да всё же торопится с ходу
Признавать за своё, что вовек не бывало своим,
Потому что оно испокон прилепилось к народу,
Что не может без сказки, который лишь Богом храним.

Именно потому многие стихотворения Мирошниченко, посвящённые родной земле и её истории, воспринимаются читателем так горячо и воодушевленно, с ощущением правды, пронизывающей слова, исторические отсылки и художественные образы поэтессы. Вот где со всей определённой возникает абрис собеседника, у которого с автором оказывается много общих черт и душевных забот. Стоит отметить, что стихотворений о России и её многострадальной исторической судьбе у Мирошниченко очень много. Огромный свод её лирики о Родине, многообразный по сюжетным подходам и художественным решениям, можно счесть уникальным вкладом поэтессы в сокровищницу русской патриотической литературы. Здесь мы найдём неповторимую игру интонаций, соединение страниц прошлого с настоящим, переплетение фольклоризма с приметамы узнаваемой действительности.

Стоит специально оговорить три главные темы в её творчестве: Родина — любовь — беда.

Мирошниченко много раз проникновенно упоминала и воплощала в ёмких образах черты России:

Русские мы. И не только по отчеству.
Этого мало — берёзы и синь.
Просто не знает другого высочества
Тот, кто родился на древней Руси.

Если не веришь, от юга до севера,
Выдь на дорогу, не помня обид.
В горсть набери ты пшеницы и клевера
И погляди, как тебя опьянит.

Или так:

Сорвётся дождь, на землю упадёт,
Пробьётся вглубь, надышится землёю
И клевером сквозь поле прорастёт.
И будет пахнуть хлебом и травой.

Она связывает “русское” с обыденными вещами. Укрупнение привычных малых деталей родной земли помогает автору высказываться и художественно размышлять о Руси в целом. Подобный способ вхождения в тему нельзя назвать оригинальным, в нашей поэзии он разработан достаточно хорошо. Однако Мирошниченко обладает редким свойством объединять большое и малое на равных правах: в её строке скромные детали обладают большим смысловым весом, а последующее развитие сюжета с использованием масштабных исторических и геополитических вех не теряет драгоценной вещественности, не уходит в чистую, хоть и красноречивую риторику, как это случается порой у иных поэтов.

История России в последние два столетия горька и трагична, хотя и в прежние времена наряду с мгновениями радости русский человек испытывал лишения и печали, проливал кровь и боролся с нуждой, становился жертвой сговора тёмных сил. Вот почему слово “беда” — горькая часть житейского круговорота в России. Надежда Мирошниченко, последовательно входя в объёмный образ Родины, постоянно упоминает о её жертвенности и о внутренней силе, о преодолении власти “мира, который во зле лежит”, по евангельскому определению. Эти нравственные координаты для русского человека остаются определяющими. Потому и сегодня на нас возлагается вина за нежелание следовать эгоистичным путём западной цивилизации.

Эта вина, внедрённая
В нас, как приказ извне.

Кайся, непокорённая
Родина, что ты НЕ:

Не продалась, не сгнула,
Не отреклась от зла;
Кайся, что не отринула
Бога и ремесла;
Кайся, что чистоplotная:
За образок простой
Нынче купцы залётные
Жалуют золотой;

Кайся, что настоящая;
Кайся, что не прошли
Их короли пропащие
В наши с тобой цари.

Поэтесса удивительно самобытно выстраивает публицистический сюжет. Страдальческий образ Руси, подвижнический и стоический, в большом многолетнем корпусе стихотворений Мирошниченко постоянен.

Лишь закрою глаза — тоскую,
Лишь открою — тоска сильней.
Где мне Родину взять такую,
Чтоб душой не болеть по ней?!

Чтоб не мучили так, как эту.
С глаз долой бы, из сердца — вон...
Но куда ни пойду по свету,
Только Русь с четырёх сторон.
<...>
Разгулялась слепая сила,
Словно бешеная волна.
Лишь закрою глаза — Россия,
Лишь открою — опять она.

Зримая и незримая Россия, действительная и идеальная для автора — это самая большая мысль и самое большое переживание. Только внутри названных координат существует всё остальное — общее и личное, вещественное и отвлечённое.

У Мирошниченко, пожалуй, как у никого другого в современной русской поэзии, явлены апокалипсические картины сегодняшней Руси. Тут свойство её зрения и интонация авторской речи. Причём мирные приметы жизни у поэтессы соседствуют с образом катастрофы — именно в таком порядке её взгляд отслеживает движение событий: их возможное развитие. Подобное “двойное” видение склоняет автора и читателя к необходимости ценить простое и привычное и предостерегает от образа смерти как фатального окончания света, мира, человека (“... Когда сам космос около порога, / И бездна — на родимой стороне”).

Ни русского слова,
Ни русского духа,
Ни русского имени в русском раздолье.
“Спаси тебя, Господи! — скажет старуха. —
Спаси тебя, Господи, русское поле!”
Неужто и впрямь из тебя не напиток
Покоя и радости, русская чаша?!
Да сколько ещё на земле повторится:
“Спаси тебя, Господи, Родина наша?!”

Примечательно, что предметы, окружающие героиню Мирошниченко, практически всегда даются в несколько отвлечённом виде. Кажется, автор не стремится к точности, рисуя фигуру или часть окружающей среды, для поэтессы более важным обстоятельством оказывается связь деталей картины, которая стоит перед глазами. В чистом виде созерцания в её стихах как будто нет совсем, а потому сюжеты и условные изображения, в первую очередь, интеллектуальны. Основой сюжета становится мысль, так или иначе представленная в стихотворении, со своими антиподами и нарочитыми упрощениями со стороны антагонистов. Поэтическое письмо Надежды Мирошниченко не реалистично, а повествовательно в духе старины, когда мелочи не отвлекали читателя от главного в развитии сюжета. Но если рассмотреть свойства авторского интеллектуального стиля, то обнаружится, что он насквозь метафизичен, отвлечён от физики чётких линий и осязаемого веса, от характерных примет живописной техники, наглядно пастозной или пастельной.

Поэтические композиции Надежды Мирошниченко скреплены с реальностью определёнными узлами и вместе с тем параллельны твёрдой “здешней” действительности. Если и далее сравнивать “нарастание” содержания в её стихотворениях с живописью, то уместно говорить о живописи большими мазками. Вот только цветовая гамма тут сведена, по существу, к широким вариациям чёрного и белого, отчего возникает “спектральное” сопоставление её литературных образов с лаконизмом, свойственным графике.

Эти “удары” мастихина или крупной кисти по полотну и новые большие пространства, заполняемые частями общей картины, в определённой степени связаны с экспрессивностью повествователя и его эмоциональностью. А способность динамично строить содержание поэтического высказывания неотделима от главной обширной мысли автора, от его мировоззренческого устройства. Таким образом, движущей силой художественного письма Надежды Мирошниченко является эмоциональная мысль и интуитивное приложение традиционной конфигурации мира, незримо запечатлённой в душе, к сегодняшнему дню. В какой-то мере автор в стихотворениях своих похож на старинного русского человека, перевоплощённого в нашего современника, у которого тем не менее остались живые нервные узлы, напрямую связанные с отечественной древностью. То есть душевное тело – нынешнее, а многие его узловые точки как бы привнесены из прошлого.

И тогда оказывается, что alter ego поэтессы есть соединение “старого” русского человека с новым и тоже русским: второе “я” повествователя предстаёт двуединой субстанцией, принципиально не делимой на дробные составные части. Взаимодействие этих условных “фигур”, их взаимное согласие или невидимая духовная схватка неожиданно проявляются в “фоновых” словах и предстают как ещё один разговор, пополняя поэтическую ткань и придавая ей черты многоголосия.

Стихотворения Надежды Мирошниченко о любви есть непрекращающийся разговор с возлюбленным – мужем Анатолием Федуловым. Уже не один год прошёл с момента, когда он покинул земные пределы, однако столь велика была общая вселенная, столь содержательна и многообразна была совместная жизнь, что таким поэтическим беседам, кажется, не будет конца. Эту часть поэзии Мирошниченко по праву можно счесть жемчужиной её творчества.

А он один не предал и не продал,
Хоть и не знал, зачем она ему.
А он ей руку, не смущаясь, подал,
Во свет пошёл за нею и во тьму.

А он один всегда был с нею рядом
И не искал неповторимых слов,
А говорил: “Одна ты мне отрада”.
И повторял: “Одна ты мне любовь”.

А что молчишь ты? Этого хватило,
Хотя казалось — только и всего!..
А вот, поди ж ты, и она любила,
А вот гляди ж ты, именно его.

Банально всё, что с ними приключилось.
Но я порою думаю тайком:
Кому из нас такое же не снилось?
И кто из нас не плакал о таком?

Поэтесса замечательно выписывает слитность героини с её любимым и их взаимную отдельность, непохожесть друг на друга. Подобная диалогичность в русской любовной лирике, кажется, не имеет аналогов.

Эти стихи у Мирошниченко становятся как бы лирической стенограммой, вдохновенной фиксацией всего, что происходило за всю историю отношений автора и её сердечного друга. Оживают давние мизансцены, раскрываются прежние недомолвки, превращаются в глубокие размышления слова, что когда-то были мимолётными... Происходит неустанное напоминание о прошлом, которое не уходит из настоящего, но обретает некую трудно объяснимую форму своего существования, когда двое любящих живут в одной душе, потому что вторая отлетела в недостижимые для человека миры. И здесь образ собеседника меняется, в него превращается сама поэтесса, как бы говорящая с собою давней, восстающей из пропасти времени. Нет чужих, тут только свои, но женщина теперь — в двух лицах.

Когда ты был ещё чужим,
И я ещё росла,
Ты рассказал мне, как ты жил,
Чем жизнь твоя была...

В степи, от засухи седой,
Где речка чуть течёт,
О чём мечтал ты, мальчик мой,
Не встреченный ещё?

Когда Надежда Мирошниченко пишет о любви, в её окоём попадают также и предметы близкие, житейские, фактурные: “Тяжёлые яблоки падают с веток, / И кролики прячутся в клетки”. Смешение высокого, природного и житейского здесь очень точное, с чувством меры большого и малого. Оно придаёт картине необъятность, в которой далёкое и близкое вполне могут изменяться, оказываясь несколько другими, нежели в эпизоде, “схваченном” внутренним зрением автора. И такая живая, словно дышащая композиция пространства даёт ему земную универсальность, вместе с тем сохраняя конкретику и единственность места и обстоятельств.

Так мужу было надобно и Богу.
Видать, они придумали вдвоём,
Чтоб я любила ветер и дорогу,
Предпочитая колыбель и дом.

В приведённой цитате есть важные смысловые указатели: лирическая героиня послушна Богу и мужу, в чём наглядно проявляется сила любви и традиции. Она ценит вольность, но склоняется к домашнему укладу.

Часто интонация авторской речи — песенно-речитативная, а проговариваются, обозначаются в тексте вещи сказовые и культурно-условные. Однако всякий раз поэзия Надежды Мирошниченко выходит на смыслы высокие и единственные. Так происходит соединение народной русской речи с народной русской верой, в которой чтут Спасителя, но и природа не забыта, и бытовая жизнь идёт по старым правилам. Поэтическое слово автора отталкивается от русского мифа, причём от его многих атрибутов, но не собственно от системы духовных координат. В свою очередь, фольклоризм в сюжетах Мирошниченко проявляется не в стилизации речи, а в сюжетном использовании

фольклорных ходов, в сближении реального с мифологическим, сказочным при лёгкой отсылке к фольклорной речевой интонации.

У поэтессы очень органично сливаются в единую повествовательную линию рассказ и изображение. В результате она избегает как рассудочности, резонёрства, так и предметной декоративности. Сюжет становится на удивление убедительным и живым, зримым и умным.

Поэтическая речь Мирошниченко состоит из “слов-наитий” и “слов-изжизни”, которые все стали её словами, что заметно в самых разных стихотворениях. Догадка и традиция – вот формула художественного слога автора.

Самое главное, с чем лирический рассказчик имеет дело, – это душа, мука, любовь. Всё иное – внешние обстоятельства, на которые автор или её героиня не могут повлиять.

А всего и было, что душа.
Господи, какая это малость!
Ни плоха была, ни хороша,
А почти Вселенною казалась.

А всего и было, что любовь.
Господи! Лишь одного прошу я:
Подари мне эту муку вновь
И не отбери, пока дышу я.

Как много здесь внутренней драмы и радости жизни! Умение плакать без слёз позволяет поэтессе скрывать горечь сердца и не выносить личное на поле общего – природы, света, необъятной земли... Это позволяет автору определить место человеческого малого в бытийно большом. Сопоставление “малое – большое” у Мирошниченко возникает регулярно: слова стихов и песен на фоне русского мифа, русской сказки, русского простора; судьба человека, народа – на фоне великого Промысла...

Начинала с ручья. А потом подошла к океану.
И душа задрожала, столкнувшись с его глубиной.

Поэтесса постоянно сталкивается с большими смыслами, которые проявляются в её стихах даже игрового характера, а также в изображении быта и разноголосицы людской среды. Мастерски управляя разного рода мнениями и суждениями в лирическом сюжете, автор воплощает самое существо собственной поэзии. Подобное “управление голосами” очень характерно для стихотворений Надежды Мирошниченко о любви.

5

Приметы времени в стихах Надежды Мирошниченко показаны во многом калейдоскопично – они словно выхвачены властной рукой художника из непрерывного потока мгновений, десятилетий, эпох. Речь идёт о хронологических знаках, но поэтесса куда большее внимание уделяет смыслу времени. Он перетекает из текущего дня в прошлое и порой в будущее. Автор стремится понять даже не само время, но его изменения. Не опознаваемую реальность, а динамику смены картин и событий – что в её сердцевине, в её основе? Вот почему у Мирошниченко мы находим своеобразные “срезы” разных временных пластов и различных эмоциональных и смысловых состояний. Это позволяет ей свободно перемещаться между целыми эпохами и отдельными этапами, между сюжетами историческими и коллизиями лирическими, биографическими. Подобные экскурсы почти всегда окрашены стилистикой речи автора или его интонацией.

Любопытно, что цвета в стихотворениях поэтессы в прямом наименовании почти отсутствуют и часто обозначаются опосредованно: “серебряные крылышки”, “золото ковров”... Внешнее изображение предмета для неё второстепенно, важнее его название, в котором спрятан смысл присутствия этой вещи в реальном мире. Точно так же и очертания того или иного “объекта” у поэтессы фактически не проявлены. Вся её художественная

речь сосредоточена в поле смысла, в поле эмоций, в поле нравственной оценки. Наконец, в поле жизни — прожитой и настоящей. Поэтому риторическое начало — одно из главных в арсенале творческих средств автора.

Душевное устройство русского человека у Надежды Мирошниченко соприкасается с устройством окружающей его среды — быта, природы, говора. И если природа оказывается подвержена поруганию в результате отступничества и предательства людей, то русский человек обретает свою тяжкую судьбу не столько из-за кого-то или чего-то, но в виде бремени, часто необъяснимого и принимаемого только из-за того, что он русский. Кажется, что людей пригибает к земле некий фатальный метафизический груз, не давая им почувствовать полноту бытия.

Любимый край любимых лиц,
Надёжных снов, любимых,
Весёлых оголтелых птиц
И рыб больших, глубинных...

Как русская светла печаль,
Возвышенная нами,
Как будто небо на плечах,
Когда на сердце — камень.

Как русская сильна любовь,
Не знающая страха,
В венке из луговых цветов
Идущая на плаху.

Надежда Мирошниченко склонна обращаться к Родине или к Руси напрямую, как к собеседнику. Для её поэзии собеседник — это возлюбленный, Русь, история русская, русский человек, конкретное место (город, роща, поле, небо), встреченный на пути прохожий... Даже в уединении она не абсолютно одинока (“Я с одиночеством наговорилась...”) — такой ассоциативный, провиденциальный собеседник у неё есть всегда. Однако, в отличие от первичной, неопределённой по существу формулы О. Мандельштама, “провиденциальный собеседник” у Мирошниченко в наименовании предметен и явлен.

Русская Русь! Как меня сквозь столетия тянет
Пыльный большак и ямщик, затевающий петь.
Не заплетай меня, Русь, золотыми ветвями,
Дай мне запомнить тебя хоть такую успеть.

Олицетворяя окружающую среду, поэтесса возвышает её, совмещая с неким волшебством или с фольклорным образом, с родным человеком или — шире — с современником. Проникая в стихи Мирошниченко лирическим взором, читатель попадает в условный мир, где много вещей вполне зримых и знакомых, но они ведут себя не обыденно, привычно, а по смыслу и облику их действий как-то сокровенно, значимо.

Среди всех иных тем стихи о русском человеке занимают в поэзии Надежды Мирошниченко особое место. Подчас его черты автор показывает сурово, но говорит о том всегда с сожалением и ни разу — с однозначным осуждением пороков и недостатков. Негатив даётся как слабость, как свойство характера, во многом — как следствие мягкости, сердечности. Читая строки Надежды Мирошниченко, ты оказываешься окутан глубинной её нежностью к русскому человеку. В роковые мгновения он отодвигает в сторону свои изъяны, как бы забывает о них и становится однозначным воителем за высокие идеалы, полноте которых, быть может, в минуты своего забвения или дрёмы и не совсем соответствует. Поэтесса чувствует неоднозначность такого образа, однако в душе у неё берут верх благодарность и восхищение русским человеком, русским миром. Именно потому перед нами — подлинно национальный автор, умный, пронизательный, обладающий острым зрением и внимательный к деталям.

Он, конечно, невыгоден, этот характер невиданный
Прежде всех самому, да такой уж случился народ.
Ну, а я расцветаю, как будто девица на выданье,
То ли песню услышу, то ль в русский войду хоровод.

Пропадёт моя Русь, так никто на земле и не выстоит.
Нету русским начала и, видно, не будет конца.
И какой басурманишка в белую лебедь ни выстрелит,
Всё вернётся стрела и убьёт самого же стрельца.

Что вы, чёрные вороны, по полю чёрному рыщете?
Что вы, чёрные вороны, наши считаете дни?
Нет, другого такого народа на свете не сыщете.
Мы не лучше, не хуже. Мы просто такие одни.

6

Поэтическая строка Мирошниченко не отличается сложностью содержания. Сложна композиция сюжета, устройство стихотворного “тела”. С одной стороны, это говорит о промежуточных смыслах, которые укладываются в целостное здание, а с другой — о динамике психологического состояния автора, его движения от предыдущего утверждения или наблюдения к последующему. Такое душевное перемещение в соответствии с линией развития стихотворения позволяет открыться читателю, вызвать его доверие и чувство сопричастности сказанному. Поэтесса проговаривает все важные для неё вещи и в результате обретает единомышленников.

У Надежды Мирошниченко есть замечательное свойство — совмещать действительное с чудесным. И краткая лирическая канва житейских, исторических или биографических отсылок неожиданно обретает волшебную полноту, которой нет у простого ряда событийных вех. Способность делать реальное надреальным даёт возможность автору показывать бытийную изнанку привычного материального мира.

К нему ходили звёзды на свидание
И прилетали птицы подкормиться.
Он сокращал любые расстояния,
В уме сближая времена и лица.

А по ночам, дыханья не нарушив,
К нему слетались ангелы и пели,
Глядели в его искреннюю душу
И чистой сохранить её хотели.

Олицетворение в контексте стихотворений Надежды Мирошниченко играет чрезвычайную роль: картина, которую пересказывает автор, оживает, за ней — другая, третья... Наконец, пространство сюжета наполняется действующими лицами, оно искрится и живёт уже собственной жизнью. Здесь есть отзвук старого поверья о том, что всё вокруг нас — живое. Это чувство и его переживание берёт начало в дохристианском родовом времени, когда человек был близок природе и взаимно участвовал в её метаморфозах. Или в глубинной памяти о райском, до грехопадения, единении человека и прочего тварного мира.

Подобное наблюдение лишней раз подтверждает почти на поверхности лежащую мысль, что автор — человек русский и родовой, но и человек одновременно христианской нравственности. То есть художник, вобравший в себя прошлое во всех его лучших воплощениях.

Воды перебрались в небеса,
Дождикам теперь не перестать.
То-то рада юная листва:
Будет чем плескаться и блистать.

Мирошниченко умеет умозрительное перевести в осязаемое и плотное. Интуитивно овеществляя отвлечённые слова, она делает сюжет житейски узнаваемым. У неё почти нет знаков, подразумеваний, иносказаний. Многие предметы, большие и малые, она называет, как бы обозначая их, но наглядно не изображая. А порой связывает их с другими – очевидными и привычными.

Поэтесса стремится увидеть в человеке сокровенную красоту и лишь отметить некоторые внешние его черты. Именно потому в её лирических сюжетах так много внимания уделено личностным взаимоотношениям: между человеком и временем, обществом; между человеком – и его соратниками, призванием; между русским человеком – и его антагонистами, чужим племенем... Человек может быть внешне привлекателен и в своих повадках довольно интересен, но внутренне некрасив.

И всё же помимо индивидуальных деталей в стихах Мирошниченко мы находим главные свойства нашего современника, не растерявшего изначально простоту души и свою принадлежность ко всему русскому. Горячая искренность, детскость, наивность, стремление к единству – вот самые общие приметы его характера, которые автор именуется вполне отчетливо как СВОЁ. И в какой-то степени институализирует эту характеристику, считая её наиважнейшей для России.

Эта жажда разговора со своим,
Это детское братанье — навсегда...
И наивное: “Потом договорим”, —
А потом и не бывает никогда.
Это вечное желание моё —
Всех собрать и воедино, и навек...
Это то, что называется своё,
По чему тоскует русский человек.

Оттенки душевного устройства русского человека определяют многое на Руси. Для поэта их точное изображение – задача не только художественная, но и интеллектуальная, требующая особой проницательности. Притом Надежда Мирошниченко распространяет определение “свои” также и на литературу, включая в его смысловое поле творческое подвижничество, отсутствие корысти и тщеславия. Не предлагая делить литературное сообщество на близких и далёких (и тем самым расщеплять культурное пространство отечественной словесности), она называет для себя имена, к которым относится с нежностью и интересом, ожидая от них новых свершений и открытий.

Путь в литературу сложен и тернист, на этой дороге можно легко растерять все самые похвальные качества, однажды проснувшиеся в юном художнике. Тем более что творческая среда, как известно, напитана ревностью и эгоцентризмом. Поэтому особой бережности требует дар, сохранивший себя несмотря ни на что.

Я к вам пришла не девочкой, а песней,
Я песнями хотела вас согреть.
Я их брала у городских предместий,
Ещё не зная, где возьму их впредь.
Я вам казалась фишкой и подставой.
Не знали вы, где я беру слова
О доблести. О подвигах. О славе,
А я у отчей правды их брала.
Я к вам пришла на русскую дорогу,
Не отыскав прекраснее пути.
И вы со мной смирились понемногу.
Я про себя сказала: слава Богу!
Мне больше было некуда идти.
И всё срослось. И что теперь мне, кроме
Как песни петь да к Истине идти...
То и беда, что русским в русском доме

Себя сегодня можно не найти.
Но знаю я — не переменишь сердца.
И мать нельзя на мачеху менять.
Я к вам пришла, поскольку знала с детства,
Что ты мне, Русь, — не мачеха, а мать.

Надежда Мирошниченко — странная поэтесса. В её стихах чувство и мысль тесно переплетены, и это даёт возможность её лирике быть точной в словах и зоркой в наблюдениях. В центре её поэзии — “умное сердце”, которое позволяет автору быть не только свидетелем противоречивой эпохи, но и долгожданным собеседником каждого русского человека.

ЕЛЕНА КРЮКОВА

ПЕСНЯ В ПУТИ

О книге Анатолия Аврутина “Временная вечность”

Поэт напрямую работает с Временем.

Время – загадочная категория. Ещё ни один философ не объяснил нам, что оно такое. Художник не только живёт во времени – он пишет его, постоянно, бесконечно. Один из трагических вопросов бытия – кто мы такие и почему мы, всяк в свой Богом назначенный черёд, покинем подлунный Мирь.

Время жизни у каждого своё. Оно у всех ассоциируется с судьбой; хотя что такое судьба, тоже тайна. Совокупность жизненных событий? Их бесповоротность, единственность? Врождённый дар, приобретённые страдания и радости? Судьба – узор Времени; оно ткёт его прямо по нашей обнажённой жизни, и наше бьющееся сердце слышит Бог, и мы пытаемся услышать ход времён, ибо поэт неустанно поёт свою песню в этой дороге, в пути, параллельном течению Времени.

“ВРЕМЕННАЯ ВЕЧНОСТЬ” – само название книги поэта Анатолия Аврутина – апория. И она говорит о многом. Как парадоксально смешение жизни и смерти, так же необъяснимо рождение песни. Песня – вне закона, вне приказа; это апология свободы, и поэт, создавая стихотворение, всегда звучит здесь и сейчас, для него нет старости, нет бесповоротности реки Времени; он слишком ясно, ярко и живо чувствует подлинную вечность, ведь она таится, хранится в строках стихов.

Или реет живительным воздухом над стихотворением, обнимая его, лаская...

<...> И в молчанье метелицы белой —
Злой предвестницы чёрных разлук —
Всё мне чудится звук оробелый,
Из молчанья родившийся звук.
Он растёт, согревая неволью
На исходе пропадающего дня...
Может, это набат колокольный?
Может, это хватились меня?

Прощанье есть прощенье. “Из молчанья родившийся звук” свободно пронизывает собою века, десятилетия, дни, часы. И вдруг изумляешься, догадываешься: для истинного художника времени – нет! Он – вне времени! Хотя и находится в нём, внутри него; нам не вырваться из оков трёхмерного мира, нашей любимой жизни; пусть муки и ужас, они прейдут, а жизнь

останется, и останется её радость; воспоминания смешиваются в сердце с сиюминутными впечатлениями, давние привязанности соперничают с сегодняшней любовью, и болят старые раны, но вечна, бессмертна любовь к Родине, и сияет в ночи над полем и лесом единственная, родная звезда.

<...> Но остался твой свет... Только в горечь одет,
Век летит... И горьки мои воспоминанья.
Столько прожито лет!.. Скрип калитки в ответ.
Человек — это всё ж единица страданья.

Где-то колокол бьёт... Милый голос поёт.
Выпью чарку вина... Прошепчу тебе что-то.
Будет голос с высот звать в последний полёт...
Человек — это всё ж единица полёта.

Годы, годы... Иногда они превращаются в груз. А иной раз это и вправду лёгкие, ангельские крылья за плечами. Анатолий Аврутин смел, он не боится неизбежного, он горячо любит и помнит, и его стихи в совокупности — это многоликое ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ всему сущему: Мiру, родной земле, любимой женщине, детям, друзьям, близким и далёким, и, что самое удивительное и драгоценное, своему времени; понять, принять и полюбить, а не отвергнуть и проклясть порою сложное и тяжёлое время, в котором ты живёшь, — это и мужество, и благородство, и пламя сердца, и предельная честность и искренность — перед самим собой, людьми и Богом.

Узколицая тень всё металась по стареньким сходям,
И мерцал виновато давно догоревший костёр...
А поближе к полуночи вышел отец мой в исподнем,
К безразличному небу худые ладони простёр.

И чего он хотел?.. Лишь ступнёй необутой примятый,
Побуревший листочек всё рвался лететь в никуда.
И ржавела трава... И клубился туман возле хаты...
Да в озябшем колодце звезду поглотила вода. (...)

Искренность... Вот безусловный дар. Без доверия Мiру нет искусства. Все мы в искусстве идём на ясный свет исповеди, пылающей исповедальности. Наша, русская песня такова: в ней боль и горечь, огонь и покой, беспредельность распахнутых небес и удары обречённого сердца... Стихи, тем более песня: чем больше в них гармонии, внутренней грации, тем естественней они поются, ложась на смыслы, оставаясь навеки в памяти.

Это значит — в любви.

<...> Я со снегом шептался,
Мне казалось, что он
Только в мире остался —
Ни людей, ни времён.

Хлопья рот забивали
И горчили слегка.
Комья белой печали
Всё сжимала рука.

Я шептался со снегом,
Я доверил ему,
Что спасаюсь побегом
В эту белую тьму. <...>

А какая погружённость в природу... Какое растворение в ней, очеловеченной, всё чувствующей и в то же время ангельской, горней: снег — явление горнего Мiра, обезоруживающее нас предвечной чистотой, святою белизной... Человек входит в белое царство снега, и его пелена ласково,

защитой от беды, накрывает его, и летящие с небес снежинки благословляют его, утешают, дарят покой — ему, беспокойному, трагическому, мятущемуся, хоть на минуту, на миг... Снег на Руси, в Беларуси — всё снег: он падает, летит по ветру, он овеществленное заклинание, нежная молитва природы о чистоте и красоте.

Чистота и красота — вечные начала. Есть ли в их распоряжении наше время? То, что им подвластна сама вечность, бесспорно. А поэт живёт своею жизнью, и течёт его невозвратимое время, и он вечен, пока движется, горит и вспыхивает его сокровенная судьба — его поэзия.

Так родина, природа, душа и поэзия у Анатолия Аврутина соединяются. Обнимаются.

Эти светлые названия
Белорусской стороны...
Белизною, белой ранью,
Все Бельнички полны.

Пахнут смолю Смолевичи,
Сеном — древнее Сенно,
В Брагине, под гомон птичий,
Браги выпить не грешно.

Славны Житковичи житом
И ложатся на прокос
Травы, росами омыты,
Где стремится в Неман Россь. <...>

Сколько любви!.. Да разве любовь считают... Родная Беларусь в стихах Анатолия Аврутина — абсолютно священная, сакральная земля, где от древности до нынешнего дня — расстояние протянутой руки, один шаг. А то и расстояния никакого нет: прошлое и настоящее, забытое и запомненное навсегда сливаются, и этот синтез не словесный, хотя чувство здесь выражено точнее найденными словами; это единство изначальное, так зачинается и рождается младенец, так летит, вольно парит птица в небесах.

И внутри этой волшебной точки кровавой, кровной концентрацией поэтических образов — память войны, боль детей, слёзы матерей, последний шёпот солдат...

Полное право имеет поэт петь от имени погибшего солдата. Поэт — живая мембрана, дрожащая на ветру времени. Он песней преодолевает время и благословляет незабвенный подвиг.

Я на фронт уходил —
Земляницей дышали поляны.
Думал, что ворочусь
Через месяц, ну, пусть
Через год.
Как же имя моё?
Столько лет я лежу
Безымянный,
В головах у меня
Лишь одна земляника растёт.

<...> Мама, если жива,
В праздник тихо отходит в сторонку.
А гвоздики несут
Тем, кто лёг под шершавый гранит.
На меня не пришла,
На меня не пришла
Похоронка,
Значит, в то, что вернусь,
Мама вправе надежду хранить.

Если домик наш цел,
Он, наверно, совсем покосился.
В нём хозяина нет,
Только в этом моя ли вина?
Мне бы только узнать,
Кто из наших домой воротился
И в каком же году
Всё ж закончилась
Эта война?..

Не даёт нам всем война покоя. Уже много лет... Не уходит от нас. Беларусь — военная земля-страдалица. Сердца потомков-белорусов войною опалены, наши голоса сливаются с голосами погибших героев. И это в стихах дерзкое переселение душ, это отождествление себя с безымянным солдатом и попытка оживить, вынуть из небытия хотя бы одного павшего за Родину, и попытка оставить неизвестного героя в памяти тех, кто придёт на нашу землю позже, потом...

Над такими стихами плачут. Такими стихами клянутся.
Таким стихам — кланяются.

И опять — этот мерный, неуклонный, неотвратимый ход. Ход неизбывных и таких родных времён.

НАШЕГО времени. НАШИХ кровных мук и праздников.
НАШЕГО и только нашего — неповторимого, невозвратимого — счастья...

<...> Всё уйдёт, как вечернее солнце над клёном,
Как сосулька на позднем изломе зимы,
Как сиянье на Божьем челе просветлённом,
Что четыре столетья тревожит умы...

Всё уйдёт, как уходят аккорды и звуки,
Но под модный мотив, что опять завели,
Позабыв обо всём, чуть прозрачные руки
На уже чуть прозрачные плечи легли...

Анатолий Аврутин — трагический поэт. Очень сильно и высоко он чувствует трагедию жизни — и так же сильно и высоко, ее изображая, преодолевает. Его поэтика прозрачна и песенна ровно настолько, чтобы этой простотой покорить народ, и в то же время внутренне многослойна, образно насыщена, она не боится горечи, не боится разрушенья и огня, не страшится лезвия, предательства, обмана. Мужественный человек преодолеет все. Главное — не останавливаться, идти вперёд.

Завершив конечный путь земной,
Тихо растворившись в мирозданье,
Мы, родная, встретимся с тобой
По другую сторону дыханья.

И услышим снова голоса
Тех людей, что мы недолюбили.
Вновь гвоздика вспыхнет в волосах
Под свеченье яблоневого пыли.

Бренность жизни вечностью поправ,
Для которой жизнь — не расстоянье,
Осознаешь — прав ты иль не прав, —
По другую сторону дыханья. <...>

И, когда в финале книги вдруг появляются переводы-переложения из античной поэзии, их воспринимаешь в контексте обращений поэта к вечности — жизни — смерти так естественно, что мгновенно стирается острая грань между временами — нашим и безумно далёким, подобным осколкам

разбитой архаической амфоры, — и эта греческая грация, это изящество, эта живая неудержная страсть, когда от накала чистого Эроса, кажется, дымятся нагие тела возлюбленных, когда мы слышим голос Сапфо, распахивают перед нами двери Забытого, и мы с изумлением обнаруживаем, что мы всё помним...

<...> Там луговина анисом дышит...
По аромату хмельного луга,
По колокольцам и медунице
Шагает стадо.

Там все пиры для тебя, Киприда.
Нектар небесный — богов напиток —
Разлить по чашкам рукою нежной
Лишь ты достойна.

И тут же — рядом с греками и римлянами — Эрнест Хемингуэй, Янка Купала, Максим Богданович, Расул Гамзатов, Федерико Гарсиа Лорка, Микеланджело Буонарроти, Пьер Ронсар, Гийом Аполлинер, Шарль Бодлер, Артюр Рембо, Басё...

О, сколько же в поле их!
Уменье цвести по-своему —
Великий подвиг цветка.

* * *

Великий подвиг поэта — петь. Один-единственный на всю судьбу подвиг.

Дай, Господи, это счастье на весь размах суждённой жизни, на всю ширь творческого окоёма поэту Анатолию Аврутину. Он бесконечно, щедро звучит музыкой высокой человечности. Он превращает добро в красоту. И он, вот уже пятьдесят лет на благословенном белом свете, дарит свои песни, нежные, печальные и гордые стихи свои, до краёв полные чистейшей искренностью и правдой чувства, нам, его современникам; и, конечно же, потомкам, что ждут этой красоты там, далеко, за горами всевластного Времени...

А мы, мы думаем о них и ждём их...

Так соединяются времена.

АНДРЕЙ РАСТОРГУЕВ

ВЫЗОВ ЛИМИТРОФОВ

Трахимёнок С. А. Сын Президента: роман. — М.: Роман-газета, 2020, № 2.
Трахимёнок С. А. Время лимитрофов: роман. — М.: Вече, 2021.

От самой России зависит, примкнут ли к ней осколки СССР, убеждает своей политической дилогией минский прозаик Сергей Трахимёнок.

Если по большому коммерческому счёту, то ни одной из этих книг издание не светило. Об этом почти прямо говорит автор в начале второго романа, когда его главный герой Савва Чингизов на пробу сам начинает писать детектив для одного из минских издательств. “Савва пришёл домой и сразу же начал писать то, что задумал. Он решил не мудрствовать лукаво и описать работу группы политтехнологов в экзотической стране Елактау <...> начал с прилёта политтехнолога по фамилии Доморацкий из Москвы <...> на выборы президента...”

Менеджер в издательстве отказался передавать набросок маркетологу — мол, сразу понятно, что рыночного успеха иметь не будет. “Убийство одного из персонажей... должно быть в первой главе, а лучше всего — на первой странице...” Ведь “мы говорим об издательских проектах, которые имеют цель продать книгу, а не читать книгу...”

Убийство в первой книге — того самого московского гостя — всё-таки имеется. И способность причудливо закручивать сюжет Сергей Трахимёнок в своих предыдущих романах не раз проявлял. Да и здесь герой то возносится из грязи в князи, то слетает с олимпийских вершин за тюремную решётку. Однако в сердцевине нынешней дилогии — отнюдь не экшн, подобный голливудскому. Стержнем первой книги становятся перипетии политической эволюции президента одного из азиатских осколков СССР. Во второй — иногда, на первый взгляд, странные обстоятельства недавней очередной избирательной кампании в одной из европейских стран — бывшем обломке Союза — и сама история её возникновения, которую полярно трактуют сторонники разных воззрений на прошлое, настоящее и желаемое будущее.

В общем, не для расслабленного и развлекающегося, а больше для желающего работать головой читателя, вопреки наставления того же издательского менеджера, что “... цель книги — не актуальности и попытка чего-то там разьяснить читателю, а продать её... Круг читателей такого текста не так велик, <...> и продажи будут небольшими...” Что, собственно, подтверждают тиражи. Даже у “Роман-газеты”, во втором номере которой за 2020 год был опубликован “Сын президента”, он сегодня невелик, а в Минске под заглавием “Когда хвост виляет собакой” книга была издана в количестве всего 300 экземпляров. Вторая же, “Время лимитрофов”, вышла в 2021 году в московском “Вече” тысячным тиражом, в Минске не выходила вообще.

Понятно, что задача и материал, за которые взялся автор, весьма ограничивали его выдумку. В первом случае, возможно, было попроще — всё-таки действие как минимум начинается 26 лет назад, и восточный берег Каспия

далековат. Так миру явилось уж точно не существующее – как минимум пока – на постсоветском пространстве небольшое государство Елактау. Русский перевод его имени – Белогорье, напоминающее как о нашем фольклоре, так и о свежей киносказке “Последний богатырь”.

Однако во втором случае место и время оказались настолько близки, что текст пришлось сразу предварить заявлением: “. . . государства Елактау и Белорусь к Казахстану и Беларуси никакого отношения не имеют и существуют лишь в голове автора, так же, как и люди, их населяющие. . .” Поверить чему всё последующее изложение, – во всяком случае, касающееся Беларуси, – отнюдь не позволяет. Может, потому вторая книга в Минске и не издавалась.

Чувствуется, что сам будучи по жизни – как-никак, доктор юридических наук и профессор с опытом работы в спецслужбах – аналитиком, Сергей Трахимёнок сосредоточивается на весьма знакомой ему деятельности. Да и мой собственный опыт 90-х напоминает: политтехнологи действительно вышли из стогов поколения кружка методологов Георгия Щедровицкого, которые не только философствовали по поводу человеческой деятельности, но и “брали заказы на решение управленческих задач в рамках игр и мозгового штурма”.

К этому кружку в своё время, учась на философском факультете МГУ, приобщился и Савва Чингизов, в 1994 году взявшийся помогать на выборах президента Елактау своему отцу – директору одного из крупных промышленных предприятий. Православное имя и азиатская, хотя и русифицированная фамилия сочетаются не случайно: Савва – сын приёмный, взят из детдома. Эта особенность, безусловно, добавляет описанию его взаимоотношений с отцом-казахом, а потом и президентом некоторую горчинку. Однако эта же особенность, видимо, обеспечивает ему как понимание национальных особенностей Белогорья, так и необходимую отстранённость от них. Вплоть до возможности размышлять о гипотетической национальной идее для государства, которое вроде бы и возникло по случаю, не имея для этого никаких исторических оснований.

Перипетии избирательных кампаний, за иными из коих мог наблюдать я сам, дают немало поводов и для размышлений о человеческой природе, сути политики и власти. Одни, также вполне знакомые и типичные, действия участников таких кампаний автор описывает, другие приоткрывает – как, например, в одном из разговоров Чингизова-старшего со своим выросшим приёмным: “Пока ты занимался технологиями пропагандистскими, мне пришлось вести переговоры с бандитами, наркодельцами, представителями диаспор и даже с моим тогдашним конкурентом. . .” В конечном итоге, то самое убийство московского политтехнолога, пусть и ставшее трагической случайностью, тоже оказывается связано с политической игрой.

Вполне узнаваема и обстановка вокруг будущего победителя накануне дня голосования: “. . . группа поддержки перебралась в офис кандидата. И здесь начались чудеса. Группа постоянно находилась в офисе, но её словно не замечали. Вокруг Чингизова-старшего уже образовалось окружение, которое весьма ревниво следило, чтобы никто другой не имел доступа к телу кандидата. . .”

Изображённое во второй книге послевыборное “кидалово”, когда тех или иных участников избирательных кампаний оставляют без обещанных гонораров, – тоже вполне жизненная ситуация. А если бы автор со всем своим умением добавил в общую картину детали из области “чёрного пиара”, на которых, – правда, с чуть более позднего времени – до сих пор специализируются некоторые российские политтехнологи, повествование стало бы ещё более занимательным.

Однако Восток, как известно, – дело тонкое. Там уместны отнюдь не все вольности, которые по-прежнему сходят с рук в, казалось бы, жёстко авторитарной России. И на востоке Запада, где располагается вроде бы придуманная Трахимёнком Белорусь, – тоже. В применении к ним политтехнологический беспредел, включённый в текст для “оживляжа”, вряд ли выглядел бы правдиво.

Кроме того, сверхзадача автора явно побуждала его наполнить описание не только конкретными сюжетными поворотами, но и осмыслением относительно общих представлений о человеческом обществе в целом и современном мире в частности. В том числе в тех его частях за пределами России, которые уже четвёртый десяток лет пытаются жить самостоятельно.

Отсюда и диалоги на вполне правдоподобных семинарах, которые устраивают по утрам в своём офисе политтехнологи, и разговоры Саввы с Чингизовым-старшим и другими персонажами. Чтобы вникнуть в их содержание,

опять же требуется некоторое усилие. Но, вникая, можно ощутить эстетическое наслаждение от изящества идеи, которая приходит в голову Савве, когда он размышляет над проблемой стареющего отца.

Даже с учётом оговорки автора, что Елактау не имеет ничего общего с Казахстаном, можно увидеть, что Чингизов-старший в конце концов приходит к тому, с чем, очевидно, столкнулся Нурсултан Назарбаев: "... ты начал понимать, что ты не вечен и нужно что-то сделать, чтобы при твоём уходе из политики или в мир иной о тебе осталась хорошая память и эта память отчасти сохранила бы жизнь твоему окружению, клану, семье..."

Что делать в этой ситуации, Савва понимает и отвечает отцу: "Создать тебе памятник, за которым бы все видели твои дела во благо народа..." Но какой именно памятник? Как мы видели уже и на своём веку, звание "Отец нации" можно отобрать, статую снести, родственников погнать с должностей, переименованному городу вернуть прежнее название.

Савва решает и делает так, чтобы границы Елактау повторили очертания лица её первого президента на старом рисунке, который со временем стал популярен не менее, чем известный портрет Че Гевары. Границы-то назад не поменяешь...

Действие диалогии, однако, продолжается и вместе с главным героем перемещается в Минск, который является столицей как вроде бы придуманной автором Беларуси, так и настоящей Республики Беларусь. И фамилии участников здешней избирательной кампании, которая едва не закончилась очередной "цветной" революцией, осуществлённой по стандартным методичкам, очень уж напоминают реальные. Только президент именуется не по фамилии, а по определению – Действующий.

Впрочем, в кампанию Савва Чингизов ввязывается отнюдь не сразу. Да, собственно, и ввязавшись, он дистанцируется от её главных участников, ибо роль аналитика требует определённого отдаления. Прежде всего, однако, Савва по предложению своего коллеги – с детективом не вышло, а к любовным романам или книгам прикладного характера душа не лежит, – примеривается к документальной книге о Беларуси. И пытается разобраться в её истории, которая определяет нынешнее состояние общества и удивительным образом совпадает с историей опять же реальной бывшей советской республики.

Сюжет на этом этапе развивается отнюдь не стремительно и довольно неприхотливо. Скорее, он переходит в сюжет самой истории, где читатель, который до сих пор бережёт в своём сознании стереотипы советского времени, может увидеть причины той двойственности, что нередко проявляется в современной белорусской политике. И изрядно дополнить свои представления, которые ранее обрывались многоточием школьного учебника. Отнюдь не потому, что возможное продолжение противоречило прежним клише. Просто оно показывало более глубокую подоплёку разных противостояний, в том числе национальную и религиозную.

В избирательной же кампании Действующего, за которой и за последствиями которой иные из нас в 2020 году по понятным причинам следили издали и отрывочно, Савва внезапно обнаруживает странные особенности. "Ему показалось, что все высказывания Действующего, зафиксированные в бумажных и прочих СМИ, – фактическая подстава Действующего его окружением... Действующий проигрывает войну не только в компе, но и в телевизоре. И я до сих пор не могу понять: это непрофессионализм телевизионщиков или скрытая дискредитация..."

Ищет он и объяснение "ползучей контрреволюции", которая развивается, прежде всего, в культурной сфере: "Все говорят о русификации, но на практике получается всё наоборот. Улицы – только по-белорусски, населённые пункты – тоже, памятники – тем, кто когда-то в девятнадцатом веке резал православных священников и крестьян..."

Причина – в ослаблении власти: "... Режим теряет легитимность... Стала неопределённой идеология... Мифы и символы режима поблekli..." В этой шаткости появилась идея получить поддержку от "свядомых", как в обоих государствах – придуманном и реальном – называют националистов. И, "надеясь на некое невербальное соглашение его окружения со свядомыми", Действующий упустил ситуацию.

С каким напряжением сил удалось тогда восстановить статус-кво в настоящей Беларуси, следившие за ситуацией, а тем более участники тех событий

помнят. В придуманной же Белоруси герой проследить за нею не смог: как и в первой книге диалогии (тут автор, похоже, опять дал волю своему уменю вести и кольцевать сюжет), снова был обвинён в подготовке государственно-го переворота. Хотя и тут отделался отнюдь не тяжко — высылкой в Белогорье. Всё-таки сын президента суверенного государства...

Так и получается, что на фоне то ускоряющегося, то притормаживающего своё развитие хода событий диалогию соединяют не только несколько главных и второстепенных героев. Параллельным стержнем обоих романов становится стремление автора и его (отчасти) альтер-эго осмыслить и проговорить причины, последствия и возможные перспективы тех действий, к которым в определённых обстоятельствах неизбежно будут прибегать главы государств-лимитрофов, образованных вокруг России.

В устах некоторых отечественных телекомментаторов само это слово “лимитроф” в последнее время стало чуть ли не ругательным. Изначально же, напоминает Трахимёнок, латинское “limitrophus” означает “пограничный”. Находясь на культурном, цивилизационном пограничье, самостоятельно осколки бывшего СССР обеспечить свою стабильность не в состоянии. Вот и покачиваются из стороны в сторону между центрами силы, говоря про свою многовекторность.

А ещё это слово Савва Чингизов применяет к конкретным людям, которые, застряв на умственном пограничье, не могут определить собственную сторону. Такое состояние именуется амбивалентностью. Звучит неплохо, академично, если не помнить, что это разновидность шизофрении.

Такие качели лимитрофов, как говорит устами своих героев автор, — не что иное, как вызов России: “... слабость элит в постсоветских государствах, большая часть которых утонула в этническом национализме, борьбе за власть, осуществлении различных схем личного обогащения, в заведомо проигрышных политических играх с Западом и Россией по принципу “доения двух маток”, — это следствие слабости России, её политического класса, большая часть которого сама погрязла “в мелких схемах личного и корпоративного обогащения”.

“Отсутствие на общегосударственном уровне ясно сформулированной собственной национальной идеи и, как следствие, ясных внешнеполитических целей порождает слабость и конъюнктурность политики в отношении соседей, мешает согласовать внешние интересы государства, общества, бизнеса и личности. А между тем у многих государств СНГ все эти годы существует и отчасти продолжает существовать потребность именно в интеграционном объединении, а не в “союзе глав государств”. Но чем больше проходит времени, тем дальше инертность Москвы выталкивает эти страны в орбиту чужого для России влияния...”

В таком, вырванном из контекста виде это, конечно, публицистика. Однако в самой диалогии — часть серьёзного разговора, который ведут между собой серьёзные люди, каждый из которых на своём собственном пограничье вынужден принимать осознанные и вполне определённые решения. Хотя, конечно, ту же многовекторность Савва прямо именуется проституцией, напоминающая: “Есть русло геополитики или даже цивилизационной политики, и из него объективно нельзя выбраться...”

“— Если Россия правильно ориентируется в ситуации и будет выстраивать свою политику сообразно её роли в мире... успокоятся и лимитрофы...” — уверен Сергей Бусловецкий, один из героев второго романа. Уверенность, которую, возможно, разделят и многие из нас. Обратим, однако, внимание: даже он — русский, который после армейской службы остался в Белоруси и одно время даже водился с белорусскими националистами, а потом, уличив их во лжи, разошёлся с ними, — не является российским гражданином.

Вообще — в этой диалогии, которая написана и издана по-русски, среди героев, которые говорят между собой по-русски, нет ни одного россиянина. И сам автор, Сергей Трахимёнок, родившийся в Сибири и переехавший в Минск только в 1990 году, — как минимум формально не российский писатель. И получается: вопрос, сможет ли Россия быть настолько сильной, чтобы лимитрофы качнулись в её сторону, граждане этих самых лимитрофов и задают. Не посторонние, но со стороны. Лично я ничего подобного в русской литературе, если считать таковой написанную по-русски, ранее не встречал.

Нас, россиян, спрашивают. Что ответим?

ЯНА КОЛЕСИНСКАЯ

СТИХИ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ

Юрий Татаренко: “Отремонтированный снег”, “Плыл февраль”, “Репка Баскервилей”, 2023. Москва, Уфа, Новосибирск.

У человека разносторонне одаренного таланты чаще всего не равновелики – какой-то из них всё же главный. Юрий Татаренко един в нескольких ипостасях: актёр (театральное училище), вокалист (консерватория), переводчик (французская спецшкола, иркутский иняз, литературные семинары), драматург (ученический, творческий и жизненный опыт), журналист (народные университеты). Но прежде всего он поэт.

Как однажды заметил Захар Прилепин, “если поэт начинает бытом интересоваться – конец поэту”. Поэт Татаренко дожил до полтинника, а конца-края не видно. Заботиться о быте для него так же непереносимо, как ходить каждый день на работу в офис. Его образ жизни вопиюще поэтичен и мог бы сойти за образец: во времена Бродского он был бы осуждён за тунеядство. Но во все времена есть суд другого порядка:

Ты поэт, а значит, осуждён
На стихи без права переписки.

Трудовую книжку поэт Татаренко держит в тумбочке, парадного костюма не имеет, семьёй не обременён, *старость его дома не застанет*. Литературные фестивали, творческие лаборатории, поэтические турниры, писательские резиденции, марафоны, семинары, мастер-классы, слэмы, батлы и битвы, публикации и презентации по всей стране – его стихи, его стихия. Не этой ли атмосферой навеян самый короткий из его “Дребеденчиков” (так называлась первая книга иронических стихов 2004 года): *“Не тусил – / Но нету сил”?*

Питает его и местная среда, в которой лидируют поэты среднего и старшего поколения – Сергей Самойленко, Владимир Светлосанов, Станислав Михайлов, Борис Гриндберг, Антон Метельков, Андрей Жданов, Владимир Берязев, Юлия Пивоварова. Среди них путешественник Юрий Татаренко самый выездной.

Сплошные вагоны, станции, буфеты, отбивные котлеты, разговоры – только давно уже не вослед за актрисой, а один, сам по себе, свободный, как чайка в полёте. Как строчки в полёте или чаще всего под стук колес, который отзывается пульсом в висках, задавая определённый ритм, – и стихотворный, что складывается в зависимости от внешних метрономов, и созидательный, когда пишется и пишется стих за стихом, стих за стихом. С небольшим перерывом на сон и еду.

Обычное дело: поэт Татаренко, кем овладело беспокойство, охота к перемене мест, за два месяца проехал на поезде маршрут от Мурманска до Читы, о(т)хватив 20 городов – Казань, Липецк, Махачкала, Самара, Феодосия, Уфа, Братск, Иркутск, далее по списку. Уже и шутка про него улетела в народ: “Пушкин – наше всё, а Татаренко – наше везде!”. В его стихах постоянно упоминаются города, посёлки, реки, горы, их отличительные признаки и характерные особенности. “Коктебельский монолог”, например, построен из осколков острых наблюдений за окружающей средой, насквозь прокалённой южным солнцем. Он сохранил эффект пляжной неги, хотя написан был не по горячим следам на песке, а в вагоне-ресторане поезда дальнего следования:

Волнам было не фиг делать — вот и бились о металл.
Пятница. +29. Август високосным стал.

Кочевое пространство поезда определило ритм пятистопного дактиля, подсказало интонацию устремлённого к новым впечатлениям пассажира, отравило привет бродягам из “Леса” Островского – братьям по духу и ремеслу, курсировавшим из Керчи в Вологду:

Самое главное в людях и снах — оболочка.
Вологду всё-таки не отличить от Керчи.
Не прислоняться. Ни к небу, ни к гению. Точка.
Двери вагона метро тоже в список включи.

Мотив дороги у поэта Татаренко – не просто перемещение из пункта А в пункт Б, но образ жизни, не позволяющий долгих стоянок, а значит, привязанностей к кому/чему-либо. Категория движения вбирает в себя смыслы самые разнообразные, в силу дуализма мира часто противоположные: движение как условие полноценного развития и движение как причина всего недолговечного.

И промчатся стихи —
С ветерком, по любимой дороге:
Мимо пыльной пыли
До полуживой пылины.

При всём географическом размахе его поэзии особое место на его карте мира занимает родная Сибирь, где удаётся отсидеться месяц-другой, выровнять сбившееся дыхание. Оптика поэта Татаренко сфокусирована на волнах Обского моря и его окрестностях, вдохновляющих на новые образы. Академгородок с детства окружал и окруживал лесом: “Отважно сосны охраняют / Обского моря побережье”. В бердском санатории “Крона” плодотворной оказалась писательская резиденция АСПИ: “И море старается впитывать солнце, / Пока облакам это не надоест”. Причём подлежащим здесь может выступать как море, так и солнце, их можно поменять местами, ведь они равновелики и впитывают друг друга.

Он не откажет себе в удовольствии тонких намёков на обстоятельства местного климата, в которых новосибирцы расшифруют обречённость неухоженного города на сезонные катаклизмы: “Зиму мы перезимуем, а весну – перетерпи”. В природных мотивах тему ведут элегические ноты, ведь размышления о бытии вообще грустны, а природное пространство обитания лучше всего подходит для рефлексии. Но вместе с тем природа – это самая гармоничная часть мира, его оправдание и его спасение. Прибегая к олицетворению и персонификации, поэт Татаренко одухотворяет пейзаж, наделяет подвижной душой волны, камни, деревья, облака. Строгий мужской взгляд отмечает, что “небо выбрито до синевы”, а “от моторки безбашенной / волны спасаются бегством”. Поэт рассматривает природу как личного целителя, сливается с ней, ищет и находит в ней созвучие своему внутреннему состоянию, своему пониманию того, что “поэзия – пульс тишины”.

Иной раз лирический герой замолкает и замирает, чтобы в медитативном состоянии услышать невидимое и увидеть неслышимое. И тогда для выражения интимного переживания находят совсем простые выразительные средства.

Повтор существительных в “Сумерках” передаёт остановку посреди вечной гонки, умиротворение души, воспаряющей над мирской суетой и летящей к порогу вечности:

Песок остынет. Стихнет ветер.
Исчезнут вопли, войны, ворды.
И только вечер, вечер, вечер.
И только волны, волны, волны.

Быстрых и коротких штрихов поэту Татаренко достаточно, чтобы в малой форме сказать о многом. Ему свойственно не столько таинственное молчание, сколько сдержанное умолчание, состоящее из иносказаний и намёков. Под слоем полупрозрачной лессировки на холсте поэта Татаренко проступает образ несостоявшейся любви: “И карусель скрипит, как койка, / Да не о том всё, не о том”. Шутка пеленает пластырем душевный шрам, самоирония смягчает предсказуемость неосуществляемого, когда неразделимы две вечных подруги – любовь и разлука, а метафорой изъеденной души служит не просто закуска к пиву, но и его знак Зодиака: “Потрошёная рыба не плачет. / Толку плакать, когда ты еда”.

Таково добровольное одиночество неутомимого путешественника и бездомного скитальца, выбравшего образ жизни, но не выбиравшего себя, устремлённого в профессиональную среду и обречённого на постоянную разлуку даже с теми, с кем не расстался бы ни за что и никогда. В стихотворении “Бывшие” автор рубит по живому, посредством физического труда отвлекаясь от душевной боли. Единственный раз за всю свою поэтическую практику он оказывает явный оммаж любимому поэту Маяковскому, в кульминационный момент используя разбивку лесенкой, что, имитируя ритм рубки дров, усиливает драматизм переживания:

Развестись — нетрезво и небольно.
Жить в обмане — это не по мне.
Радио мурлыкает довольно
На своей классической волне.
(...)
У

Тебя

Другой

Завёлся

Кто-то...

Колуном машу, как заводной.
На траве дрова — моя работа.
Вот и завершился выходной.

На всю мощь — кантату Берлиоза!
Витька заорёт: “Что за дела?!..”
Под навесом — бывшая берёза,
Та,

Что ты

Кудрявушкой

Звала.

С Маяковским, помимо напряжённой энергии стиха, помимо языковой экспрессии, его сближает словотворчество, которое и является главной особенностью поэзии Татаренко. Игра слов, не всегда удачная, порой формальная, но всегда лично им изобретённая, лежит в основе композиционной и смысловой структуры его текстов, определяет смысловые акценты. Ему мало слов уже существующих, язык для него – территория лингвистической свободы. Он, как Кио из цилиндра, извлекает из его глубин всё новые фокусы. Нужны они ему не для выпендрежа (хотя почему бы и нет!), а как строительный материал для мгновенного слепок мира.

Неологизмы, окказионализмы, каламбуры, афоризмы, парадоксы, реминисценции, аллюзии на крылатые выражения, идиомы-перевёртыши,

неожиданные рифмы, сквозные образы, звукопись внезапных словосочетаний не то что поворачивают привычное под иным углом, а выворачивают наизнанку. В стихе открывается скрытая суть вещей и явлений, возникают их новые взаимосвязи. Если кто-то из великих говорил, что между комическим и космическим одна буква, то у Татаренко — “жизнь удалилась”, “вселенная рифмуется с пельменной”, “Волга впадает в анабиоз”, а “мир уже не торт”. Вот этот “не торт” он и рассекает на доли и рассматривает каждую с грустью философа и пытливостью художника.

Так, в одной из многочисленных зимних зарисовок образ хмурого утра, развёрнутый во времени и пространстве, обрастает новыми смыслами:

В январском парке предрассветном,
где не курить разрешено,
идёшь и стряхиваешь скверну
и напеваешь заодно:
“Кавалергарда век — не доллар”.
Не доллар, впрочем, всё вокруг.
И раздражает южный говор
у веток, жаждущих на юг.

Новый год и его последствия особо удручают лирического героя, раз за разом наблюдающего картину русских нравов. Посленовогоднее удушье отразилось в стихотворении “7 января”:

И всюду криво-де-жанейро,
И тесть похмельничать привык,
И врач с дипломом инженера
Гадает, бык или не бык.

Лирический герой может сближаться с автором, совпадать с ним или расходиться во мнениях и привычках. Актёр Татаренко, иногда отталкиваясь, но чаще всего отвлекаясь от собственной биографии, проживает чувства лирического героя в предложенных обстоятельствах, как было когда-то на сцене Новосибирского городского театра Сергея Афанасьева и Томского театра драмы. Собирательный образ некоего случайного собутыльника, соседа, попутчика, прохожего всегда получается психологически точным. В силу своих коммуникативных способностей журналист Татаренко сходится с любым, кого выберет объектом своего внимания, будь то медийная персона или деклассированный элемент. И вот в “Сломанной жизни” несколько выхваченных из быта деталей заменяют подробные описания извилистого пути спившегося деревенского хоккеиста:

(...)
Живёт — ни пилы, ни метлы,
Лопаты нет самой затасканной!
Калитка во двор Абдуллы
Закрыта на клюшку вратарскую.
“Подохну — дай знать, не забудь,
Антону Слышко из Барабинска...”
Во рту — полусгнившая жуть.
На клюшке зато — ни царапинки.
Сидит Абдулла у окна.
Суббота. Не выпить — нет повода.
И жёлтая в небе луна —
Точь-в-точь олимпийское золото.

Мастерство меткой детали особенно сильно работает там, где по этическим и художественным соображениям недопустимы подробные описания. В стихах на военную тему сила воздействия достигается путём обходных манёвров. Голос времени в “1 марта” передан посредством аллитерации, сочетания созвучных слов, благодаря чему чуть ли не физически ощущаешь, что происходит по ту сторону границы: “А кукла в подвале / Не знает про свинство

свинца". Автор, по внешним признакам аполитичный, в боевых действиях участия не принимает, в митингах не участвует, на выборы не ходит, в казённом патриотизме не замешан. Но: *"Есть такая болезнь – Россия, / Что даёт осложнение на душу"*. Поэтическое нутро чутко отзывается на происходящее в стране, в мире, во Вселенной. Название сборника "Плыл февраль" тоже не с облаков взялось.

Десять лет поэт Татаренко ездил в Крым не как на курорт, но стихи про черноморское побережье не торопились появляться на свет, отлёживались в копилке впечатлений. Памятный февраль 2022-го застал его там же – на исходе проходившей в "Артеке" литературной смены. Началась повальная паника, отменялись рейсы "Аэрофлота", таксисты задирали цены, встал вопрос об эвакуации детей из Гурзуфа. Он с каменным выражением лица сжал в кулаке приобретённый загодя билет на поезд дальнего следования, в купе прирос к месту у окна – и домарал блокнот до последнего листка. За окном поезда плыл предательски мягкий февраль.

Стихотворение "Бесснежное поведение" из сборника "Плыл февраль" заканчивается заклинанием, которое, в свою очередь, замыкается многоточием, не приглушающим, а, напротив, усиливающим безмолвный крик:

Отложит война икринки.
Взлетит на чердак винтовка.
Конец февралю. И крикнешь:
"Не только ему, не только..."

Ценителю поэзии следует осваивать это наедине, читать про себя, неспешно и вдумчиво, хотя стоит послушать и авторское исполнение. Актёр Татаренко пользуется профессиональным умением, в отличие от многих самобытных поэтов с их вдохновенными завываниями, преподносит публике свои творения так, что сохраняется баланс между эффектностью и проникновенностью. Импровизационное самочувствие помогает ему ориентироваться в любой аудитории и стать своим среди всех.

Не прогадал Сергей Летов, брат легендарного Егора Летова, согласившись на совместное выступление с амбициозным сибиряком. В Уфе, в рамках поэтического фестиваля "КоРифеи" на концерте "За спиной зимы" звучали то стихи актёра Татаренко на фоне музыки, то аэрофон и синтезатор музыканта Летова на фоне стихов. Летов импровизировал, Татаренко читал с листа, музыка закручивалась вихрем тягучих звуков и устремлялась за пределы. Тема смерти уже не казалась такой безысходной, ведь за ней будет что-то ещё: *"Всё готово к весне, / И до кладбища мне / Пара сотен недельных поездов"*.

К своему пятидесятилетию поэт Татаренко подошёл с таким вот козырем звёздного выступления, а ещё – с коллекцией разнообразных литературных премий: имени Дедова, имени Чехова, имени Довлатова, имени Рождественского, имени Плещеева, имени Григорьева, ну, и просто всевозможные Гран-при из разных городов и стран. Кроме того, с солидным багажом в виде дюжины поэтических сборников, три из которых изданы в течение юбилейного года, причём в разных городах. Лирика "Отремонтированный снег" вышла в Москве, гражданская поэзия "Плыл февраль" – в Уфе, юмористическая "Репка Баскервилей" – дома, в Новосибирске (жанровое деление, конечно же, условно, расплывчато и провокативно). В предисловиях к ним отметились Дмитрий Воденников, Виктор Куллэ, Денис Драгунский, Сергей Плотов, Борис Кутенков, Светлана Чураева. Анализируя творчество поэта Татаренко и отмечая его непохожесть, они, в свою очередь, проводят параллели с традициями акмеистов, обэриутов, Всеволода Некрасова, Ивана Ахметьева, Дмитрия Гвоздецкого etc.

Поэт Татаренко, всех их перечитавший, с половиной поэтической России знакомый лично, раздавший, по приблизительным подсчётам, около пяти тысяч автографов, не ведаёт усталости. Он прошёл длинный путь, на котором сменяли друг друга или переплетались актёрское рвение, журналистская подёнщина, разведующее сомнение, "бесстыжее бесстышие", творческий кураж, сочинительская стабильность, озаряющее вдохновение, расслабляющее везенье, бурный успех, конструирование успеха. Слышал вибрацию незримых струн, предвкушал наступление тишины, в которой родится первая строка и повлечёт за собой абрисы и образы, отсветы, ответы... И теперь, когда

самое важное осознано и написано, поэт Татаренко приближается к постижению своей профессии в программном стихотворении “Московское лето”. Умение из молнии делать гром — это и есть предназначение и миссия:

Мне казалось всегда,
Что поэты сродни облакам:
Тише, медленней птиц,
Но улечься в теньке — не судьба.
Чистый лист для поэта
Полезней ведра молока.
Синеве безразлична
Твоя полнота-худоба.
Облакам всё равно,
Что творилось на влажной земле.
Никогда, ни за что
Не поместится облако в гроб.
Я-то думал, поэт —
Кому вечно нужны сто рублей.
Оказалось,
Поэт — кто из молнии делает гром.

**150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ПЕВИЦЫ
АНТОНИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ НЕЖДАНОВОЙ**



“Дорогая, чудесная, удивительная Антонина Васильевна! Знаете ли, чем Вы прекрасны и почему Вы гармоничны? Потому что в Вас соединились серебристый голос удивительной красоты, талант, музыкальность, совершенство техники с вечно молодой, чистой, свежей и наивной душой. <...> Вы, как птица, поёте потому, что Вы не можете не петь, и Вы одна из тех немногих, которые будут превосходно петь до конца Ваших дней, потому что Вы для этого рождены на свет. Вы — Орфей в женском платье, который никогда не разобьёт своей лиры. Как артист и человек, как Ваш неизменный почитатель и друг я удивляюсь, преклоняюсь перед Вами и прославляю Вас и люблю”.

Из письма Константина Сергеевича Станиславского

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ МАРК НИКОЛАЕВИЧ ЛЮБОМУДРОВ



Ещё одна тяжёлая потеря, которых так много было в последние годы. Не стало нашего многолетнего автора, дорогого друга и верного соратника, стойкого борца за русское слово и дело Марка Николаевича Любомудрова.

Его книги “Века и годы старейшей сцены”, “Размышления после встречи”, “Противостояние”, “У истоков русской сцены”, “Каноны русского мира” навсегда останутся в истории русского театроведения и публицистики.

Все мы помним бури, которые поднимались после публикации на страницах нашего журнала его статей — “Театр начинается с Родины”, “Как слово наше отзовется”, “Ради духовного обновления человека”, “Извлечём ли уроки?”, “И расскажем про войну...”, “Чужое”, “Метаморфозы БДТ”, “Drang nach Russland”, “Великорусский театр”!

“Напомним об идейно-эстетических основах Русского Театра. Лучшие его представители всегда воспринимали сцену как универсальное средство совершенствования человека. Они утверждали жизнотворческие, созидательные возможности сценического искусства. Приоритетными были духовные (по сути, христианские) ценности. Не случайно великий Станиславский видел главную задачу сцены — раскрыть и передать “жизнь человеческого духа”.

Сила русского искусства (и театра!) была в его реализме, в изображении человеческого бытия в достоверности, в формах ему соприродных и соразмерных. На подмостках характеры раскрывались в системе органического перевоплощения и эмоциональной непосредственности. Этому и служили открытые Станиславским законы сценического творчества, оформленные в “систему Станиславского” (уместно вспомнить о системе химика Менделеева). Задача искусства, подытоживал Станиславский, — служить уму и сердцу зрителя, а не его глазу и уху” (Марк Любомудров).

Светлая память тебе, наш верный друг!

Редакция